

2

НОВЫЙ МИР

1937

НОВЫЙ
МИР

2

1937

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

В Т О Р А Я

Ф Е В Р А Л Ь

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 7

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Портрет тов. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ	5
1. Правительственное сообщение	7
2. От Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)	9
3. Памяти товарища ОРДЖОНИКИДЗЕ	11
4. Великий пролетарский революционер	13
Многочасочные вкладки: «Щорс» — с картины худ. П. П. СОКОЛОВА-СКАЛЯ.	

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ, СТИХИ:

5. Г. ЛАХУТИ. — Стихотворения	15
6. КОНСТ. ФЕДИН. — Я был актером, <i>повесть</i>	17
7. А. БЕЗЫМЕНСКИЙ. — Открытое письмо, <i>стихотворение</i>	54
8. ЛЕВ ДЛИГАЧ. — Из испанских поэтов, <i>стихотворения</i>	57
9. В. КИРШОН. — Большой день, <i>пьеса</i>	59
10. Г. САННИКОВ. — Стихотворения	97
11. ХАДЖИ-МУРАТ МУГУЕВ. — Голубая река, <i>повесть</i>	99
12. Л. ОСТРОВЕР. — Ошибка капитана Шибаяева, <i>рассказ</i>	144
13. ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ. — Мастера, <i>роман, продолжение</i>	166

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

14. ВЛАДИМИР КАНТОРОВИЧ. — Кашевар	202
15. И. ЭКСЛЕР. — Заметки счетчика	218

ЗА РУБЕЖОМ:

16. Акад. Н. И. ВАВИЛОВ. — Мое путешествие в Испанию, с иллюстрациями	225
---	-----

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

17. О ПУШКИНЕ	254
18. ИВ. РАХИЛЛО. — Встречи с Николаем Островским	255
19. Н. ЛЮБОВИЧ. — «Повести Белкина» как полемический этап в развитии пушкинской прозы	260
20. Доц. Ш. С. АСЛАНИШВИЛИ. — Об этапах развития грузинской музыки	274

Статформат В/5 176 × 250.

Уполн. Главлита В—11664. Объем 18 печ. лист. по 64.000 знак. Сдано в набор 2/III—37 г.
Подписано к печати 23/III—37 г. Техн. ред. С. Кравцов. Тир. 70.000. Зак. 175.

Тип. им. тов. И. И. Окворцова-Стеанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.



ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ

18 февраля в 17 часов 30 минут в Москве, у себя на квартире в Кремле от паралича сердца скоропостижно скончался Народный Комиссар Тяжелой Промышленности, член Политбюро Центрального Комитета ВКП (большевиков) товарищ

Григорий Константинович ОРДЖОНИКИДЗЕ.

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)

Центральный Комитет ВКП (большевиков) с глубоким прискорбием извещает партию, рабочий класс и всех трудящихся Союза ССР и трудящихся всего мира, что 18 февраля в 5 часов 30 минут вечера в Москве скоропостижно скончался крупнейший деятель нашей партии, пламенный бесстрашный большевик-ленинец, выдающийся руководитель хозяйственного строительства нашей страны — член Политбюро ЦК ВКП(б), Народный Комиссар Тяжелой Промышленности СССР товарищ **ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ**

Смерть товарища ОРДЖОНИКИДЗЕ, дорогого для всей партии, рабочего класса СССР, трудящихся всего мира, безупречно чистого и стойкого партийца, большевика, отдавшего свою славную, героическую жизнь делу рабочего класса, делу коммунизма, является тягчайшей потерей для всей партии и Советского Союза.

Образ товарища ОРДЖОНИКИДЗЕ, его беззаветная борьба за пролетарскую революцию, за строительство социализма в нашей стране вдохновит всех трудящихся, всех партийцев, всех работников хозяйственного фронта на дальнейшую борьбу за победу социализма, за новые завоевания советской промышленности, за новый подъем всего нашего социалистического народного хозяйства.

**Центральный Комитет
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков).**

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА ОРДЖОНИКИДЗЕ

Наша партия понесла тяжелую потерю: 18 февраля от паралича сердца скоропостижно скончался товарищ Григорий Константинович ОРДЖОНИКИДЗЕ.

Смерть вырвала из наших рядов выдающегося руководителя, неутомимого борца за дело партии, боевого руководителя и организатора блестящих побед социалистической индустрии, нашего близкого и любимого товарища и друга.

Всю свою светлую жизнь товарищ Орджоникидзе без остатка отдал делу рабочего класса, делу освобождения человечества, делу коммунизма. Еще в юные годы товарищ Орджоникидзе встал под великое знамя Ленина и с тех пор до конца своей жизни честно и преданно нес это знамя в руках, борясь на самых передовых позициях.

Его жизнь была неразрывно связана с революционной борьбой рабочих и крестьян против царского самодержавия и буржуазно-помещичьего гнета, с борьбой за победу Великой пролетарской революции в СССР, с организацией разгрома белогвардейских армий и иностранных интервентов, с победоносным строительством социализма. И всюду, где протекала его кипучая революционная деятельность, она приносила с собой победу за победой.

Товарищ Орджоникидзе представлял образец большевика, не знавшего страха и препятствий в достижении великих целей, поставленных партией. Пламенная энергия, настойчивость и прямота, таланты выдающегося организатора и руководителя масс сочетались в нем с изумительными качествами той сердечности и товарищеской простоты в отношениях к людям, которые так хорошо известны всем, лично знавшим тов. Серго, и которыми отличается настоящий большевик-ленинец.

Последние семь лет тов. Орджоникидзе стоял во главе тяжелой промышленности СССР. С его именем связаны величайшие победы социалистической экономики. С его помощью партия разрешила труднейшую задачу построения в нашей стране могучей передовой тяжелой индустрии, перевооружившей сельское хозяйство, транспорт и оборону. Во главе многомиллионной ар-

мии работников тяжелой индустрии тов. Орджоникидзе брал приступом одну за другой труднейшие крепости на фронте борьбы за построение и овладение новой техникой. Он любовно выращивал кадры талантливых деятелей тяжелой индустрии, до конца преданных делу социализма, сплоченных вокруг большевистской партии.

И вот теперь тебя, дорогой товарищ Серго, нет с нами. Тяжесть этой утраты неизгладима. Ее с болью будут переживать все трудящиеся нашей страны. Мы потеряли тебя в момент, когда наша страна достигла торжества социализма. В этих победах, завоеванных нами путем великой борьбы, большая доля твоих трудов, твоей энергии, твоей безграничной преданности коммунизму.

Прощай дорогой друг и товарищ Серго!

И. СТАЛИН
В. МОЛОТОВ
Л. КАГАНОВИЧ
К. ВОРОШИЛОВ
В. ЧУБАРЬ
А. МИКОЯН
С. КОСИОР
Г. ПЕТРОВСКИЙ
Р. ЭЙХЕ
Я. РУДЗУТАК

М. КАЛИНИН
А. ЖДАНОВ
П. ПОСТЫШЕВ
А. АНДРЕЕВ
Н. ЕЖОВ
И. АКУЛОВ
В. МЕЖЛАУК
Н. АНТИПОВ
М. ШКИРЯТОВ
Я. ЯКОВЛЕВ.

Великий пролетарский революционер

Перестало биться сердце Серго Орджоникидзе, мужественного борца за коммунизм, верного ученика Ленина, боевого соратника Сталина. Затихли шаги миллионов, пришедших сказать последнее «прости» своему железному народному комиссару, отзвучали траурные марши, и урна с прахом славного революционера замурована в Кремлевской стене рядом с прахом Фрунзе, Дзержинского, Кирова и других беззаветных героев революции...

Не стало с нами Серго Орджоникидзе, но бессмертен в сознании народов пройденный им путь борьбы, и его героический образ, как путеводная звезда, будет гореть перед глазами трудящихся всего мира, перед глазами будущих поколений.

Листая совсем еще свежие страницы современной нам истории, мы неизменно видим Серго на полях великих битв за счастье миллионов на всех этапах нашей революции. Мы видим, как в самом начале зарождения большевизма сын крестьянина-бедняка угнетенной царизмом Грузии с юношеских лет становится навсегда и бесповоротно в железные ряды большевиков-ленинцев. Мы видим, как Серго воспитывает и организует пролетариат Сухуми, Тбилиси, Баку и других городов Закавказья для борьбы с помещиками и капиталистами, как он вместе с тов. Сталиным и под его руководством борется с меньшевиками, борется за создание могучей большевистской партии. Мы видим, как он отправляется в вечную ссылку в Сибирь, как царские жандармы запирают его в казематы Шлиссельбурга. Мы видим, как Серго под руководством Ленина подготавливает знаменитую Пражскую партий-

ную конференцию, нанесящую сокрушительный удар меньшевикам-ликвидаторам и предателю Троцкому. Мы видим Серго в роли активнейшего помощника Ленина и Сталина в подготовке и проведении VI съезда партии, в осуществлении Великой Октябрьской революции, в борьбе за диктатуру пролетариата.

В суровые годы гражданской войны, в критические дни существования советской власти, мы видим Серго в роли организатора священной классовой войны с немецким империализмом на Украине и с бело-польской шляхтой. Мы видим, как Серго вместе с Ворошиловым и Буденным осуществляет гениальный сталинский план разгрома Деникина, а затем громит на Северном Кавказе меньшевиков, восстанавливает там советскую власть, восстанавливает и укрепляет нефтяную базу советской власти.

Мы видим, как Серго ведет непримиримую борьбу с изменническим и контрреволюционным троцкистско-зиновьевским блоком, как, будучи председателем ЦКК и наркомом РКИ, он отстаивает железное единство большевистской партии. Наконец, мы видим, как на протяжении двух пятилеток Серго Орджоникидзе осуществляет великий план Ленина и Сталина, и наша страна с лошади мужицкой, захудалой, пересаживается на лошадь крупной машинной индустрии, на лошадь Днепростроев и Магнитостроев. Имя Серго вылитое сталью в каждом промышленном гиганте, в каждом новом корабле, в каждом тракторе и автомобиле, в каждом локомотиве революции. Имя Серго реет над нами в стальных крыльях нашей могу-

щественной авиации. С именем Серго связана неприступная крепость обороны нашей родины.

За великую преданность партии Ленина — Сталина, за беспредельную честность, за монолитную цельность, непримируемость и принципиальность, за все это лютой ненавистью ненавидели Серго враги народа — троцкистско-зиновьевские бандиты и агенты фашизма. И именно за честность, за цельность и принципиальность любила Серго партия, любили народы нашей великой родины.

Каждый стахановец, каждый рабочий и колхозник, каждый представитель новой социалистической культуры должен

воплощать в себе ту великую любовь и преданность партии Ленина — Сталина, ту величайшую деловитость и настойчивость, ту высокую честность и принципиальность, ту любовь к самокритике, которыми весь от начала до конца был проникнут не знавший колебаний, великий революционер Серго Орджоникидзе.

На всех писателей Советского Союза ложится почетнейшая задача — создать такое художественное произведение, в котором во весь рост вставал бы бессмертный образ мужественного, цельного и благородного пролетарского революционера — образ Серго Орджоникидзе.

А. Новиков-Прибой.

Вс. Иванов.

Л. Леонов.

А. Мальшкин.

К. Федин.

Ф. Гладков.

Б. Ясенский.

А. Безыменский.

А. Афиногенов.

В. Кирион.

Л. Сейфуллина.

И. Гронский.

П. Рожков.

Г. Санников.

А. Перегудов.

Г. Никифоров.

П. Сысов.

С. Кривцов.

Ф. Власов.

ГЛАВА НАРОДА

Троцкистские бандиты покушались на
жизнь главы советского правительства—
тов. Молотова.

(Из материалов процесса.)

Кто в прах повергнуть замышлял
главу советского народа,
Тот ныне сам повергнут в прах
рукою славною народа.

Враги затеяли стеклом
железный молот раздробить.
Не их ли головы — стекло,
не молот ли — глава народа?
Продажной тварью ты приполз
к фашизму на кровавый пир.
Нет, Троцкий, нелегко продать
священные права народа!

Куда бежишь ты от суда?
Не скроешь Каина печать!
Везде настигнет он тебя,
неумолимый суд народа.

Наш край — надежда всей земли,
и наша бдительная рать
От вражьей злобы оградить
сумеет мирный труд народа.

Стальной грудью заслонит
народ избранников своих,
Не склонит голову народ,
несокрушима мощь народа.
Сильна, мудра глава его,
велик и славен вождь его,
Да здравствуют
родной народ,
глава народа,
вождь народа!

Перевод с фарси БАНУ

Я был актером

КОНСТ. ФЕДИН

Николаю Коппелю, с которым я прожил две жизни.

I

Все мы думали одинаково: чорт знает, когда же наступит конец распроклятой войне!? Мы отсидели три года в городе, похожем на благоустроенную богадельню. Мы знали в лицо всех булочников и пасторов. Секретарь полиции раскланивался с нами, точно с кумовьями. Городские собаки давно перестали на нас лаять. Домашние хозяйки, со слезами сочувствия, штопали нам носки.

А война шла, шла...

Я ходил по вечерам к директору машиностроительного завода, человеку шестидесяти лет, застенчивому и женственному, со зловещей фамилией — Криг. Он учился у меня русскому языку. Не понимаю — зачем? Он знал шесть языков и учил седьмой. Мы читали «Обломова». Директору Кригу нравилось, как Обломов попадает ногами в туфли, не глядя на них. Он просил меня перечитывать место, где это описывается, слегка запрокидывая голову, улыбался и жмурился. Я уверен, что по утрам директор Криг пробовал попадать ногами в туфли по-обломовски. Может быть, это небольшое искусство было самой сокровенной мечтой человека, который руководил машиностроительным заводом и изучал седьмой язык. Мы склоняли в женском роде: туфля, туфли, туфле, туфлю... Потом в мужском: туфель, туфля, туфлю, туфель... Директор Криг любовался многообразием русского языка и склонял

туфлю по-французски, по-итальянски, по-немецки. Меня потрясала его любознательность.

Днем я давал уроки мальчугану, в русской семье, застигнутой войною в Германии и осевшей там навсегда. Мою ученику было лет двенадцать. Я спрашивал его, сколько будет пятью восемь. Он оглядывался на окно. В розовых цветах стояли там деревья, груши цеплялись зигзаговидными своими ветками за косяки. Я любил деревья, любил небо, мне хотелось вон из комнаты, я спрашивал снова:

— Итак, пятью восемь?

— Двадцать восемь, — говорил ученик, быстро взглядывая на меня испуганными светлыми глазами.

Я смотрел на его лоб. Голубые жилки, точно ветки нежного дерева, вились у него по белым вискам, чуть вздрагивая. Бедная головка работала изо всех сил. Это был способный мальчик.

Десять лет спустя я встретил его в том же городишке. Мы сели за чайный стол. Мой ученик стал крепким малым, в хорошо разглаженных штанах. Усики он подстригал. Словно две кисточки для акварельных красок, висели они у него под ноздрями. Он начал отвечать мне по-немецки. Я присрамил его. Он вспыхнул, как когда-то, за уроком, и сказал, протянув руку к сахарнице:

— Перетафайте мне, пожалуйста, цукерница...

Десять лет спустя я не встретил директора Крига. Если он жив, он изучает девятый или десятый язык и, может

быть, стал попадать ногами в туфли не хуже Обломова. Если умер — да будет ему земля пухом!

II

А война шла, шла.

От тоски мы перезнакомились с актерами городского театра. Актеры были с борку да с сосенки. Все здоровое население, не щадя живота, защищало немецкое отечество. Высокому искусству сцены доставался материал второсортный. Тут были старики, инвалиды, чудаки, страдавшие манией величия, в лучшем случае — молодые люди, настолько оборотливые, что их без греха можно было считать дезертирами. Зато в актрисах чувствовался даже некоторый избыток. Маленькие, как куклы, громадные, точно каменные бабы, они оживляли кафе и улицы.

Как позабыть блондинку Лисси, похожую на птичку, изящную, легкую, с очень милым, но, однако, чересчур длинным носом. Она пела, действительно, как птичка, не громче, и это обстоятельство и еще, пожалуй, длина носа ограничивали сферу ее деятельности небольшими театрами, ценящими искусство не по каким-нибудь внешним достоинствам.

Фрейлен фон-Сезмон отличалась, наоборот, мощным сопрано, огненной рыжизной, обширными формами. По своему амплу первой певицы ей непременно надо было кого-нибудь обвораживать, и, как теперь я понимаю, она всегда оставляла впечатление. Настоящая ее фамилия была неизвестна. Псевдоним свидетельствовал о некотором раздвоении ее личности. Французское имя обладало блеском, давно-давно до войны, при вступлении актрисы на заманчивый путь. В то же время нелегко было отказаться от импозантного немецкого «фон», раздаваемого сценой направо и налево, кому угодно, без пошлин и проволочек.

Война подмочила французские имена. Комик-буфф, например, до сараевского выстрела блистал именем Анриона, то-есть довольно оскорбительно для немецкого национального достоинства. В войну немцы, молниеносно разучившись

читать и говорить по-французски, стали называть своего любимца Генрионом. Он должен был примириться с этим и играл Генрионом не хуже и не лучше прежнего — бойкий человек в паричке и с подкрашенными щечками, не дурак поволочиться, мастер водить дружбу с фельдфебелями и унтер-офицерами призывного пункта, к которому был приписан театр.

Первым тенором в театре был баритон Брейг. Тут нет ни доли каламбура, просто — с тенорами обстояло из рук вон, и приходилось дорожить малейшей способностью любого актерского голоса брать хоть какие-нибудь теноровые ноты. Прошлое Брейга было красочно: он пел в Венской оперетке — высшая апробация для певца и его пожизненная неугасимая гордость. Но он был уже стар и почти слеп. Голос его изредка начинал звенеть, и тогда в нем просыпался актер, страстный и обаятельный. Но слишком часто такая вспышка кончалась срывом на каком-нибудь несчастном ля бемоль. Тогда, тут же, на сцене, Брейг утрачивал шарм, мгновенно пугался, слепнул еще больше, вся старческая его вдруг делалась мучительно очевидной. Мы любили его за природный артистизм, за грустную судьбу, за склонность философствовать, которую он с увлечением проявлял.

Труппа была большой, оперетта работала попеременно с драмой. Актеры, нынче выступавшие в Гауптмане и Грильпарцере, завтра подтягивали в Легаре и Штраусе. Впрочем, такая универсальность в амплу касалась преимущественно маленьких актеров и хористов, главные же исполнители соблюдали верность либо трагедии, либо вокализму.

Одним из наших друзей сделался музыкальный маэстро театра — капельмейстер Рихард Кваст. Он уже отведал войны. Его полк, выступивший в начале кампании, с боями промаршировал через Бельгию, ворвался глубоко во Францию и после разгрома немцев на Марне, наполовину перебитый, изорванный в клочья, возвратился домой. Кваст был дважды ранен, но не слишком серьезно, ровно настолько, чтобы каж-

дые два-три месяца, получать отсрочки нового призыва в ряды войск.

Он уже не говорил о войне иначе, как о «дерьме».

— Пусть они жрут его без меня. Я сыт. У меня оно лезет горлом наружу.

Мы еле-еле вздыхали:

— Но ведь немцы — они совсем не хотели воевать...

Он краснел. Сдавив зубы, он корчил гримасу ехидства и шипел:

— Ну, так... я про то и говорю, что я, немец, не хочу воевать...

По натуре он был весел и, как Казанова, любил женщин. Целые выводки девиц окружали его, когда он, после репетиции, выходил из театра и шурился на солнышке, рассказывая не очень скромные анекдоты. Девицы были готовы с ним на многое. Он хорошо знал это и был счастлив.

III

Когда нас сюда сослали, на первой же явке в полиции мы встретились с господином художником Шером. Господин художник Шер опоздал на пять минут, и секретарь полиции, отчитав его, предупредил, что впредь за опоздание нас — подданных вражеского государства, находящегося с Германией в состоянии войны, — будут сажать в концентрационный лагерь.

Шер первым из нас нашел работу: он поступил во фруктовый магазин испанского купца. Он зашел в магазин просто мимоходом, постоял, подумал и сказал на плохом французском:

— Я хотел бы у вас что-нибудь делать...

— Ваше желание не совпадает с моим, — ответил испанец.

Шер не импонировал торговцу: слишком мал ростом, долгодос, не представитель, иноземного вида, захудало одет. Испанец одной своей упитанностью внушал покупателю доверие.

— Что вы умеете делать? — спросил он.

Шер посмотрел на стены и карнизы потолка.

— Я распишу вам это... фруктами...

— Рядом с живыми фруктами мазня будет производить отталкивающее впе-

чатление. Да и откуда я знаю, что вы умеете писать?

— Я работал копистом в дрезденском Цвингере.

— Нет. Покупатель на это не пойдет.

— Я напишу вам плафон кругом, во весь магазин, — сказал Шер, таинственно приближаясь к испанцу, — я напишу плафон на такой мотив, что ваша лавка лопнет от покупателей. Весь город попрет к вам за апельсинами.

— Э! Что же это за мотив?

— Бой быков!

Испанец оглядел карнизы.

— Какой ширины?

— Метр.

— Кругом всей лавки?

— Да.

— И над дверью?

— И над дверью.

— Чорт с вами, валяйте... Но чтобы без всяких штук. Без футуризма! Эти ваши фокусы не для торговли!

Шер прижился у испанца, несмотря на то, что тот быстро добавил к его художественным обязанностям продажу яблок на базаре по воскресеньям и, немного погодя, — мытье посуды из-под лимонада.

— Быки уже подходят к концу, — рассудил испанец, задрав голову и изучая подыхающих на окровавленной арене лошадей, — но, когда все это окупится, неизвестно. Я не могу тебя даром кормить, хоть ты и был допущен копировать в Цвингере.

— Смотрите на матадора, — показал Шер, — я сам удивляюсь этой экспрессии. Настоящий андалузец.

— Верно, — ответил купец, — я одного такого знал. Но посчитай: обед, ужин, утром ты хочешь кофе. Словом, положи, мой друг, бутылки...

С легкой руки Шера мы постепенно стали находить работу.

Один из нас нанялся скрипачом, другой монтером на электростанцию, кое-кто поступил на завод, скрывая, что там приходится вытаскивать пушечные снаряды. Химик, похожий на персонажа Дюма, — с пышными усами и клиновидной бородой, с гарцующей походкой, в галифе и тугих обмотках на икрах, — сделался помощником город-

ского лаборанта и производил анализы пищевых суррогатов. Его шеф — мрачный резонер — относился к нему сурово и не одобрял пессимистичных анализов.

— Ну, да, да, герр коллега, — гнусавил он, — конечно, из этих порошков курица не высидит цыплят. И вряд ли они дахнут яйцами. Но ведь на них не написано, что это — яйца. На них написано, что эти порошки могут быть с блестящим успехом положены в кушанья, для которых требуются яйца, в случае недостатка, а также отсутствия последних. Анализ несколько не исключает такого утверждения. А вы даете неблагоприятный отзыв. Ведь вы, в годину нужды, лишаете население доброкачественной пищи. Хорошо, что я вас знаю. А посторонний мог бы подумать, что вы, как русский, бракуете продукты питания из вражеских убеждений...

Химик закусывал от страха усы и, уже видя себя приговоренным за саботаж к смертной казни, переделывал заключение о яичном суррогате в самом доброжелательном духе.

На разные лады все мы признавали химические порошки аппетитной яичницей: война с ее нуждою, заразами и всяческой мизерой шла год за годом, а нам хотелось жизни свободной и счастливой.

Однажды вечером, шествуя по городской променаде, под шатром осенних звезд, озираясь на рассыпчатые хвосты метеоров, я разговаривал с химиком о мире — об этой вечной, как небо, мечте. Выходило — едва ли мы дождемся мира, потому что голод усиливался, обыватель скупел, нам все меньше перепало от его терпимости, мы становились всем в обузу. Перебирая, кто чем занимался в поисках пропитания, мы смеялись над господином художником Шером. После своего испанца он долго писал копии с Гальса и Рубенса без оригиналов, по памяти, пользуясь красочными воспроизведениями известных картин. Потом он бросил это неблагоприятное искусство и пошел статистом в Зеленый театр, расположенный в лесу, на чешской границе. В «Царе Эдипе» и в патриотическом военном спектакле он

«играл толпу», как выражаются актеры, — то-есть размахивал руками и, когда надо, без конца бубнил за кулисами одно слово — «рабарбер, рабарбер», изображая ропот масс.

— Ему скоро поручат серьезную роль, — сказал я.

— Чепуха, — возразил химик, — Шер не может правильно выговорить ни одного звука.

— Я знаю наверно. В «Потонувшем колоколе» он будет сидеть в колодце и квакать: «брекекекекс».

— Н-да, вот вы смеетесь, — сказал химик, — а у вас, поди, нехватало бы духу выступить на немецкой сцене.

— Подумаешь, страсти!

— Небось, вы не пошли бы служить на сцену.

— Сколько угодно.

— На словах.

— Не только на словах.

— Ой ли?

Я остановился, поглядел на серебряный след упавшей звезды, смерил химика с головы до ног. Он дрыгал коленочкой и медленно прокручивал мушкетерские усы.

— Давайте спорить, что я завтра наймусь в городской театр, — сказал я.

— Кем?

— Не все ли равно?

— На сцену?

— На сцену.

— Но ведь там оперетка.

— А так что же? Пари на полдюжину шампанского!

— Ну, уж на полдюжину, — попятился химик.

«Ага, — подумал я, — скупая бестия! Я тебе покажу!».

— Ну, на сколько хотите? — быстро спросил я, протягивая руку.

— Что вы поступите на городскую сцену?

— Да, — сказал я гордо.

— Ладно, — пробормотал он упавшим голосом. — Почем шампанское?

— А кто его знает.

— Ну, тогда — на бутылку.

— Чего захотели! Чтобы за жалкую бутылку игристого люди становились европейскими актерами!

— Хорошо. На пару.

— Наплевать. Идет!

Я с торжеством задержал его руку в своей. Она показалась мне необычайно холодной. Я видел, как он нервно схватился за бородку. Всю жизнь я не понимал скупцов!..

IV

На другой день меня принял директор театра.

Полнотелый, большой, в мельхиоровой седине, с золотой цепью на пикейном жилете — это был настоящий директор. Он узнал меня, потому что я должен был давно примелькаться ему, но он ждал, пока я пущусь в биографическую исповедь. Ему не было дела до моих симпатий в этой тяжелой войне, — как он заявил, — но само собою подразумевалось, что он, наравне со всеми немцами, рассчитывает на мою лояльность.

— Умеете ли вы петь? — легко перешел он к делу, минуя все обязательные разговоры о безвинности кайзера Вильгельма и о британском коварстве.

— Я знаю ноты, — ответил я.

— А голос?

— Я пел в хоре.

— Где?

— В школе.

— Что же у вас был — дискант или... что-нибудь еще?

— Бас, — сказал я, напрягая горло и сразу поперхнувшись.

— Приходите завтра на репетицию. Вас попробует герр капелмейстер.

Я откланялся, но он не дал мне уйти.

— Сколько вы хотите получать?

Я сказал, что мне надо существовать. Он назвал жалованье хориста. У меня ёкнуло сердце, но я только откашлялся погуще, как певцы, и политично выждал напутственных слов:

— Если вы годитесь, мы сойдемся..

На улице мне встретилась Лисси. Вечно веселая, она стукнула меня в плечо.

— Ну, ты, послушай разок, мой милый. Он ангажировал тебя, наш старик, или нет?

Я был потрясен неожиданным «ты», оно свалилось на меня с неба.

— Откуда вы знаете?

— Однако, ты, обезьяна, не притворяйся! Я узнала от химика о вашем идиотском пари и сегодня утром сказала директору, что ты придешь и что тебя надо принять, у тебя — райский тенор.

Я схватился за голову. Она хохотала, как в своих ролях субретки, — широко скаля чистые зубы. Она уже считала меня своим, ласково нарекая ланибратскими, глупыми прозвищами, которые были в ходу за кулисами.

— Милок, — сказала она под конец, — поверь, на сцене шагу нельзя ступить без протекции, и я решила тебе помочь. Когда ты обварганишь свое дело со стариком, приходи ко мне, я научу тебя гримироваться.

Она покровительственно распрощалась, а я побежал домой, не понимая, какие силы влекли меня над обновленными улицами.

Весь вечер я откашливался, пробовал голос, напевая чорт знает что. Вкрадчиво во мне возникло чувство, что я — прирожденный певец. Потом, осипнув, я страшно испугался за свое будущее. Квартирохозяйка изредка заглядывала в мою комнату под разными невинными предложениями. Наконец, она не удержалась и, стоя в дверях, с необыкновенной деликатностью посоветовала:

— Может быть, вы приляжете? А я бы согрела вам немножко настоящего кофе?..

Я понял, что она боялась за целостность своей обстановки и, может быть, даже за свою жизнь. Но я не мог остановиться, я пел.

К вечеру у меня пропал голос. Я метался всю ночь и поутру, еще в постели, с боязнью взял невысокую ногу. Все стало ясно: у меня был — как угодно — порядочный бас. В голосе перекачивалась рокошущая хрипота, и, чем ниже я брал ноты, тем лучше шли мои дела.

Я полетел в театр.

В этот сезон великолепный Рихард Кваст, сманенный театром побогаче, покинул нашу оперетку. Музыканты, солисты и, прежде всех, сам директор чувствовали себя осиротелыми. За пуль-

том сидел коротенький неуклюжий человек, по имени Зейферт. Он имел только один порок: ему, как дирижеру, не хватало двух его рук, и, когда он подавал вступления инструментам и актерам, его корчило и ломало от усилий, глаза, рот, брови, кожа на затылке, плечи, локти наперебой торопились принять участие в этой музыкальной шутке военного времени. Он был профессиональным пианистом, наверное — тапером, и, когда приходилось разучивать с певцами партии, натуго вколачивая в уши новые мотивы, он показывал себе цену.

Я застал его за роялем. Вокруг стояли мои знакомцы — рыжая фон-Сезмон, Лисси. Поодаль кучились хористы, выпячивая перед собою нотные листки.

— Довольно, — сказал капельмейстер, кивнув певцам. Они начали выходить, он тыкал тупыми пальцами по рыжей расшатанной клавиатуре.

Я стал рядом с ним. Он велел мне тянуть ноты, которые возьмет на рояле, и для начала дубанул в «ля». В этом состоял экзамен. Когда он кончился, я услышал проникновенный голосок Лисси:

— Герр капельмейстер, это, наверное, — наш будущий премьер?

— Вы еще тут? — удивился Зейферт.

— Мы не могли оторваться от этих божественных звуков, — пропела фон-Сезмон.

Капельмейстер бесшумно, точно тряпичный мяч, выкатился за дверь, а Лисси бросилась ко мне с объятиями. Она считала, что дело в шляпе, мне же казалось, что она дурачит меня, и, в отместку, я придумывал, как почувствительнее язвить насчет ее птичьего голоска. Но тут возвратился капельмейстер, загадочно сообщив, что меня ожидает директор.

Все, что затем произошло, было сплошной причудой. Я был нанят в театр хористом с обязанностями исполнять эпизодические роли в оперетке и в драме, за что получал надбавку к жалованью. Я обязан был явиться на работу в тот же день, вечером.

Спустя час я сидел у Лисси перед зеркалом.

— Мажь гуще, не стесняйся, — учала она, — главное в гриме — вазелин. Вазелин сначала, вазелин в конце. Гуще, гуще. Если бы ты мог его глотать — и это не повредило бы.

Меня покорило ее бескорыстное усердие. Она всего единственный раз вспомнила о подоплеке истории:

— Будешь хлестать шампанское, — не забудь меня, обезьяна. Твой химик скрючится, когда узнает, что ты сегодня выступаешь...

В театре мне отвели место в уборной хористов. В костюмерной гардеробе Краузе примерил мне фрак и сказал, что фрак входит в обязательный актерский гардероб и что по сходной цене он готов мне сшить мировой шедевр этого рода. В реквизиторской мне дали испачканную полотняную хризантему, и я продел ее в петлицу шелкового лацкана. Вместе с другими хористами я уселся на сцене перед маленькой эстрадкой. Шла «Сильва» или «Царица чардаша». Мы изображали кутящую золотую молодежь. В наших бокалах был налит лимонад. Бутылки стояли пустые. От закулисной прохлады и оттого, что во мне невольно возникали мои школьные мечты о театре, о цирке, о балаганах, меня знобило, пока не подняли занавеса. Я стал представляться выпившим богатым повесой.

Фрейлен фон-Сезмон подмигивала мне с эстрадки огромными измазанными в синее глазами и пела:

— Oh, la-la, so bin ich gebaut!

Я аплодировал ей, и я чувствовал себя обыкновенным дураком, и мне это было до стыда обидно.

V

Любовь нам запретил магистрат. За общение с немецкой женщиной нас, русских, сажали в лагерь. Приходилось ловчить, и только неотвязная страсть толкала девушек к рискованным аферам.

С Гульдой я встречался на променаде, в глухой, тянувшейся вдоль забора аллею, куда никому не приходило на ум заглянуть. Эти укромные места в центре города я начал изучать еще в первый год войны при необыкновенном случае.

В безлюдные сумерки к нам на скамеечку подсел ландштурмист-баварец. От него далеко несло пивцом, но покладистость интонаций, отеческие манеры расположили к нему, и мы принялись болтать. Он приехал с фронта и был набит доверху рассказами о русских. Вдруг он стал допытываться — кто мы? Нас было трое — господин художник Шер, я и папаша Розенберг — старший из колонии и наш путеводитель по газетной премудрости. В схватке с баварцем, загоревшейся мгновенно, папаша Розенберг сдрейфил первый. Сначала мы попробовали новости противника на ложный след, потом — обернуть разговор в шутку. Но ландштурмист гнул свою линию по-военному, не поддаваясь хитростям и лукавству врага: мы молоды и здоровы, значит мы должны находиться в окопах; мы не в окопах, значит мы — иностранцы; может быть, мы — чехи? — но чехи тоже обязаны сражаться в окопах; значит мы — не чехи; но тогда, может быть, мы — враждебные иностранцы? может быть, доннер-веттер, мы — что-нибудь вроде русских?!

Вот тут-то и дрогнул папаша Розенберг. Не распрямляясь во весь рост, а только чуть-чуть приподнявшись над скамейкой, он вдруг пустился вприсядочку прочь по алее, в расчете на густоту сумерок. Это повергло баварца в изумление. Он встал и молча сделал шаг назад. Он выхватил из ножен тесак. Он занес его над головой. Он раскрыл рот и секунду побыл в неподвижности. Потом он закричал и пошел в атаку.

Шер опрокинулся через скамейку на спину. Я помчался напрямки через газон. В бегстве я слышал вой баварца. Он рубил и колол тесаком кусты, цветы, ветви ясеней и лип. Он созывал на помощь, и я различил чей-то присоединившийся к погоне усердный топот.

Тогда, миновав две-три узеньких аллейки, почти тропинки, я выбежал к забору и обнаружил заросли, глухо прикрывавшие заброшенный путь. Он увел меня от опасности. Ландштурмист оказался негодным тактиком: преследуя всех нас вместе, он никого не догнал.

Наш урон был невелик: Розенберг потерял пенсне, Шер расшиб ногу.

Год спустя я продолжал изучать променад у уже не один, а с Гульдбй. Мы встречались, подробно вырабатывая план свиданий. В промежуток между встреч мы ничего не знали друг о друге. Нам казалось, что предосторожность и оглядки отравляют наше существование. Мы не замечали действия, которое оказывала на свидания их тайна. Мы многого не замечали. Эти вечерние часы в неподвижной чаше листьев, это скольжение от одного пятна прокравшегося света к другому, это прислушивание к вздрагивающим городским шумам — все это незаметно покрывало нас навсегда.

Когда я рассказал Гульде про выигранное пари, она долго смеялась. Странно, но ее тоже больше всего забавляло, что химику придется раскошиться на шампанское, и рядом с таким зрелищем мои театральные приключения жалко бледнели.

— Ты серьезно хочешь остаться в театре? — весело спросила она.

Я немного обиделся, чувствуя приступ заносчивости и в тайных мыслях уже считая, что театр, вероятно, — мое призвание.

— Я приду взглянуть, что ты там такое делаешь, — сказала Гульда, не скрывая насмешки.

— Думаю, что я не хуже тех идиотов, которые поступили в театр раньше меня.

— Ну, если ты сравниваешь себя с идиотами...

Мы расстались спокойнее, чем всегда. Обычно эти минуты были полны тоски и невысказанных сетований. Мы должны были расходиться именно тогда, когда страшно хотелось остаться вдвоем. Мы очень мучались.

Наша дружба давно вступила в поле общих ожиданий, неоспоримых для нас вкусов. Мы исповедывали экспрессионизм пристрастно и жарко, а то вдруг отвергали и возмущенно высмеивали его, сдирая со стен когда-то с обожанием навешанные картинки. Гульда приносила мне «Die Aktion». Склонившись над ним, мы мечтали о своих будущих

журналах. Мы рисовали наши издательские марки. Мы дарили друг другу скандинавцев — Август Стриндберг, Бьёрнсон, Гамсун плотно жались на моих полках, и, глядя на желтые парусиновые переплеты, я думал, какие полки надо будет мне строить, если я нежно проживу с Гульдюю всю жизнь. Неужели возможна на свете любовь, при которой женщина не подарит мужчине ни одной книги? Если рука возлюбленной не коснется вместе с тобою книжного переплета, она никогда не раскроет ни той ласки, ни того обаяния, которые в ней скрыла природа.

Гульда скоро пришла ко мне, в мою комнату, со всеми хитростями конспирируя визит.

— Я видела тебя в спектакле, — заявила она без вступлений.

Я обнял ее. Она сказала:

— У тебя подведены глаза.

Я засмеялся. Она оттолкнула меня.

— От тебя пахнет гримом.

— Выдумки.

— Когда ты намерен бросить эту комедию?

— Я хочу каждый день обедать.

— Но ты ведь жил до сих пор?

— Ты не спрашивала — как я жил.

— Если бы ты мне сказал, что когда-нибудь пойдешь на сцену...

— Что тогда?

— Я хочу, чтобы ты ушел!

— Не могу.

— Я прошу тебя.

Я наговорил каких-то умных и трогательных слов, а Гульда отвернулась и ушла от меня, быстро побежав вниз по лестнице. Я отчаянно крикнул в пролет, несколько раз подряд:

— Гульда! Гульда! Подожди! Вернись!

Она ни на секунду не приостановилась, и я услышал, как взывала уличная дверь, брошенная ею сразбега.

Вечером, уходя в театр, я столкнулся в передней с посыльным. Он снял красный картуз и подал мне письмо. Я сразу узнал почерк. У меня упало сердце. Гульда писала: «Ты обманул меня, обманул! Ты вовсе не поэт. Ты хорист! Это безвкусно. Оставь меня навсегда. Я ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя!»

Не помню, как я добрал до театра.

VI

Всю жизнь я любил живопись, и хоть не сделался художником, но всегда пробуждал к себе доверие живописцев. Просто у меня получался с ними разговор. С Шером я был приятелем.

В Дрезденской галлерее он часто работал рядом с одним старичком, который славился своими копиями и будто бы разбогател на них. Раз он сказал Шеру: «Вы мне нравитесь, и я хочу поделиться с вами своим секретом, потому что, наверно, скоро умру, а у меня нет друзей». Так и случилось. Он открыл Шеру два рецепта лаков, сказал, как надо обрабатывать копии, а сам незадолго до войны отдал богу душу.

Шер был уверен, что тоже разбогател бы, если бы не война.

— Лучше бы старичок оставил вам свои деньжонки.

— Деньги на свете водятся. А кто теперь умеет делать такие копии, чтобы они казались лет двухсот?

И, правда, копии Шера были необыкновенно похожи на старинные, — вплоть до странного подобия трещин на поверхности лака и очень глубоких тонов, как будто потемневших от времени. В процессе письма краски шеровских холстов казались вымоченными в молоке. Соблюдалось только соотношение цветов, но они словно обескровливались, выгорали. Потом холст сохнул. Первая обработка лаком сразу усиливала все цвета, вызывая к жизни, из небытия, нужный колорит. И снова холст стоял лицом к стене, пока не приходил срок и Шер не покрывал его вторым лаком. Тогда наступало чудесное превращение копии в старинную картину со смутными, словно «записанными», местами и даже немного таинственную, как всякая старина.

Дочка шеровской хозяйки — Вильма — синеглазая, белокурая, освященная традицией Гретхен, чаруясь картиной, точно в музее, лепетала:

— Как это возможно, как возможно?

Шер прикованно глядел на Вильму, мечтая урвать от своей картины хоть часть успеха. Но Вильма уверяла, что ее не трогает ничего, кроме искусства...

Один коммерсант, который заработал на остроумном гречичном суррогате колбасы, анализированном и одобренном для продажи нашим химиком, купив виллу павшего на войне майора, вздумал декорировать жилище старой живописью. Шер повесил ему в столовую Рубенса и начал сватать Рембрандта, но коммерсанту кто-то шепнул, что следует интересоваться экспрессионизмом, потому что за ним — будущее, и он отказался от Рембрандта и стал жалеть, что купил Рубенса. Тогда Шер вмиг скопировал рисунок Кокошки и предложил его меценату, после чего тот в полном смятении отступил от изобразительных искусств вообще.

Нет, живопись была слишком неверным хлебом!

— Обопремся на театр, — сказал Шер, стараясь как можно шире шагать коротенькими ножками и гордо поворачивая большую голову.

Осенью, после закрытия Зеленого театра, он поступил в городской, и мы стали работать вместе. У него не было голоса.

— Не важно, — говорил он, — важно, что я — единица.

Театр репетировал одну пьесу за другой. Разучив кое-как партии и хоры, труппа перебиралась на сцену.

Реквизитор приносил дюжину стульев, и маленький Генрион, по-режиссерски озабоченный, быстро расставлял их на сцене, приговаривая возле каждого стула:

— Дверь. Диван. Окно. Арка. Ступени в сад. Канapé. Правое окно.

Он хлопал в ладошки.

— Начали!

Он сам ставил танцы, одинаково легко показывая немудреные па женщинам и мужчинам, диктаторски повелевал музыкальными темпами, изредка прикрывая на несчастного Зейферта, который бубнил на рояле, повесив нос. Генриону повиновались все, иногда со слезами. Хористкам он говорил тихим голосом, чуть двигая губами:

— Вы, фрейлейн, очень изящны. Представьте, что королева поднялась на задние ноги, в одной передней держит букет левкоев, а другой посылает вам

воздушные поцелуи. Совершенно такое же впечатление получится у зрителя, когда он будет глядеть, как вы шевелите своим задом и раскорячиваете локти. Может, вы посмотрите на меня, — что от вас требуется?

Он брал за руку первую подвернувшуюся актрису и, приседая, направлялся к рампе.

Если хористка начинала плакать, Генрион обращался то к одному, то к другому актеру, как можно громче прося:

— Ты не знаешь, чего это льется вон из той полоскательницы?

Мягкосердечная Лисси подбегала к нему и с выражением ужаса и отвращения, но так, чтобы не слышал хор, говорила:

— Послушай, ты, верблюд! Перестань ее мучить, она сегодня не может, она больна, у нее...

Лисси приподнималась на цыпочки и шептала ему в ухо. Он шарахался от нее и кричал на всю сцену:

— Оставь, пожалуйста! Что я буду делать, если она захворает на премьеру?

Его вдруг взрывало. Обычно на репетициях он не пел в полный, хотя и крошечный, свой голос, а только мурлыкал. Это называлось — маркировать. А тут он переставал щадить связки, и его тенорок дребезжал меж кулис, выпархивая в черный, бездонный зрительный зал и, словно в испуге, возвращаясь назад:

— Вы, конечно, ночью спите, а? Вы придете домой после репетиции и опять вытянете на софе ножки, а? А кто придумывает мизансцены? Кто подбирает декорации? Кто делает купюры в ваших ролях? А я не могу сказать ни одного слова, — вас, понимаете ли, душил оскорбленная гордость! Я должен подтирать за вами слезы! Подите вы ко всем чертям! Режиссируйте, если умеете, сами!

Он несся к себе в уборную.

Его уговаривали, он возвращался, и все шло опять своим чередом.

Он бывал почтителен только с Брейгом, но и то не всегда.

Мы репетировали «Das Dreimäderlhaus» — веселую и чувствительную пьесу, составленную из музыки Шуберта

и эпизодов одного австрийского романа. Пьеса эта необыкновенно прославилась, потому что в ней было все, чтобы понравиться публике, которая за три акта успевала поплакать, взгрустнуть и насмехаться вволю, поглазеть на костюмы в стиле Бидермайера (старой Вены, как у нас говорились), отдаться сердечности шубертовских песен. Он сам — Франц Шуберт — был главным действующим лицом представления, пьеса была о нем, о его личной судьбе, и его проникновенную роль играл первый певец — Брейг. Все сочеталось в Брейге для образа Шуберта — сходство лица, рост, казалось — естественные манеры, застенчивая улыбка и чарующий венский диалект, и чувство венских мелодий, и нечто неуловимое, как видно, трагическое в его одинокой жизни за стенами театра. Он радовался своей партии, пел с увлечением; даже под ролью.

И вот, громко распевая, он должен был обнять Лисси, игравшую главную женскую роль. Он стал приближаться к актрисе, чуть останавливаясь после каждого шага, как требовала театральная rutina, заменявшая нам вкус, медленно поднимая руки, протягивая и раскрывая их, чтобы обнять любимую. Но он по двигался, он шел мимо нее, совсем мимо, куда-то в сторону, в глубину сцены, заворачивая все больше, и это становилось все непонятнее и страшнее. Лисси попробовала помочь беде, подвинулась к нему, хотя, по ее роли, ей следовало бы боязливо отступить от него, а он уже ловил рядом с нею воздух, раскрывая и замыкая жалкие объятия.

Тогда Генрион гаркнул изо всех сил, чтобы перекрыть его пенье и гул пролая:

— Держите лево, любовник, лево!

Всех, кто был на сцене и за кулисами, взорвало смехом, а Брейг застыл с протянутыми руками, как уличный слепец. Потом его руки опустились. Он повернулся к Генриону. Все притихли. Он сказал негромко:

— Благодарю вас, господин режиссер.

И Генрион вдруг объявил перерыв.

В реквизиторской, где постоянно, как в клубе, толклись актеры, в отсутствие Брейга и Генриона начались пересуды — кто прав. Шуберт ведь тоже был слеп, — решили одни; не настолько, — смеялись другие, — чтобы обнимать вместо возлюбленной посторонние предметы.

Шер применил на этот раз в театре свою настоящую профессию. У него всегда водились по карманам карандашные огрызки, уголь, мелки. Его соблавила чистая беленая стена, случайно высвобожденная из-под диванов и кушеток, расплзшихся по углам реквизиторской. Шер дал себе волю, и на стене появился Брейг, нащупывающий в пространстве бедняжку Лисси, которая стоит у него за спиной и в страшном перепуге тянет его за рукав.

Карикатура всем понравилась, над ней хохотали, особенно — Лисси. Тогда Шер нарисовал на стене Лисси, и снова все принялись хохотать, особенно — фон-Сезмон, а Лисси сказала, что карикатура неудачна, и ушла. Шер нарисовал тогда фон-Сезмон, и смех поднялся еще веселее, особенно хохотал пришедший Генрион, а фон-Сезмон, передернув плечами, ушла. После этого Шер посягнул на самого Генриона, и все надорвались от хохота, а режиссер, полушутя, погрозил пальцем перед носом Шера и тоже ушел. И так понемногу все уходило, и смех утихал, утихал, а стена заполнялась карикатурами, и, наконец, пришел Брейг.

Он подошел к Шеру, величаво улыбаясь, и сказал:

— Говорят, вы нарисовали на меня карикатуру. Где она, покажите.

Шер робко подвел его к стене.

Брейг поправил очки и стал водить свое лицо по контурам рисунка, как будто выбирая место на стене, чтобы приложиться губами. Потом он долго смеялся, отдаляясь от стены и приближаясь к ней. Потом он повернулся к Шеру, взял его руку, с усилием всмотрелся в его лицо.

— Вы — талантливый человек, я рад, что знаю вас, — сказал он и еще засмеялся, натуго сжав морщинистые веки.

VII

В этой пьесе я исполнял свою первую роль — седельного мастера, жениха одной из трех сестер, вокруг которых вертится действие. Мое имя напечатали в программе, хор вдруг опустился ниже меня на крутую ступень. Стоя за кулисами, в ожидании реплики, ощущая локтем руку помощника режиссера, напутственно подталкивавшего актеров и актрис в момент выхода на сцену, я с каждым разом приятнее чувствовал, как мое волнение становится сладкой привычкой. Пьеса проходила с аншлагом, по праздникам давалось два спектакля, публика блаженствовала, директор источал добро, и днем, и ночью улыбаясь.

Конечно, успех не мог сравниться с Веней. Там, в прославленном театре, эта оперетта не сходила со сцены второй год, и изнуренная труппа, отчаявшись, подала на антрепризу в суд, требуя расторжения контрактов. Мы дисквалифицируемся, мы становимся грамофонами, мы теряем актерский, мы теряем человеческий образ, мы молим о пощаде, — взывали артисты. Но венцы только и хотели бы всю жизнь слушать одну эту оперетту, и суд решил в пользу антрепренера: извольте петь и плясать, господа комедианты, коли вам платят деньги!

Я тоже пел и приплясывал, и тоже начинал уставать, но моя усталость была отходчивой — мне льстило, что я устаю, и во мне, как молодые дрожжи, пузырилась и занималась еще несмелая гордыня актера. Но я боялся показаться смешным и предпочитал грустные позы.

— Ты, обезьяна, — сказала мне однажды Лисси, — гордись в открытую, будет лучше дело. Ведь все кругом видят, что ты сам не ожидал таких феерических побед... Или, может, ты и взаправду печален?

Это было на репетиции, в перерыв. Мы находились в уборной Лисси. Дневной свет обличал дешевку развешанных по стенам голубых кринолинов. Лисси штопала шелковый чулок, насучив его на деревянный гриб. Сидя на гримиро-

вальном столе, она болтала ногами, я стоял подле нее.

— Печален взаправду, — ответил я.

— Она ушла от тебя?

— Она ушла.

— Ах, ты. Это грустно. Если она презирует актеров, значит она с дурью. Обезьянничает с аристократов.

Лисси вздохнула.

— Ну, что же, поцелуй меня, тебе станет легче.

Она обняла меня рукою в чулке, я подвинулся к ней. Она целовалась серьезно. Ее нос показался мне крошечным — так хорошо она им управляла. Она больно задела деревянным грибом меня за ухо и долго повторяла:

— О, прости, о, прости..

— Но, может быть, она еще вернется? — спросила она, растягивая чулок на грибе.

— Может быть, вернется.

— Тогда какого же чорта я здесь тебя утешаю!..

Она сердито отшатнулась от меня и так быстро принялась действовать иглой, что я испугался.

— Ты должен быть счастлив, что она бросила тебя, иначе твоя история кончилась бы тем же, чем кончились похождения Шера.

Едва стерпимое слово «бросила» причинило мне боль, я спросил совсем тихо:

— А разве что-нибудь случилось с Шером?

Она спрыгнула со стола, кинула прочь чулок, запустила пальцы в свою растеребленную прическу.

— Неужели он тебе ничего не сказал? Ты видел его?

— Нет.

— Ну, значит, он уже сидит!

— Где сидит?

— За проволокой! В лагере! Боже мой, ты ничего не соображаешь! Слушай. Знаешь Вильму? Ну, еще такая гусыня, с голубыми глазами, — дочка его хозяйки. Так вот, ее видели с Шером. Ну, кто видел! — не все ли равно? Кому надо. И, понимаешь, Шера вдруг приглашает секретарь полиции, закатывает спектакль и сажает бедняжку в лагерь на месяц. Послушай, не переби-

вай! Шер сам не свой прилепился к нашему старику, ну да, к директору, и тот звонит в полицию: помилуйте, господа, — у меня сейчас идут сплошь хорошие, ансамблевые вещи, я дорожу каждым человеком, а вы отбираете у меня хориста. Нельзя ли что-нибудь сделать? Я сама слышала весь разговор. Ей-богу. У старика в полиции есть знакомый децармент, у него еще постоянное место во втором ряду, наши девочки говорят — инспектор коленок. Так вот он сжалился над стариком и сократил Шеру арест до недели. Пусть, говорит, этот ваш господин художник довольствуется тем, что ему можно обниматься с хористками на сцене, а волочиться за немецкими девушками всерьез мы не допустим, нет! В нас еще не угас патриотизм, нет!..

Я был подавлен рассказом Лисси, а ей доставляло удовольствие, что я страдаю.

— Ну, если Шер сидит, — сказал я вдруг с отчаянием, — то я завидую ему, как хочешь!

— Ты рехнулся!

— Нет, я не рехнулся. Мне тоже не миновать лагеря, потому что у меня тоже не угас патриотизм. Я слышал, в день рождения кайзера вся труппа должна петь перед спектаклем немецкий гимн. Верно? Так я заявлю директору, что не собираюсь участвовать в вашей демонстрации.

— Осел, — проговорила Лисси мрачно. — Забываешь, где находишься. Раз ты служишь — должен служить. Нас ведь не спрашивают — хотим мы петь, или нет. Когда я пела у вас, мне тоже приходилось всякое. Я ведь исколесила всю вашу святую матушку Россию — где я не была? О, знаешь: извош-тчик! Чудесно! И вот в рижском театре в тейзоменитство вашего Николая мы должны были петь русский гимн. У нас в труппе были сплошь немцы, никто не знал ни звука по-русски. Тогда директор расставил нас так: в первый ряд — русских наряженных в камзолы церковных певчих, а всех актеров — позади. На спины певчим прикололи ноты со словами гимна, латинскими буквами. Мы хотели до никоты. Но

пришло время — по всем правилам спели ваше «Поше, сар'я краны».

Жуткие звуки неизвестного языка развеселили нас.

— Так или иначе, — сказал я, — лагерь дожидается меня: если я соглашусь пропеть ваш гимн, меня посадят за то, что я с тобой целовался.

— О, со мной можно, я — певичка.

Она приласкала меня с материнским готовым участием, опять впрыгнув на стол, не забывая штопать чулок. Я ушел.

В гардеробной, где подбирались костюмы к очередной оперетке, мирно примерял котурны Шер. Я взглянул на него в ужасе. Он выпрямился, скрипя заржавленными ходулями, и со своей зыбкой высоты, медленно подымая на меня длань, замогильнодохнул:

— Смертный! Перед тобою потревоженная тень художника.

— Слезьте, к чорту!

Я расспросил, как было дело. Лисси ни капельки не соврала: он должен был садиться на неделю в лагерь.

С трудом опустившись на кучу разнокалиберных стоптанных башмаков, Шер, усмехаясь, пожаловался мне на судьбу. Внезапно он приуныл.

— Что — лагерь, — сказал он, — помните Ярошенко? «Всюду жизнь»... Обидно другое. Я не при чем в этой истории. Вильму не могли видеть со мной: ни разу она не исполнила ни одной моей просьбы.

Он сидел, повесив нос, стаскивая с маленьких ног котурны.

— Она ходит с другим. Я готов в любой лагерь, лишь бы сбылось то, в чем меня обвиняют. Странные женщины: этот ее ухажер, которого приняли за меня, невероятно смешон и, по-моему, просто несимпатичный...

В коридорах задрезбужали звонки, созывавшие на продолжение репетиции. Я пожал Шеру руку.

Где-то в холодной щели декораций, в закулисном полумраке, я налетел на директора, ткнувшись в его пружинивший живот.

— Э-э-э! — сказал директор, когда разглядел и узнал меня. — Э-э! Вы мне нужны. Мы будем ставить оперу «Мар-

та». Я решил дать вам партию лорда Тристана. Басовая партия, очень комичная. А?

Все еще ощущая упругий удар директорского живота, я промычал нечто вроде того, что у меня нет выучки и я сомневаюсь.

— Мы вам поможем. Если не справитесь, партию возьму я. Если у вас получится — я буду вашим дублером. Завтра вам дадут клавиры.

Он слегка пощелкал пальцами по моей спине, что отдаленно могло означать поощряющее обаяние. Я собирался возразить, но он не дал мне:

— И потом я хотел сказать: я вас освобождаю от участия в «Апофеозе немецкой победы». Вы можете не петь гимна...

Он исчез за декорациями.

«Лисси, — тепло подумал я, — бескорыстное сердце».

VIII

Музыка «Ричмондского рынка», или «Марты», нехитра. Между двух незыблемых рубежей — романтической народной оперой и композиторскими способностями Фридриха фон-Флотова — порхают ее дуэты, трио, квинтеты, ее веселые хоры. Для меня она была трудна, потому что я понятия не имел о пении. Партию разучивал со мною капельмейстер Зейферт, помогая себе и мне локтями, коленями — чем только мог. Несчастный и во сне не видывал, что ему надо будет дирижировать оперой. Наконец, дошло до сцены. Директор, взявший режиссуру, начал учить меня поворачиваться, ставить ноги, делать придворные поклоны. Моя партнерша, почти шестидесятилетняя обладательница колоратурного сопрано, выдавшая пышные виды и «в качестве гостя» извлеченная из состояния анабиоза на роль леди Герриэт — Марты, тоже трудилась над моим образованием, в своей же партии искусно восполняла былой школой все то, что у нее отняло время.

На оркестровых репетициях стало очевидно, что капельмейстеру не суждено повелевать стихиями. У него просто не

хватало органов тела, чтобы уследить за всеми неисчислимыми подвохами партитуры.

Тогда, ко всеобщему торжеству и безудержному восхищению женской половины труппы, в результате дипломатического обмена депешами, из большого города, с театром побогаче нашего, был призван Рихард Кваст.

Он появился в покоряющем сиянии победителя, чуть под хмельком, перецеловался с актрисами, хохоча, распахал, кому пришлось, дюжину анекдотов и совершенно всех умилил тем, что будто бы в жизни не слышивал оперы, которой приехал дирижировать.

— Детки мои, хотите — верьте, хотите — нет, но я, вот видите, вот эта партитура вашей «Марты», я взял ее вчера в поезд, чтобы, понимаете ли, хоть понюхать, чем это там такое заправлено. И что же вы думаете? В мое купе залезает обер-лейтенант, с которым мы вместе драпали после Марны. Он тогда был еще лейтенантом. Ну, понимаете, — выслужился, железный крест и все прочее. Так мы, без передышки, всю дорогу двигали по коньяку, ей-богу! Я этой самой партитуры так и не раскрыл.

Если он врал, то на-зависть хорошо. Все были милы ему, и он был мил.

Я не видался с ним до самой репетиции, на которой он сел за пульт. Оркестр с облегчением поддался его руке, и актеры пели в полную силу, точно бенефицианты.

Трое придворных лакеев оповещают о появлении лорда Тристана Майклфорта у леди Герриэт. Такую расточительность театр не мог себе позволить, и миссию троих у нас выполнял один. Он выкрикивал по очереди басовую, баритонную, теноровую фразы, затем медные в оркестре выдували коду, и под их звон лорд церемониально выходил на сцену.

Рихард Кваст, подавая вступление лорду, вдруг узнал в нем меня, дрогнул и сполз со стула. Пока я пел, он, дирижируя, все протирали глаза.

— Сын человеческий, — воскликнул он в перерыве, трясая мне руки, — если бы на меня двинулись со сцены декорации, я удивился бы меньше! Весело вам тут живется, если вы пошли в актеры.

Он засмеялся саркастически, притянул к себе мою голову и сказал на ухо:

— Но это много лучше, чем окопы, даю вам честное слово! Мне рассказывал один обер-лейтенант — русские солдаты сыты по уши и больше не хотят воевать. Когда наши тоже поймут, что эта богом треклятая война — дерьмо, мы покончим с ней, вот увидите!

«Все на свете приходит к концу, — с надеждой подумал я, — однако, пока надо петь».

В день спектакля я повторил всю партию под рояль и, довольный, вознаградив свои труды доброй кружкой пива. Это было в полдень. Через час от моего голоса не осталось следа. Я не сразу понял это. Да это и не поддавалось никакому разумению. Вечером должна была состояться премьера, ничто в мире не могло ей помешать. Я должен был петь. А из моего горла вытекали самые убогие хрипы и свисты.

Я бросился к леди Герриэт. Она жарила на газовой горелке жолуди для изготовления военно-экономического кофе, в комнате пахло паленым, над окнами в клетках заливались канарейки, старый мопс приветственно обмусолил мои руки. Леди Герриэт тотчас запретила мне говорить и дала неизвестных пахучих капель, рецепт которых ее муж в молодости получил от Карузо. Кроме того, необходимо было немедленно выпить сырой яичный желток, и так как леди уже целый год не кушала яиц, я отправился на поиски.

Я бегал из магазина в магазин. Всюду на меня смотрели, как на умалишенного, и робко предлагали яичный суррогат в порошок, безукоризненно заменяющий яйца. Я знал эти штучки нашего химика, но мне ничего не оставалось. Уже с порошками в кармане, я вспомнил Лисси и помчался к ней.

У нее обнаружился знакомый, развопивший кур.

— Дело к зиме, — сказал я в отчаянии, — вряд ли теперь несутся куры.

Но ее окрыляла надежда, потому что куры были какие-то породистые, и надо было только скорее слетать к куроводу.

Я очутился один и лег на диван. До спектакля оставалось часа четыре. Я

зажал лицо руками. Если не поможет какое-нибудь чудо, — решил я, — все кончено. Я боязливо попробовал взять ля. Мое горло было подменено какой-то дудкой с хроническим ларингитом. Похолодевший, я дожидался возвращения Лисси.

Она скоро пришла. Я вскочил ей навстречу. Породистые куры, оказалось, давно прекратили носку. Однако куровод дал Лисси записку к знакомой сестре милосердия в офицерский госпиталь. По его мнению, офицеры питались одними яйцами. Я опять повалился на диван.

— Осторожно! — закричала Лисси, — у тебя в кармане яичные порошки! Не раздави!

У меня немного отлегло от сердца. Мы пошли разыскивать сестру милосердия. Она обошлась с нами отзывчиво, после того как Лисси обещала ей контрамарку в театр. Она жила при госпитале, и тут же отправилась на кухню. Как видно, получить яйцо было не легко, потому что мы томились целых полчаса. Вручая Лисси яйцо, сестра сказала, что у нее есть племянник, молодой человек, скоро отправляющийся на фронт, — большой поклонник оперетты. Лисси пообещала контрамарку и для племянника.

Мы тут же занялись священнодействием лечения. Нам были предоставлены два блюда, в одно из которых мы слили белок, в другое — желток. Красноватый, блестящий глаз желтка скользко скатился с блюда ко мне в рот. Лисси и сестра внимательно смотрели, как я глотал.

— Не торопись, — сказала Лисси.

Потом она выпила белок — чтобы не пропал — и, сморщившись, велела мне попробовать голос. Не прекословя, я исполнил требование. Ничего не переменилось, словно и не было никакого яйца. Мы посидели в безмолвии.

— Ясно, — сказала Лисси, — такие истории с голосом иногда тянутся неделями. Надо идти к директору — заявить, что ты не можешь петь.

Я давно был готов к этому. По дороге мне встретился Брейг с пачкою книг подмышкой. Я остановил его, чтобы

хоть немного передохнуть, прежде чем ступить на порог к директору. Он взял меня под руку и, подталкивая вперед, словно возлагая на меня выбор пути, сказал:

— Когда пройдет ваша молодость, когда вы убедитесь, что уже все достигнуто в вашей неповторимой жизни, вы будете искать друга. И, знаете, его будет нелегко найти. Человек, доживающий свои дни, часто обременителен и всегда скучен. Даже если ему оказывают почет, то это почет его прошлому. Лишь сами вы будете любить себя до конца своих дней. И лишь один вечный друг останется к вам неизменен: это — книга.

Он вытянул из-подмышки и подержал предо мною, точно взвешивая, перекрещенную шнурком пачку книг.

— Эгоизм—это священное чувство—уважается только книгой: она дает человеку право думать о ней свободно, по его произволу. Я ведь вам говорил, что моя настольная книга — «Единственный» Штирнера. У меня сегодня праздник: я достал издание «Единственного», напечатанное очень крупным шрифтом, для слепых.³ Я смогу его читать сам, с увеличительным стеклом.

Я взглянул на Брейга. Глаза его с помутневшими темными зрачками, слезившиеся и сощуренные, показались мне раскосыми. Но я не почувствовал к нему сострадания. Я считал, что он должен жалеть меня, и мне захотелось оборвать его напыщенные речи.

— Сегодня вы открываете заглавную страницу вашей молодой жизни, — продолжал Брейг.

— Никакой страницы я не открываю, — перебил я его. — Разве вы не слышите — что со мной?

— Хрипота? Вы поете вашу первую партию? Так чего же вы бегаєте по городу? Ах, молодость! Ступайте домой, ложитесь в постель. Два часа хорошего сна и — вот вам моя рука старого венского певца, который, наверно, скоро пропоет свою последнюю партию, — вот эта рука: перед выходом на сцену к вам вернется голос, и вы прекрасно споете спектакль. Ваша болезнь называется рамповой лихорадкой. Огни сцены, сия-

ние ramпы, таящее за собою загадку зрителя, — у меня до сих пор замирает душа, когда я жду своего выхода. А, впрочем, может быть, мне уже пора потерять в себя веру? Идите спать. Спать!

Я послушался и с удивившим меня внезапным легкомыслием повернул домой. Все мои страхи сменились одним — что я не засну, но, едва я улегся, на меня надвинулось, точно чугунный каток, забытье, и я очнулся всего за четверть часа до начала спектакля. Я был так испуган, что даже не попробовал голоса, и со всех ног полетел в театр. Мой выход был в начале первого акта, а мне предстояло замысловатое переодевание и кропотливый грим.

Гардеробье, насупленный и отечески ворчливый, не вынимая из зубов вечных булавок, похожих на нижний ярус седой щетины усов, наскоро вдел меня в огромный тряпичный живот, и я стал похож на паука. Пока завязывались на спине шнурки жилета, на коленях — банты шелковых панталон, пока застегивались золоченые пряжки туфель, надевался и кое-где подкалывался шитый блестками и стеклярусом кафтан, я отдышался, откашлялся и в страхе попробовал голос.

— Как вы находите, господин Краузе? — спросил я безразлично.

— Н-ну! — ответил гардеробье, не разжимая зубов и шевеля булавочными усами. — В уборных все вы поете лучше, чем на сцене.

Значит, я все-таки пел! Да и не голос как будто полошил меня в это мгновение: меня звал к себе директор, чтобы посмотреть, каков я в гриме, а я еще только мчался по коридорам к парикмахеру.

К счастью, наш театр не хотел отличаться от столичного и премьеру начинал с опозданием: директор разгоряченно поправлял бутафорские мелочи на сцене, его гений искрился, он, точно живописец, отбегал к рамие и разглядывал декорации, накреняя голову то вправо, то влево, потом прытко поворачивался, припадал к круглому таинственно-черному глазку в зеркале и с волнением обозревал освещенные ложи и кресла.

Ожидали обер-бюргермейстера, любившего приезжать с фронта, чтобы отдохнуть от окопов и похвастать разными геройскими делами с французами. Ожидали штадтратов с супругами. Ожидали прессу, и тут директор должен был фиксировать три знакомых точки зала: во втором ряду партера, с краю, где чернел бородастый издатель официальных «Ведомостей», писавший у себя в газете, что «наш славный храм Мельпомены не случайно приобрел европейское значение»; затем — в первом ряду балкона, в центре, откуда скептически наводил бинокль рецензент влиятельного либерального утреннего листка, подписывавшийся угрожающе — рр; наконец — в амфитеатре, в сумраке которого сливался с авангардом массового зрителя редактор социал-демократического органа, подозреваемого в смертных грехах против патриотизма, семейного очага, военного сословия, святой церкви, добрых нравов, но зато поддерживавшего театральное искусство, особенно, если оно преподносилось за пониженные цены.

Все это общество расселось по местам лишь к тому времени, когда директор одобрил мои напудренные букли, мой тэн и густокрасные морщины, мои наклеенные брови и мушки на щеке и подбородке. Пока я вслушивался в кипучую увертюру с гулом литавр и свистом флейт, я заметил незнакомое и неловкое ощущение — как будто меня быстро окутывали в мокрую холодную простыню и потом вдруг просушивали дуновением накаленного воздуха. Я сначала решил, что это — от сквозняков, гулявших за кулисами, но, нагибаясь, чтобы через паучий свой живот оглядеть костюм, я обнаружил, что великолепные банты панталон трясутся и что я не могу остановить совершенно явного дрожания колен. Меня колотила та самая рамповая лихорадка, о которой говорил Брейг, и я был бессилен с ней справиться. Я переступал с ноги на ногу, я то сжимал, то разжимал колени, а они дрожали все сильнее, и со стороны, наверно, можно было подумать, что я пускаюсь в пляс. Я ужаснулся и облился потом. Леди Герриэт со своей

наперсницей Нэнси кончали дуэт, помощник режиссера вытолкнул на сцену придворного лакея и мягко тронул меня за локоть. Как лошадь, узнающая голос конюха, я глотал такты, предвещавшие мой выход. Никакая власть в мире уже не могла бы остановить меня. Я двинулся, чувствуя, что ноги сейчас подкосятся.

Я был на сцене. Отвешивая леди церемониальные поклоны, я в страхе взглянул на свои колени. Банты тряслись. В огнедышащем свечении рампы и софитов их трепет был еще заметнее. Стараясь замаскировать его, я проявлял подвижность, не в меру своей толщине, неподобающе своим титулам и званиям. Мне было ясно, что я проваливаю роль, и я был бы счастлив на самом деле провалиться сквозь сцену.

Но я пел. Леди Герриэт и Нэнси перебивали меня, как полагалось по партитуре, глумились, насмехались надо мною, и понемногу мой выход подошел к концу. За кулисами я вдруг сообразил, что у меня восстановился голос, и тогда обнаружил, что ноги держат меня вполне прилично и что ко мне быстро возвращается потерянный кураж.

Третье отделение оперы оканчивается тем, что лорд Тристан, выпрыгнув из окна, уговаривает бежать леди Герриэт и Нэнси, распевая с ними по этому случаю кокетливое трио.

Когда опустился и снова поднялся занавес и, взявшись за руки, все трое мы подошли к рампе раскланяться перед публикой, из-за боковых декораций вынырнул реквизитор с букетом красных роз и преподнес его мне. Нэнси, которую пела фон-Сезмон, и леди Герриэт любезно отступили, сделав вид, что выдвигают меня вперед. Я не сразу взял в толк, что произошло. Особенно меня смутил реквизитор: обычно я получал из его рук бумажные или полотняные цветы и вообще всякую подделку, а тут он подsunул настоящие, живые розы. На повторные вызовы я вышел с букетом, и мои партнерши подталкивали меня вперед с совершенно оборотительным самопожертвованием.

Но за кулисами фон-Сезмон неожиданно прошипела:

— Сколько вы заплатили за эти чудесные цветы?

Ее тон ошеломил меня, и я оперся об косяк. Надменная, она прошла мимо, высоко подбирая взбитые, воланчатые юбки.

Тогда ко мне подошел Генрион, певший судью, и, поправляя парики (на нем было три парика: во-первых, своя постоянная накладка с проборчиком, затем — парик-лысина, который должны были обнажить в сцене базара крестьянки, ставив с судьи верхний, третий, парик-букли), — налаживая все это сооружение, Генрион подмигнул и показал на цветы.

— Ну, что? Этот красный веник, наверно, от твоих земляков? Скажи им, что они забываются. Это у вас в России случилась революция, а у нас пока все на месте.

— Пока на месте, — сказал я, поворачиваясь и уходя.

— Что такое? — крикнул Генрион. — Что ты сказал?

— Я говорю — я не знаю, от кого эти цветы.

— Смотри!

Я ушел в уборную. В глазах хористов мелькало что-то смешанное — подозрение, неудовольствие, усмешка.

Я перебирал в уме — кого можно было бы заподозрить в желании польстить мне или раздосадовать меня, или подшутить надо мной. Неожиданно что-то уверенное и счастливое протелело через мое сердце: никто во всем городе, никто в целом мире, никто, кроме Гульды! Я пересмотрел весь букет, каждый цветок — ни письма, ни записки, никакого знака или намека. Так я убедился, что цветы — от нее.

В финале, во время бурного квинтета, прямо против меня, в ложе, я увидел ее. Я узнал ее сразу, по худой и такой особенной неслаженной руке, по одному сгибу руки, державшей бинокль, по наклону головы на тонкой и удлинённой шее. Лицо ее находилось в тени, и я не мог долго вглядываться в него, но нечего было уверять себя дольше: это была Гульда.

Я насилу дождался занавеса. Мне надо было переодеться, снимать грим, а

за это время, как ни длинны были бы очереди у театральных вешалок, публика, конечно, должна была разойтись. Я торопился больше, чем перед началом спектакля. Вылетев из театра и подбежав к главному подъезду, я увидел только отдельные исчезающие в полумраке фигуры. Я остановился. В тот же миг открылась крайняя дверь, и вышла Гульда. Я узнал бы ее в кромешной тьме. Я понял, что она стояла за дверью, глядя на улицу через стекло. Я бросился к ней. Она пошла быстро, почти бегом.

— Мы помирились, да? — говорил я тихо, шагая следом за нею. — Ответь, скорее ответь. Я не могу больше ждать. Я не могу без тебя!

— Ты с ума сошел, — быстро сказала она, — нас увидят!

Я только приподнял воротник пальто.

— Все равно.

Она повернула в переулок. Я крепко взял ее под руку.

— Милая, милая.

Она все время молчала. Ничуть не уменьшая шага, мы носились по глухим улицам, в темноте. Небольшая площадь с киркою показалась нам особенно надежной по безлюдью. Мы долго ходили вокруг кирки, посередине площади.

— Все равно, — изредка повторял я.

Потом я вспомнил ресторан, у которого был глухой черный вход из узенького, как трещина, проулка.

— Все равно, — наконец, легко сказала Гульда.

Мы забрались в трещину, мимо пустых винных бочек проскользнули в низкую дверь и очутились в маленькой нише, отделенной от ресторана занавеской. Появился сухорукий хозяин, всепонимающе, гостеприимно улыбнулся и задернул здоровой рукой занавеску. Впрочем, ресторан был совсем пуст.

Мы уселись за дубовый намытый, выскобленный стол, на такие же дубовые, теплые скамьи. Мы взяли друг друга за руки. Я рассматривал каждую черточку лица Гульды беспamięтно и жадно. Она второй раз рождалась для меня, бесконечно знакомая и так удивительно новая. Улыбка, с которой она

отвечала мне взглядом, светилась и, наверно, освещала меня.

Так прошло много времени. Гульда закрыла мне глаза ладонью. Пальцы ее были горячи и костлявы.

— Надо что-нибудь заказать, — сказала она.

— Вина, — ответил я.

— Шампанского, — сказала она и тотчас повторила: — Шампанского! Давай разопьем с тобою ту бутылку, которую тебе проспорил наш химик!

— Две бутылки, — поправил я.

И, счастливые, мы хорошо засмеялись.

IX

Лагерь лежал близко от города. Он был обнесен колючей проволокой, и между нею и задними стенами бараков, без окон и дверей, ходили ландштурмисты.

В лагере содержались солдаты — русские и французы. Летом, во время вызревания хлеба, пленные предпринимали побег, в колосах можно было прятаться, а зерном, хотя бы и неспелым, — кормиться. Осенью начинались самоубийства. И летом, и осенью, во все времена года пленные мерли от голодного истощения. Позеленевшие, жеванные шинели висели на людях, как на вешалках. В больничных палатах для хроников случается больше оживления, чем бывало на лагерном дворе. Пленные двигались вдоль бараков серыми тенями. Лагерь был скопищем обреченных, которых власти утешали вечным и единственным припевом: «Вам тут хорошо, а каково-то нашим у вас, в Сибири?».

Почти каждый день в лагере бывали похороны. Магистрат отвел для пленных участок на окраине городского кладбища, подальше от мраморных надгробий с задумчивыми ангелами и с урнами. Сомкнутым солдатским строем разрастались там ряды черных деревянных крестов.

Общенье пленных с внешним миром каралось без пощады. За похоронами постоянно наблюдал караул ландштурма под начальством офицера. Обыватели не подпускались близко, но среди

них находились поклонники русских панихидных напевов, и на кладбище, поодаль от ландштурмистов, которые замыкали пленных, всегда собиралась кучка любителей пения. Утренняя газета посвятила хору пленных специальную статью, имевшую — из-за частого упоминания слов: Византия, ориент, ортодоксия — крайне научный вид, благосклонно отозвалась о голосах и о хоровом регенте по фамилии Баринов. Этого Баринова оставили в лагере только из эстетических соображений, потому что, если бы не хор, — его нашли бы годным для любых работ, статного, ширококостного, как грузчик, белолицего усача.

В солнечный день, проходя мимо кладбища, я загляделся на плющ, глухо укрывавший каменную ограду. Его темная, лоснившаяся, маслянистая листва, плотная и неподвижная, тяжело насыщенная влагою и густой краской, казалась мертвой, как металлические листья венков. Растение скорби, оно навевало тоску.

Вдруг я услышал гортанное пение хора в унисон. Оно изредка переходило в двухголосое и опять сливалось в один голос странного альтового тембра — режущий, словно кричащий от нестерпимой обиды. Пели за оградой. Я быстро дошел до ворот и, пробравшись проспектами из памятников до кладбища пленных, присоединился к немногим почтительным штатским ротозеям.

Происходило нечто торжественное. Пленные французы и русские выстроились под углом друг к другу. Между ними, внутри угла, стоял патер, против него, поодаль, — комендант лагеря и молодой офицер — начальник караула, опоясавшего все поле действия. В центре черных крестов возвышался, в рост человека, гранитный камень, заостренный сверху, декорированный зеленью снизу. Венок из плюща был прислонен к камню, и привязанная к венку германская черно-бело-красная лента клубилась на земле.

Патер глядел себе в ноги. Комендант лагеря — низенький майор — положил руки на эфес могучей сабли, и у него был такой вид, точно он был вынуж-

ден терпеть противное его воспитанию.

Французский хор пел по-латыни, обиженными высокими тенорами распиливая прозрачный воздух. Это было даже не пение, а какие-то свитые болью вопли, мерно бросаемые в солнечное, спокойное небо.

Когда французы кончили, их регент взглянул на Баринова, стоявшего против него, во главе русских. Баринов повернулся лицом к своим, поднес к губам камертон-дудочку, затем промурлыкал нужные тона и, строго растопырив локти, тряхнул головой. Началось многоголосое пение, иногда стихавшее до шопота, а то поднимавшееся до погребальных рыданий.

Я разглядывал бескровные лица пленных, стараясь что-нибудь угадать за их внешним больным безразличием. Неожиданно мне стало не по себе, как случается, когда чувствуешь чей-нибудь неотступный взгляд. Кто-то непременно должен был смотреть на меня, я озирался, но безрезультатно. Вдруг впереди хора я увидел низенького солдата с необычайно знакомым лицом. Я не сразу мог связать это лицо с солдатской шинелью, но потом в один миг узнал его и невольно шагнул вперед.

Шер стоял с басами, в сторонке от Баринова, подальше от его регентских мановений. Он не сводил глаз с меня, без самой маленькой перемены в лице, деревянный и важный.

Хор пел: «Ты еси бог сошедый во ад и узы окованных разрешиый». Я всмотрелся в движение шеровских губ. Он не знал ни слова из чужих для него песнопений, но ловко шевелил губами, как это выделявали хористы в опереттах, если не успевали вызубрить текст. Секрет сводился к верному угадыванию протяжных гласных, и когда это получалось, тогда надо было брать реванш за невнятное вышлепыванье губами согласных и неударных и уж тянуть во-всю. Мне стало смешно и противно. Шинель была Шеру не по росту. Вшитая в левый рукав малиновая полоска — отличительный знак пленного — приходилась у него ниже локтя, пальцы чуть виднелись из-под обшла-

гов, подбородок утопал в воротнике. «Ты еси дева чистая, непорочная» — пел хор. Нет! я больше не могу видеть Шера! Конечно, ему было все-равно — что петь. Если бы его посадили к пленным зуавам, он пел бы с зуавами, за здоровье или за упокой. Ему надо было вырваться из лагеря хоть на часок, вот и все. Кажется, я слышал его сердце, когда встречались наши глаза. Он ликовал, что, пустившись отпевать мертвецов, негаданно увидел меня — живого приятеля. Но мне было невыносимо его опереточное участие в панихиде, между черных крестов войны. Я отступил на шаг и стал так, чтобы не видеть его.

Когда панихиду пропели, комендант лагеря, не тронувшись с места, не шелохнувшись, чуть-чуть выпятил подбородок и произнес в тишине могил:

— Французские солдаты, русские солдаты, военнопленные! Комендатура лагеря открывает ныне этот памятник по вашим умершим землякам, чтобы вы еще раз убедились, как высокочеловечны военные обычаи народа, который вы, по преступному наущению ваших правительств, считаете своим врагом. Военнопленные! Мы возлагаем венок, украшенный нашими благородными национальными цветами, на могилы наших врагов, которые нашли покой, я бы сказал — гостеприимный покой, в нашей немецкой земле. Мы поступаем по слову господа нашего Иисуса, завещавшего прощать врагов. Мы прощаем наших врагов, которые спят вечным сном в этой земле. Конечно, мы знаем, что не все спящие здесь заслужили прощение. Среди них были такие, которые умерли со слепой ненавистью к нам, немцам. Но мы, немцы, хорошо знаем, кто ответственен за их ненависть...

Я опять взглянул на Шера. Он с умилением поднял взор к небу, как будто проповедь коменданта пробуждала в нем возвышенно-религиозные чувства, и сложил на животе руки, переплетя чуть видневшиеся из обшлагов кончики пальцев.

— Военнопленные,—продолжал майор, — вы страдаете от тоски по роди-

не, от некоторых, однако совершенно умеренных, неизбежных, разумных лишений. Но подумайте о страданиях наших дорогих братьев в знойных колониях Франции и в ледяных пустынях Сибири. Насколько же их страдания мучительнее, тяжелее и глубже ваших! Я бы сказал — их страдания невыносимы! Они подвергаются жестокостям, мучениям, они подвергаются пыткам. О, мы, немцы, ничего не простим своим мучителям! Наша карающая рука, после военной победы над врагами, настигнет всех виновников наших, немецких, страданий. Ни один волос, упавший с головы немецкого солдата, не останется не возмещенным сторицею. Берегитесь! — говорим мы нашим врагам. Капля немецкой крови, пролитая вами, может быть нами забыта, лишь растворившись в море вашей!..

Майор стоял попрежнему неподвижно, но теперь уже не только подбородок, а все лицо его, пятнисто-розовое, выпятилось вперед, точно отслоившись от туловища. Он как будто был составлен из двух человек: один — с неистовым лицом — выкрикивал каменные слова, другой — положивший руки на эфес сабли — почтительно слушал его.

Во время этих выкриков начальник караула незаметно подозвал к себе фельдфебеля и отдал какой-то приказ. Медленно, далеко с тыла обходя русский хор, фельдфебель осматривал пленных взглядом профессионального дрессировщика людей. Он придерживал шашку, зажав ее в левой руке немного ниже эфеса. Вдруг, поровнявшись с Щером, он быстро ударил эфесом по его сцепленным рукам, разомкнув их силою удара.

Я видел, как вздрогнул и зажмурился Шер, как дернулись его руки вверх, к лицу, но фельдфебель рванул их книзу, и Шер уже стоял, вытянув руки, как требовалось — по швам, — и только из-под обшлагов шинели совсем не было видно его пальцев.

Пленные не шелохнулись, патер глядел себе в ноги, фельдфебель важно отошел на свое место, и майор гладко оканчивал речь:

— Вы хотите сократить свое пребы-

вание в плену и возвратиться скорее на родину? Это зависит от вас. Напишите к себе домой, как человечны немцы в обращении с вами, как они прощают своих врагов. Напишите, что мы непобедимы, что наши силы никогда не истощатся. Напишите, что сопротивление ваших войск бессмысленно, что, пока они еще не разгромлены окончательно, им следует скорее добиваться с Германией мира. Сделайте это, и вы скоро отправитесь из плена домой...

Майор смолк. Из французского хора выступил переводчик, стал читать речь по-французски.

Я последний раз взглянул на Шера. Он был бледен и, не мигая, смотрел в пространство, руки по швам.

Меня охватила холодная дрожь, от злобы или бессилия. Я пошел вон с кладбища, но по дороге, в усталости, сел на скамью... Старухи-уборщицы подметали дорожки, изредка перекидываясь двумя свечечками, останавливаясь, чтобы вздохнуть. Синицы уже начали кучиться и стайками прыгали с могил на полуголые деревья, исследуя всякие щели, скважины, дупла. Последние пряди паутины, расклеившись на решетках оград и сучьях тополей, нет-нет посеребрились солнцем.

Собиралась зима, новая, четвертая военная зима, а надежд на мир словно становилось меньше. Все происходящее было временно, — конечно, я хорошо понимал это. Но, как припадок, подкрадывалось иногда отчаяние, и я не ждал для себя никаких перемен. Мне все чудилось, что я непременно умру, что вот как-раз в самый канун какого-нибудь замечательного события, за день до объявления перемирия, я распрощаюсь с жизнью. Мне стыдно было бы признаться в этой мысли, но она ютилась во мне, и только в споре, в противоречии мне удавалось ее прогнать.

Странно, в эти минуты, когда Шер еще стоял у меня перед глазами — руки по швам, — я вспомнил все, что передумал за войну о справедливости, возмездии, о праве общества на человека — обо всех вещах, легких, как школьные задачки, и трудных, как жизнь и смерть. Я поднялся и ушел

под похоронное, едва доносившееся пение «Вечной памяти», подумав, что это слова Шер, наверно, знает, да вряд ли поет их сейчас — из-за боли.

Я решил зайти к Розенбергу, чтобы выговориться и отвести душу. Я постучал в его комнату, и он тотчас громко крикнул: «Да!» Я открыл дверь, но войти не мог: комнату будто перевернули потолком вниз, потрясли и опять поставили на пол. Ни одна вещь не лежала на своем месте — ящики комода и стола были выдвинуты, книги рассеяны по углам, печь отворена, зола из нее выгреблена, белье, башмаки, письма, чемоданы, газеты фантастически перемешались, матрац стойком прислонился к стене, на кровати валялись подушки в распоротых наволоках. Сам Розенберг, на корточках, посредине этих развалин подбирал бумаги.

— Шагайте прямо, — сказал он, — тут уже ничему повредить нельзя.

— Что случилось?

Он приподнялся и, перешагнув через хлам, сел на кровать.

— Они увезли с собой целую корзину книжек.

— Обыск?

— Погром, — ухмыльнулся он. — Но меня почтили: распорядился сам секретарь полиции.

— Что им понадобилось?

— Книжки, книжки, больше ничего. Антивоенные книжки.

— Но ведь им, должно быть, на руку, что вы против войны?

— С какой стороны, знаете ли...

Он занялся своим пенсне, протирая его платком и разгибая тугую пружину.

— Могли забрать и вас, — сказал я.

— Они еще поправят свое упущение.

— Но с чего они взяли? — воскликнул я. — Ведь должно было что-нибудь толкнуть их к обыску.

— Шер, — сказал он.

— Что — Шер?

— Шер, думаю я, был поводом к обыску.

Я схватился за кровать, чтобы удержаться на месте. Розенберг близоруко сощурился, надел пенсне, взглянул на меня через стекла и засмеялся.

— Нет, не то, не то!.. Шер явился ко мне за книжками, перед тем как идти в лагерь. Я дал ему кое-какие брошюры насчет войны, швейцарские издания. Наверно, отсюда все пошло: он взял их с собою, в лагерь. А у меня — все, что было швейцарского, — все забрали, даже карту альпийской растительности.

— Вы решили перебросить в лагерь литературу, правда?

Он помедлил немного.

— Я хотел заняться с Шером политикой.

— Ну, об этом позаботятся без вас!

И я рассказал обо всем, что видел на кладбище.

X

Сезон шел к концу. Гульда уехала к подруге и писала мне почти каждый день. Я изучил ее руку не хуже своей, ее письма я узнал бы наощупь, с закрытыми глазами. Она касалась в них многих предметов, но, в сущности, всегда говорила об одном. В ее неустанной болтовне было так много счастья, что невольно я запоминал письма наизусть. Мне казалось, я отвечаю ей очень разнообразно, потому что пишу о прочитанных книгах, о своих планах, о войне и плене, но это было все то же, все то же: мы не могли жить друг без друга, и в этом заключалась вся наша жизнь. Книжки, которые она подарила мне, обладали такой прелестью, что я читал их почти с трепетом, их вид вызывал во мне нежность, я мог бесконечно разглядывать и держать их в руках, не читая. Мы условились — весною дать себе волю в наших встречах. Но Гульда не знала, скоро ли возвратится: болезнь подруги задерживала ее, и это заставляло нас еще больше тосковать.

Перед закрытием сезона труппа под писала с директором контракт на весенние гастроли в маленьком городке Рудных гор. Чтобы заинтересовать всю труппу, директор обещал хору бенефис. Но все равно было приятно побывать в другом городе: обычные репетиции отменялись, везли готовый репертуар, по-

ездка должна была обратиться в прогулку.

Несколько свободных дней до гастролей предприимчивый Генрион вздумал посвятить окружным деревням. Он сколотил крошечную бродячую труппу, человек из двенадцати, и стал торговать оперетками по сходной цене. На один из спектаклей он пригласил меня, но я отказался. Он прислал ко мне парламентаром Лисси.

— Ты что делаешь? — сказала она с укором и возмущением. — Ты кому отказываешь? Режиссер тебя приглашает, делает честь, а ты? Кроме того, это не коллегально. Ты расстраиваешь дело. Мы должны страдать из-за твоих капризов, как ты думаешь?

Она уговорила меня — мне трудно было устоять.

В воскресенье, почти с восходом солнца, мы выехали из города и провели в поезде часа два. Мы приехали в большое село, живописно расположенное в отлогой местности. Было видно много дорог, по которым двигались к селу повозки, на базар.

День прошел в приготовлениях сцены и зала. Это была гостиница с рестораном и помещениями для разных сельских союзов — стрелковых, хоровых, спортивных. Зал был похож на громадный гроб.

Мы подцветили его бумажными флажками. Неглубокая сцена упиралась в брандмауэр; декорационный задник, изображавший зеленую рощу, висел прямо на нем, и, когда актеру требовалось перейти за кулисами с одной стороны сцены на другую, было видно, как волновалась зеленая роща и на ней выпячивались и передвигались живот, колени, плечи пролезающего за декорацией человека. В зале, перед сценою расставили по-ресторанному столики, за ними — ряды стульев и скамей. На улицах были расклеены афишки, заранее напечатанные Генрионом в городе.

Оставалось только ждать публику.

Она собиралась медленно, точно ее тащили насильно. Крестьянские семьи расселись за столиками, потребовали пива и развернули узелки с закуской, привезенные из деревень. Пока мы

звонками торопили занять места, крестьяне резали сало, облупливали засоленные яйца. Генрион через щелку в занавесе долго смотрел на приготовление закуски.

— В деревне еще много добра, у крестьян, чорт возьми, — сказал он.

За ним поглядела Лисси.

— Они прямо благоговеют перед нами, — сказала она.

Мы тоже приложились к щелке занавеса. Сало резалось острыми карманными ножами, довольно толсто, аккуратно. Оно было розовое. Кельнерши разносили по столам горчицу, громко приговаривая: «Приятного аппетита». Крестьяне чуть отзывались в ответ. Мы дали энергичный последний звонок, наша пианистка вышла на просцениум и начала увертюру.

Мы как следует не знали ролей, пели чепуху, заглушая свое лопотанье плясовой либо кое-как прикрываясь барабанной музыкой.

— Проглотят, — говорили мы, видя, как зрители усердно жуют сало.

Нам аплодировали лениво, и Генрион разозлился:

— Обожрались!

Это было скрытое разрешение — дурачиться, как угодно. Мы с грехом пополам дотянули комедию до конца и ночью, наевшись горячего пивного супа, двинулись во-свояси.

В этот проклятый день деревенского турне возвратилась Гульда. Я нашел на столе записку: «Жди завтра». Я почувствовал себя виноватым и с утра до вечера мысленно оправдывался перед Гульдой на все лады. Но это только разоружило меня, и, когда она пришла, я не знал — с чего начать.

Стоя ко мне спиной, лицом — к полке с книгами, она водила пальцем по корешкам переплетов, как по оконному стеклу. Я глядел за ее пальцем, прочитывал, не понимая, названия книг, и мне казалось, что я давно расстался со всем, что вижу, и ничего не узнаю.

— Когда мне сказали, что ты уехал, мне стало ужасно. Я подумала, если так будет всегда, то...

— Почему — всегда?

— Ты ведь знал, что я приеду.

Я заглянул ей в глаза.

— Все равно, — настаивала она. — Ты знал, что я могу приехать каждый день.

— Скажи, что я должен сделать, чтобы ты была справедливее? Я сделаю все.

— Ах, так! — воскликнула она резко, оборачиваясь ко мне. — Ну, так знай же, что мне все известно, все, все! Ты уезжаешь с театром на какие-то гастроли, может быть — навсегда! Разве не правда? Ну, ну? Не правда?!

Она отбежала от меня, села на кушетку, отвернувшись в угол, и в угол, невнятно, почти задыхаясь, проговорила:

— Скажи, что мне надо сделать, чтобы ты был справедлив?

Я насилу владел собою. Она сказала:

— Ты мне писал — это будет наша весна. Мы не отдадим ее никому, — это твои слова. Я так ждала, так ждала! Зачем ты...

Мне было слышно, как она всхлинула. Я собрал все силы, чтобы не броситься к ее ногам. Я хотел заговорить, но она заплакала сильнее. Тогда я встал у окна, молча, как истукан. Она утихла. Я молчал. Она поднялась, собираясь уходить. Я ощущал ее взгляд на себе, но не двигался. Она сказала:

— Тогда лучше не надо. Ничего не надо, чем так. Прощай.

— Прощай, — ответил я.

Через минуту она пошла к двери. Все быстрее делались ее шаги. Я был не в силах слышать, как они исчезали в передней, и заткнул уши. Это становилось обычной и невыносимой историей. Я решил, что не дам себя мучить, что это — последний раз. Но мне вдруг почудилось, что Гульда сейчас же одумается и вернется. Я стал вслушиваться в каждый шорох. Не помню, долго ли я простоял неподвижно. Была хрупкая тишина, ничто не отзывалось на мое ожидание. Я упал на ступ.

Я мог ошибаться, мог быть неправ, конечно, конечно! У меня могло все спутаться в голове, но одно было ясно: я вновь был одинок, да, был одинок, и наверно — навсегда.

Я бродил и бегал в этот вечер по темным улицам. О, что еще мог я при-

думать, что можно придумать вообще, если ты покинут, если ты брошен и если невозможно понять — почему, за что ты брошен и для чего ты навсегда одинок?!

Совсем ночью я забрел к Розенбергу, не отдавая себе отчета — зачем он мне нужен. Но я не застал его. Испуганная хозяйка сначала отказалась что-нибудь сообщить, потом, замкнув дверь, повела меня в кухню, убавила газ в рожке и в полумраке объявила, что неделю назад господин Розенберг арестован полицией и что неизвестно, где он теперь находится. Я ахнул и принялся упрекать ее, что она держит в секрете такую жестокую новость. Она задумалась.

— Если вы никому не скажете... Я получила от господина Розенберга открытое письмо. Хотела уничтожить, но подумала, если господину Розенбергу разрешили написать мне письмо, то я имею право...

— Где письмо? Покажите.

Она достала с полки фаянсовую банку в форме боченка, с надписью «Лавровый лист», и вынула из нее согнутую вдвое открытку. На лицевой стороне ее красовался выдавленный и раскрашенный веночек из незабудок, над ним — два голубка, нанское — золотые буквы: «Счастливой пасхи!». На обороте мелким, старательным почерком Розенберг извещал, что он сидит во внутренней тюрьме королевской дрезденской полиции и надеется, что его навещат друзья. Мы погадали с хозяйкой — чем ему помочь, и, с величайшей осмотрительностью, она выпроводила меня на улицу.

Я вдруг почувствовал облегчение, как человек, решившийся на твердый шаг после колебаний. По тем же улицам, по которым я только-что блуждал с единственной мыслью о своем несчастье, я шел сейчас, придумывая план свидания с товарищем в тюрьме. Только перед самым домом у меня опять заколотилось сердце: мне представилось, что на моем столе лежит письмо от Гульды. Но я ошибся.

Ее лицо, заплаканное и милое, являлось мне, когда я засыпал, но я не успевал на него наглядеться, куда-то

спешил, ехал, мчался в коляске, по русской дороге, мимо берез, в гору, и под конец добирался до обсерватории, и мне показывали в трубу одну из звезд Большой Медведицы, — там, в яркосинем свете лампы, стоял мертвый, с провалившимися глазами, директор нашего театра, и кругом, за столиками, крестьяне медленно резали синее сало. Я просыпался, вспоминал, что, гуляя по променаде, всегда люблюсь Медведицей, опять видел Гулду и заново ехал по какой-то березовой аллее...

Утром, усталый, я отправился к Шеру.

— Вот, — сказал я, — из-за того, что вы попались с книгами, человек сидит в тюрьме.

— Я сидел в лагере. Между прочим это были книги Розенберга, а не мои. У каждого своя судьба. Я верю в судьбу, — сказал Шер, подумав.

— Можете верить во что угодно. Не хотите ли что послать Розенбергу со мною, если я добьюсь с ним свидания?

— Я тоже добьюсь свидания.

— Ну, а если я добьюсь первый?

Шер смерил комнату своими маленькими шажками.

— Что-нибудь послать? — спросил он, чуть-чуть улыбаясь. — Передайте ему мой социал-демократический привет.

Хозяйка Розенберга оказалась чувствительнее Шера: перед моим отъездом она принесла банку яблочного мармелада.

— Отвезите мой маленький подарок нашему заключенному! Он так хвалил этот мармелад моего домашнего изготовления. Господин Розенберг остался мне должен за комнату. Я надеюсь, когда его отпустят из заключения, он отдаст долг. Ведь в заключении не будет никаких расходов, и у господина Розенберга должны скопиться деньги, не так ли?

— Да, — сказал я, — если в тюрьме ему будут платить жалованье.

— Разве там платят? — серьезно спросила она.

— Да. Если просидишь десять лет, то при освобождении получаешь на трамвай.

Она помолчала.

— Ах, эти русские! — вдруг засмеялась она...

Я выехал на гастроли днем раньше труппы, и весь этот день ушел у меня на хлопоты о свидании.

Дом дрезденской королевской полиции находился на оживленных улицах. Его облику придан был вид феодальный, замково-строгий, но в то же время в нем было нечто средневропейское, отвечающее парламентской форме правления, вполне приличное. План строения — квадрат. По внешним сторонам квадрата раздавались звонки велосипедистов, шли барыни в белом, катились дрожки и фургоны, щелкали бичи. Но внутри квадрата, на дворе, заслоненное от мира высоким зданием полиции, было скрыто черное сердце — тюрьма.

Она была без окон, или нет — все ее окна были спрятаны в железные кошелы, разинутые сверху, для света.

Я пересек двор внутренним, остекленным ходом. Передо мною и позади меня деликатно щелкнули замки с хитрыми, маленькими ключиками, которыми орудовал мой сопровождавший. Потом вдруг возник перед нами страж в черной накидке, с полуаршинными ключами на кольце, почти совершенно такими же, какие наш реквизитор давал тюремному сторожу из «Летучей мыши». У меня даже вспыхнул в памяти штраусовский пьяный лейтмотив: «Ach, ich hab' sie ja nur auf die Schulter geküsst!». Но страж не думал петь: он был трезв. Он сумрачно принял меня и передал другому, так звякнув ключами, что у меня перехватило дыханье.

Я стоял в центре тюрьмы. Сквозь все здание, до крыши, круглой башней поднималась стальная сетка, наглухо закрывавшая междуэтажные лестницы. Никто не мог бы броситься сверху в пролет. Электрические лампочки извивом уходили в высоту.

Тюремщик повел меня по лестницам. Пустынные этажи состояли из одинаковых площадок с бесконечными фронтами дверей, запертых на засовы. И стены, и двери были покрашены в одну темнозеленую краску. В дверях маленькими иллюминаторами были вправлены

глазки, и над ними красовались статные светлые порядковые цифры. В третьем этаже одна дверь, словно выходя из фронта, приоткрылась (тут только я оценил ее толщину), и на пороге я увидел Розенберга.

Он обнял меня и усиленно радушным жестом пригласил в камеру.

— Мы поболтаем немного, — сказал он тюремщику дружески.

— Хорошо, только вы не закрывайтесь совсем.

На стене камеры висели «Правила гигиены», напечатанные мелким шрифтом. В середине правил были нарисованы зубы и рука с зубной щеткой. Рядом с правилами на полочке находились оловянная кружка с выдавленным портретом канцлера Отто князя фон-Бисмарка, зубная щетка и порошок. Розенберг покровительственно наблюдал, как я знакомлюсь с обстановкой.

— Вы в первый раз? — спросил я.

— Да, я учусь, — ответил он.

Камера смущала меня пустотой, и мне было неловко, что я пришел с пустыми руками: мармелад у меня отобрало тюремное начальство — на исследование.

— Мне ничего не надо. Мне дают обеды с воли, из ресторана, и даже — видите? — я курю, — сказал Розенберг.

— Все это необычайно, — сказал я, покосившись на дверь. — Не тюрьма, а «Летучая мышь».

— Нет, очень злое и жестокое заведение, — возразил он, как мне показалось, обидевшись. — Но со мной — другое дело.

— Что же с вами?

— Мне предъявили обвинение в пораженьстве. Говорят: вы — большевик. Но, понимаете, у них — первый такой случай, и они пока не знают, как себя вести с большевиками. Как будто это — опасные бунтовщики. Но в то же время ведь это — русская власть, с которой немцы играют в мир!

Он засмеялся.

— Поэтому они держат меня за решеткой, но на всякий случай кокетничают со мною самым любезным обращением.

— Понимаю: им это ничего не стоит.

— Совершенно верно. Если они ошибутся, никогда не поздно отплатить мне за все излишки проявленного гуманизма.

На прощанье я взял у Розенберга поручения, и он напутствовал меня шутивым смешком:

— Все это может иметь хорошую сторону: как только начнется обмен пленными, мы с вами вылетим из Германии пробками. Ведь вам этот визит ко мне не забудется!

Мы отворили дверь. Тюремщик, подслушивавший разговор, посторонился солидно и учтиво.

— Он что — сообщает по-русски? — спросил я.

Но в тюрьме, как повсюду, хороший тон требовал, чтобы человек притворялся ничего не смыслящим болваном, и тюремщик тотчас одернул меня:

— В коридоре не разговаривать!

Розенберг, выглядывая из двери, немного печально улыбался и кивал:

— Не забудьте кланяться Шеру, — говорил он.

И я спустился по лестницам, и меня стали передавать в обратном порядке, из рук в руки, один тюремщик — другому, и — попеременно — я ждал, что вот сейчас на меня крикнут, а сейчас, загремев ключами, споят мне из «Летучей мыши»: «Ach, ich hab' sie ja nur auf die Schulter geküsst».

Я был на улице. Солнце, ветер, люди кружили мне голову. Я не двигался. Я лишь мимолетно увидел мир, воровски спрятанный от шума и движения, от бега жизни. И я как будто потерял цель. Но почему минутами мне становилось смешно там, где кровь должна была бы запечься в жилах от тоски? Ах, да, — «Летучая мышь»! Несчастный театр! Он стоял на моем пути, он мешал мне во всем, я пошутил с ним, а он вцепился в меня своей кошачьей лапой. Милая, милая Гульда, конечно, я должен бросить театр, конечно, брошу его, уже ради тебя одной, брошу немедленно, теперь же, без сожаленья и раздумья, сейчас же, сейчас, вот только не опоздать бы, не опоздать на вокзал, к пассажирскому поезду, в котором, с нашей труппой, я еду на гастроли!

XI

В Рудных горах шел тяжкий год. Он был тяжек повсюду, но здесь обыватель не мог надеяться даже на лишнюю картофелину, потому что скалистые горы, кое-где прикрытые бедными рощами, не годились и под огороды.

В промышленном городке, в который мы приехали со своими тряпками и своим искусством, беда глядела изо всех окон. Были открыты лавки и магазины, пивные, рестораны, кафе, базар. Но все это стало призраком, а то, чего когда-то ужасались, как призрака, — голод вселился в дома, бродил по улицам и дорогам.

Приезд театра с веселой музыкой, пением, толпою артистов был в такое время отрадой. А мы привезли вдобавок молодого тенора дрезденской «Придворной оперы» — Рихарда Таубера, и сладко, и лихо певшего у нас «Цыганского барона», и счастье — по крайней мере женского населения города — должно было удвоиться.

Конечно, блеск нашего театра не мог сравниться с какой-нибудь «Придворной оперой». Но наши нравы не уступали столичным, а чистые сердца бились не реже изнуренных славою и пороками. Что же касается мира, в котором мы жили, то мы, само собою, считали себя его осью.

В третий или четвертый раз шел театральный раз'езд. Публика, смеясь, напевая только-что прослушанные мотивчики, стекала ручьями с холма, на котором возвышался театр. Фонари по-военному убого освещали толпу, и она казалась таинственной и влекущей, как на сцене.

Хористы и маленькие актеры, пряча лица под широкими полями шляп, принимали живописные позы. Я чувствовал себя неисправимым повесой.

По сторонам расположились девушки. Они разглядывали нас украдкой и шептались. Нельзя было не смотреть в их истомленные глаза: тысячу лет они дожидались этого апрельского вечера, и этих молодых ловеласов в итальянских шляпах, и этого порханья опереточных песенок в воздухе. Мы хорошились и

стучали подошвами об асфальт. Но мы понимали, что публика больше всего ждет премьеров.

Традиция опереток требует, чтобы главные герои были заняты до последнего занавеса, до вечно-счастливого конца, когда пляшет и поет весь ансамбль, либо по меньшей мере — примадонна с первым тенором и субретка с комиком-буффа. Герои публики выходят из театра всегда последними.

Толпа постепенно редела, уже начали хлопать двери, которые людской поток долго держал распахнутыми.

Наконец, появился Таубер. Он последовал сквозь строй поклонниц, точно на сцене, и за ним волочился грузный аромат грима и духов. Потом выпрыгнул и воздушно просеменил Генрион.

— Покойной ночи, детки, — сказал он нам, потрогивая височки своего парика одной рукой, а в другой вертя тончайшую трость. За ним устремились несколько девичьих пар. Он кашлянул натруженным тенорком. Поле битвы после его ухода расчистилось.

Я давно переглядывался с двумя простушками. Они шептались, висли друг у друга на руке, то застенчиво избегали моего взгляда, то озорно смотрели на меня в упор. Мы вместе спустились с холма, и я подошел к ним. Они жеманились. То, что сначала я принял за лукавство, было смешливостью, которая, несмотря на усилия ее скрыть, без причин рвалась наружу.

Мы двигались по ночной улице, с холма на холм, подружки хихикали, я рассматривал их. Ближняя ко мне была славной. Изредка, при свете фонаря, я видел ее жаркие коричневые глаза, веселые брови. У нее был грудной смех, очень прилипчивый, и такие румяные щеки, какие уже почти нигде не попадались. На все мои речи спутницы отвечали коротко: «Ах, нет!», «О, да!» Под-конец мы разговорились об их родном городке, и они стали словоохотливее.

— Едят ли у вас здесь что-нибудь, или вы уже совсем отвыкли? — спросил я.

Они рассмеялись.

— Чужим у нас, наверно, трудно: в кафе давным-давно нет кухенюв. А мы ничего... Как по-вашему — где мы служим? — спросила румяная.

— Вероятно, в пекарне, — сказал я.

Они опять захохотали, потому что я почти угадал: обе они работали в каком-то медицинском заведении, готовившем диетические изделия для больных. Я понял, что разговор шел о военных госпиталях, но подружки ничего больше не хотели говорить. Они спешили на ночную работу, и мы растались.

Назавтра днем, в театре, мне передали пакет, завязанный ленточкой. Я развернул его и смутился. Рядом стояли хористы, иронически наблюдавшие за мной. Впрочем, нет, иронии было меньше, чем изумления и зависти: в пакете находилась пара булок неестественной, сказочной белизны. Все начали гадать — где, в каком царстве-государстве и для какой королевской нужды могли бы выпекаться такие булки? Я тоже гадал вместе со всеми.

А вечером, после спектакля, на улице, на прежнем месте, я увидел вчерашнюю знакомую, одну, без подружки, ту, с веселыми бровями и грудным смехом. Мы сразу вышли из толпы, в темные маленькие улицы.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Гайдерль.

— Вы — австрийка?

— Я из Вены.

— Вы должны уметь веселиться. Вена — веселый город.

— Мне всегда весело.

— Тогда — в чем же дело?

— Не знаю. Дело за вами. Я готова.

Чорт побери, я был тоже готов! Но у меня не было ни гроша в кармане, да все равно — так поздно во всем городе нельзя было достать даже салата.

— Послушайте, — сказал я, — у меня дома осталась одна булка, из тех, которые вы мне преподнесли. Пойдем, съедим?

Она покосилась на меня горящими коричневыми глазами и, смеясь, ответила:

— Булка — так булка...

Я сжал крепче ее локоть, и мы заша-

гали под гору. По моей роли седельного мастера в «Das Dreimäderlhaus» мою невесту звали тоже Гайдерль, — мы хотали над этим. С ней все время хотелось смеяться.

У меня был ключ от дома, мы вошли, никого не разбудив.

Нам было, конечно, не до булки. Для моей гостьи урок любви мог считаться не из самых первых. Но она сияла счастьем, как будто нежданно-негаданно перед ней открылся рай, и я готов был сам поверить, что только с ней и можно быть счастливым.

Едва я проводил ее и — на пустынной улице, поздней ночью — очутился один, как мне стало тоскливо. С этой минуты по неблагодарности природы я, пожалуй, совсем не вспоминал Гайдерль, иль, может быть, воспоминания о ней проходили мгновенно и не занимали воображенья.

Зато никогда так много я не думал о Гульде. Ни днем, ни ночью она не отступала от меня, и не было конца упрекам, раскаяниям, которыми я себя казнил. Я сознался, что единственной причиной нашего разрыва был я, доставивший Гульде нестерпимое огорчение. Я дал себе слово уступать ей всегда и во всем, если она вернется. Я решил просить у нее прощенья. Я начал придумывать, писать и рвать телеграммы, одну за другой, пока, наконец, не сочинил и не послал совершенно сумасшедшей, надеясь, что безумие поможет горю. Но я не получал ответа.

Наверно, мой вид вызывал сочувствие, так как, под этим предлогом, однажды ко мне пришел Шер. Он попытался говорить мужественные и утешительные слова, но понемногу раскис и сам потребовал утешений. Его история с Вильмой приняла нечаянный оборот: белокурая девица внезапно снизошла к его ухаживаниям.

— И это вас, конечно, очень обрадовало? — спросил я.

— Да, конечно. Но она хочет, чтобы я на ней женился.

— Ах, вон что — «но». Почему же вам это не нравится?

— Тот мерзавец, которого тогда приняли за меня, он ушел от Вильмы. То-

есть просто пропал неизвестно куда. И вот теперь ей нужно выйти замуж.

— Понимаю, — сказал я, — вообще выйти замуж.

— Ну, да, вообще.

— А тут как-раз вы, — сказал я.

— Да, как-раз. Если вы будете отпираться, — заявила мне Вильма, — то ведь вам никто не поверит: все знают, что вы сидели за меня в лагере. Вас уличили в общении со мной. Остальное ясно...

Шер оборвал себя в нерешительности.

— И потом она меня спрашивает: разве вы не объяснялись мне в любви?

— Что же вы ей ответили? — спросил я Шера.

Он замолчал, вглядываясь в меня, потирая руки, будто от озноба. Вдруг он улыбнулся блаженно:

— Как хотите, но ведь в лагере я страдал, правда, за нее, — пробормотал он.

Я подошел к нему, наклонился и сжал руку. Он растерялся. Я сказал:

— Самое главное, Шер, не изменяйте своему чувству. Больше я вам ничего не посоветую.

Я был убежден, что сам никогда не изменю своему чувству. В эти минуты разговора с Шером я все думал о Гульде, сравнивая ее с Вильмой, сравнивая со всеми женщинами, каких я знал, видя, что она несравнима. Что меня так беспощадно влекло к ней? Неужели раскаяние и стыд? После измены любовь к обманутой вспыхивает заново, — неужели это совесть, требует отместки за урон, нанесенный ей неверностью? Отвечая самому себе, я сказал, что хочу скорее бросить гастролы и уехать.

— А бенефис? — воскликнул Шер. — Наш бенефис?!

— Слава не дает вам покоя, — сказал я.

— Деньги не дают мне покоя, — возразил Шер. — Подарить директору бенефис? Единственный сбор, который мы выдули своими глотками за целый год!

— Ну, вы пропоете бенефис и без меня...

И правда: в тот же вечер, в театре,

мне вручили телеграмму. В ней было одно слово, решившее все: «Приезжай». Я бросился к директору. Я знал: ни один мотив не будет признан уважительным, чтобы освободить меня от последних спектаклей. Поэтому я не привел никаких мотивов, а только тупо твердил, что мне необходимо уехать, необходимо немедленно уехать. За всю жизнь я не слышал такого избытка слов о долге, обязанностях, ответственности, какое излил на меня директор. Я уперся на своем. Тогда, вытирая платком мокрый лоб, он подал мне руку и с неожиданным удовольствием сказал:

— Ну, все-таки мы останемся друзьями!..

Я уехал на другой день. Весна была жаркая, повсюду на станциях роились оживленные толпы, везде торговали цветами. Я купил большую ветку яблони, сплошь розово-белую, едва начинавшую осыпаться. Она казалась тяжелой от цвета, ее нельзя было ни положить, ни поставить, я вез ее торжественно в руке, и соседи в купе, особенно двое солдат, молча смотрели на нее всю дорогу.

Я подарил ее — уже сильно осыпавшуюся — Гульде, и мы долго держали ее перед собою, сидя рядом. За открытым окном зеленел ясень, раскачивая молодой листвой, сквозь нее мелькали летящие яркие облака, ветер иногда на миг вбегал в окно, все было в движении. Перед нами мчалась весна, наша весна, и почти не нужно было слов, чтобы ею жить.

Гульда стала часто бывать у меня. Как-то раз, когда мы, по обыкновению, сидели у раскрытого окна, пришел возвратившийся с гастролей Шер. Мы встретились весело. Хористы прислали с ним мою бенефисную долю денег, и он передал ее мне с некоторой праздничностью, надеясь меня растрогать. Я благодарил, и даже Гульда, относившаяся ко всему, что было связано с театром, насмешливо, на этот раз смягчилась:

— Правда, — сказала она, — это товарищески.

— Конечно, по-товарищески, — твер-

дил за ней Шер. — Они дали вам полную долю, хотя вы даже не пели бенефиса.

Он чуть не поздравлял меня, точно мне выпал выигрыш. Потом он сказал:

— Это — первое. А второе — вот.

Он вытащил из кармана небольшой пакет и положил его на стол.

— Это вам прислали в театр, к бенефису. Не знаю — что тут.

Я сразу догадался, что тут: по форме пакета, по его легкому весу, по цветной тесемочке, которой он был перевязан. Я знал, что находится в пакете, но я начал его развязывать и не мог остановиться. Гульда и Шер смотрели за моими руками. Я развернул бумагу. В ней лежала черствая белая булка.

Я покраснел.

XII

Летом я получил новый ангажемент в большом городе, где дирижировал Кваст. Директор театра вел со мною деловую переписку. Сухопарый, быстрый, похожий на англичанина, он, когда я приехал, осмотрел меня, как знакомый товар, и пожелал мне добрых успехов на его сцене. Старый хорист завербовал меня в союз немецких оперных и опереточных певцов. Я считал себя настоящим профессионалом.

Вдруг, после опереточной премьеры, театральный критик написал в газете, что, собственно говоря, трудно даже себе представить мужской голос отвратительнее моего и что если к этому присоединить смехотворное мое неумение держаться на сцене, то можно понять, какие физические муки испытал зритель, так сказать, напоровшись на меня в театре. Нельзя понять, — писал далее критик, — чем руководился обладающий, как известно, хорошим вкусом господин директор театра, приглашая в свою талантливую труппу такое захудалое явление природы.

Газетный отзыв произвел на меня впечатление космического масштаба. Я не мог вообразить, что в таких случаях бывает с человеком? Означает ли это мгновенную смерть, или пожизненное

уродство, как от серной кислоты, или, может быть, вечное презрение человеческого рода?

Капельмейстер, хлопнув меня по плечу, строго сказал:

— Послушайте, вы, морской волк. У вас сегодня пресса — прямо-таки «Волшебная флейта»! Купите себе недорогой фотографический альбом и наклейте в него эту оду. Альбом с критиками должен иметь каждый порядочный актер, для карьеры.

Наверно, с виду я был несчастен, потому что, не успев рассмеяться, Кваст воскликнул с сочувствием:

— Да плюньте вы, сын человеческий, на газетных марак! Ведь это написано из черной зависти!

— Из чьей зависти? — спросил я.

— Из чьей-нибудь черной зависти к вам.

— Мне никто не завидует.

— Ну, наверно, кто-нибудь завидует! Мы, артисты, должны считать, что нам всегда кто-нибудь завидует и все плохое о нас говорится из зависти.

Я стал доискиваться — кто, действительно, мог бы мне завидовать, и это отчасти рассеяло мой мрак.

Во время спектакля, за кулисами, проходя мимо меня, директор сказал:

— Мне не нравятся перчатки на вас. Играйте вот в этих.

И он сунул мне пару английских желтых лайковых перчаток, так, чтобы никто из актеров не видел. Перчатки, по цене, выходили из моего бюджета, и я подумал: нет, газетный приговор — не смерть, не уродство, а коечная болезнь, и, пока больной не наскучил, добрые люди носят ему гостинцы.

— А на вас хорошие критики когда-нибудь бывали? — спросил меня старый, плешивый хорист, басом, во всеуслышание, когда мы, сидя в ряд, разгримировывались перед зеркалами.

— Бывали просто блестящие, — сказал я небрежно, намазывая щеки вазелином и ощущая, как они горячат. — Кругом даже изумлялись — как можно писать такие хвалебные критики на молодого певца.

— Вы их, конечно, сохранили, —

спросил бас, — или, может быть, выкинули?

— Нет, они у меня где-нибудь валяются.

— Интересно было бы почитать.

— Отчего же, если я их отыщу, я с удовольствием...

— Н-ну, да, если вы их отыщете, — сказал бас, громко закашляв, и за ним начала кашлять вся уборная.

У меня долго рычал в ушах этот кашель. Как ни старался я себя утешить, мне все казалось, что дни мои в театре сочтены, и если меня не прогнали сразу же после освистания в газете, то единственно из неодолимой нужды в людях.

Уже давно немцы были схвачены на западе мертвой хваткой наступавших союзников. Каждый день суровые военные сводки главного штаба признавали, что неприятель продвинулся на двести или триста метров. Случалось и раньше, что французы или англичане отнимали какой-нибудь немецкий окоп, но ненадолго, немцы снова брали его и сами продвигались на сто, двести метров в укрепления противника. Так шло годами. Но теперь никакие жертвы не помогали немцам в их отчаянных контратаках: взятое противником оставалось прочно в его руках. И это медленное, непреклонное, ежедневное заглывание позиций врагами отзывалось в тылу могильным молчанием.

К бедствиям фронта прибавлялись бедствия тыла, фронт слал вглубь страны ходяков смерти и отчаяния. Так пришла посланная окопами в тыл эпидемия кожной болезни, гнездившейся у мужчин в бороде и усах лишаями, от которых выпадали волосы. На фронте заражались этой болезнью целыми бригадами, полками, в тылу — улицами, селами, городами. Так пришла, перешагнув через окопы, заразив обе стороны фронта, эпидемия испанки — болезни, вспыхнувшей за Пиренеями и окрещенной именем первой своей жертвы — Испании. С юга болезнь поднялась на север Европы, и Германия изнеможенно бредила в жару, вместе со всей Европой, вина в эпидемии виновницу всех страданий — войну.

В театре испанка разгуливала, как закулисные сквозняки. Из-за болезни актеров отменялись спектакли, ждали, что театр, вслед за школами, закроется на долгое время. И я думал: испанка держит меня в театре; кончится эпидемия, — прощай, сцена.

Но меня занимали новыми ролями, рассчитывая, наверно, что я окуплюсь.

К концу лета стали готовить праздничный вагнеровский спектакль, выбрав несколько сцен из «Нюрнбергских мастеров пения». Был собран хор из городских певческих союзов, и на репетиции начали ходить парикмахеры, учителя, шутманы, кельнеры, электромонтеры, рестораторы — неуклюжее множество, которое должно было изображать цеховой нюрнбергский народ. Кваст мучился с ним, обтачивая каждого шутмана, как деревяшку, объясняя, вдавливая, вбивая, как гвозди, простые очевидности, грохая крышкой роля, крича:

— Господа, напрягайте не только ваше горло, но и ваш мозг, господа!

Господа напрягали все, что могли, телега двигалась со скрипом вперед.

Актеры, рядом с этими мастерзингерами двадцатого века, были сущими гениями и, получив все роли мастерзингеров шестнадцатого века, глядели на пришлый лиубительский хор свысока. Но мне нравились многотрудные, шумовые репетиции, я, пораженный, слушал, как гений немецкого трудолюбия — Рихард Вагнер — с громоздким расчетом заваливает глыбами своей музыки все, что оставалось и цвело после ясных открытий Амадея Моцарта, как лавина заваливает вознесенные к небу горные перевалы. С удивлением, точно чужого, я встречал себя в этой математике шума, в унисонных коридорах голосов, бродя, как в бреду, по их звонким пустотам.

Я пел мастерзингера Ганса Шварца, чулочника, согласного товарища других почтенных басов — мыловара, медника, булочника, жестяника. Из дюжины реплик моей роли мне пришлось по вкусу четыре такта, которыми чулочник перебивает соло городского писаря, Сикста Бекмессера, на состязании певцов:

Что он поет?
 Что с ним, что с ним?
 Кто тут поймет?

Эти слова выпевались в моем воображении ни к селу ни к городу, за обедом, в антракты спектакля, на сон грядущий. Я обращался к себе: «Что он поет?», ко всему совершавшемуся вокруг: «Кто тут поймет?», а то к прохожему, в смятении или досаде заговорившему с собою на улице: «Что с ним, что с ним?».

И вот пришел день торжественного спектакля. Уборные, лестницы, коридоры, все закулисные уголки переполнились народом. Шуцманов, электромонтеров, учителей надо было одеть, намазать их неподвижные лица тэном, глаза — карандашами, поудрить носы. Надев костюмы задом наперед, они азартно спорили друг с другом — кто больше понимает в старом Нюренберге, пока не прибежал взмыленный гардеробье и не командовал:

— Надеть наоборот, господа! Перевернуть! Тут вам не Нюренберг, а театр.

Общее возбуждение вдруг стало отзвываться во мне странным равнодушием, и, находясь в центре толпы, я видел ее как будто издалека, со стороны.

Спектакль открывался сценой из первого действия, в которой мейстерзингеры уговариваются об устройстве состязания певцов. Со своими цеховыми знаками, как со знаменами, мастера полукольцом занимали середину сцены. Я держал свой транспарант с чулком, меня окружали портной, скорняк, медник, оловянных дел мастер. Впереди двигались, подходя к рампе или отступая от нее, актеры первых партий.

Когда булочник Фриц Котнер, подняв над головою румяный крендель в разукрашенной рамке, начал переключку мастеров:

Для испытанья и для совещаанья
 Приглашены мы сюда на собранье, —

я отчетливо увидел, как он, Фриц Котнер, а в жизни — старый хорист, издававшийся надо мной после памятной

оскорбительной рецензии, продолжая петь, стал клевать мясистым носом, как этот нос, вытянувшись, начал медленно закручиваться, подрубляясь и превращаясь в крендель. Я стряхнул с себя навождение, поглядел на капельмейстера, на суфлера — они, как полагалось, в поте лица отсчитывали такты. Я пел свои реплики, одобрял мастера Погнера, насмеялся над франконским рыцарем Вальтером, а в промежутки косился на булочника, и меня передергивало от холода: он явно дремал, и на его плечах, друг над другом, колебались два кренделя — один на палке, в цветной раме, другой пониже, на месте исчезнувшего лица.

После занавеса, толкаясь в кулисах с певцами, я почувствовал, что весь взмок и погибаю от жажды. Булочник очутился рядом со мной и сказал:

— Ты, того и гляди, заснешь.

— Это ты спишь, а не я, — ответил я злорадно, — погоди, тебя еще обругают в газетах!

У него совсем ничего не осталось от физиономии, она сделалась сплошной перепеченной красной коркой кренделя, и дырки зияли вместо глаз. Я пошел в реквизиторскую отдать свой транспарант. Цеховые знаки прислонены были кучей в угол. Передним стоял крендель. Я отодвинул его и заглянул — что стоит позади. Там тоже был крендель. Я оттолкнул его в сторону. За ним скрывался еще один крендель. Я всмотрелся в свой транспарант: чулок быстро изогнулся в восьмерку, покраснел и стал кренделем. Я плюнул на эту нечестную игру, транспаранты с шумом повалились на пол, я ушел к себе в уборную, не оглянувшись.

Потом время разрослось в бесконечность и остановилось. Страшно много людей кружилось подле меня, все, как один. Пел Ганс Закс, пел Бекмессер, пел булочник Котнер, с кренделем вместо головы. Пропел я.

Суфлер, кирпично-огненный, почти вылезал из будки, грозя указательным пальцем. Рихард Кваст размахивал палочкой необычайно далеко, как будто в бинокле, приложенном к глазам большими стеклами. Вдруг палочка вырва-

лась из его рук, перелетела на сцену и приросла к пальцу суфлера. Суфлер стряхнул ее, она оторвалась и полетела назад, к капельмейстеру, через весь зрительный зал. Я с удовольствием следил за нею. «Нельзя, нельзя» — сказали мне строго, и куда-то повели меня.

Я очнулся при дневном свете и долго осматривал абажур потолочной газовой лампы с зелеными стеклярусными висяюльками. Он был мне знаком. Я сообразил, что лежу дома, у себя в комнате. Мне ничего не хотелось.

Немного погодя отворилась дверь, и в комнату заглянула Гульда. Мне стало на минутку хорошо, что я ее вижу. Она осторожно вошла, села на край постели и притронулась к моей руке.

— Ты когда приехала? — спросил я Гульду.

— Не помнишь?

— Я тебя ждал на спектакль.

— Я и приехала, как ты ждал, и была на спектакле. Ты не помнишь, что случилось на спектакле?

Мне неприятно было отвечать. Я хотел высчитать, когда был спектакль, но ничего не получалось.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила Гульда.

— Я захворал.

— Был доктор, — сказала она, — у тебя — испанка.

Мне все время хотелось потянуться, я потягивался, но мне все было мало, хотелось вытянуться во всю комнату, потом — во весь дом, во всю улицу, чтобы ноги уперлись в вокзал, а голова — в театр, в суфлерскую будку. Это было удобно, потому что ярко освещенный кирпичный суфлер был мне очень хорошо виден. Он стремительно листал ноты и карандашом, который у него рос на месте указательного пальца, отсчитывал такты. Я тоже считал такты и дожидался, когда он мне подаст вступление. Я так вытянулся, что мои ноги свободно ходили по вокзалу, от одной каесы к другой, и я мучительно хотел спросить, в какой кассе продают билеты на Рихарда Вагнера, в Россию, но я не мог спросить, потому что голова моя находилась в театре. Я решил быстро сжаться и перетянуться — головой

на вокзал, ногами в театр. Но суфлер завертел нотными страницами еще быстрее, и я побоялся пропустить свое вступление...

Я опять опомнился и увидел над собой Гульду. Она вытирала платком слезы. Мне было очень приятно, что она в такой тревоге, и я хотел ее попросить, чтобы она плакала надо мной еще, но очень болела голова.

— Ты, наверно, скоро уедешь? — спросил я Гульду, спустя немного времени.

— Я буду у тебя жить, пока ты не поправишься.

Мне опять стало хорошо, я пристально следил, как она ухаживает за мною — наливает в ложку микстуру, мочит в воде платок и кладет его мне на голову, заставляет меня приподняться, стягивает прилипшую к телу, словно только-что выщелосканную, рубашку и надевает сухую, холодную, от которой меня знобит. Согревшись, я что-то припоминаю, передо мною кружатся хороводы, я говорю:

— Когда были булочки?

— Какие булочки?

Я изо всей мочи сосредоточиваю память.

— «Мейстерзингеры», — говорю я.

— Вчера, — отвечает Гульда, улыбаясь.

— Что ты смеешься?

— Лежи, лежи.

Я совсем не помню ночей — как они проходили, чем заполнялись. Днем же то-и-дело меняли рубашки и наволочки, и они сохли, развешенные по всем стульям и на кровати.

Когда мне стало лучше, Гульда рассказала, что произошло на «Мейстерзингерах».

В сцене состязания певцов, в бреду, я пропел вместо одного — два раза свои неотвязные четыре такта:

Что он поет?

Что с ним, что с ним?

Кто тут поймет? —

и уже начал петь в третий раз, но актеры вывели меня со сцены под руки.

Подскочив в постели, я спросил у Гульды шопотом:

— Это было страшно, да?

— Как тебе сказать, — засмеялась она.

— Такой спектакль! И я провалил его!

— Видишь ли... По-моему, провалить Вагнера не так-то просто: девять десятых театра все равно ничего не понимают.

— Но актеры, директор!.. И ведь если меня вывели, значит, видала публика!

— Я видела — что-то неладно. Но, право, успокойся, ничего особенного. Мне потом объяснили, что музыкально ты, собственно, не очень наврал, а только повторил не к месту свои слова, в один голос с булочником.

— С булочником? А потом?

— А потом тебя увели.

Я лег и закрылся подушкой.

— Капельмейстер! — дыкнул я в подушку. — Газеты!

Мне было жутко смотреть на свет. Гульда утешала меня из сострадания, и это было еще тяжелее.

— Кончено с театром, — вздохнув, сказал я, когда немного прошел стыд.

— Ну, что же, — отозвалась Гульда, — надо было ждать.

Я не ответил ей.

Постепенно, с улучшением здоровья, стала появляться надежда, что все снова наладится. В конце концов в чем состояла моя вина? Испанкой мог заболеть всякий, — полтеатра болело ей! А что я на сцене пошел лишнего, так это скоро забудется.

Так как у меня болело горло и доктор запретил говорить, я держал свою надежду про себя, и настроение делалось веселее. Гульда тоже чувствовала себя превосходно, потому что, не слыша от меня ничего о театре, была убеждена, что я бросил о нем думать. Она много читала вслух, нередко вычитанное в книгах переговаривалось с тем, о чем мы мечтали, или просто находило продолжение в жизни. Мы пристрастились к стихам русских поэтов (экспрессионисты, в своем журнале, переводили всех их подряд, потому что русское считалось синонимом революционного), потом перешли на Рихарда Демеля, потом — на

Гейне. Смеясь, Гульда распевала, вслед за ним, из «Песни песней»:

Женское тело — это стихи,
Онц написаны богом.

Все больше поправляясь, я учил эти стихи ночами напролет, и мы придумывали, какую жертву принести испанке за то, что она дала нам такой долгий, такой драгоценный отпуск.

Но отпуск кончился, и — с бьющимся сердцем — я пошел в театр, прямо к директору. Он поздоровался со мной участливо и, обкуривая меня добротным сигарным дымом, быстро заговорил:

— Да, испанка. Нехватало только ее, в такое тяжелое время. Если так будет продолжаться, пожалуй, придет и чума. Но, как говорится, мы, немцы, продержимся.

Я сказал осторожно, что на западном фронте создалась новая обстановка.

— Безнадежная, думаете вы? — торпливо перебил он. — Еще неизвестно. У вас на родине покончили с войной с помощью революции. У нас это вряд ли выйдет: революция связана с большими расходами. Мы экономны. Значит, нам ничего не остается: мы вынуждены сражаться до победного конца.

Разговор не нравился мне, я понимал, что мое дело плохо. Точно угадав, о чем я думаю, директор подошел ко мне ближе.

— Доктор говорил, что вам нельзя петь, после болезни. Я хочу вам сделать предложение: не желаете ли быть у меня помощником? Мне нужен помощник в канцелярии. Вы — культурный человек. Умеете ли вы писать на машинке, нет? Вы скоро научитесь. Согласны? Условия мы оставим прежние. Ведь вам у меня хорошо? Подумайте до завтра.

Я сказал, что подумаю.

И только на улице, спрятавшись за какой-то выступ театра, почувствовал боль позора, ясно увидев себя за пишущей машинкой, окруженным актерами, которые, смеясь, говорят обо мне, как о разоблаченном и наказанном авантюристе.

XIII

Но моему унижению не пришлось сбыться.

В тот день, когда я решал, отказаться ли от предложения директора, или смиренно сесть за пишущую машинку, приехал Шер. Все в нем было необыкновенно — от прически, изобличавшей весьма кокетливый взгляд на вещи, до новой манеры внушительно морщить брови.

— Вы собираетесь? — спросил он меня, вместо того, чтобы ответить, зачем он явился.

— Куда?

— Домой.

— Куда — домой?

Он глянул на меня с презрением и потербил волосы.

— Я завтра уезжаю на родину, в Польшу. Я приехал проститься с вами.

— Как уезжаете?

— Ах, вон что! — воскликнул Шер. — Значит, ваш директор ничего вам не сказал?

— О чем?

— Ему нужен ваш труд, больше ничего. Ему не хочется вас отпускать, без вас развалится вся его опера!

— Да, — сказал я, — что говорить, без меня его опере, действительно, будет туговато... Но бросьте играть в жмурки. О чем идет разговор?

— Вас обменивают на пленных немцев, — надуваясь, произнес Шер, — вы можете ехать домой.

Я уставился на него, онемелый. В одно мгновение мне сделалась понятна его внешность: он основательно готовился поразить меня сенсацией, и этот расчет оправдывался, к его удовольствию. Я долго не мог ничего сказать. Год за годом, с часа на час я ожидал этого известия, и вот теперь, когда оно пришло, чувствовал вместо радости испуг перед тем, что ее не было. На секунду мне захотелось, чтобы Шер разоблачил себя, как шутник, но я тотчас оскорбился возможностью подобной шутки и ясно увидел, что для шуток Шер был слишком напыщен. Наконец, я спросил:

— Откуда вы узнали эту новость?

— Мы с вами в одном военном окру-

ге. Нас отпускают всех. Химик уже уехал. Он велел сказать, что бутылку шампанского, которую вам проспорил, он отдаст в России, когда вы возвратитесь.

— Об одной бутылке он тихо забыл, — сказал я, — другую помнит, наверно, из ложного стыда. А напрасно. Экономить — так до конца. Если бы химик был еще скупее, мы не держали бы никакого пари. И я не болтался бы по театрам, а может, трещал бы на пишущей машинке, любо-дорого.

— Странный вы человек, — вздохнул Шер. — Если бы мне так везло в опере, как вам! Я слышал — вы пели в «Мейстерзингерах», говорят, здорово.

— Как же. Я потом сразу получил новые предложения...

— Вы вообще — счастливец. Кого я ни встречал из актеров, — все велят вам кланяться, Лисси прислала со мной письмо.

Шер достал бумажник, набитый чепухой, и с трудом откопал маленькую записку.

«Обезьяна, — писала Лисси, — если бы от меня зависел этот глупый обмен пленными, я не отдала бы тебя за дюжину немцев, не говоря об австрийцах, хотя ты слишком пренебрег мною. Но я не сержусь на тебя, потому что ты был занят. Я тебя сохранил в памяти моего сердца, рядом со всем, что помню о твоей чудесной матушке России. Неужели ты поедешь еще дальше Варшавы? Прощай, мой милый верблюд, ты был хорошим коллегой и простым малым. Когда кончится ваша революция, пришли мне икры-малосоль.

Твоя Лисси».

Я прочитал записку Шеру, он повторил, качая головой:

— Везет.

— А как с вашей Вильмой? — спросил я.

— Я подумаю, как быть. Мы теперь — свободные люди, — лукаво ответил он.

Распахнув пиджак, он показал новые голубые подтяжки и спросил, во сколько я их оценю. Потом нагнулся, засучил одну брючину, и я увидел такую же голубую подвязку. Он растянул ее на

руке, чтобы показать добротность резины.

— Вам нравится?

— Мне кажется, — ответил я серьезно, — резинки лучше бы купить розовые. Вы понимаете, если вы разденетесь, какое будет сочетание: голубые подтяжки с розовыми резинками.

Он сморщил брови и прищурился на меня. Думаю, как художник, он оценил мое замечание.

— Вы что же, собрались жениться?

— Мы — свободные люди, — опять слукавил он.

Мы поговорили о будущем, так загадочно предстоящем нам, и простились, обнимаясь, пожимая руки, грустя, как люди, с'евшие пуд соли, при расставании, которое, неизвестно, что принесет.

Новость, доставленная Шером, подтвердилась. В полиции мне об'явили, что, по распоряжению военных властей, для меня будут заготовлены бумаги, и я могу отправляться во-свояси.

Директор хотел знать, намерен ли я и после войны у себя на родине продолжать театральную карьеру. Ведь вот, например, как он слышал, в Москве славится некий Художественный театр. Я согласился, что Художественный театр, в самом деле, очень подходит для меня, и старики будут мне безумно рады, потому что я, как-никак, обладаю певческими данными, а этот театр, судя по «Солнце всходит и заходит», знает толк в пении и, наверно, кончит оперой.

Ни звука директор не напомнил о пишущей машинке, был обходителен, оживлен, угощал сигарой, и я с неприязнью и обидой увидел, как он рад, что избавляется от меня навсегда.

Я распродал свой гардероб. Приглаживая, для пушего вида, шелковые лацканы фрака — шедевр этого рода, сшитый гардеробье Краузе, — я вспоминал благожелательного портного с шевелящимися булавками во рту, и мне было так, точно я обманул его и воровски собираюсь скрыться.

Старый хорист купил у меня светлый жилет с перламутровыми пуго-

вицами и весь грим по феерической дешевке, известной только закулисам.

— Значит, вы окончательно бросаете сцену? — спросил он.

— Окончательно.

— И думаете — никогда не вернетесь?

— Никогда.

— Эх, вы! Знаете, что я вам скажу? Недавно исполнилось сорок два года, как я на сцене. Чего я не видал в театре за этот срок? Спросите меня — чего не видал? Ну, спросите! Так я вам скажу: за все сорок два года я ни разу не видал, чтобы человек, ушедший со сцены, рано или поздно не вернулся в театр. Такого случая я не запомню.

Я всмотрелся в хориста. Нижние веки его исчезали в мешках, набухших на скулах. Мелкие малиновые сосудики испещрили щеки, которые свисали на воротник. Бровей не было. Седой пух светился кое-где нежными островками на желтой плешине. Укоризненно, без остановки, тряслась нижняя челюсть.

— Нет, мой друг, — засмеялся он, широко разевая беззубый рот, — помяните меня, старика: быть вам опять на подмостках.

И он безнадежно махнул рукой.

Мне стало страшно от его пророчества. Зловещее «помни о подмостках» отозвалось во мне, как «помни о смерти», и, будто отворачиваясь от смерти, я резко оборвал его смех:

— Нет, конечно. Я не вернусь ни за что.

Я покончил с гардеробом, простился с бывшими товарищами и, переступая порог коридора, на лестнице, перед выходом из театра, на минуту приостановился. Из-за кулис тянуло сквозняком, пропахшим клеевой краской и мебельным лаком, на сцене переключались плотники, глухо стукнул об пол опущенный на блоках декорационный задник, сверху чуть-чуть долетало рояльное бренчанье — начинали разучивать «Гаспорона» Миллекера. Под стеклом витрины, рядом с репертуаром наступавшей недели, об'являлось расписание репетиций. Я прочел: «Н и н о н». «По болезни г-жи такой-то сценическая ре-

петиция для заменяющей ее г-жи таковой-то — роль Нинон де л'Анкло. Ввиду ухода из труппы г-на такого-то (здесь стояло мое имя) рояльная репетиция для заменяющего его г-на такого-то (здесь стояло имя старого хориста) — роль тамбур-мажора».

У меня билось сердце. Кто-то незаметно подошел ко мне и сжал мои плечи. Я обернулся.

— Вы что, изучаете репетиции? — как всегда, с уничижительной гримасой спросил Кваст. — Думаете, на прощанье директор назначит вам бенефис?.. Да, да, я понимаю. Театр — это железная заноза, которая попала в мясо, и чорт ее знает, когда и где вылезет наружу. Идемте в кафе. Я угощаю.

За чашкой желтенького кофейного суррогата с сахарином Рихард Кваст говорил:

— Ах, да, во всем одно и то же, одно и то же: война, война! Этот сор засыпал весь божий мир, и теперь дело подходит к концу. Пожалуйте, получайте. Одни говорят — мы выиграем, другие — мы проиграем. Кто — мы? И не все ли равно, как это будет называться? Выиграли, проиграли. В барыше останутся одни спекулянты.

Закрыв рот чашкой, он бормотал едва слышно:

— Ясно, что без доброй революции нам не обойтись. На русский образец. Тряхнуть хорошенько деревом, чтобы сверху посыпались дули. Я завидую, что вы едете в Россию: там уже все ясно. А тут еще неизвестно, что будет...

Я сам начинал все больше завидовать себе, потому что отъезд приближался, и каждый день, нитка за ниткой, обрывались державшие меня связи. Наконец, наступило время, к которому я всегда готовился и о котором поэтому боялся по-настоящему думать, — время разлуки с Гульдой.

Удивительно, с какою силой воспринимались мелочи расставанья. Все, что сопутствовало ему, выдавливалось в памяти, словно на металлическом листе, как будто нарочно, чтобы никогда не забылась боль прощанья. Мы бродили по парку, и я запомнил все повороты дорожек, всякое дерево, всякую осве-

щенную солнцем ветку. Мы перешли несколько раз мост, взад и вперед, и я знаю каждую клетку его железных ферм. Мы сидели перед домом садовника, опутанным диким виноградом, и мне кажется, что в этом доме я жил. Все эти часы проносились быстро, как ветер, и в то же время, замерев, они не двигались ни с места.

И вот, все было кончено.

Вечером, при огнях, я стою в двери вагона, только-что тронувшегося в путь. Глядя на меня, зажав лицо ладонями, по платформе идет Гульда. Вагон увеличивает скорость, Гульда идет быстрее, чаще и чаще шагая. Потом, чтобы видеть меня, она отходит подальше от поезда. Она мнет, растирает щеки, как будто они замерзли. Она бежит. Она бежит скорее и скорее, и расстояние между нами растет и растет. Вдруг в конце платформы она натывается на фонарный столб. Я тяжело ощущаю нелепый удар и вскрикиваю. Гульда прижимается к столбу головой. Я кричу:

— Ушиблась?

Она высоко взмахивает рукой, потом рука падает. Как пригвожденная, Гульда стоит у столба. Поезд делает поворот, и я больше не вижу ее.

Или нет: я вижу ее, хотя давно исчез последний огонь станции, вижу ее всю дорогу, которая тянется бесконечно, между небом и землей, и открывает мне все больше нового и необыкновенного. Я вижу ее наяву и во сне, и тысячи лиц, поочередно — прекрасных и отвратительных, — не могут заслонить собою навсегда единственно лица Гульды...

В Польше присоединился я к партии пленных и прибыл с нею на обменный пункт, где предстояло отбыть карантин.

Земля кругом была изуродована разрывами снарядов, сосновый лес простерся голый, без макуш, неровно оторванных артиллерийским огнем. В старых, полусасыпанных ходах сообщения между окопами стояла ржавая вода. лягушки вылезали из нее в сумерки поквакать.

В нашем бараке нашлись два гармо-

ниста и скрипач. Чтобы развлечь измученное население лагеря, мы решили устроить концерт. Мы подготовили программу, приемлемую для сурового начальства и хоть немного напоминавшую близость демаркационной линии, за которой, у нас на родине, пелись бесстрашные песни.

Перед двойным забором из колючей проволоки привычно сели и легли на земле пленные соседнего барака, позади нас расположилась толпа наших сожителей. Чем дальше играл начавший концерт скрипач, тем делалось тише, и вот вечерний час как будто остановился. Маленький, казавшийся беспомощным инструмент из четырех струн и невесомого смычка дерзко заполнил ёмкое пространство. Толпа не шевелилась. Когда музыка кончилась, первые несмелые хлопки были вдруг подхвачены раскатами восторга. Отвыкшие проявлять свою общность и неожиданно почувствовавшие ее, пленные аплодировали с таким дружным запалом, что конвоиры начали беспокойно переглядываться и ощупывать на поясах патронташи.

После этого грома радости выступил я с песней о «Дубинушке». Я пробовал голос заранее, но не во всю силу, и он мне показался звучным, болезнь не оставила на нем никакого следа. Но едва я запел, как услышал очень тихую непрерывную высокую нотку, похожую на комариный звон, точно насильно вплетенный в мой голос. После первого куплета я откашлялся, но комариная песня в горле сделалась только звучнее, и когда я дошел до самой высокой ноты — «англичанин-мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину», — на этой машине голос мой да! петуха и оборвался.

Толпа либо не поверила ушам, либо не сразу решила — принять ли случившееся за шутку, или всерьез, но секунда прошла в страшном безмолвии, и потом я услышал смех, который, так же, как аплодисменты, начался робко и, все быстрее и быстрее разрастаясь, перешел в грохочущий хохот, охватив-

ший меня со всех сторон. У меня не хватало сил сойти с места. Я, развел руками, прося извинить меня, а толпа хохотала веселее и веселее, заново радуясь испробованному бодрящему чувству единения и всеобщего родства. Но тут уже и конвоиры с легким сердцем присоединились к веселью, ухмыляясь и закручивая усы.

Будто пьяный, я побрел к бараку. В дверях ко мне подошел молодой солдат. Как на всех пленных, на нем висела шинель, жеваная и сношенная, точно больничный халат, но лицо его было здоровым, глаза ясными, густая щетина бороды плотной красноватой коркой покрывала щеки. Он ласково спросил меня:

— Упелся, родимый?

Я с удивлением взглянул на него и переспросил хрипло:

— Упелся?

— Ну, да. Отпел свое?

Мы вместе вошли в барак, и я опустил на первую нару. Солдат сел рядом и помолчал. Когда время, требуемое приличием, миновало, он сказал:

— Покурить есть?

— Нет.

Он опять помолчал.

— Ну, не горюй, — сказал он, подымаясь с нары. — Приедешь домой — поправишься. Мы все там поправимся.

И он положил мне на плечо руку.

Не знаю, почему, я вскочил и распрямился. На меня глядели чистые и очень теплые синие глаза, и лицо в красноватой корке бороды спокойно улыбалось. Я снял его руку с плеча и пожал ее сильно.

На дворе заливались гармонии, жадно, со всхлипами, набирая воздух, народ слушал, затаившись. Я вышел из барака вместе с солдатом, присоединился к толпе, не испытывая никакого стыда или стесненности, чувствуя себя так легко и просто, как никогда за все время плена и актерства.

Да и правда: плен и актерство были позади, и я ехал домой, поправляясь.

1930,

1936 — 37.

Открытое письмо

московского завода «Динамо» имени С. М. Кирова
Де-Брукерам, Адлерам, Ситриным,
вновь защищающим подлых троцкистских бандитов

Презреннодушные месье!
О кознях ваших прочитавши,
Мы сообща решили все
Ответить вам на речи ваши,
Что впрямь превысили кряжи
Мерзейшей подлости и злобы,
Монбланы самой низкой лжи
И негодяйства высшей пробы.

Да.

Расстреляли.

Но кого?
Кого Республика добила?
Врагов народа своего,
Поднявших руку на того,
Чья титаническая сила
Дорогой ленинской ведет
Страну родной советской власти,
Страну невиданных работ
И человеческого счастья.

Да.

Расстреляли.

Но кого?
Убийц!

Предателей!

Злодеев!

Их дело подлое мертво,
Но, гнусный заговор затеяв,
Они, продавшись Гестапо,
Хотели люд родного края
Отдать под гитлеров топор,
Под иго сабли самурая.

Да.

Расстреляли.

Ну, и что ж?
Ведь все злодейства их раскрыты!

Но вновь троцкистские бандиты,
Обман, предательство и ложь
Дождались пламенной защиты.
Беретесь вы —

в миллионный раз! —

Оправдывать всю эту свору.

Так не пеняйте же,

что вас

Мы пригвоздим к столбу позора.

Враги сознались, что они
Усердно каялись и клялись
И под завесою брехни
Убийством к власти пробирались,
Что предавали вновь и вновь,
Что шахты наши рвали в клочья,
Что, словно воду, лили кровь
Красноармейцев и рабочих,
Что ими был застрелен тот,
Чей образ людям солнца краше,
Чье имя носит наш завод,
Кто был вождем и другом
нашим, —

Да поглядите нам в глаза,
В глаза советского завода! —
И вас испепелит гроза
Безмерной ярости народа.

Да. Ваши речи таковы,
Что рыло всех врагов глядит в них!
Нам ясно,

кто такие вы,

При виде ваших подзащитных.

Писать о фабриках статьи,
Заводы восхвалять ретиво

И к ним в подпольной тьме ползти
 Для затопления и взрыва, —
 Хвалить стахановский Кузбасс,
 Произносить о шахтах речи
 И в них взрывать гремучий газ,
 Всех убивая и калеча, —
 У гроба Кирова стоять;
 В притворной скорби прослезиться,
 Тайком смеясь, припоминать,
 Как был вручен заряд убийце,
 И говорить рабочим вслух
 Слезливо-лживый спич надгробный, —
 Да мы не выискали двух
 Примеров подлости подобной!

Провозглашать шумливый тост
 За Красной армии знамена,
 Пуская под крутой откос
 Красноармейцев эшелоны, —
 Врагу на митингах грозя,
 Казаться патриотом рьяным,
 Распродавая всё и вся
 И предавая вражьи страны, —
 Греть: «Миаха! Ты герой!»,
 Вывертываясь наизнанку,
 И свой ПОУМ готовить в бой,
 Как пятаю колонну Франко, —
 Фашистский яростный нажим
 Громить сплеча пред целым светом
 И быть у Мосли псом цепным
 И деляроковским клеветом, —
 Ругать войну всемирным злом,
 Клеймить фашистов лживым смехом
 И быть за гитлеров разгром
 Румын, болгар, французов, чехов, —
 Везде орать о дружбе стран
 И втихомолку год за годом
 Подготовлять военный план
 Закабаленья всех народов, —
 Ходить с улыбкой среди нас,
 Самим себе давать острастку,
 Чтоб не забыть, хотя бы раз,
 Где надевать какую маску, —
 Прославить преданность свою
 Безмерно льстивыми словами
 И думать: «Я тебя убью!»,
 Крича: «Я восхищаюсь вами!», —
 Убийц проклявши, убивать,
 Врагов хуля, крепить их силы,
 Лжецов клеймя, все время лгать,
 Хотя бы стоя у могилы, —
 Отбросить все людское прочь,
 Грозя заводам, шахтам, селам, —

Каким Азефам это смочь
 И по плечу каким Лойолам?

Ваш хор в защиту их берет,
 Клеветает всласть и жлет без меры...
 Клоака

мерзких нечистот —
 Вот ваша совесть, де-Брукеры!

Перед страной падите ниц!
 Тут вам успеха не добиться!
 Кто смеет

защищать убийц,
 Тот сам в душе своей убийца.

Видать, хотели Ситрины,
 Чтоб вслед за Кировым убили
 Других вождей такой страны,
 Где мы буржуев разгромили.
 Нет!

Не дожидаться им того.
 Мы встанем вокруг вождей стеною
 И всех врагов —

до одного! —
 Раздавим тяжкою пятою.
 И в этом мы не сменим вех.
 Во имя всех людских законов
 Мы уничтожим

кучку тех,
 Кто против счастья миллионов.

Когда узнали мы о том,
 Что пятаковские бандиты
 Зажаты нашим кулаком
 И все злодейства их раскрыты,
 Мы в тот же миг произнесли
 Суровый приговор завода
 Врагам заводов и земли,
 Врагам страны, врагам народа.

Вам, адвокатам гнусных дел,
 Мы скажем с гордостью и прямо,
 Что руку поднял за расстрел
 Весь многотысячный «Динамо».
 Бойцы станков, бойцы машин,
 Все техники, все инженеры
 Голосовали, как один,
 За наказание высшей меры.
 Среди них, чудесных мастеров
 Стахановских машин и станов,
 И наш литейщик Столяров,
 Что дал семьсот процентов плана,
 И Коновалов, и Белых,
 И сотни тех, чьей вымах твердый

Стократно бьет в цехах родных
 Всех «Метро-Виккерсов» рекорды.
 Голосовал стальной завод,
 Чей гнев прекрасен и неистов,
 Завод, — что вымел мерзкий сброд
 В цеха пробравшихся троцкистов,
 Завод, — обет которым дан,
 Что будет он в стране ведущим,
 Завод, — что выполнил свой план
 И перевыполнит в грядущем,
 Завод, клянувшийся стране,
 Что он победами своими
 Сумеет оправдать вполне
 Родное Кировское имя.

Бойцы «СК», бойцы «ВЛ»,
 Создатели электровозов,
 Голосовали за расстрел
 Врагам заводов и колхозов.

А вы спросите наугад
 Ряды электровозов наших,
 Мартен спросите и прокат,
 И трактора колхозных пашен,
 Спросите мненья у домов,
 У яслей, прачечных, столовых,
 У наших парков и садов
 И у начищенных винтовок,
 Спросите мненья у листвы,
 У песни, что везде мы слышим,
 У воздуха, которым дышим,
 У солнца,
 рек,
 земли,
 травы...

Мы им сказали о событиях,
 О мерзости троцкистских дел,
 И все ответили:
 — Добить их!
 И все ответили:
 — Расстрел!

Мусьюшки!
 Перед вами встала
 Громада радостной страны
 И гнусь фашистского закала,
 Шпионы, палачи, луны,
 Кого избрали вы? Кого же?

Наймитов гитлеровских банд!
 Пигмеи-гады вам дороже,
 Чем дивная страна-гигант.
 Кто выдал вам от них мандаты?
 Кто вас купил? Кто взял вас в плен.
 Убийц троцкистских адвокаты
 И покровители измен?

Мы знаем адрес этой клики!
 Нам в вашем голосе слышны
 Неумолкающие крики
 Всех поджигателей войны.
 Пуская в действие машины
 Зловонной клеветы на нас,
 Вы исполняете

Берлина
 Фашистско-пушечный приказ.
 На этой пакостной работе
 Вертаться, как маклер покупной,
 Вы ружья Гитлеру даете,
 А не Испании родной!..

Но есть рабочие массивы,
 Которым ясно до конца,
 Что ваши речи так же лживы,
 Как маска вашего лица.
 Они, завесу лжи развеяв,
 Пред целым миром утверждают
 Расстрел неистовых злодеев —
 И всех фашистов разгромят.
 Они советский строй восславят
 А вас — по свеженьким следам —
 К Иуде-Троцкому отправят
 И вместе с ним
 ко всем чертям!

Ну, что ж? Туда вам и дорога.
 Ведь вы ходить по ней не прочь...

Приветствий наших к вам немного.
 Примите наш удар
 «и проч»...

Прочь от советского порога!

(Письмо принято на митингах
 всех цехов завода *единогласно*.)

Письмо изложил в стихах поэт
 А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.

Из испанских поэтов

Переводы ЛЬВА ДЛИГАЧА.

БЛАГОРОДНОЙ РОССИИ

Луис де Тапиа

Одну
Страну
Сегодня я пою.
Высок и ясен будет голос песни.
Сейчас, когда Испания в бою,
Нет подвига сердечней и чудесней,
Чем поддержать Испанию мою.

Европа спит,
народ веселый мой
Обречь готова на любую муку.
Но нет,
не быть Испании тюрьмой.
Я этой песней пожимаю руку
России благородной и прямой.

Пришла пора,
великая Москва
Сказала ободряющее слово,
Вступилась прямодушно и сурово
За честь народа, за его права.

Фашистских козней нам ясна
природа,
Ясны увертки рыцарей костра —

Германии краплёная колода,
Италии бесчестная игра.

Враги, стремясь концы упрятать
в воду,
Захватническим замыслом в угоду
Спешат прикрыться речью завитой,
Потворствуют разбойничьему сброду.
А к нашему испанскому народу
С разбойничьей подходят прямотой.

Все их уловки — жалкая гримаса,
Их опьяняет горький дым войны,
Но им в слепое пушечное мясо
Не превратить моей родной страны!

Россия поведением прямодушным
Сильней стучать заставила сердца,
Нас не сломить огнем пожара

душным,
Ударом пушек и дождем свинца —
Мы победим, сражаясь до конца.
Пройдем к победе сквозь любую муку,
Вовек не быть Испании тюрьмой!
Я этой песней пожимаю руку
России благородной и прямой.

ЗАЩИТНИКАМ КАТАЛОНИИ

Рафаэль Альберти

Каталонцы!
Ваша Каталония,
Светлая, прекрасная, родная,
Дорогая сердцу и сознанию, —
Это наша верная сестра.

Грозно охраняемая скалами,
Щедро омываемая морем,
В бой она,
во имя справедливости,
Отправляет лучших сыновей.

Под высоким знаменем республики
У Толедо и у стен Уэски,

В Сарагосе
и по всей Испании
Каталонцы проливают кровь.

Пусть во имя самой сладкой музыки,
Пусть во имя каталонской речи
Постоянно помнит Каталония:
Враг упорно смотрит на Мадрид.

Он с ожесточением накапливает
Силы для смертельного удара.
Бдительней во имя ваших чаяний
Стойте, каталонцы, на посту!

Если б враг сломил сопротивление
Доблестных защитников Мадрида,
Свора самых оголтелых наймитов,
Свора озверелой солдатни,

Чужеземная и кровожадная,
В иступленьи бросится к воротам
Молодой, веселой Каталонии —
Вашей изумительной страны.

Слышите войны сердцебиение?
Слышите, как учащенно бьется
Сердце битвы,
 символ нашей доблести —
Подвигом овеванный Мадрид.

Если бы, исполненное мужества,
Это сердце перестало биться,
Враг бы попытался Каталонии
Нанести решительный удар.

В ней он видит голову республики
И спешит к ее прекрасной шее
Дотянуться грязными ручищами,
Словно жемчуга на ней висят.

Нет предела генеральской подлости,
Всю страну они порвут на части,
Чтоб на кровью обгащенной скатерти.
Наконец, затеять волчий пир.

Поклянитесь, каталонцы храбрые,
Что добычей этого отребья,
Этих мародеров и предателей,
Родина не станет никогда!
Знайте, что свободу Каталонии
Охраняют войны Мадрида.

Ваши села, города и фабрики,
Гордые вершины и моря,
Берега, укатанные волнами,
Корабли, стоящие в заливе, —
Все, на что вы расточали молодость, —
Стойко защищайте от врага!

Каталонцы!
Будьте крепко связаны
С мужественным и суровым сердцем
Нашей несгибаемой Испании,
Защищайте вашу независимость,
Ваше знамя, братья по борьбе!

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ¹⁾

Хозе Камеро Гарсиа

Товарищи, дружинники
Колонны андалузской.
Вперед!
Побольше стойкости
В решительной борьбе!

Позор и смерть изменникам,
Забывшим честь и совесть,
Залившим кровью родину,
Предавшим свой народ.

Отважные дружинники,
Дадим друг другу клятву,
Что Кейпо де-Лиано
От кары не уйдет.

Когда во всей Испании
Мы сбросим гнет насилия,
Когда мы шваль фашистскую
Сотрем с лица земли, —

Колонна Андалузии
Тогда по праву скажет:
— Мы шли навстречу пламени,
К победе над врагом.

Привет вам, честь и мужество
Великого народа!
Привет народной армии
И всем ее бойцам!

Да здравствует, товарищи,
Наш командир Барнето!
Да здравствует Испания!
Да здравствует наш полк!

¹⁾ Напечатано в органе андалузской народной милиции «А Венсер» («Победить!»).

Большой день

Фантастическая пьеса в 5 актах, 6 картинах

В. КИРШОН

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

КОЖИН ПЕТР
ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР
ГОЛУБЕВА ВАЛЯ
ЗОРЯ
ЛОБОВ ЕПИФАН ЗАХАРОВИЧ
ЛОБОВА АННА ПАВЛОВНА
ЛАЗАРЕВ
ПОЛОЦКИЙ
БОБРОВ
ГОРОХОВ
ГЛУХОВ

ЕРОХИН
КОБРИН
ДОКТОР
МАЛЯР
ГУГО ФОН-МИЗЕНБАХ
ГРАУДЕНЦ
КМОХ
АЕМКЕ
ЭБРЕХТ

Бойцы, парашютисты, летчики и др.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Комната Кожина и Зори в одном из корпусов аэрогородка. В ней неуютно, но чисто. Две железные кровати стоят друг против друга. Пианино. Большое окно выходит на аэродром. У окна — стол. Студья, табуретки. Этажерка с книгами. Над кроватью Кожина висят шашка, карабин, маузер.

Лето. Выходной день. Утро. Игрет граммофон. КОЖИН и ЗОРЯ танцуют. Они в брюках, сапогах и майках. Кожин серьезно выделывает сложное чечётное па.

КОЖИН. Так-с! А это сумеете?

ЗОРЯ. Пожалуйста. *(Повторяет па.)*

КОЖИН. Допустим. А это как для вас выглядывает? *(Отплясывает еще замысловатее.)*

ЗОРЯ. Очень просто. *(Пляшет, повторяя. Кончается завод граммофона, ритм нарушается. Зоря идет к граммофону.)*

КОЖИН. Не извольте беспокоиться. Давай, давай, я подкручу. *(Вертит ручку.)* Ну-с, кройте дальше, молодой человек.

ЗОРЯ *(танцует)*. А тут еще вот так. Ты попробуй.

КОЖИН. Между прочим, вроде Володи. Ну, а на это способна ваша молодость?

Валя *входит*. Стоит в дверях, наблюдая эту сцену и улыбаясь.

КОЖИН *(танцует, напевая)*. Вот этак. Ножкой влево. А вот... *(Замечает Валию и застывает с поднятой ногой. Снова сдает завод граммофона.)*

ЗОРЯ *(не замечая Вали)*. Давай, давай, я подкручу.

КОЖИН. Гимнастерку!

ЗОРЯ. Что?

КОЖИН. Гимнастерку дай. *(Вале.)* Между прочим... чем могу?..

Зоря *подает ему гимнастерку, смотрит на Валию. С хрипом и воем медленно вертится пластинка.*

ВАЛЯ. Вы майор Кожин? Да оставите, ради бога, граммофон!

КОЖИН. Выключи. (*Надел гимнастерку, застегнул пояс.*) Я майор Кожин.

Зоря останавливает граммофон.

ВАЛЯ. Я Голубева. Жена Голубева, который к вам командиром отряда назначен. Мы приехали. Он у комбрига сейчас. Тут наша квартира рядом. Вы знаете?

КОЖИН. Я не знал, что Голубев женат, между прочим.

ВАЛЯ. Он не между прочим женат.

КОЖИН. Это так у меня, — приговор. А вы не цепляйтесь. (*Хмуро.*) Что ж вы ко мне, собственно?

ЗОРЯ. Петя, у них маляр.

КОЖИН. Так-с. Ну, и что же?

ВАЛЯ. Так вот комбриг посоветовал пока у вас перебыть.

КОЖИН. Приказания комбрига для нас обязательны.

ВАЛЯ. Да никакого приказа не было, просто я прошу. Вам это неприятно?

КОЖИН (*хмуро*). Мне безразлично.

ВАЛЯ. Ну, простите за беспокойство. Прощайте! (*Хочет уйти.*)

КОЖИН. Стоп! Где вещи?

ВАЛЯ. Какие вещи?

КОЖИН. Ваши, натурально. Тюки, мешки, ящики, — тара, в общем.

ВАЛЯ. Ну, внизу, в машине. А вам-то что?

КОЖИН. Зорька! Пошли за вещами. (*Валс.*) Садитесь, жена Голубева. (*Идут к дверям.*)

ВАЛЯ. Да я с вами пойду. Чудак вы, между прочим.

Сцена некоторое время пуста, только внизу слышны голоса. Затем входят Зоря, Валя, Кожин. Они тащат вещи, укладывают их к стене.

КОЖИН. Там еще два чемодана. Принесу. Сидите.

ВАЛЯ. Я не устала.

КОЖИН. Как угодно. (*Уходят.*)

ЗОРЯ (*остается один. Берет гитару, принесенную с другими вещами, перебирает струны. Входят Валя и Кожин, который несет один чемодан сам, а другой вместе с Валей*). Это вы на гитаре играете?

ВАЛЯ. Я. А это ты на рояле?

ЗОРЯ. Да. Немножко.

КОЖИН. Он гениально играет. Он сам музыку сочиняет. Он, между прочим, композитор. Это, знаете, не на гитаре бренькать.

ВАЛЯ. Да я и в самом деле только бренькаю.

КОЖИН. Я не о вас. Впрочем неважно. А кроме, как на гитаре бренькаете, вы еще чем занимаетесь?

ВАЛЯ. Я жена Голубева.

КОЖИН. Сурьезная профессия.

ВАЛЯ. И она нужна. Что это у вас неуютно так?

КОЖИН. А я солдат, знаете. Привык к казарме. Обростать, между прочим, не собираюсь. Ни брюшка, ни утюжка. Бывают, конечно, что с собой двести чемоданов возят, юбки, тряпки, кастрюли, чистилок для примуса ящик. Я не из тех.

ВАЛЯ. Это вы про моего мужа говорите?

КОЖИН. Я про уют говорю.

ВАЛЯ. Разве это плохо — уют?

КОЖИН. Смотря для кого, жена Голубева. Для меня в самолете уют. Сел. Поднялся. Разворот. Высота, воздух свежий. Понятно?

ВАЛЯ. А на земле?

КОЖИН. А на земле я к полету приоровлен. Как птица — сорвался и полетел. В постели не валяюсь под периной. А есть — парятся, нежатся, котятся. В детский дом бригаду превратили. Старый капрал каждые два дня на своей машине в город баб рожать возит.

ВАЛЯ. Как вы сказали?

КОЖИН. Рожать, говорю, возит. Понятно?

ВАЛЯ. Нет, вот это — «старый капрал»?

КОЖИН. А! Это комбриг наш.

ВАЛЯ. Почему старый капрал?

КОЖИН. Это из стихов каких-то. «Был я отцом вам, ребята, вся в сединах голова». «Старый капрал», знаете? Так вот боевого нашего комбрига, с которым мы вместе на поляков шли, повивальной бабкой быть заставляют. Понятно?

ВАЛЯ. Значит, летчику жениться нельзя?

КОЖИН. Женятся. Только что за летчики!

Входят комбриг Лобов и Голубев. Кожин и Зоря встают, вытягиваются. Комбриг здоровается с ними.

ЛОБОВ. Здравия желаю. Здравствуй, Зорька. Вот, Кожин, познакомься — Голубев, командир второго отряда, вместо Леонова. Леонов — в академию. Прошу любить. Вместе работать.

КОЖИН (*протягивает Голубеву руку*). Командир первого отряда девятой эскадрильи штурмовой авиации майор Кожин.

ГОЛУБЕВ (*жмет руку Кожину*). Владимир Голубев.

ЛОБОВ. Что ты так официально? Опять не в духе? Веселей, Петр.

КОЖИН. Приказано быть веселей.

ЛОБОВ. Поехал, поехал. Не обращай внимания. Он вас не прогнал?

ВАЛЯ. Хотел прогнать было, да мне безразлично.

ГОЛУБЕВ. Валька!

ЗОРЯ. Он не хотел вас прогнать, вы неправду говорите.

ВАЛЯ. Я пошутила, Зоренька.

ГОЛУБЕВ (*ласково*). Кто ж так шутит, дурачок. Товарищ Кожин может обидеться.

КОЖИН. Не извольте беспокоиться, я не из девиц.

ЛОБОВ. Вот ерш, вот злыдень! Ну, чего ты рычишь? К тебе соседи пришли, а ты огрызаешься. Им только сбежать остается. (*Вале.*) Вы что, с ним поссорились?

ВАЛЯ. Да мы и не познакомились даже. Вот с сыном познакомились.

ЛОБОВ. Он не сын ему. Зоря — нашей бригады воспитанник. Он только живет у Кожина.

ВАЛЯ. А я думала — отец.

ЗОРЯ. У меня отца бандиты убили, а мама от родов умерла. Я с бабушкой жил, но бабушка старая была и сама тоже умерла. Меня на маневрах бригада взяла.

ВАЛЯ. Вот что, я не знала...

ЛОБОВ. Ничего, узнаете. Все обломается. Когда ж у вас-то будет готово?

Мне доложили, что вчера конец ремонта. Позови-ка оттуда маляра, Зорька.

Зоря выходит.

Что ж вы не сядете, Валя? Кожин, да предложи ты стул.

КОЖИН (*подает стул*). Прошу.

ВАЛЯ (*в тон ему*). Благодарю.

Входят Зоря с маляром, который отдает честь.

ЛОБОВ. Здравия желаю. Что ж ты, брат, копаешься? Вчера ведь должен был закончить?

МАЛЯР. Так точно.

ЛОБОВ. Ну, в чем же дело?

МАЛЯР. Так что вчера не работал.

ЛОБОВ. Почему это?

МАЛЯР. От споткновения души.

ЛОБОВ. Что?

МАЛЯР. От споткновения души, говорю. Ушел я позавчера и, можно сказать, до двух часов утра сегодня принимал.

ЛОБОВ. Принимал? Что принимал?

МАЛЯР. Известно что. Душевный бальзам.

ЛОБОВ. Русскую горькую?

МАЛЯР. Угадали.

ЛОБОВ. Распрекрасно. Работа стоит, а ты бросил и пьешь. Ты что, маляр-то старый?

МАЛЯР. Природный маляр.

ЛОБОВ. Стыдновато, друг. Давши слово, крепись, как это говорится.

МАЛЯР. Правильно. Я бы кончил. Меня ваш начхоз обидел.

ЛОБОВ. Обидел? Как так?

МАЛЯР. Так точно. С утра они приходят позавчера. Э, говорит, тебе еще вон сколько делов. Не кончишь завтра. Я говорю — никак нет, кончу. Потому что я свою возможность понимаю. Может, другой и не кончил бы, а я кончу. Он говорит — нет. И так авторитетно, как военный товарищ, заявляет. Категорически, говорит. Обидно очень. Вечером пошабашил и с этого настроения принял.

ЛОБОВ. Споткновение души?

МАЛЯР. Так точно.

ЛОБОВ. А сегодня кончишь?

МАЛЯР. Безапелляционно.

ЛОБОВ. Ты смотри уж, не подводи, видишь — люди на вещах сидят. Занчивай.

МАЛЯР. Сознаю. *(Отдает честь и уходит.)*

ЛОБОВ. Начхоз — дурак. Не сумел подойти. Я верю, именно от обиды запил. У всякого своя струнка есть. Дернул, оборвал — срыв у человека. Тонкий инструмент.

ЗОРЯ. Какой инструмент?

ЛОБОВ. Человек, Зорька.

ЗОРЯ. Человек — инструмент, что ли, чего ты?

ЛОБОВ. Инструмент, Зорька. Сложней рояля инструмент.

ЗОРЯ. А как же на нем играть?

ЛОБОВ. Кто умеет, замечательная музыка может получиться. Такие, брат, мелодии... Майор Кожин, у тебя под колпаком все летали?

КОЖИН. Так точно.

ЛОБОВ. А ночные полеты?

КОЖИН. Последние два задания не выполнены.

ЛОБОВ. Но в сроки ты укладываешься?

КОЖИН. Сроки перекрываю.

ЛОБОВ. Хорошо. *(Голубеву.)* Вам придется бомбометанием подзаняться в отряде. Есть отстающие. Они третьего дня на полигоне бомбили. Я смотрел результаты. Не блестяще.

ГОЛУБЕВ. Слушаю.

ЛОБОВ. Вступайте в дело. К командиру эскадрильи сходите. Сегодня выходной, он, наверное, дома. В случае необходимости прошу ко мне, в штаб или на квартиру.

ГОЛУБЕВ. Слушаю.

ЛОБОВ. Пойдем-ка, Валя, к природному маляру, поглядим, как у вас квартиру отделявают. Или смотрела уже?

ВАЛЯ. Нет.

ЛОБОВ. Пойдем. Это все по моим планам строено, сам руководил.

Уходят.

Голубев смотрит на часы, потом вынимает записную книжку, пишет.

ЗОРЯ. Это что за портрет у тебя на часах, в крышке?

ГОЛУБЕВ. Это так. Портрет жены.

ЗОРЯ. Так она ж с тобой, зачем же портрет? Вот чудак.

ГОЛУБЕВ. Ну, не всегда со мной, ведь день я занят.

ЗОРЯ. А почему в часах?

ГОЛУБЕВ. На часы я часто смотрю. Вот и на нее взгляну.

ЗОРЯ. По-моему, волянка. А чего ты записываешь?

ГОЛУБЕВ. Вот, что мне комбриг сказал, в план вношу.

ЗОРЯ. В какой план?

ГОЛУБЕВ. В обыкновенный, в жизненный план.

ЗОРЯ. А ты что, по плану живешь?

ГОЛУБЕВ. Ну, конечно, а как же можно без плана жить?

ЗОРЯ. Ну, а если болеешь, тоже по плану?

Кожин фыркает.

ГОЛУБЕВ. А если болею, у меня в плане есть, какие книги я не читал — очередь, вот я их и читаю.

ЗОРЯ. Чего ж ты, только когда болен, читаешь?

ГОЛУБЕВ. Нет, я всегда читаю. Я каждый день, хоть двадцать страниц, а читаю. Но только, когда болен, ведь больше времени. Верно?

ЗОРЯ. Верно. А книг у тебя много?

ГОЛУБЕВ. Вот видишь — целых две корзины.

ЗОРЯ. А про гражданскую войну есть?

ГОЛУБЕВ. Есть.

ЗОРЯ. И про музыку есть?

ГОЛУБЕВ. И про музыку есть.

ЗОРЯ. А мне будешь давать?

ГОЛУБЕВ. Обязательно.

ЗОРЯ. Вот это ладно. А то я больше по специальности книги читаю.

ГОЛУБЕВ. По какой специальности?

ЗОРЯ. Да ведь я летнабом буду. Я летаю уже. Меня Петя учит.

ГОЛУБЕВ. Замечательно! А сколько ж тебе лет?

ЗОРЯ. Пятнадцать.

ГОЛУБЕВ. Порядком.

ЗОРЯ. А ты думал?

ЛОБОВ *(входит с Валей)*. Ну, Голубев, жена твоя, брат, критику там навела и маляру такие указания сделала, ка-

кие краски соединять, какие тона брать. Ой, ой, ой! Ну, до свидания.

ГОЛУБЕВ. До свидания, товарищ комбриг.

ВАЛЯ. До свидания.

ЗОРЯ. До свидания.

КОЖИН. Здравия желаю.

Лобов уходит. Пауза.

КОЖИН. Какую школу кончали, товарищ Голубев?

ГОЛУБЕВ. Красноярскую.

КОЖИН. Давно?

ГОЛУБЕВ. Три года.

КОЖИН. А-а!

ГОЛУБЕВ. Я по партийной мобилизации пошел в школу. До этого на авиационном заводе работал.

КОЖИН. А-а!

ВАЛЯ. Мы вам не мешаем? Вы, может быть, спать хотите?

КОЖИН. Спать? Почему?

ВАЛЯ. А вы, вроде, зеваете — а-а...

ГОЛУБЕВ. Валька!

ВАЛЯ. Да что «Валька»? Тут уж тебя майор Кожин, еще не зная, аттестовал: «Перины, одеяла, жены, чемоданы, — что за летчики?»

КОЖИН. Я, между прочим, вообще говорил, а не про вашего мужа.

ГОЛУБЕВ. А хоть бы и про меня? Тоже ничего страшного. Ну, я к командиру эскадрильи пойду. Прошу извинить.

ВАЛЯ. Скоро придешь?

ГОЛУБЕВ. Как освобожусь. До свидания, глупыш. *(Привлекает ее к себе, целует ласково, нежно гладит по щеке.)* До свидания, острижёнок мой!

Кожин смотрит на них удивленно, потом смотрит на Зорю, как бы желая сказать: «видал?»

Привет, товарищ Кожин!

КОЖИН. Честь имею кланяться.

Голубев уходит. Валя молча роется в своих вещах. Кожин напевает что-то, барабаня по столу пальцами. Закуривает.

ВАЛЯ. Пожалуйста, можете курить.

КОЖИН. Что?

ВАЛЯ. Я говорю — курите. Пожалуйста. Вы ведь спросили разрешения?

КОЖИН. Я спросил? Ага, вон что. Я, между прочим, к этим штукам не привык. Вы уж потерпите денёк. Мне переделываться поздновато.

ВАЛЯ. Почему у вас голос сиплый, — простужены?

КОЖИН. Продуло. Многими ветрами дышал. Бывали холодные. Вот и продуло.

ВАЛЯ. Вы давно летаете?

КОЖИН. Семнадцать лет.

ВАЛЯ. Много.

КОЖИН. Немало.

ВАЛЯ. Вы кто по профессии?

КОЖИН. Грузчик.

ВАЛЯ. А-а!

КОЖИН. И баржи на себе по Волге ташил. Бурлак.

ВАЛЯ. А-а!

КОЖИН. Теперь вы акаете?

ВАЛЯ. Значит, нехорошо было, когда вы акали? Где у вас вода? Я умыться хочу.

КОЖИН. Зоря, проводи в ванную.

ВАЛЯ. Хорошее имя у тебя — Зоря.

ЗОРЯ. Меня Захар зовут. Это меня Петя Зорей прозвал. Ну, пойдем.

Зоря и Валя выходят. За сценой слышен их разговор и смех. Кожин остается один. Он курит, поглядывая на папиросу. Затягивается, медленно выпускает дым, как-то по-особенному стряхивает пепел. Так курят одинокие люди.

ВАЛЯ *(входит вместе с Зорей. Она раскраснелась от холодной воды. На остриженной ее голове — мокрые пряди)*. Вода будто из-под снега, холодная и мягкая.

КОЖИН. Вы давно замужем?

ВАЛЯ. Два года.

КОЖИН. А до замужества что делали?

ВАЛЯ. Кончила девятилетку.

КОЖИН. И прямо замуж?

ВАЛЯ. Прямо.

КОЖИН. Так, так.

ВАЛЯ. Что ж, я шить умею. Я сама себе платья шью, мужу белье, хорошо готовлю, носки штопаю.

КОЖИН. Штопаете? Так-с.

ВАЛЯ. Володька приходит к ночи, усталый. У него всегда дома чай, ужин. Я ему туфли связала теплые. А вот вы, видите, в сапогах, и переодеть вам нечего.

КОЖИН. Да ведь это, между прочим, кому что нужно. Кому маузер, кому туфли.

ВАЛЯ. Володя маузер на ноги не надевает. Это его недостаток.

Зоря смеется.

КОЖИН. Между прочим, небольшой высоты шутка, товарищ жена. Мы, когда человек еще по земле ходит, знаем, какая ему в воздухе цена.

ВАЛЯ. Больно скоро вы ваши цены определяете.

КОЖИН. Я в тех летчиков не верю, что не по призванию идут.

ВАЛЯ. Вы сами не родились в воздухе. Грузчик — не пилот, а баржа — не самолет.

КОЖИН. Верно. И, между прочим, даже в рифму. Но вы должны знать, что у меня каждый мускул рвался в воздух. Я груз волок, который меня к земле давил, а потом на птиц смотрел, как они легко кувыркаются, плавают под облаками. Я свою породу преодолеть мечтал. Я, знаете, до сих пор самолеты, как птиц, называю. Истребитель у меня — ласточка, штурмовик — ястреб, бомбардировщики — орлы. Понятно? Я еще в гражданскую войну стал летать, меня офицера научили. Между прочим, на самолетах летал с зоологическим садом в крыльях. Приложишь ухо к крылу, а там внутри — жж-ж, зз-зз; жуки завелись, мухи какие-то.

ВАЛЯ. Это здорово — семнадцать лет в воздухе!

КОЖИН. А вы, между прочим, — «туфли теплые»! Эх, гражданочка-женушка, стриженные локончики...

КОБРИН (*стучит и, не дожидаясь ответа, входит*). Кожину! Музыканту! Это вы — Голубева? Приехали? Вон вы какая! Красивая вы! Ухаживать можно? Я — Кобрин, начхоз. Меня комбриг прислал ремонт у вас наблюдать. Что он хочет от меня, не знаю. «Ты, — говорит, — сумел позавчера маляра убедить, что он работы не кончит, пойд

убеди, что сегодня обязательно управится». Вот комиссия — гроб с музыкой, дискусируй теперь с этим отличником. (*Вале.*) А вас начальник парашютной службы просит сейчас же к нему. Перебил я вас, товарищ Кожин. Виноват, но заслуживаю...

КОЖИН. Подожди тарыхтеть. Зачем ей к начальнику парашютной службы?

КОБРИН. Здравствуйте — приехали. Вылезайте — который час! А к кому же ей? Когда парашютист приезжает, надо к начальнику явиться.

КОЖИН. Какой парашютист, кто парашютист?

КОБРИН. Ты что, меня покупаешь? Сколько даешь? Я дешево не продамся, я — самородок, девяносто килограмм вешу. Парашютист Голубева — двадцать один прыжок и грамота Осоавиахима. Вот она перед тобой. Прошу любить, но только без мужа.

КОЖИН. Двадцать один? (*Вале.*) Что же это вы мне плели? Жена Голубева и прочее...

ВАЛЯ. Я действительно жена Голубева, я вам правду сказала.

КОЖИН. Ну, да... Нет... Между прочим...

ВАЛЯ. Между прочим, мне надо итти. Если Володя придет, вы скажете ему, где я. Привет! (*Кобрину.*) До свидания, товарищ сердцеед. (*Уходит.*)

КОБРИН. Как? Как вы сказали?

Уходит за ней.

КОЖИН (*с удивлением*). Как мальчишку, разыграла. Вот дрянь!

ЗОЛЯ. Почему она тебе не понравилась?

КОЖИН. Не понравилась?! Дурак, да она мне так понравилась, что я, как она вошла, сорвался в штопор, и до сих пор всё витки.

ЗОЛЯ. Понравилась?! Так чего ж ты ее ругал?

КОЖИН. Потому что понравилась.

ЗОЛЯ. Ничего не понимаю.

КОЖИН. И, между прочим, рано понимать, молодой человек. Ах ты, чорт! Валька... Ты подумай, — сама светлая, глаза темные. Голубева, — и верно голубка. Ну, прямо голубка. Чудесная моя девочка!

ЗОРЯ. Как твоя? Да ведь она за мужем!

КОЖИН. Ну, это, между прочим, не последнее слово судьбы. Отбить можем, Зоренька. Всяко бывает.

ЗОРЯ. А зачем нам ее отбивать? Волянка.

КОЖИН. Займись, займись чем-нибудь. Сыграй, что ли. Да, да, сядь-ка, сыграй. А то, брат, я сам стукну по твоим перекладникам, весь корпус затанцует. Понятно?

КАРТИНА ВТОРАЯ

Класс для занятий в авиабригаде. На стене карты. За столом пишет ГОЛУБЕВ.

ЛАЗАРЕВ (*входит вместе с Полоцким и Гороховым*). Голубев, здравствуй. Ты свои занятия кончил? У нас тут теоретический кружок.

ГОЛУБЕВ. Я свои закончил.

ЛАЗАРЕВ. Слухал?

ГОЛУБЕВ. Насчет чего?

ЛАЗАРЕВ. Горохов премирован и личная благодарность командующего.

ГОЛУБЕВ. Замечательно! За что, Горохов?

ГОРОХОВ. Что? А, да это ерунда.

ПОЛОЦКИЙ. Благодарность командующего — ерунда?

ГОРОХОВ. Что? Нет, нет. Я про изобретение. Просто передвижной планшет придумал в кабинку. Это несложно. Сейчас я над одной штукой работаю, — вот это техника.

КОБРИН (*входя*). Здравия желаю. Как здоровье майора Кожина?

ГОЛУБЕВ. По-моему, хорошо, а что?

КОБРИН. Хорошо? (*Смеется*.) По-вашему, хорошо?

ГОЛУБЕВ. Не понимаю, чему вы смеетесь. (*Лазареву*.) Я приду во-время, товарищ комиссар. Еще шесть минут. (*Выходит*.)

ПОЛОЦКИЙ. Что означает твой смех и расспросы про Кожина?

КОБРИН. Как же, что ты, не знаешь?! Мне, брат, пятьдесят лет, меня не разыграешь! Злоба дня. Кожин-то наш! Героический майор. Врезался в де-

вочку Валюшку — голубевскую жену. Таковую, брат, атаку ведет, я слежу.

ЛАЗАРЕВ. Ты бы лучше за чем другим следил.

КОБРИН. А я за всем слежу. Я, как Патэ-журнал, все вижу — все знаю. Понимаешь, как ястреб на цыпленка. Уж он ее и сверху атакует, и бреющим полетом ходит, и на крыло скользит. И, представь, пока ничего. «Сердце Эмилии подобно Бастилии». Но это пока. Ты мне поверь. Кожин своего добьется. Если сказать тебе, сколько девочек он притиснул! Феноменально. В нем, брат, что-то есть. Бабы помирают. Взгляд, что ли, какой-то, или походка. Ничего не могу понять. Уж я подражал. Ей-богу, подражал. Он их честит почему зря, а они к нему льнут. Имей в виду: Бастилия будет взята.

ЛАЗАРЕВ. Слушай, пошел ты к чорту!

Входят один за другим командиры. Здороваются с Лазаревым. Разговаривают, рассаживаются.

БОБРОВ (*входит вместе с Кожиним. Полоцкому*). Здравия желаю, товарищ полковник. Не разрешили?

ПОЛОЦКИЙ. Не разрешили.

БОБРОВ. Жаль. Я бы рекордные сроки показал. Разве такие испытания не нужны?

ПОЛОЦКИЙ. Эскадрилью можно вывести на первое место и без круговых полетов.

БОБРОВ. Да ведь все идут, летят, бегут, скачут, плывут, — и самому не сидится. Тянет, понимаете, как в песне: «И нам нельзя от всех отстать, нельзя же, нельзя же».

ЛАЗАРЕВ. Видите ли, капитан, движение вперед — это не всегда передвижение с места на место.

Входит Голубев.

БОБРОВ. Так-то оно так, но наше летное дело и есть движение. Зачем же паруса, если ветром не пользоваться?

ЛАЗАРЕВ. Наше дело из многих элементов складывается. Мне, например, тоже побольше летать хотелось бы. Летать я, как вы знаете, неплохо. Но я на

политработе сижу, и твердо знаю: без политики далеко не улетишь, какой бы ты ни был летчик.

БОБРОВ. Однако, товарищ комиссар, вы бы сами в большой перелет с охотой пошли. Дальний полет — тоже политика.

ЛАЗАРЕВ. Верно. Но политика — тоже дальний полет.

ПОЛОЦКИЙ. Совершенно точно. Смирно! (*Репортует входящему Лобову.*) Товарищ комбриг, старший начальствующий состав вверенной вам бригады собрался для кружковых теоретических занятий.

ЛОБОВ. Вольно. Прошу садиться. Карту!

Один из командиров вешает на доску карту с начерганными обозначениями. Командиры достают карты из планшетов.

Итак, прошлый раз мы с вами наметили условную операцию и окрестили ее «бой на Быстрой». Положение сторон мы детально разобрали. Я просил вас к сегодняшнему дню дать мне решения. Нужно ли повторять обстановку?

ГОЛОСА. } Нет.
 } Не надо.
 } Нет.

ПОЛОЦКИЙ. Дело ясное.

ЛОБОВ. Отлично. Прошу. Кто первый?

БОБРОВ. Разрешите.

ЛОБОВ. Да.

БОБРОВ (*встает*). Вот схема, товарищ комбриг.

ЛОБОВ. Схема? Не хочу. Расскажите.

БОБРОВ (*подходит к доске*). Я предлагаю операцию на уничтожение. Несмотря на угрозу лобового наступления противника, я приказываю мотомехчастям немедленно ударить с левого фланга, конный корпус веду в прорыв. Развертываюсь, — прижимаю противника к реке. Одновременно даю боевой авиации задание разбомбить мост, чтобы отрезать путь отступления; штурмовиками атакую кавалерию.

Кожин поднимает руку.

ЛОБОВ. Майор Кожин!

КОЖИН (*подходит к доске, Бобров садится*). План Боброва правильный. Маленькое изменение. Мы, между прочим, знаем, что истребительная авиация противника находится в районе моста, практически охраняет мост. Налет бомбардировщиков поэтому весьма затруднителен, и, разбомбят или нет, — это еще не известно. Полагаю выбросить в этом районе (*показывает указкой*) воздушный десант. Задачу ему поставить — взорвать мост, приколоть, если возможно, авиацию противника к земле, вывести из строя посадочную площадку, укрепиться на правом берегу реки, переправу для противника сделать невозможной.

ЛОБОВ. Капитан Горохов!

ГОРОХОВ. Согласен.

ЛОБОВ. Капитан Бобров!

БОБРОВ. Согласен.

ФЕЛЬД'ЕГЕРЬ (*входит*). Товарищ комбриг Лобов?

ЛОБОВ. Да.

ФЕЛЬД'ЕГЕРЬ. Срочный пакет из краевого комитета партии. С ответом.

ЛОБОВ. Давайте (*берет пакет*.) Я сейчас вернусь, товарищи командиры. Товарищ Лазарев, пойдем. Перерыв. (*Выходит вместе с Лазаревым и фельд'егерем. Некоторые командиры встают, подходят к доске.*)

БОБРОВ (*Голубеву*). Как твое мнение?

ГОЛУБЕВ. Я согласен с твоим планом, но поправку майора Кожина принять не могу.

БОБРОВ. Об'ясни.

ГОЛУБЕВ. Я считаю, что район моста и аэродрома противника так охраняется, что сбросить там десант нет никакой возможности.

КОЖИН. Левей сбросим, вниз по течению.

ГОЛУБЕВ. А левей сбросите, десант обнаружат раньше, чем он произведет подрывные работы.

КОЖИН. Мы, между прочим, ночью сбрасываем десант.

ГОЛУБЕВ. Ночью, в неизвестном районе, вблизи авиации противника. Нереально, майор Кожин.

КОЖИН. То-есть как это, между прочим, понять — нереально? Что же, вообще десантные операции нереальны?

ГОЛУБЕВ. В прифронтовой полосе — да.

КОЖИН. Что же, только в тылу можно выбрасывать?

ГОЛУБЕВ. По-моему, да.

Общее движение.

Я считаю своим долгом сказать, поделиться со всеми. Мысли вслух.

ПОЛОЦКИЙ. Послушаем.

ГОЛУБЕВ. Я считаю выбрасывание десанта в боевой полосе делом на практике непроверенным, военно-технически необоснованным.

БОБРОВ. Были сотни опытов сбрасывания десантных частей. Это всем известно.

ГОЛУБЕВ. Где? На маневрах. Спрыгнуть у нас могут. Но результаты в обстановке боя, у настоящего противника...

КОЖИН. Многие не испытаны в бою.

ГОЛУБЕВ. Мы знаем — люди спрыгнут. А что их ждет? При теперешних средствах связи их обнаружат немедленно. Фронт, готовый к обороне, не даст возможности маневрировать. Всякий десант при этих условиях — ловушка, риск, беспешашное уральство.

КОЖИН. Между прочим, эту дребедень, эту манную кашу мне отвратительно слушать. Понятно?

ПОЛОЦКИЙ. Не так резко, майор Кожин.

КОЖИН. Ах, не так резко?! (*В бешенстве.*) А я говорю, что такие речи может произносить трус. Из армии надо гнать! Понятно?

ПОЛОЦКИЙ. Майор Кожин!

ГОЛУБЕВ. Значит, выходит — я трус, майор Кожин?

КОЖИН. Выходит. Так точно, выходит. (*Показывает указкой на Голубева.*) Трус! Вы! Понятно?

ГОЛУБЕВ. Какие же у вас основания для этого?

КОЖИН. Сегодняшней вашей речи хватает. Но я, между прочим, еще знаю и скажу. Мысли вслух. Понятно? Вы сказали, что если вам придется попасть

в руки противника, то вы за свое поведение не отвечаете. Было это сказано? В лицо всем командирам скажите, было?

Тишина. Все смотрят на Голубева.

ГОЛУБЕВ. Да, я говорил.

Движение.

Но только иначе, чем вы передаете. Фраза была такая: я уверен, что в бою или даже у стены под расстрелом я сумею хорошо умереть, если рядом со мной будут товарищи, если в последнюю минуту я сумею пожать руку друга; но трудно будет, если я останусь один среди врагов. Это я сказал.

КОЖИН. А это не то же самое? Армию позоришь! Партию предаешь! Трус! Понятно?

Общее движение.

ГОРОХОВ. | Безобразие!

БОБРОВ. | Что такое!

ПОЛОЦКИЙ. | Майор Кожин!

КОЖИН. Нет, я скажу. Нам в авиации ножи нужны. Нам острые нужны люди. Гвардия. А мы вот таких мальчишек берем. Понятно? Мобилизуем, командирами сажаем, самолеты доверяем.

ГОРОХОВ. Чорт знает, что!

КОБРИН. Вот так бой на Быстрой!

КОЖИН. Человек срастись с самолетом должен. Он на земле — в отпуску, ему на земле дышать нечем. А у нас кто? Я себя здесь, как плотва на концерте, чувствую. Стыдно мне, будто я с бородой в детский сад учиться хожу. Летают, верно! Все у них аккуратненько, чистенько, теории много изучили, книжечки у них записные, по планчикам живут. Воздушные педанты. Понятно? А когда летать под пулями придется? Когда один-на-один среди облаков с врагом, и пулеметным глазом нужно сердце его искать? Когда только на себя, на волю свою рассчитывать можно, — тогда как будет?

Входят незамеченные Лобов и Лазарев.

Не могу! Кожин уходит. Тюки грузить пойду. Конец Кожину. Голубевы идут!

ЛОБОВ. Что за истерика? Немедленно прекратить! Майор Кожин!

КОЖИН. Мне прекратить? Не труса гоните из своей части, а Кожину рот затыкаете? Это повивальной бабки политика. Понятно?

ЛОБОВ. Смирно!

Кожин вытягивается.

Пройдите в штаб, майор Кожин, и ждите моих приказаний.

Кожин поворачивается налево кругом и в наступившей тишине выходит из комнаты.

Объявляю перерыв на двадцать минут. Прошу продумать планы. История, только-что разыгравшаяся здесь, будет обсуждена после моего решения в том порядке, какой я предложу. Вы свободны.

Быстро первый уходит Голубев. Переглядываясь, возбужденные, расходятся командиры. Остается Полоцкий.

ЛОБОВ. Что здесь произошло?

ПОЛОЦКИЙ. После вашего ухода командиры продолжали обсуждать план капитана Боброва. Голубев выступил против поправки Кожина. Кожин накинулся на него, обозвал трусом и в совершенно недопустимых выражениях оскорбил остальных. Мне думается, немедленно надо представить командующему рапорт на увольнение, и под суд. Дело ясное.

ЛОБОВ. Ты думаешь?

ПОЛОЦКИЙ. Безусловно. Помимо наглой характеристики летного состава он оскорбил вас. Хоть не в строю и не на занятиях, но перед командным составом. Дело серьезное.

ЛОБОВ. Да.

ПОЛОЦКИЙ. Повивальной бабки политика. Как вам нравится?

ЛОБОВ. Мне нравится.

ПОЛОЦКИЙ. Что? Что нравится?

ЛОБОВ. А вот, повивальной бабкой быть. Почетная роль, знаешь. Без повивальных бабок что было бы с человечеством?

ЛАЗАРЕВ. Особенно славно повивальной бабкой быть, про которую

Маркс писал, — повивальной бабкой истории.

ПОЛОЦКИЙ. Вы что, смеетесь надо мной, что ли?

ЛОБОВ. Нет, совершенно официально. Дело майора Кожина прекратим, не начиная. А речь его, если можно так выразиться, разберем на партсобрании после мер, принятых мною. Все.

ПОЛОЦКИЙ. Если это серьезно, то согласиться не могу. Категорически. И хоть мне очень тяжело, мы с вами много лет работаем, и никогда такого не было, но я лично подам рапорт командующему.

ЛОБОВ. Право это предоставлено тебе уставом.

ПОЛОЦКИЙ. Да объясните мне, наконец, как можно оставлять человека после такой выходки. Да это и не выходка, Епифан Захарыч, это — политическое выступление.

ЛОБОВ. Вот умница ты, и люблю я тебя. Хороший мужик, ей-богу. А есть недостаток.

ПОЛОЦКИЙ. Скажите.

ЛОБОВ. Прямыми линиями мыслить.

ПОЛОЦКИЙ. Спасибо за критику. Но сейчас, по-моему, не обо мне речь.

ЛОБОВ (*Лазареву*). Как твое мнение?

ЛАЗАРЕВ. Целиком с тобой согласен. (*Полоцкому*.) Послушать вас — правду вы говорите, но не всю правду, а значит — неправду. Давайте разберемся спокойно. Начнем с выступления. Было оно резкое, выпады хулиганские, зашательство. Оглоблей, в общем, действовал майор Кожин. Но если в корень взглянуть? В основе его что лежит: желание вреда армии или пользы?

ПОЛОЦКИЙ. Самый факт...

ЛОБОВ. На вопрос отвечай, на прямой вопрос!

ПОЛОЦКИЙ. Если хотите знать, я вам откровенно скажу. Я считаю, что основа его выступления против Голубева совсем в другой плоскости лежит. И это тоже безобразие.

ЛАЗАРЕВ. Пока, значит, от политических обвинений отступаем.

ПОЛОЦКИЙ. Не отступаем, а приходим к тому, что человека к полити-

ческим выступлениям побуждают любовные неудачи. Я, как вы изволили заметить, прямыми линиями мыслю.

ЛОБОВ. Зря обиделся и зря Кожина обижаешь. Я его много лет знаю. Резок, но дисциплинирован отменно. С ним такая история впервые, и говорил он, себя не помня. Возможно, в том, что он на Голубева налетел, Вальюшка свою роль сыграла. Во всяком случае, это подсознательно, к обывательскому скандалу дело сводить не стоит. Это Кожину не под стать.

ПОЛОЦКИЙ. Что ж у него такое?

ЛОБОВ. Споткновение души.

ПОЛОЦКИЙ. Что-о?

ЛОБОВ. Споткновение души. Понимаешь, с каждым может случиться. Но у всякого по-разному. Ведь он грузчик, и фронта не было, где б не знали Кожина.

ПОЛОЦКИЙ. Это не оправдание.

ЛОБОВ. Ты прав. Но к нему иначе подойти надо, чем к другому. Играет у нашего майора буйная кровь, дорогой начштаба. Вот мы сейчас с ним потолкуем. Вели его сюда прислать.

ПОЛОЦКИЙ. Пожалуйста. Только...

ЛОБОВ. Только ты в самом деле не комбриг, а повивальная бабка? Ну, договаривай, договаривай.

ПОЛОЦКИЙ. Да что вы, ей-богу. Через пятнадцать минут явлюсь для продолжения занятий, товарищ комбриг.

ЛОБОВ. Прошу.

Полоцкий выходит.

ЛАЗАРЕВ. Обиделся.

ЛОБОВ. Ничего. Поразмыслит, — отойдет. На общем собрании будем все это разбирать, или по эскадрильям, как считаешь?

ЛАЗАРЕВ. По-моему, на общем, — история поучительная.

ЛОБОВ. Согласен.

Вбегает Валя. Она очень возбуждена и тяжело дышит.

ВАЛЯ. Майора Кожина здесь нет?

ЛОБОВ. Нет, здесь начполитотдела да вот повивальная бабка.

ВАЛЯ. Что? Какая бабка? А, это вы, товарищ комбриг? *(Вытягивается.)*

Простите. Почему бабка? Ах, это он про вас. Я знаю, он вас оскорбил.

ЛОБОВ. Ничего. Придет твое время «голубенка» на свет произвести, и тебя в город повезу. А зачем тебе Кожин?

ВАЛЯ. Я хочу его ударить.

ЛАЗАРЕВ. Только всего, ни больше, ни меньше?

ВАЛЯ. А это как придется.

ЛОБОВ. Ну, ну, перестань, остри-женок, — так тебя твой Голубев зовет?

ВАЛЯ *(задыхаясь, со слезами)*. Он не смеет так про Володьку. Володька в тысячу раз лучше его. *(Топает ногой.)* В миллион раз. Только Володька молчит, все в себя прячет. Он скромный, о себе не кричит, как этот проклятый. Володька не виноват, что поздно родился и на гражданскую войну не успел. Он себя никогда не похвалит, он к себе ужасно требовательный, ужасно. Он с занятий пришел, белый, и лег, вы понимаете, и молчит. Я спрашиваю: Володя, что с тобой? А он молчит, вздохнет глубоко и останавливается, как будто воздуха мало, как будто задыхается. Все ребята пришли, они рассказали. Все Володьке руку жали. *(Плачет.)* Как он смеет? Почему он его так?..

ЛОБОВ *(обнимает ее и гладит, совсем, как ребенка)*. Ну, ну, девочка, — слезы-то, слезы, как бусины. Ну, не надо. Ну, спокойней, детеныш. Парашютистка!..

ВАЛЯ *(еще плача, но уже успокаиваясь)*. Да... парашютистка, а зачем он своим положением пользуется, что он орденами награжден? Я его все равно хлопну.

ЛАЗАРЕВ. Кожин сейчас придет сюда.

ВАЛЯ. Сюда?!

ЛОБОВ. Мы с ним будем говорить.

ВАЛЯ. Вы его выгоните, да? Ребята говорили, что за это из части, а может, и из армии совсем.

ЛОБОВ. Вот потолкуем, потом решим — гнать его будем или хлопать. А ты подожди, с тобой после поговорю.

ВАЛЯ. Со мной?

ЛОБОВ. Да. Ну-ка, в соседний класс. Быстро. Идет твой злодей. Слышишь?

Валя уходит в соседнюю комнату. Лобов и Лазарев садятся. Кожин входит, угрюмый.

КОЖИН. Приказано явиться.

ЛОБОВ. Садись.

КОЖИН. Постояю.

ЛОБОВ. Наговорил?

КОЖИН. Наговорил.

ЛОБОВ. Стыдно?

КОЖИН. Стыдно.

ЛОБОВ. Сядь.

Кожин берет стул и садится.

Вот, скажи мне, идешь ты по улице, и навстречу тебе идет, не уступая дороги, человек. Какое у тебя желание?

КОЖИН. Толкнуть его. Чтоб отлетел.

ЛОБОВ. Так, а ты что делаешь?

КОЖИН. Ну, останавливаюсь, — пусть обойдет, или говорю: «Куда, между прочим, прешь?», или еще что.

ЛОБОВ. А дороги не уступаешь?

КОЖИН. Нет.

ЛОБОВ. Не можешь?

КОЖИН. Не могу.

ЛОБОВ. Так. Ну, а если б ты знал, что каждый раз, как ты не уступишь дороги, у нас в армии на одного бойца меньше становится, ты б уступал?

КОЖИН. Уступал бы.

ЛОБОВ. Значит, желание свое ты можешь, ежели надо, подавить. Воли у тебя для этого хватит?

КОЖИН. Хватит.

ЛОБОВ. Почему ж ты, друг ситцевый, позволяешь себе распускаться, как сегодняя? Не распускаешься, заметь, — распускается человек безвольный, с которого ничего спросить нельзя, — а именно — позволяешь себе распускаться.

КОЖИН. Нервы, Епифан Захарыч.

ЛОБОВ. Брось. Ты на нервы не ссылайся. Если мне скажут — человек в нервном припадке стекло разбил, я поверю. А если кто будет уверять, что он от нервов кошелек украл, извини, хоть я и бабка повивальная — не соглашусь.

КОЖИН. Ты меня за бабку прости, мне до слез стыдно.

ЛАЗАРЕВ. А ты поплачь. Других плакать заставил, вот и сам прослезись.

КОЖИН. Не умею я плакать. А кого заставил?

ЛОБОВ. Уж кого бы ни заставил. Ты зачем ребят оскорбил, молодежь нашу? Ведь замечательные ребята.

КОЖИН. Знаю.

ЛАЗАРЕВ. Где еще есть такой летный состав? Отборный народ. Мечтать можно о таких людях.

КОЖИН. Знаю.

ЛОБОВ. Знаю, знаю. Так чего же ты гвоздил их, душегуб ты?

КОЖИН. Вожжа под хвост попала, ну и гвоздил. Я, Епифан Захарыч, честно тебе говорю. Скучно мне. Воевать нам пора. Засиделись. Армии, между прочим, нельзя долго не воевать.

ЛОБОВ. Дурень ты, что ж, мы для тебя войну начнем, что ли?

КОЖИН. Не для меня. Для всех. Пора, Епифан Захарыч. Понятно? Я, когда в газетах читаю, как нашим ребятам, лучшим ребятам, топором головы рубят, как наших ребят из пулеметов расстреливают, я спрашиваю, — долго еще ждать? Я, Епифан Захарыч, каждого убитого имя в книжку записываю, большой у меня счет накопился. Я хочу, чтоб скорей день наступил, когда я мой счет предъявлю. Это будет большой день. Понятно?

ЛАЗАРЕВ. У нас, майор Кожин, все время война. У нас, когда уголь добывают, это тоже бой. Больших масштабов сражение идет. Если нас не заставят, сами оружием решать спор не пойдем. Время у нас военное, но армия наша не только в форме ходит.

КОЖИН. Все понимаю, товарищи, все понимаю. Я каждому рабочему, который мне самолет делает, руку пожать хочу. Он делает, я на этом самолете воевать буду. Значит, он со мной рядом. Но только я-то для мирной войны не гожусь. Мне драться надо. Я — военного времени инструмент. Меня нельзя в ножнах держать. Понятно?

ЛОБОВ. Вот об этом я думал. Я хочу тебя, Петр, к одному делу приспособить.

КОЖИН. К делу?

ЛОБОВ. Да. Я третьего дня с командующим говорил. Парашютистов нам поболе надо. Сейчас у нас отряд, а нужно три. Возьмись-ка, готовь. Будешь ими командовать.

КОЖИН. Я?

ЛОБОВ. Именно. Народ там нужен отчаянный. Такой, чтоб и после смерти воевал. По этому принципу. Там и ты, пожалуй, на месте будешь.

КОЖИН. Возьмусь. Вот это обрадовал ты меня, Епифан Захарыч! Дело мы, между прочим, поставим. Определенно.

ЛОБОВ. Вот и отлично. Значит, через пять дней оформим.

КОЖИН. Почему через пять?

ЛОБОВ. А пять дней тебе, майор Кожин, отсидеть придется и о дисциплине в армии поразмыслить. Не для того, друг дорогой, Сталин наши кадры кует и каждодневно воздушный флот укрепляет, чтоб мы тут распускаться себе позволяли. И нарком нам звания дал тоже не зря. Что ты тут о бабкиной политике говорил, — мне это раз покурить. Ты — грузчик, я — токарь, и хоть я до революции целковых на три в день больше тебя получал, мы б с тобой сговорились как-нибудь. Но я — командир твой, народным комиссаром посаженный, и без уважения к себе относиться не позволю. Тебя простить — значит преступление совершить перед народом, который от нас кованой дисциплины ждет. А ведь мы оба народу присягали.

КОЖИН. Приказано отсидеть пять дней.

ЛОБОВ. Да.

ЛАЗАРЕВ. И от ереси придется тебе, проповедник, публично отречься. Покаяться придется.

КОЖИН. Покаюсь.

ЛАЗАРЕВ. Перед Голубевым извиниться.

КОЖИН. Перед Голубевым? Не могу.

ЛОБОВ. Придется.

КОЖИН. Не могу. Ты не заставляй. Дай срок. Понятно?

ЛОБОВ. Тогда я о Голубеве скажу. Дам оценку его неправильной позиции, но и о твоей выходке поговорю. Тебе хуже будет.

КОЖИН. Говори. Крой. Но я сразу не могу. Не унесу сразу.

ЛОБОВ. Как хочешь. Можешь итти.

КОЖИН. Слушаю, товарищ комбриг. *(Выходит.)*

ЛОБОВ. Валя!

Валя вбегает.

ВАЛЯ. Какой вы... Какой вы...

ЛОБОВ. Стой, стой... Ты что — в любви объясняться собралась? Предупреждаю, я женат.

ВАЛЯ. Он вас оскорбил, а вы о нем думаете, и о Голубеве... Можно, я вас... *(Хочет поцеловать Лобова.)*

ЛОБОВ. Смирно! Ты что? То драться, то целоваться. Африканские страсти. Ну-ка, марш. Двадцать минут прошло. Начштаба сюда проси, мы с Лазаревым занятия продолжать будем. Да не стой ты с вытаращенными глазами. Исполняй, когда комбриг приказывает. Ну!..

Валя выбегает из класса.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Ночь. Старт. «Летучие мыши» — передвижные фонари — образуют условные знаки старта. Сбоку прожектор. Около «Т» — КОЖИН, ЛОБОВ, ЛАЗАРЕВ, БОБРОВ, ЗОРЯ. СТАРТЕР, ПАРАШЮТИСТЫ.

ЛОБОВ. Сейчас кто?

КОЖИН. Голубева.

ЛОБОВ. Она при свете прожектора прыгала?

КОЖИН. Нет, первый раз.

ЛОБОВ. Ты хорошо инструктировал?

КОЖИН. Так точно.

ЛОБОВ. Пилотирует кто?

КОЖИН. Голубев.

ЛАЗАРЕВ. Семья в воздухе. Как это получилось?

КОЖИН. По собственному желанию. Я не возражал.

ЛОБОВ. Удивительно, какой ты сговорчивый стал.

КОЖИН. Уступаю дорогу, товарищ комбриг.

ЛОБОВ. Отлично делаешь. Ага, вот пошел.

Стартер выпускает самолет. За сценой рев бегущего по земле самолета, потом ровный гул уходящей в воздух машины.

С какой высоты она прыгает?

КОЖИН. Восемьсот метров.

ЛОБОВ. Сколько всего у тебя прыгало ночью?

КОЖИН. Четыреста пятьдесят шесть. Триста человек имело в среднем по пять ночных прыжков.

ЛОБОВ. Хорошо. *(Лазареву о Зоре.)* Он тоже прыгал, ты знаешь?

ЗОРЯ. Я два раза прыгал.

ЛАЗАРЕВ. Не страшно?

ЗОРЯ. Первый раз было страшно, когда один на небе остаешься, а потом я привык.

ЛАЗАРЕВ. От двух раз привык?

ЗОРЯ. Я от одного раза привык.

КОЖИН *(прислушивается)*. Самолет над нами, товарищ комбриг.

ЛОБОВ. Дайте прожектор.

КОЖИН. Приказано включить прожектор. *(Громко.)* Поймать самолет, следовать за парашютистом!

КРАСНОАРМЕЕЦ У ПРОЖЕКТОРА. Есть поймать самолет!

Вспыхивает луч, направленный ввысь. Одновременно освещается экран, как бы выхваченный из тьмы прожектором, и там звуковое кино показывает самолет, идущий в воздухе.

КОЖИН. Сейчас. Вот!

От самолета отделяется черная фигурка и летит некоторое время, не раскрывая парашюта.

Что ж она? Что с ней? Ослепил прожектор! Кольцо! Кольцо! Что ж это?

В этот момент над фигуркой раскрывается парашют. Некоторое время луч прожектора следует за парашютисткой.

ЛОБОВ. Выключить свет!

Свет и экран гаснут.

Нервничаете, майор Кожин.

КОЖИН *(хмуро)*. Первый прыжок, товарищ комбриг. Боишься потерять бойца.

ЗОРЯ. Чего ты разорался? Она нормально прыгала.

КОЖИН. А ты молчи! Тебя, между прочим, не спрашивают, специалист двухпрыжковый. Понятно?

ЛОБОВ. Нервничаете, майор Кожин.

БОБРОВ. Прыжок-то она затинула, товарищ комбриг. Кожин прав.

ЛОБОВ. Да, я вижу, что затинула, нервничать-то зачем, да еще публично.

ВАЛЯ *(вбегает, держа в руках свернутый парашют. Она вытягивается перед Лобовым)*. Товарищ комбриг, разрешите обратиться к майору Кожину!

ЛОБОВ. Пожалуйста!

ВАЛЯ *(Кожину)*. Ночной прыжок с восьмисот метров по вашему приказанию выполнен.

КОЖИН. Приказ не выполнили, товарищ Голубева! Самовольничаете, изволите рисоваться? На нервах играете? Это вам не гитара — понятно?

ВАЛЯ. Не понимаю, товарищ майор.

КОЖИН. Не понимаете? Вы метров полтора летаели, не раскрывая парашюта. Кто разрешил? Дисциплины не знаете? Здесь, между прочим, армия, а не дамский спортивный клуб. Понятно?

ВАЛЯ. Я полтора метра не летаю.

КОЖИН. Если вам приказано — нормальный прыжок, спрыгнули, десять метров пролетели, и нужно дергать.

ВАЛЯ. Прошу извинить, товарищ майор, у меня сегодня двадцать шестой прыжок, я почти нормально прыгала.

КОЖИН. Учить вы меня будете?! Вы, может, на мое место пойдете, а я к вам — красноармейцем! «Почти». Женское упрямство! *(Пристегивает парашют.)* Я вам покажу, что такое нормальный прыжок. Понятно? *(Быстро уходит.)*

ЛАЗАРЕВ. Куда?!

ЛОБОВ. К самолету. Пусть прыгнет, ему полезно проветриться. *(Вале.)* А ты хоть двадцать шесть раз прыгала, а споришь зря. Прыжок у тебя затяжной.

Прошу исполнять приказания командиров.

ВАЛЯ. Слушаю, товарищ комбриг.

Стартер дает сигнал.

БОБРОВ. Голубев второй раз пошел, с Кожиним.

ЛОБОВ. Голубева, наблюдайте прыжок. И нос выше. Расстроилась!

Валя молчит.

ЗОРЯ (тихо). Валя, ты не дуйся. Петя за тебя испугался. Понятно?

ВАЛЯ. Пусть о себе думает.

ЗОРЯ. Он, знаешь, мне признавался, ты только ему не рассказывай, что он тебя любит. Просто ужас как! Ей-богу.

ВАЛЯ. Меня? Просто ужас? Что ты такое говоришь?

ЗОРЯ. Ей-богу. Он мне каждый вечер спать не дает, все тебя расписывает. Как маляр все равно. И меня заставляет о тебе играть.

ВАЛЯ. Играть? Обо мне?!

ЗОРЯ. Ей-богу. Волянка. Из-за Голубева мы с ним тоже поссорились.

ВАЛЯ. Поссорились?

ЗОРЯ. Ну да. Я говорю: нравится мне Володька. А он говорит: «нравится, можешь итти к ним жить. Понятно?» Ругается, просто ужас.

ЛОБОВ. Проектор!

Снова вспыхивает луч прожектора и экран кино... Идет самолет.

БОБРОВ. Качает крыльями, сейчас прыгнет.

Все смотрят вверх. Там выпрыгивает фигура, парашют запутывается у хвоста.

ЛОБОВ. Что там такое, а? Не вижу.

ЛАЗАРЕВ. Ничего нельзя понять.

ВАЛЯ. Ай, что такое?!

БОБРОВ. Товарищ комбриг, парашют запутался у хвоста.

ЛОБОВ. Да, да, вот он висит. Самолет тянет его по воздуху. Выключить свет!

Пржектор гаснет.

ЗОРЯ. Петя! Что с Петей будет?!

ВАЛЯ. Что он сделал! Это из-за меня. Я виновата.

ЛОБОВ. Выложите крест! Запретить Голубеву посадку!

Стартер выполняет приказание.

1-й ПАРАШЮТИСТ (другому). Голубев не заметил. Смотри, он на снижение идет.

ЛАЗАРЕВ. Что делать, Епифан Захарович?

ЛОБОВ. Сесть-то Голубев не сядет. Не в этом дело.

БОБРОВ. Нож у него есть? Он может отрезать стропы, с запасным прыгнуть.

ЗОРЯ. Ножа у него нет. Я нож взял. Он у меня.

2-й ПАРАШЮТИСТ. Уходит Голубев, уходит. Заметил.

ВАЛЯ. Он, может быть, подтянется.

ЛОБОВ. Сомнительно, сопротивление воздуха большое.

ВАЛЯ. Ну, что делать? Что делать? Епифан Захарович, ведь при посадке погибнет Кожин?

ЛОБОВ (показывает Вале на Зорю). Неизвестно. Трудно сказать.

ЗОРЯ. Не показывайте, я сам все понимаю.

ВАЛЯ. Что ты дрожишь, Зорька? Холодно тебе? Зубы у тебя стучат.

ЗОРЯ. Петя... Епифан Захарович, помочь надо Петей!..

ЛОБОВ. Горючего сколько на самолете?

БОБРОВ. Докладываю, товарищ комбриг. Горючее кончается. Двенадцатый полет.

ЛОБОВ. Значит, сейчас должен садиться?

БОБРОВ. Так точно.

ЛОБОВ. Так.

ВАЛЯ. Что я наделала... Что я наделала...

ЛОБОВ. Голубева, возьмите Зорьку. Уйдите со старта.

ЗОРЯ. Я не уйду. Все равно не уйду. Петю выручить надо. Товарищи, Петю выручить надо...

ЛОБОВ. Да не дрожи ты так. Заревил уж, что ли, легче тебе будет.

ЗОРЯ. Мужчины не режут, мне Петя сказал. А-а-а!.. (У него прорывается рыдание, он падает на землю.)

ВАЛЯ. Зоренька... Зоренька... Подожди, ну, подожди же. Еще обойдется все.

ЛОБОВ. Санитарную машину!

БОБРОВ. Есть, товарищ комбриг! *(Передает распоряжение одному из парашютистов, тот бежит выполнять его.)*

ЛОБОВ *(тихо)*. Ну, пусть садится. Уведите мальчишку отсюда.

ЛАЗАРЕВ *(так же)*. Елифаз! Захарович, ведь гробим человека.

ЛОБОВ. Другого выхода нет. Пусть садится, пока есть горючее.

ЛАЗАРЕВ. Убьется Кожин, Елифан Захарович!

ЛОБОВ. Знаю, начполитотдела. Спокойней. Вокруг летный состав. *(Громко.)* Выложить Голубеву посадку!

ЗОРЯ. Лучше б я разбился. Я никому не нужен. Я не хочу, Елифан Захарович. Я не хочу-у...

ЛОБОВ *(подходит к Зоре)*. Ну, дай руку, малый. Вот так. Холодная рука какая. Перчатки тебе надо, слышишь, перчатки.

ЗОРЯ. Елифан Захарович, сделайте, чтобы Петю спасли. Вы все можете, Елифан Захарович...

ЛОБОВ. Мужества больше, малый, мужества больше. Ты не маменькин сын, ты летчиков воспитанник. Ну, взять себя в руки!

ЗОРЯ. Не могу я, чтобы Петя разбился, не могу...

ЛАЗАРЕВ. Голубев идет на посадку.

ЛОБОВ. Слышу.

БОБРОВ. Мотор выключил.

ЛОБОВ. Что такое? Рано!

БОБРОВ. На малых оборотах пошел. Скользит.

ЛОБОВ. Что он делает? Вы слышите?..

ЛАЗАРЕВ. Что-нибудь случилось.

ЛОБОВ. Он на малой скорости садится. Километров пятьдесят идет, не больше. *(Тихо Лазареву.)* Оба угробятся, и самолет.

Гул самолета ближе.

ВАЛЯ. Я не могу смотреть.

ЛАЗАРЕВ. Садится.

ВАЛЯ. Не могу!.. *(Закрывает лицо руками.)*

Все бегут за сцену, кроме Лобова, Вали и Зори; там гул и голоса.

ВАЛЯ. Что?!

ЛОБОВ. Сел! Понимаешь, сел.

ЗОРЯ. Что с ним? Пустите...

ЛОБОВ. Стой! *(Хватает его за руку.)*

Группа людей на носилках несет Кожина. Зоря и Валя бросаются к нему.

ЗОРЯ. Петя... Умер... Петя...

КОЖИН *(возбужденно)*. Живой, живой, молодой человек. Живой, между прочим.

Зоря зарывается головой у него на груди. Кожин гладит его.

Эх ты, ну, собака. Ну ты, пес паршивый. Жив, видишь, и даже летать смогу, доктор обещал.

ВАЛЯ. Петя! Петя! Майор Кожин, простите... Я дрянь, дрянь, это я...

КОЖИН. Дура! Причем ты, я и прыгнуть не успел — несчастный случай. Зато в равновесие пришел.

ВАЛЯ. Как? Почему?

КОЖИН. Вторую ногу подломал, теперь на обе хромать буду. Прошу извинения.

ЛОБОВ. Хорошо, что так. Несите.

КОЖИН. Минутку, товарищ комбриг, я доложить обязан.

ЛОБОВ. Потом доложишь.

КОЖИН. Прошу разрешить, товарищ комбриг, сейчас расскажу. Ведь я, между прочим, прямо с того света, мне некогда.

ДОКТОР. Да что это значит? Несите, вам сказано, какие там разговоры!

КОЖИН. Стоп! Доктор, не вмешивайся.

ДОКТОР. То-есть, как не вмешивайся? Это мое дело, я за вас отвечаю. Несите, я вам приказал.

КОЖИН. Стой, я говорю. Чья нога, твоя или моя?

ДОКТОР. Моя. Раз вы сломали или вывихнули, — не ваша теперь. Моя.

КОЖИН. А твоя, так подождешь. Чего ты лезешь со своей ногой? Мне комбригу надо два слова сказать.

ЛОБОВ. Этого не переупрямишь. Ну, говори, чорт.

КОЖИН. Начал вылезать, кольцом зацепился — бросило к хвосту. Запутался. Хотел подтянуться — не вышло. Ножа нет. Володька Голубев воздух утюжит, я за ним кувыркаюсь, оторваться не могу. Где Голубев?

ЛАЗАРЕВ. Идет.

КОЖИН. Ну, между прочим, вижу — пришел конец. Я не маленький, понижаю — при посадке расколуюсь, как арбуз, на ломтики.

Входит Голубев.

Вижу (*показывая на Голубева*), капитан идет на посадку. Правильно, накатались. А самолет надо беречь. Прочел молитву...

ЛАЗАРЕВ. Какую молитву?

КОЖИН. А отче наш. Отче наш, иже еси на небеси, и я здесь. Тебе скучно и мне грустно. Заеду — выпьем.

Все смеются, Кожин стонет.

ЛОБОВ. Несите!

КОЖИН. Ничего, ничего. Минуту еще. Только смотрю, Голубев на такой маленькой скорости садится, что и себя и самолет угробит. Мотор выключил и парашютирует. Я ж понимаю. Ведь он из-за меня жизнью рисковал.

ГОЛУБЕВ. У меня другого выхода не было, товарищ комбриг. Один только шанс был, — в последний момент мотором поддержать. Я считал себя обязанным. Всякий бы так сделал.

ЛОБОВ. Из ста случаев так шесть можно только один раз.

КОЖИН. Верно! А он сел. Я ему кричу: не смей, садись, как человек, а он свое.

ГОЛУБЕВ. Я слышал.

КОЖИН. Извольте видеть — он слышал! А на такой скорости я не очень стукнулся. Запасный парашют под голову подложил, чтоб лбом площадку не трамбовать. Он и тащил меня. (*Стонет.*)

ВАЛЯ. Да ему больно. Несите же! Володя, возьмем его.

КОЖИН. Да, да, сейчас. Я только всех на минуту отойти прошу. Капитан Голубев, подойди. Понятно?

Все отступают, Голубев подходит к носилкам.

Наклонись-ка ниже. Еще. Вот так. Ты меня прости, Володя, насквозь прости. Можешь?

ГОЛУБЕВ. За что? Да что ты?

КОЖИН. За бой на Быстрой прости. Понятно? (*Притягивает к себе Голубева и крепко целует его.*)

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Комната Кожина. Она стала уютней. Прибрано. В большом кресле сидит КОЖИН. Одна нога его в сапоге, на другой — чулок и туфля. Он читает газету. За столом занимается ГОЛУБЕВ. ЗОРЯ сидит на небольшой скамеечке около Кожина. Он перелистывает тетрадь. Сумерки.

ЗОРЯ. Володя, кто это такой Козлов?

ГОЛУБЕВ. Путешественник.

ЗОРЯ. А почему он стихи писал?

ГОЛУБЕВ. Стихи? А, это другой Козлов — поэт. У него хорошие стихи есть.

ЗОРЯ. Вот я нашел, у тебя одно написано, замечательное, просто ужас.

ГОЛУБЕВ. Какое?

ЗОРЯ. «На погребение английского генерала сира Джона Мура».

ГОЛУБЕВ. А! Да, знаменитые стихи. Это он перевел. Это Вольфа стихи. Только я не целиком выписал.

ЗОРЯ. А Вольф кто?

ГОЛУБЕВ. Английский поэт.

ЗОРЯ. А Джон Мур, этот генерал, кто?

ГОЛУБЕВ. А это, видишь ли, был такой английский генерал. Он командовал британскими войсками в Португалии и был убит под Коруньей, кажется, в восемьсот девятом году.

КОЖИН. Как, ты говоришь, генерала-то звали?

ЗОРЯ. Сир Джон Мур.

КОЖИН. Сир Джон Мур! Эффектно, между прочим, назывались люди. А ну-ка, прочти.

ЗОРЯ (*читает*).

Не бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили,
И труп не с ружейным прощальным огнем
Мы в недра земли опустили.
И бедная почесть к ночи отдана;
Штыками могилу копали;

Нам тускло светила в тумане луна,
И факелы дымно сверкали.
На нем не усопших покров гробовой,
Лежит не в дощатой неволе:
Обернут в широкий свой плащ боевой.
Уснул он, как ратники, в поле.
Прости же, товарищ! Здесь нет ничего
На память могилы кровавой;
И мы оставляем тебя одного
С твоею бессмертною славой.

КОЖИН. Крепко! «Лежит не в дощатой неволе». Надо надеяться, и нам такая честь будет. Ну-ка, последний куплет.

ЗОРЯ.

Прости же, товарищ! Здесь нет ничего
На память могилы кровавой;
И мы оставляем тебя одного
С твоею бессмертною славой.

КОЖИН.

И мы оставляем тебя одного
С твоею бессмертною славой.

Мужественно сказал. Между прочим, слова, а вроде, как памятник поставил.

ГОЛУБЕВ. Почему ты вдруг откопал это стихотворение?

ЗОРЯ. Я на него музыку написал.

ГОЛУБЕВ. На эти слова уже есть песня.

ЗОРЯ. У меня не песня, а музыка. Я вот сегодня на Петинем вечере сыгряю.

КОЖИН. На каком вечере?

ГОЛУБЕВ. Это он так, не обращай внимания.

КОЖИН. Что за вечер? Ну-ка, молодой человек, выкладывай, да без штук у меня. Понятно?

ЗОРЯ. Видишь, Петя... Так просто, волынка... *(Отходит к двери. Кожин приподнимается.)* Понимаешь, Петя... *(Вылетает из комнаты.)*

КОЖИН *(вскакивает и, схватив палку, прыгает за Зорей).* Постой, голубок! *(Скачет и сталкивается с доктором, который входит. За ним Валя. Зоря выглядывает из-за двери.)*

ДОКТОР. Вот. Больной. Спасибо. Почему вы не играете в футбол? Почему вы только скачете?

КОЖИН. Мяча нет.

ДОКТОР. Какого мяча?

КОЖИН. Ты спрашиваешь, почему в футбол не играю, а я говорю — мяча нет. Понятно?

ДОКТОР. Понятно. Очень понятно. Очень. Садитесь уже.

Кожин садится. Доктор осматривает ногу.

Мяча нет, поэтому он не играет. Очень понятно. Пациентика бог послал. Вы же сами себе портите всю музыку. Сами себе мешаете выздороветь. Характер!

КОЖИН. Ты, между прочим, характер мой не трогай, у меня характер мягкий. Дом отдыха, а не характер. Вот Валя скажет.

ВАЛЯ. Я в такой дом отдыха не поехала бы.

КОЖИН. Майор Кожин встает и кланяется. Поддержали. Растроган. *(Садится.)* Верно. Меня другой раз прямо подмывает наперекор сделать. Для меня же плохо, а я с собой сладить не могу. Мне, между прочим, только раз мой характер помог.

ДОКТОР. Помог? Интересно.

ЗОРЯ. Петя, расскажи, Петя.

КОЖИН. Я на Кавказе воевал в восемнадцатом году. Отряд у меня был. Хорошие ребята, боевые, но, между прочим, довольно горластый народ. Я так вспоминаю, по-моему, ни один института для благородных девиц не окончил. В общем, поколотили нас однажды под Прохладной, так что горячо стало. Вольница моя рев подняла, а ругань такая стояла, что бронепоезд покраснел. Меня требуют. «Продали нас!» — орут. — «Ты нас продал!» — и прямо наганы в морду суют. Глянул я на них. зло меня взяло неопишное. Как заору сам: «Продали бы вас, — кричу, — обязательно продал, да кто вас, сволочь такую, купит?» Так, между прочим, понравилось им. Хототать начали и разошлись. Дети.

ДОКТОР. Замечательно, но на этот раз не получилось по-вашему. Вот я хотел вам завтра дать разрешение ходить, а теперь..

ВАЛЯ. Нет, доктор, это придется сделать, мы ведь условились.

ДОКТОР. Условились, условились, а если он скачет?

ВАЛЯ. Нет, уж все назначено, теперь отменять нельзя.

КОЖИН. Что назначено?

ВАЛЯ. Доктор...

ДОКТОР. Ну да, если вас пронизывают такими глазами, попробуйте сказать — нет. Можете завтра встать. Голкипер.

КОЖИН. Вы комбригу скажите. Если б не его запрещение, я бы, между прочим, давно встал.

ВАЛЯ. Он уже сказал комбригу. Все договорено, Петя. Тебе разрешено встать, и сегодня у нас вечеринка по этому поводу. Все придут, и Епифан Захарыч, и ребята. Это тебе сюрприз.

ДОКТОР. Вот вам. Однако меня в амбулатории ждут. Привет. (*Уходит.*)

КОЖИН (*Зоре*). Вот о каком вечере ты проболтался.

ЗОРЯ. Ну да. Я знал все. Я играть буду сегодня, Петя. Поросенка зажарили, просто ужас.

КОЖИН (*Вале и Голубеву*). Вы все придумали?

ВАЛЯ. Перед начальством выслуживаемся.

КОЖИН. Славные вы ребята, между прочим. Трогательно это у вас выходит. Очень я вас полюбил обоих, ей-богу.

ВАЛЯ. Петя, а ты не мог бы одного его полюбить? Без меня. Понимаешь?

КОЖИН. Почему?! Ах, ты вон про что!

ГОЛУБЕВ. Острижёнок! Она шутит, Петр.

ВАЛЯ. Нет, я серьезно, право, серьезно.

КОЖИН. Что ж, раз серьезно, — давай потолкуем. Прятаться не стоит.

ЗОРЯ. А почему его без тебя полюбить? Ты что, уезжаешь?

КОЖИН. Ты пойди погуляй, Зорька.

ЗОРЯ. Спасибо. Не хочется что-то.

КОЖИН. Ну, сходи в парашютную, парашюты складывать учишь.

ЗОРЯ. Не хочется что-то.

КОЖИН. Что ж тебе хочется?

ЗОРЯ. Я играть сяду. Мне музыку повторить надо, а то навру. Я народа

стесняюсь, просто ужас. Я тихо играть буду.

КОЖИН. Играй, играй. Только не ври. Хоть народа нет, а не ври, — правду играй.

Зора начинает тихо наигрывать.

Что ж, будем объясняться. Ты слушай, Володька, я твоей жене в любви объясняться буду.

ВАЛЯ. Петя!..

КОЖИН. Нет, теперь слушай. Я тебя люблю, Валька. Понятно? Отчаянно люблю. Как воздух. Сиди. И что не любишь меня — знаю. Мне слов не надо. Чувствую. У меня, Валька, в жизни весны не было и лета не было. Жизнь прямо с осени началась. В общем, поэтического пайка, который всем полагается, мне не отпустили. Любимой у меня не было. Понятно? Все так было, между прочим. Вот, кажется, первый раз свой приговор к месту сказал. А я о настоящем мечтаю, я о большой любви томлюсь. Потому что должна она быть. Понятно? Один раз только вдруг осеклось у меня сердце, и перебой, как в моторе. Знаешь, раз-раз, а потом томительно так, и снова стук. В санатории одном я старого дружка встретил, очень любимый парень. Сидим, закурили. Вдруг девушка входит. Тоненькая, юная, — тополёк. Такие во сне снятся. Я приятелю руку сдал. «Смотри, — говорю, — вошла моя судьба». А он: «Познакомься, пожалуйста, с моей женой». Понятно? Ты сильнее играй, Зорька. Ничего, ты не мешаешь.

ЗОРЯ. Так вы ж не слушаете.

КОЖИН. Играй, играй. А теперь ты, Валька.

ВАЛЯ. Петя, не надо.

КОЖИН. Я воевать привык. Я свое счастье завоевать хотел, с бою тебя взять, — обезоружил меня Володька. Милый он у тебя парень, будь он трижды проклят. Слышишь, Володька, «милости» этой самой у тебя много. Друг ты мне стал.

ГОЛУБЕВ. И ты мне друг.

КОЖИН. А дружить я, между прочим, умею, и дружбу я так понимаю. Если друг мой в Америке и с ним несчастье какое-нибудь ночью, я у себя

в комнате в этот час просыпаюсь, — беспокойно мне, места себе не нахожу. Бегу на телеграф, через океан спрашиваю: «Друг, что с тобой?» Понятно? А если мы с другом ради одного дела живем, если идеи у нас одни, — свята такая дружба. И в счастье и в горе много значит, ребята, когда есть к кому обернуться и сказать: «Слышишь, друг?» Ты поэтому, Володька, веры моей в дружбу не подорви, ничего никогда не подумай. Любовь для меня ваша священна и неприкосновенна. А в общем дурак я и уши холодные. Ну? Будем дружить? Прямо говорите. В лоб.

ВАЛЯ. Ты что играл, Зоренька?

ЗОРЯ. А ты слушала?

ВАЛЯ. Я чувствовала. Страшно хорошее ты играл, сильное.

ЗОРЯ. Вот, это начало. Ночь. Сторона чужая. Лес тоже чужой. Вот он шумит. Слышишь? (*Играет.*) Понимаешь, кучка их, окруженных, и он один, в плаще, убитый. Как папа. (*Играет.*) Им уходить надо, у них и оружия нет. Злые враги кругом, а они стоят. Слышишь? (*Играет.*) Стоят и молчат, и смотрят ему в лицо, и думают, думают. Вот их дума. (*Играют.*) Они прощаются. Так мужчины прощаются. А в сердце у каждого — грозная музыка. Это его слава. Вот. И на этом конец.

КОЖИН. Так, говоришь, мужчины прощаются?

ЗОРЯ. Да. Не плачут.

КОЖИН. Понятно.

ВАЛЯ (*жмет Кожину руку*). За все, что сказал. Если б не отнял мое сердце Володька, я б тебе его отдала. Ты мне близкий стал, родной. (*Выбегает из комнаты*).

КОЖИН. И на том спасибо. Что ж, закури, Володя. Да, ты ведь не куришь. Ну, я курить буду. Кури, чорт хромоногий! Завивай дым колечками.

Бобров и Горохов входят.

БОБРОВ. Петр, жму руку. Да еще нет никого? Володя, здравствуй!

КОЖИН. Придут. Рассаживайтесь.

БОБРОВ. Ты что хмурый?

КОЖИН. Внеслужбные размышления.

БОБРОВ. Представь, и меня замучили. От братишки письмо получил, он у меня на рыбных промыслах работает. Так у них на путине что-то произошло. Не то море ушло — рыба осталась, не то рыба ушла — море осталось. Но в общем парень себя проявил, рекорды поставил мировые. Едет со своей бригадой в Москву. Его правительство принимать будет. Ты можешь это понять — на седлеке парень в Кремль везжает. Мне б разрешили, я б на одном хвосте вокруг тропика Рака облетел. Рекорды бы поставил — Америка ахнет! Не дают.

ГОЛУБЕВ. У нас в округе по бомбометанию первое место, товарищ Бобров. Нажмем, на всесоюзное выйдем. Вот рекорд.

БОБРОВ. Так-то так. С места сорваться хочется. Других посмотреть, себя показать. Хорошо изобретателю нашему, вот он уже опять за свои бумажки сел. Чего ему еще надо?

ГОРОХОВ. Да нет. Я сейчас. Пришла мыслишка одна новая, хочу подсчитать. А то забудешь. Я третьего дня ночью придумал во сне замечательную штуку. Хотел проснуться, записать. Старался, старался, а тут новый сон — карусель какая-то на ярмарке. Так и закружил изобретение. Утром встал — не помню.

ГОЛУБЕВ. Сейчас ты над чем работаешь?

ГОРОХОВ. С электросбрасывателем вожусь. Хочу двойную перестраховку усовершенствовать. Вот, иди-ка, я тебе объясню.

Они отходят в сторону.

КОБРИН (*входит*). Храбрейшим авиаторам Союза! Настроение не праздничное. Петр Васильевич не в духе. Ох, коньячку я достал для вашего вечера, майор. «ОС». Его, знаете, три сорта есть. Один в продажу идет, другой друзьям дарят, третий сами пьют. Так у меня третья категория. А где же девочка?

КОЖИН. Какая девочка?

КОБРИН. Валюшка. Одуванчик наш. Она, знаете, как с парашютом садится, ну, прямо одуванчик. Дунь — полетит. Прелесть, очарование. Верно, майор?

КОЖИН. Я в цветах не разбираюсь и тебе не советую.

КОБРИН. Давно ли? А я-то думал, вы — садовод, мичуринец.

КОЖИН. Слушай, ты когда-нибудь летал?

КОБРИН. Самостоятельно — нет.

КОЖИН. Так имей в виду. Полетишь самостоятельно. Из окна. Понятно? Поговори еще на эту тему.

КОБРИН. Вот, приходи в гости. Слышали?

ВАЛЯ (входя). Здравствуй!

КОБРИН. Здравствуйте, Валюшенька. Вы знаете, я какой для вашего вечера коньячок достал? Его три сорта есть...

ВАЛЯ. Некогда, некогда, сердцеед. После расскажете. Пойдите с Зорей к нам в комнаты, принесите стулья.

КОБРИН. Для вас...

ЗОЛЯ. Пойдем, пойдем, начнешь расписывать. Волынка. (Идет.)

КОБРИН. Повежливей, Захар. Воспитываем тебя, воспитываем, а ты, брат...

ЗОЛЯ. Ну, ладно, ладно, некогда. После расскажешь.

Уходят.

ГЛУХОВ (входит с группой командиров. Все раскраснелись, дыхание учащенное). Рапортую. Мы прямо с партбюро. Я предложил кросс. Двадцать минут бежали.

ЕРОХИН. По пересеченной местности.

ГЛУХОВ. Для аппетита. Говорят, майор хорошим ужином угощает.

КОЖИН. Ладно, не хвастайтесь, скоро и я побегу.

ЛОБОВ (входит с Анной Павловной. Все встают). Прошу садиться. Это вы мимо нас промчались? Я было за вами хотел бежать, половина моя тяжела, к земле притягивает.

АННА ПАВЛОВНА. Все — здравствуйте! Кроме Валюшки, — с ней отдельно. Слышали? Все хорошее — это он сам, все плохое — жена виновата. Женская судьба. С выздоровлением, майор.

КОЖИН. Спасибо, Анна Павловна. Друзья выходили.

АННА ПАВЛОВНА. Валюшка особенно, признавайся?

ВАЛЯ. Вместе с Володей и Зорькой. Коммуной.

АННА ПАВЛОВНА. Глазки дай. (Целует Валю.) Глазки у нее ясные. Что ни подумает — всё в них. Книга раскрытая.

ЛОБОВ. Ты-то много таишь. Или есть что?

АННА ПАВЛОВНА. Так я тебе и сказала. Вот сбегу, тогда узнаешь.

ЛОБОВ. От меня не сбежишь, я на истребителе догоню.

АННА ПАВЛОВНА. Вот, вот. Истребитель да истребитель. Верите ли, ночью приходит — я сплю, утром встаю — его нет.

ЛОБОВ. Не верьте. И ночью ждет, и утром раньше меня встает, — чай пьем. Это — душенька моя. Мой покой.

АННА ПАВЛОВНА. Ох, уйдет от тебя твой покой, истребишь ты его.

ЛОБОВ. «Разлуку» петь буду. А ведь пение нам здесь обещано. Как, хозяйка, концерт сначала или к столу?

КОБРИН. К столу, к столу. Я, Епифан Захарович, какой коньяк достал. «ОС». Его три сорта есть...

ВАЛЯ. У меня пирог не готов. Если не очень голодны — подождем.

АННА ПАВЛОВНА. Конечно, подождем. Как, товарищи командиры?

БОБРОВ. Я — за пищу духовную.

КОБРИН. Я, собственно, за греховную, ну, да раз пирог не готов...

БОБРОВ. Подтянуть ремни!

ВАЛЯ. Кожина попросим спеть, потом я спою с хором, потом Зорька сыграет.

ЛОБОВ. У рояля юный летнаб. Как Зорька у тебя летает, Голубев?

ГОЛУБЕВ. Во всех задачах результаты на «отлично».

ЛОБОВ. А тебе как с новым начальством, не скучаешь по Кожине?

ЗОЛЯ. Чего ж скучать? Мы вместе живем. Но ведь к хвосту я ему не привязанный. У него новая специальность, а я свою менять не хочу.

ЛОБОВ. Учит тебя Голубев хорошо?

ЗОЛЯ. Мировó. Он все мне объясняет. Он меня еще дальше учит — теорию. Здорово учит, просто ужас.

ГОЛУБЕВ. Да ничего особенного. Занимаюсь, как все. Зорька преувеличивает, по обыкновению.

АННА ПАВЛОВНА. Побойтесь вы бога, мальчика надо в консерваторию отправить, а они его бомбы бросать учат.

ЗОРЯ. А я не поеду в консерваторию.

АННА ПАВЛОВНА. Ну, он глупый. А вы-то хороши. Талант пропадает у ребенка, ведь он — композитор, это искусство совершенствовать надо, поймите. Майор Кожин, вы почти отец ему, где ваше слово?

КОЖИН. Наша школа — не плохая, Анна Павловна. Ежели человек, ничего не пережив, сразу творить начнет, из него большой силы художник не выйдет. Нам искусство, знаете, какое нужно, — чтоб человек стал, где его музыка захватила, и не дыша слушал. Чтоб гору взорвать можно. Понятно? Для такой музыки сердце надо закалить. Потом можно в консерваторию.

БОБРОВ. Правильно. Талант возмужать должен. Вооружиться.

АННА ПАВЛОВНА. Солдаты, солдаты. Влюбленные в себя солдаты.

КОЖИН. Мы в армию свою влюбленные, Анна Павловна.

ЛОБОВ. Диспут нынче или концерт? «Генеральша», отстань от майора.

КОЖИН. Ну что ж, давай, Валя, песню о любимой споем. Возьми гитару.

ВАЛЯ. Ты эту петь хочешь?

КОЖИН. Да, между прочим, подойдет.

ВАЛЯ. Как хочешь. Анна Павловна, садитесь, милая. (Кожину.) Я к тебе сюда, на скамеечку сяду. (С гитарой подсаживается к Кожину.)

Кожин поет, Валя аккомпанирует.

Я спросил у месяца —
Где моя любимая.
Месяц скрылся в облак,
Не ответил мне.

Я спросил у облака —
Где моя любимая.
Облако растаяло
В небесной синеве.

Я спросил у тополя —
Где моя любимая.
Тополь не ответил мне,
Качая головой.

Я спросил у ясеня —
Где моя любимая.
Ясень забросал меня
Осеннюю листвою.

Я спросил у осени —
Где моя любимая.
Осень мне ответила
Проливым дождем.
У дождя я спрашивал —
Где моя любимая.
Слезы его падали
За моим окном.

Друг ты мой, единственный, —
Что с моей любимую?
Ты скажи, не знаешь ли,
Скрылась где она?

Друг ответил преданный,
Друг ответил ласково:
Была твоя любимая,
Стала мне жена.

АННА ПАВЛОВНА. Грустная песня.

ЛОБОВ. А нельзя ли что-нибудь по-бодрее?

ВАЛЯ. Хором споем. Зорька, садись к роялю. Ну, не выдавать, летчики.

Поют песню:

Работает с песней страна молодая,
К труду и веселью песня зовет;
И Армия — наша семья боевая,
Со всюю странюю сегодня поет.

Точен курс самолета,
Зорек глаз пулемета,
И отважен каждый пилот.
Как бойцы на границе,
Быстролетные птицы
Охраняют великий народ.

Враги собираются в черные стаи,
Над миром пылают зарницы войны.
Одно только слово пусть скажет нам
Сталин.

И вылетят соколы славной страны.

Точен курс самолета,
Зорек глаз пулемета,
И отважен каждый пилот.
Как бойцы на границе,
Быстролетные птицы
Охраняют великий народ.

Лишь кончится песня, пропетая нами,
Быть может, тревога нас в бой позовет,
И, ринувшись вместе на встречу с врагами,
Нам ветер походную песню споет.

Точен курс самолета,
Зорек глаз пулемета,
И отважен каждый пилот.
Как бойцы на границе,
Быстролетные птицы
Охраняют великий народ.

ЛОБОВ. Уважила. Хорошо поешь.

АННА ПАВЛОВНА. Еще. Еще что-нибудь.

ВАЛЯ. Зорьку послушаем. Зоря, теперь ты сыграй.

АННА ПАВЛОВНА. Ну-ка, Зоренька наша ясная!

ЛОБОВ. Юный летнаб, просим.

БОБРОВ. Отличись, Зорька.

ЗОРЯ (*идет к роялю*). Только я рассказывать ничего не буду. Просто услышите.

ЛАЗАРЕВ (*входит быстро*). Епифан Захарович!..

ЛОБОВ. Да.

ЛАЗАРЕВ. На минутку.

ВАЛЯ. Товарищ Лазарев, что ж вы так поздно? Пожалуйста.

ЛАЗАРЕВ. Нет, нет. (*Говорит что-то тихо комбригу.*)

ЛОБОВ. Ну, вы продолжайте, я скоро приду.

АННА ПАВЛОВНА. Куда ж ты?

ВАЛЯ. Епифан Захарович! Не пустим.

ЛОБОВ. Командующий — к проводу. Прошу продолжать. (*Уходит вместе с Лазаревым.*)

КОЖИН. Подождем?

АННА ПАВЛОВНА. Нет, нет. Они и час могут задержаться, лучше потом еще повторить.

ВАЛЯ. Играй, Зоренька, мы слушаем.

Зоря начинает играть свою мелодию. Музыка звучит вначале тихо, как бы приглушенно, потом все сильнее и под конец бурно. Она захватила всех слушающих, сидящих неподвижно, напряженно. Неожиданно гаснет свет. Темнота обрывает музыку, и через секунду, покрывая все звуки, надрывно воет сирена.

КОЖИН. Тревога! Занавеси закрыть!

ГОЛУБЕВ. Есть!

КОЖИН. Зорька, фонарик!

ЗОРЯ. Есть фонарик. (*Зажигает электрический фонарик.*)

Летчики выбегают стремглав.

Голубев и Валя тоже.

КОЖИН. Зорька, куртку! Маузер! Сапоги!

ВАЛЯ (*одетая вбегает*). Ты идешь?

КОЖИН. Без глупых вопросов. Сапог помощи надеть.

Валя бросается на колени, они с Зорькой помогают Кожину надеть сапог.

ГОЛУБЕВ (*быстро входит*). Пошли!

АННА ПАВЛОВНА (*Кожину*). Вам бы не стоило на этот сбор итти. Проведут занятие без вас. Рано вам еще.

КОЖИН. Что вы, Анна Павловна! Пошли!

Они выходят.

АННА ПАВЛОВНА. Скорей приходите! Ах, эта сирена ужасная! И света опять не будет минут двадцать. Зачем они каждый раз по тревоге свет гасят? Домой итти в темноте не хочется. Занавеси хоть открою. (*Она ошупью пробирается к окну и отдергивает занавеси.*) Темно. Везде темно. Если б я играть умела... (*Идет к роялю.*) Как может мальчишка так играть? Откуда у него силы столько? (*Она рассеянно ударяет несколько раз по клавишам. Низкие басовые ноты звучат глухо, напоминая отдаленную стрельбу.*)

ВАЛЯ (*вбегает с электрическим фонариком*). Карты! Где же карты? Я не взяла. (*Роется на столе.*) Анна Павловна, что же вы сидите? Идите, проститесь с мужем!

АННА ПАВЛОВНА. Как проститься? Почему?

ВАЛЯ. Почему?! Улетаем! Да, ведь вы не знаете!

АННА ПАВЛОВНА. Что, что?

ВАЛЯ. Нашу границу перешли. Бомбардировали города. Война.

АННА ПАВЛОВНА. Война?! Вы шутите, Валя!

ВАЛЯ. Такими вещами не шутят, Анна Павловна. Несколько сот убитых. (*Нашла карты.*) Вот они. Идемте же! (*Забирает планшеты, выбегает из комнаты.*)

АННА ПАВЛОВНА. Война!..

За сценой гул десятков заведенных моторов. Вылетает бригада.

КАРТИНА ПЯТАЯ

Вечер. Опушка леса. Пригорок. Вход в подземный пункт связи. Группа летчиков. Среди них ЗОРЯ, БОБРОВ, ГОРОХОВ, ЕРОХИН, ГЛУХОВ. Все в кожаных комбинезонах, шлемах и перчатках. Вооружены. У входа — ЧАСОВОЙ. ГОЛУБЕВ стоит на пеньке.

ГОЛУБЕВ. Я собрал вас, товарищи, по приказанию командира, рассказать, что происходит. Без объявления войны фашистская армия перешла наши границы. Авиация противника бомбила советские города. Значительные силы пытались прорваться вглубь и совершить налет на Москву.

Общее движение.

ГОЛОСА. | На Москву?!
| Вот как?!

ГОЛУБЕВ. Мы взяли на себя международные обязательства. Поэтому мы обратились в Лигу наций с предложением предотвратить войну. Мы сказали, что будем ждать сутки. Первое наступление ликвидировано в укрепленных районах. Воздушная эскадра противника разгромлена, только отдельные самолеты ушли домой.

ЕРОХИН. Какими частями?

ГЛУХОВ. Без нас. Вот обида-то!

ГОЛОСА. | Т-сс...
| Тише!

Не мешай!

ГОЛУБЕВ. Срок истекает. Если не будет никакого ответа, нападшим ответим мы.

ГОРОХОВ. Правильно!

ГОЛУБЕВ. Вот все, что я могу пока сообщить.

ЕРОХИН. В каком составе была эскадра, не указано?

ГЛУХОВ. Скоростные бомбардировщики, ясно.

Треск телефонного аппарата; Глухов спускается в пункт.

ГОРОХОВ. Их, наверное, двенадцатая и тринадцатая истребительные атаковали. Крепкий, надо полагать, бой был.

БОБРОВ. Я думаю. Нам бы скорее в воздух!

ГОРОХОВ. Ну, вот и пришлось встретиться. Теперь не уйдут.

ГОЛУБЕВ. Информация кончена, товарищи. Если будут еще новости, сообщу. Ждите приказаний. А теперь — по местам.

Все, кроме Голубева, Горохова, Зори и Ерохина, разбегаются.

ГЛУХОВ (*появляясь*). Товарищ капитан, вас к телефону.

ГОЛУБЕВ. Иду.

БОБРОВ. Как время медленно тянется!

ЗОРЯ. Ужасно медленно. Жалко, Пети нет с нами.

ГОЛУБЕВ (*выходя из пункта связи*).

Товарищ Ерохин, узнайте на станции, нет ли новых радиogramм.

ЕРОХИН. Приказано узнать, нет ли новых радиogramм.

ГОЛУБЕВ. Да. Скоро.

Ерохин убегает.

ГЛУХОВ (*подходя к Голубеву и вытягиваясь*). Товарищ капитан, автоцистерны с горючим прибыли.

ГОЛУБЕВ. Передайте инженеру, что я приказал принять и разместить в указанном месте.

ГЛУХОВ. Есть, товарищ капитан. (*Спускается в пункт.*)

Происходит смена часовых.

ШТУРМАН (*подходит к Голубеву и вытягивается*). Товарищ капитан, расчет третьего маршрута по вашему приказанию произведен.

ГОЛУБЕВ. Хорошо. Можете идти.

ШТУРМАН. Слушаю. (*Уходит.*)

ДОКТОР (*подходит*). Новых задач не было, товарищ капитан?

ГОЛУБЕВ. Я послал на станцию. После обращения партии и правительства нового нет ничего.

БОБРОВ. Обращение передано всему миру по радио, на всех языках.

ГОРОХОВ. Пусть все знают. Я, когда его услышал, как по воздуху хожу. Что-нибудь необыкновенное хочется совершить. Если б можно было второй раз в партию вступить, я вступил бы. Честное слово.

ДОКТОР. Вот война, в которой, я жалею, что придется залечивать раны. Я

бы хотел наносить. Представляю себе, что сейчас вокруг творится. Водоворот.

БОБРОВ. Я так думаю, сейчас у земного шара пульс сто двадцать — сто тридцать. Как полагаешь, доктор?

ДОКТОР. Да, температура высокая.

Подъехал автомобиль.

КОБРИН (*вбегая*). Товарищ капитан, здравия желаю. Как ужин? Все в порядке было, перебоев нет?

ГОЛУБЕВ. Ужин был отличный.

КОБРИН. Благодарю вас. Честь имею. Вам привет от Вали, я из полка Кожина только что.

ГОЛУБЕВ. Спасибо.

ГОРОХОВ. Кобрин, товарищ Кобрин! Какие новости? Расскажи что-нибудь.

КОБРИН. Какие там новости, товарищ! Некогда, после расскажу. Я сейчас к истребителям спешу, им туда запас нужно забросить. (*Убегает.*)

ГЛУХОВ (*Горохову*). Письма написал домой?

ГОРОХОВ. Что? Да, да, написал. У меня братишка в пехоте, и ему написал. Не знаю, дойдет ли.

ГЛУХОВ. Наверяд ли. Пехота теперь быстро передвигается.

БОБРОВ. У нас все быстро передвигается. Медленнее всего — время. Прямо, как арба.

ЕРОХИН (*подходит и вытягивается перед Голубевым*). Новая радиограмма, товарищ капитан.

Глухов выходит.

ГОЛУБЕВ. Вместо приказа о мобилизации. Правительственное распоряжение.

БОБРОВ. Читай!

ГОРОХОВ. Слушаем!

ГОЛУБЕВ (*читает*). «Партия и правительство предлагают всем, подавшим заявления о добровольном вступлении в армию, оставаться на своих местах, продолжать работу и ждать указаний военных комиссариатов. Без направления никто в армию принят не будет. По предварительным данным, за девятнадцать часов по Союзу от желающих добровольно вступить в армию поступило двадцать шесть миллионов заявлений.

Из общего числа членов партии и комсомола подали заявления восемьдесят процентов».

БОБРОВ. Такие сведения лучше бы завтра опубликовали. Боюсь, прочтут они, отбой будут бить.

ГОЛУБЕВ. Не так просто, товарищ Бобров.

ЕРОХИН. А что?

ГОЛУБЕВ. Отступления теперь не будет. Они знали, на что идут. Если напали, значит, на что-то надеются.

ГЛУХОВ. Изобретения?

ГОЛУБЕВ. Возможно. Изобретения большой разрушительной силы. Они несколько лет готовились.

ГОРОХОВ. Ну, и мы кое-что придумали. Бить будем техникой.

ГОЛУБЕВ. Верно, и у нас есть. Но неожиданности могут быть.

БОБРОВ. Ты так говоришь, капитан, можно подумать, — пугаешь.

ГОЛУБЕВ. Я никого не пугаю. Я только не хочу, чтоб думали, будто мы идем на учение. Война будет трудной.

ГОРОХОВ. На практике увидим. Я давно за границу собирался. Вот теперь научную командировку получаю.

ЗОЛЯ. Много ты увидишь с самолета.

ГОРОХОВ. Зачем с самолета? Мы там слезем, походим, поговорим. Задаром, что ли, языки изучали?

БОБРОВ. Вот никогда не думал, что так медленно минуты идут. Скорей бы действовать. Больше всего на свете ненавижу ждать. Еще что там написано, товарищ капитан?

ГОЛУБЕВ (*читая*). Хроника. Демонстрации по всей стране. Шествие Москвы по Красной площади. Заводы прошли с боевыми знаменами Красной гвардии в полном вооружении. А вот замечательная заметка: «По приказу наркома и призыву маршала Буденного в город Энск с'езжаются бойцы и командиры бывшей Первой Конной. На самолетах, специальных поездах, на конях буденновцы со всех концов Союза спешат на призыв командарма».

БОБРОВ. Конная армия войдет в состав ударной. На прорыв пойдет. Неужели нас в ударную армию не включают? Ну, через минуты все будет ясно.

У меня, знаешь, такое ощущение — приложи ухо к земле, слышно — буденновцы скачут.

ГЛУХОВ. А впереди — маршал Клим с Семен Михальчем. Пять минут осталось, докладываю. (Звонит телефон на пункте. Глухов ныряет туда.) Товарищ капитан, вас из штаба бригады.

ГОЛУБЕВ. Иду.

ГОРОХОВ. Внимание, ребята!

ГОЛУБЕВ (выходит из пункта. Боброву). Построй свой отряд. Комбриг приказал мне построить эскадрилью, — командир задерживается в штабе. Командиры звеньев, ко мне!

К нему подбегают командиры.

Построить отряд на правом фланге, остальные отряды примыкают слева.

БОБРОВ (убегает). Командиры звеньев, ко мне!

КОМАНДИРЫ (вместе.) Приказано построить отряд!

Разбегаются; начинает строиться отряд, справа подходит отряд под командой Боброва, пристраивается. За левой кулисой голоса. Там, невидимый зрителю, пристраивается еще один отряд.

ГОЛУБЕВ. Внимание!

Под'езжает машина.

Смирно!

Входят Лобов и Лазарев, Голубев рапортует Лобову.

Девятая эскадрилья штурмовой авиации выстроена по вашему приказанию.

ЛОБОВ. Здравствуйте, товарищи!

Дружное, но тихое «здравствуйте!»

Сообщаю вам весть, которую вы все ждете. Противник продолжает военные действия. Партия и правительство призвали трудящихся под красные знамена. Сталин и Ворошилов приказали нам выступить и уничтожить врага.

ГОРОХОВ. Товарищ командир, разрешите «ура» крикнуть.

ЛОБОВ. Кричать не надо. Пожмите руки друг другу. Мы сегодня выступаем.

Все, стоящие в рядах, жмут друг другу руки. Так проходит несколько секунд. Взволнованные, снова вытягиваются командиры.

Наша бригада получила первое ответственное боевое задание.

Движение.

Оно должно быть выполнено не всей бригадой. Одним стрядом. Предупреждаю летный состав: задание связано с величайшими опасностями, — проще говорю, по-большевистски, — может быть, немногие останутся в живых. Командарм приказал мне вызвать добровольцев. Прошу тех, кто готов сегодня, в первый день войны, отдать свою жизнь Республике, выступить вперед.

Как один человек, не колеблясь, весь строй делает шаг вперед. Только одну секунду волнение не дает комбригу говорить. Потом он продолжает просто. Я так и думал. Спасибо.

Тогда весь строй, как будто это сказал один человек: «Служим трудовому народу».

Если добровольцы — все, задание выполняет первый отряд. Капитан Голубев!

ГОЛУБЕВ (выступая вперед). Я вас слушаю, товарищ командир.

ЛОБОВ. Вот пакет. В двадцать два часа десять минут, то-есть через четыре минуты, вы вскрыете его и в указанный срок по заданному маршруту летите с отрядом. Идите сюда.

Голубев подходит. Лобов смотрит на него, как бы желая запомнить.

Ну, вот. (Крепко целует Голубева. Отряду.) Всех вас. Ясно? Остальному составу эскадрильи находиться в боевой готовности и ждать приказаний командиров. Можно разойтись.

Все, кроме отряда Голубева, расходятся. Лобов и Лазарев быстро уходят.

ГОЛУБЕВ (вскрывает пакет, читает внимательно. Шум от'езжающих машин.) Так. Ясно. (Командует.) Командиры звеньев, штурман, ко мне!

Командиры и штурман подбегают к нему.

Захар Байков, выйди из строя. (*Уходит вместе с командирами на пункт.*)

ЗОРЯ. Чего он меня вызвал?

ДОКТОР. Значит, нужно.

ЗОРЯ. Ты думаешь, он меня на земле оставит?

ДОКТОР. Конечно, оставит. И правильно делает. Ты слышал? Смертельное дело.

ЗОРЯ. Пусть попробует не взять. Я не хуже других. Как на учение — так Зорька, а как в бой — останься. Не выйдет!

ГОЛУБЕВ (*выходя с командирами*).
Вопросов нет?

ГОЛОСА. { Нет.
 { Ясно.

ГОЛУБЕВ. В двадцать два пятнадцать запустать моторы. (*Глухову*).
Раскрыть ангара.

ГЛУХОВ. Приказано раскрыть ангара. (*Спускается вниз*.)

Трава и кусты, прикрывавшие пригорок, автоматически раздвигаются, под ними оказываются стальные ворота подземного ангара. Ворота бесшумно открываются. В глубине виден готовый к вылету аэроплан.

ГОЛУБЕВ. По самолетам!

Командиры и бойцы отряда Голубева бегут и скрываются в ангаре.

Зоря!

ЗОРЯ. Чего тебе?

ГОЛУБЕВ. Ты не летишь.

ЗОРЯ. Я? Не лечу?! Нет, лечу!

ГОЛУБЕВ. Вместо тебя полетит Гарин.

ЗОРЯ. А я тебе говорю — я лечу! Меня с моего самолета никто не может снять. А Гарина я застрелю, если он в мою кабину сядет. Понятно? Я вместе с другими вперед шагнул, значит, понимаю, в чем дело. Я Пете скажу, он покажет, как из меня труса делать.

ГОЛУБЕВ. И Петя тебя не пустил бы. Если ты не маленький, ты должен понять, — ты музыкант, из тебя большой композитор может выйти, ты му-

зыку можешь замечательную создать. Нам надо сохранить тебя для страны.

ЗОРЯ. А по-моему, надо страну для музыки сохранять, а не музыку для страны.

ГОЛУБЕВ. Разговор кончен.

ЗОРЯ. Да, кончен. Я иду в свою кабину.

ГОЛУБЕВ. Я тебя выброшу.

ЗОРЯ. У тебя времени не будет со мной возиться, надо лететь. (*Убегает в ангар*.)

ГОЛУБЕВ. Куда? (*Смотрит на часы*.) Захар!.. Зорька!.. Воротись!.. Вот, кожаная порода! Он прав — времени нет. (*Бежит к ангари*.)

Через некоторое время начинает работать пропеллер, самолет движется из глубины ангара к воротам.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Подземный штаб заградительной зоны фашистской армии. Вся стена на зрителя занята громадной картой. По карте, несколько отступая от границы, идет заштрихованная полоса — зона. Рядом с картой — соединенные с ней белые полосы, идущие сверху вниз, напоминающие экраны. Телефоны. Радиоаппараты. Система световой сигнализации. Обыкновенные карты. Стол. На нем — донесения, телеграммы, сводки. В штабе — комендант заградительной зоны, генерал-лейтенант барон Гуго фон-Мизенбах и его помощник, полковник Грауденц.

МИЗЕНБАХ. Проверьте плотность насыщения, Грауденц.

ГРАУДЕНЦ (*у аппаратов*). Девяносто восемь процентов, ваше превосходительство.

МИЗЕНБАХ. Отлично. Температура, Грауденц?

ГРАУДЕНЦ. Девять выше нуля, ваше превосходительство. Нормальная.

МИЗЕНБАХ. Мы уничтожим аэропланы при нормальной температуре. Это приятно. Как вам кажется, Грауденц?

ГРАУДЕНЦ. Это не играет роли, ваше превосходительство.

МИЗЕНБАХ. Смотря для кого, Грауденц. Я — за чистоплотность. Я, например, не люблю иприт. Он очень не эстетичен. Он действует на слизистую оболочку и на кожные покровы. Чело-

век покрывается нарывами и язвами, слезоточит, гноится. Я всегда работал с фосгеном и его препаратами. Это очень корректный газ. Индивидуум отравляется, но через пятнадцать-двадцать минут чувствует себя нормально. Здоров. Проходит день, другой — и человек уходит на тот свет без грязи. Это приятно. Что, командующий наземной охранной зоны, полковник Эбрехт, прибыл?

ГРАУДЕНЦ. Так точно, ваше превосходительство.

МИЗЕНБАХ. Просите его сюда.

ГРАУДЕНЦ. Слушаю, ваше превосходительство. *(Нажимает кнопку звонка, говорит в микрофон.)* Командующего наземной охраной к его превосходительству.

Стук в дверь.

МИЗЕНБАХ. Входите.

ЭБРЕХТ *(входит, вытягивается, рапортует)*. Прибыл по вашему приказанию.

МИЗЕНБАХ. Все ли учтено?

ЭБРЕХТ. Так точно, ваше превосходительство.

МИЗЕНБАХ. Отряды на местах?

ЭБРЕХТ. Отряды там, где по расчетам должны упасть самолеты, ваше превосходительство.

МИЗЕНБАХ. Пулеметы?

ЭБРЕХТ. У меня их немного, ваше превосходительство. Сомневаюсь, чтоб команды упавших самолетов смогли оказать сопротивление. По нескольку зенитных, если будут планировать и стрелять.

МИЗЕНБАХ. Не открывайте сильный огонь. Надо щадить самолеты, они нам понадобятся.

ЭБРЕХТ. Приказ будет выполнен, ваше превосходительство.

МИЗЕНБАХ. Не сомневаюсь.

ЭБРЕХТ. Есть какие-нибудь сведения о наступлении противника, ваше превосходительство?

МИЗЕНБАХ. Будьте готовы к нему каждую минуту.

ЭБРЕХТ. Слушаю, ваше превосходительство. Разрешите идти?

МИЗЕНБАХ. Да.

Эбрехт отдает честь и уходит.

Так. Все готово, Грауденц. Можно воевать.

ГРАУДЕНЦ. Я не привык к такой войне, ваше превосходительство.

МИЗЕНБАХ. У нее есть свои особенности. Вся войну, например, мы можем просидеть с вами в этой... в этом подземном штабе. Я чуть не сказал — в этой лаборатории.

ГРАУДЕНЦ. Вы не случайно оговорились, ваше превосходительство.

МИЗЕНБАХ. А разве мы не профессора, Грауденц? Наука уничтожения отнюдь не менее почетна, чем всякая иная. Вы несколько старомодны, Грауденц. Вы — сухарь.

ГРАУДЕНЦ. Я — солдат, ваше превосходительство, я тридцать пять лет солдат. Это моя профессия.

МИЗЕНБАХ. Ее у вас никто не отнимает, Грауденц. Но оружие меняется. Подумайте, что было бы, если б на нас пятнадцатом-шестнадцатом году налетела эскадра в несколько сот самолетов. А сегодня мы можем вывести из строя, по меньшей мере, тысячу, спокойно беседуя с вами в этой комнате.

Стук в дверь.

Входите.

ДЕЖУРНЫЙ *(входит, вытягивается, отдает честь, докладывает)*. Карл Кмох, правительственный комиссар, прибыл и желает быть принятым вашим превосходительством.

МИЗЕНБАХ. Да, я знаю. Проводите.

Дежурный уходит.

Явился. Посмотрим. Встаньте, Грауденц. Я буду сидеть.

Стук в дверь.

Входите.

КМОХ *(в черном военном костюме и в фуражке. На фуражке — череп и скрещенные кости. На рукаве — желтая повязка со свастикой. Он входит и, поднимая правую руку, произносит торжественно)*. Слава вождю!

МИЗЕНБАХ *(не поднимая руки)*. Здравствуйтесь.

КМОХ. Я предполагал услышать приветствие вождю государства.

МИЗЕНБАХ. Во избежание дальнейших недоразумений. Я признаю одного вождя государства (*встает и отдает честь*) — его императорское величество. Я не меняю своих убеждений, но и меня некем заменить. Вас назначили ко мне комиссаром. Это право теперешнего правительства. Прошу предъявить ваши полномочия.

КМОХ (*вынимая и показывая*). Документ, подписанный министром авиации.

МИЗЕНБАХ. Министром, очень хорошо. У вас есть также приказ моего командования?

КМОХ. Вот он (*подает бумагу*).

МИЗЕНБАХ (*просматривая*). Этого достаточно. Я должен ознакомить вас с техникой заградительной зоны и оперативным планом. Полковник Грауденц, объясните.

ГРАУДЕНЦ. Слушаю, ваше превосходительство. (*Подходит к карте*.) Перед вами — карта страны. Заштрихованная полоса — зона. Она разбита на участки. Центральный штаб — здесь. (*Показывает*.) Что такое зона? Мы нашли газ. Назовем его...

МИЗЕНБАХ. Зет.

ГРАУДЕНЦ. Зет. Он имеет три свойства. Первое — не поддерживает горения, второе — не распыляется в воздухе, третье — невидим. На каждом участке — станция насыщения. Центральная станция подачи газа здесь, у штаба. (*Показывает на карте*.) Во всей полосе мы прославиваем воздух на нужную высоту, до земли. В зоне, лишенной питательной среды, останавливаются моторы внутреннего сгорания. Через зону не могут проникнуть ни танк, ни самолет. Все.

КМОХ. А эта карта?

ГРАУДЕНЦ. Наше изобретение. Авиаприемник. Его свойства. Первое — автоматически фиксирует появление самолетов, второе — показывает путь следования, третье — указывает количество. Все.

МИЗЕНБАХ. Вы это увидите, господин Кмох, когда их самолеты пойдут к нам.

КМОХ. К нам? Они смогут бомбардировать нас?

МИЗЕНБАХ. Они не долетят сюда, они упадут в пределах зоны.

КМОХ. Это трудно представить.

МИЗЕНБАХ. Грауденц несколько сухо объяснил все это. Здесь вы увидите замечательные эпизоды, господин комиссар. В этом штабе мы должны обеспечить победу нашей воздушной армии. Если бы у нас было столько же самолетов, сколько у большевиков, мы бы еще вчера бросили на них все силы. Но соотношение не в нашу пользу. Господин Ворошилов обычно говорит — у нас самолетов столько, сколько нужно. Мы знаем, что это довольно много. Если мы отправим свои эскадры, нас могут разбить в воздухе. Это равносильно гибели. Вчера мы бросили часть наших сил. Самолеты бомбардировали Россию, приняли бой и потерпели поражение. Сегодня, в этом нет сомнения, будет ответный ночной удар красной авиации. И вот тут-то они попадут в зону, из которой вылететь нельзя, можно только упасть. Сегодня выведем из строя их эскадру, завтра главные наши силы пойдут на Москву. Война будет короткой.

КМОХ. Это очень хорошо. Мне обещан крупный пост в России.

МИЗЕНБАХ. Интересно. Какой же, если не секрет?

КМОХ. Нет, пожалуйста. Я буду генерал-губернатором Харькова.

МИЗЕНБАХ. А! (*Звонок телефона. Мизенбах берет трубку*.) Да. Да. Командант заградительной зоны, генерал-лейтенант барон Гуго фон-Мизенбах вас слушает. Да. Так. Ваше приказание будет выполнено. (*Кладет трубку*.) Полковник Грауденц! Соединитесь с четвертым участком.

Грауденц нажимает кнопку на телефонном распределителе, загорается контрольная лампочка и сейчас же в репродукторе звучит голос: «Начальник четвертого участка готов к исполнению вашего приказа».

МИЗЕНБАХ. Через две минуты вы дегазируете семнадцатую полосу вашего участка на девять минут.

Голос в репродукторе: «Через две минуты я дегазирую семнадцатую полосу

моего участка на девять минут». *Грауденц выключает телефон.*

ГРАУДЕНЦ. Танки?

МИЗЕНБАХ. Да, огневые. Первый корпус. Завтра они зажгут все на территории в двенадцать километров и прорут укрепления.

КМОХ. Очень хорошо. Огонь — превосходное средство.

ГРАУДЕНЦ. Ваше превосходительство! Карта!..

Карта оживает. На ней зажигаются красные стрелки, медленно подвигающиеся к заштрихованной полосе.

МИЗЕНБАХ. А! Грауденц, направление?

ГРАУДЕНЦ. Шестой участок.

На экране вспыхивают буквы «Ш» и цифра «9».

МИЗЕНБАХ. Девять. Первый отряд. Дайте участок.

Грауденц нажимает кнопку. Голос: «Начальник шестого участка».

Алло! На вашем участке между двадцать второй и двадцать первой полосой. Ясно вам?

Голос: «Так точно, ваше превосходительство».

Эскадрилья, девять штурмовиков. Сообщите отряду двадцать первой полосы, — они там будут падать. Если останутся целые самолеты, ликвидируйте сопротивление команд. Постарайтесь захватить несколько человек живыми.

Голос: «Приказ будет выполнен, ваше превосходительство». *Красные стрелки все ближе и ближе к зоне. Кмох, упершись руками о стол, смотрит на них. Вытянулся Грауденц. Сложил руки на груди Мизенбах. Стрелки доходят до заштрихованной полосы. Они гаснут. Цифры на экране пропадают, и на их месте вспыхивает красный сигнал «Х».*

А? Готово. Кувьрком. На деревья. Напечатайте донесение, Грауденц.

Грауденц садится, печатает на префораторе.

КМОХ. Так! Конец! Я хотел бы быть сейчас с отрядом. Там, наверно, остались живые.

МИЗЕНБАХ. Если останутся живые — их доставят сюда. Мне нужны кое-какие сведения.

КМОХ. О, сведения я добуду! Я служил комиссаром концентрационного лагеря в Борхгау. Я умею получать сведения. Мне многие открывали душу.

Треск аппарата. Загорается лампочка. Грауденц включает телефон.

МИЗЕНБАХ. Ага! Вот. Да.

Голос: «Докладывает начальник шестого участка. Отряд ликвидирован. Два самолета разбиты вместе с командой. Остальные спланировали. Самолеты приведены в негодность собственными командами. В бою захвачены пленные».

Сами вывели самолеты из строя. Это бестактность. Грауденц, донесение!

Грауденц вновь печатает.

Старшего из пленных сюда!

КМОХ. Большевик! У нас будет душевная беседа.

МИЗЕНБАХ. С ним буду говорить я. Здесь армия, а не концентрационный лагерь. Тут штаб, и войдет военнопленный.

КМОХ. Но большевик.

МИЗЕНБАХ. Пока он офицер. Вот, если он ничего не скажет, тогда он превратится в большевика и с ним будете говорить вы. Вам вредно волноваться, господин комиссар. При слове «большевик» у вас кровь приливает к лицу.

КМОХ. Я ненавижу большевиков. Я счастлив, что их раздавили.

МИЗЕНБАХ. Раздавили? Всех ли?

КМОХ. Мы раздавили организацию. Одиночки еще прячутся, но организации не существует. Остался сброд, не имеющий руководства, нули.

МИЗЕНБАХ. А по ту сторону границы?

КМОХ. Вот на тех я пережес свою ненависть.

Стук в дверь.

МИЗЕНБАХ. Да. Входите!

Входят офицер, двое солдат, Голубев и Зоря. Голубев без шлема. Левая рука у него на ремне, лицо обожжено. Зоря со связанными назад руками. Офицер подходит к Мизенбаху, вытягиваясь. Кмох рассматривает Голубева и Зорю.

ОФИЦЕР. Во исполнение приказа вашего превосходительства командир отряда доставлен. *(Тихо.)* Я доставил и мальчишку, ваше превосходительство, у него можно кое-что узнать. Это, видимо, брат.

КМОХ. Или, воздействуя на мальчишку, взять нужное от старшего. Мы знаем, как это делается.

МИЗЕНБАХ. Почему мальчишка связан?

ОФИЦЕР. Брыкался и дрался, бешеный мальчишка.

МИЗЕНБАХ. Можете отправляться. *Офицер козыряет и уходит. Солдаты остаются возле пленных.*

Вы ранены?

ГОЛУБЕВ. Да.

МИЗЕНБАХ. Вам нужна помощь врача?

ГОЛУБЕВ. Да, благодарю вас.

МИЗЕНБАХ. Грауденц!

ГРАУДЕНЦ *(нажимает кнопку)*.
Врача.

Сейчас же стук в дверь. Бесшумно входит врач с аптечкой.

Перевязку.

Врач подходит к Голубеву, осматривает руку. Делает перевязку.

МИЗЕНБАХ. Беспокойная вещь — война? А?

ГОЛУБЕВ. Да, уюта мало.

МИЗЕНБАХ. Вот, в плен попали.

ГОЛУБЕВ. Из-за ранения. Поджигал самолет. Быстроты нужной не было, вот и захватили.

МИЗЕНБАХ. Я говорю — попали в плен, а дома, наверно, жена. А?

ГОЛУБЕВ. Может, к делу перейдем. Что от меня нужно?

МИЗЕНБАХ. Я старше вас чином. Вы могли бы разговаривать более вежливо.

ГОЛУБЕВ. Я не актер. Что от меня надо?

КМОХ. Разрешите, я с ним поговорю, ваше превосходительство.

МИЗЕНБАХ. Спокойно. Так, вы — не актер. Приятно слышать. Не люблю актеров. Они плохо играют в жизни.

ЗОРЯ. Тебя спрашивают — что надо, понятно?

МИЗЕНБАХ. Вот так мальчик! А если ремень?

ЗОРЯ. Попробуй.

МИЗЕНБАХ. Вот как! Когда вы видите таких детей, что вам хочется, господин Кмох?

КМОХ. Давить.

МИЗЕНБАХ. Да нет... Мне, например, хочется стать отцом. Продолжить род.

ГОЛУБЕВ. Я, признаться, думал — в штаб приведут, а тут цирк.

МИЗЕНБАХ. Тут не цирк, дорогой друг. В этом вы скоро убедитесь. Ну, если вам некогда, приступим. Попрошу взвесить мои слова. Вот тут, за углом, в подвале, вас расстреляют, как собаку, если вы не скажете, что мне нужно. А нужно мне знать, где засекреченные аэродромы вашей части. Пункты, количество, размеры. Даю вам минуту. Скажете, — слово офицера, — жизнь. Вы — пленник и отправляетесь в тыл. Не скажете, — вы в этом цирке сыграете самую забавную роль — труппа. Ясно?

ЗОРЯ. Володя...

ГОЛУБЕВ. Подожди. Скажу — жизнь?..

МИЗЕНБАХ. Да.

ГОЛУБЕВ. Не скажу — труп...

МИЗЕНБАХ. Да. И минута истекает.

ГОЛУБЕВ. Эх, Зоренька, мальчик мой... Трудно, одному трудно. Скажу...

ЗОРЯ. Володя, что ты делаешь? Володя, нельзя.

МИЗЕНБАХ. Разумный выбор. Я не сомневался в нем. Я слушаю.

ГОЛУБЕВ. Размеры нужны?

МИЗЕНБАХ. Да.

ГОЛУБЕВ. Размеры наших аэродромов просторны. Как родина наша просторна. Ясно?

МИЗЕНБАХ. Так.

ГОЛУБЕВ. Количество. Количество засекреченных аэродромов у нас достаточное для всей авиации. А авиации у нас достаточно, чтоб покрыть тенью вашу армию. Ясно?

МИЗЕНБАХ. О, да, вполне ясно. Господин Кмох!

КМОХ. О! (Срывается со стула, подходит к Голубеву и в упор смотрит на него. Говорит почти тихо.) Ты — ублюдок, грязное животное, как весь твой народ! Ты позволяешь себе издеваться над людьми высшей в мире расы! (Размахивается и бьет Голубева кулаком по лицу. Голубев отшатывается. Солдаты хватают его.)

ЗОРЯ. А-а!.. Ах ты!.. (Он вскакивает и, бросившись на Кмоха, впирается ему зубами в руку.)

КМОХ. Ай! Рука! А, дрянь! (Он пытается оттолкнуть Зорю, но тот не отпускает руки. Тогда Кмох вытаскивает револьвер и стреляет. Медленно, как бы нехотя, Зоря падает на пол.)

ГОЛУБЕВ. Зоря!.. Мальчика, гадина, мальчика... (Он бешено рвется, дюжие солдаты его не пускают. Тогда он падает на колени и наклоняется над Зорей.) Зоренька, мальчик мой!.. Это я — Володя... Скажи, тебе больно? Зорька... (Опускается и слушает сердце. Это длится несколько секунд. Так велика скорбь его голоса, что даже враги, его окружающие, молчат эти секунды. Он поднимается, смотрит на Кмоха долгим взглядом.)

МИЗЕНБАХ. Э!.. Зачем вы? Не люблю.

КМОХ. В руку вцепился, ваше превосходительство. Дрянь!

МИЗЕНБАХ (Голубеву). Это брат ваш?

ГОЛУБЕВ (молчит).

МИЗЕНБАХ. Ничего не поделаешь, — война. Продолжайте. Грауденц, убраться!

Грауденц звонит, в дверь стучат.

Входите.

Солдаты входят. Грауденц показывает им на труп. Они хватают и выносят его.

КМОХ (Голубеву). Будешь ты говорить, мразь?

ГОЛУБЕВ (молчит).

КМОХ. Нет, будешь!..

ГОЛУБЕВ (молчит).

КМОХ. Свяжите ноги.

Солдаты стягивают ремнем ноги Голубева.

Придвиньте сюда, к столу.

МИЗЕНБАХ (подходя). Последний раз. Неприятная процедура. А? Но мне надо знать. Скажете?

ГОЛУБЕВ (молчит).

МИЗЕНБАХ. Тем хуже.

КМОХ. Так. Руку его дайте. Пальцы. Пальцы.

МИЗЕНБАХ. Рекомендую вам сказать. Ведь никто не будет знать, — мы одни. Я клянусь вам честью солдата сохранить тайну. А?

КМОХ. Скажешь ты? Ну?

ГОЛУБЕВ (молчит).

КМОХ. Скажешь? (Наклоняется к Голубеву; наклоняется, наблюдая, и Мизенбах.)

Стук в дверь.

Скажешь?!

Снова стук в дверь, более настойчивый.

МИЗЕНБАХ. А, черт! Да кто там? Входите!

Дверь раскрывается. Входит очень спокойный, с маузером, в синем комбинезоне, Кожин.

КОЖИН. Благодарю вас. Между прочим, предупреждаю, что за оружие хвататься не стоит. Штаб занят. Тут кругом — мои ребята.

Входят шесть десантников с ручными пулеметами.

Сигнализацию тоже не надо трогать — застрелю на месте. Понятно? Здравствуй, Володя, мне твои командиры, которых я освободил, сказали, что ты здесь.

МИЗЕНБАХ (отступая). Нет, нет... Что это, Грауденц? Призрак?

КОЖИН. Так точно. Призрак коммунизма в составе одного десантного полка, при орудиях и пулеметах. (Голубеву.) Ты, между прочим, говорил — не

реально, Володя. Нет, брат, десантные операции, они, знаешь...

ГОЛУБЕВ. Петька! Петька!..

КОЖИН (*подходит к Голубеву, перерезает ремень на ногах и дает ему револьвер.*) Ранен? Э, да тебя пытали.

ГОЛУБЕВ. Собирались.

КОЖИН. Во-время я постучал.

ГОЛУБЕВ. Чудак, зачем ты стучал?

КОЖИН. А как же! Вежливость, знаешь. В Европу приехали. Ну-ка, оружие сюда!

Десантники отбирают оружие.

А пытаться — нехорошо, друзья мои. Не годится. Вот этот?

ГОЛУБЕВ. Он Зорьку убил.

КОЖИН (*отступая назад*). Зорьку убил?.. Зорька с тобой был? Зорьки нет больше?..

ГОЛУБЕВ. Нет нашего Зорьки.

КОЖИН. Зорька... Убили Зорьку... (*Отступает к стене и молчит.*)

Пауза.

Ты... убил Зорьку? (*Поднимает револьвер.*)

Кмох приседает, закрываясь руками. Звонит телефона.

Это откуда звонят? Эй, генерал, откуда звонят?

МИЗЕНБАХ. Прямой из штаба верховного главнокомандующего.

КОЖИН. А ведь им надо сказать, что все благополучно, а то они, между прочим, могут хлопот нам наделать. Ну-ка, генерал, скажите, что тут все в полном порядке.

МИЗЕНБАХ. Грауденц!

КОЖИН. Он по телефону разговаривает? (*Грауденцу.*) Ну, скажи. Предупреждаю, между прочим, друг. Одно слово, один звук не тот, и ты — жил. (*Подходит к телефону.*) Бери трубку.

ГРАУДЕНЦ (*снимает трубку.*) Алло! Да. У аппарата полковник Грауденц. Докладываю: наш штаб захвачен десантом большевиков. У них орудия и

пулеметы. Немедленно вышлите истребительную группу. Меня сейчас убьют. Прошу передать детям, Вильгельму и Фридриху, что их отец выполнил долг службы. Все. (*Кладет трубку.*)

КОЖИН. Молодец! Крепкая порода. Старый солдат. Хороши бы мы были, если бы я не выключил телефон. (*Показывает выдернутую вилку телефонного аппарата.*) Но сказать им все-таки что-то надо. (*Кмоху.*) Ну-ка, иди сюда. (*Кмох бежит к аппарату.*) Возьми трубку. Теперь смотри, я отхожу. Выключать больше не буду. Одно слово... Ты понял меня? (*Стоит, не глядя на Кмоха.*)

КМОХ (*берет трубку*). Да. Да. Был перерыв на линии. Говорит комиссар Карл Кмох. Так точно. Генерал Мизенбах занят допросом пленных. Да. Да, все в порядке. (*Кладет трубку; дрожа смотрит на Кожина.*)

ГРАУДЕНЦ. Скот!..

КОЖИН. Ведите! Прошу извинить, в Союз вас вывезем. Новый вид импорта. Меня Лобов просил языка захватить. Ну, марш!

МИЗЕНБАХ. Я — генерал-лейтенант и барон. Я прошу...

КОЖИН. Можете не беспокоиться, господин барон, я сам — первой гильдии батрака сын. Этикет понимаю.

Глухов, Ерохин, Лемке входят вооруженные.

ГЛУХОВ. Володя!.. Товарищ капитан, живы! (*Обнимает его.*)

ЛЕМКЕ. Связь с центральной станцией установлена, Кожин, дело идет.

КОЖИН. Спасибо. Кстати, разрешите вам представить, господин генерал-унтер-офицер вашей части — Ганс Лемке.

ЛЕМКЕ. Честь имею представиться, ваше превосходительство.

МИЗЕНБАХ. Гм...

ЛЕМКЕ. Так точно, именно — гм, ваше превосходительство.

МИЗЕНБАХ. В чем дело, солдат?

КОЖИН. Досадная неожиданность, ваше превосходительство. Перед вами начальник штаба красных фронтовиков восьмой армии — Лемке.

ЛЕМКЕ. Грузчик Лемке — это мой полный титул.

КОЖИН. Грузчик? Врешь?!

ЛЕМКЕ. Портовый грузчик. Почему ты не веришь?

КОЖИН. Да нет, так. Внеслужебные размышления, ты не обращай внимания.

ЛЕМКЕ. Имели честь служить под начальством вашего превосходительства. Служили добросовестно, военную науку изучили, с винтовкой обращаться умеем.

МИЗЕНБАХ. Вы служили в войсках?!

ЛЕМКЕ. Так точно. До самого последнего момента, ваше превосходительство, до самого последнего. А когда, как снег на голову, сверху начали падать красные звезды, вступили в свою настоящую армию, — в Красную армию, ваше превосходительство.

КОЖИН. Ну, не смею вас больше задерживать, ваше превосходительство. Нам немножко недосуг. (*Десантникам.*) Доставьте их к самолетам, скажите — майор приказал на тринадцатом вспомогательном сейчас же отправить.

Десантники уводят пленных.

ГОЛУБЕВ. Прямо как сон все это. Смотрю на Лемке и думаю, что все мне кажется.

ЛЕМКЕ. Нет, парень, мы существуем, мы есть.

ГОЛУБЕВ (*Лемке*). Дай руку.

КОЖИН (*Глухову*). Со штабом бригады ты можешь по радио связаться?

ГЛУХОВ. Попробуем. (*Идет к радиостановке.*)

КОЖИН. Доложи Лобову. (*Смотрит книжку, Глухов записывает.*) Шестой участок зоны дегазирован полностью, а центральная станция будет ликвидирована в три часа. Так. 220, 337, 116, 69, 33, 498, 348. Выручили, скажи, Голубева. Понятно? И что-нибудь бодрое добавь там, душевное. Ну, хоть 348, 417, 11 и 8. Понятно, — восемь?

Глухов работает ключом у аппарата.

ГОЛУБЕВ. Ну, расскажи мне...

КОЖИН. Как мы пролетели?

ГОЛУБЕВ. Да.

КОЖИН. Ты о существовании зоны знал?

ГОЛУБЕВ. Я получил задание войти в зону, проверить ее действие и вместе с тем убедить противника, что нам о ней ничего не известно.

КОЖИН. Вот. Это и была главная задача. А мы свободно прошли. Эти господа думали, что мы в стратосферу для прогулок летали. Ты знаешь, на какой я высоте шел?

ГОЛУБЕВ. Ну?

КОЖИН. Восемнадцать тысяч метров. Ты понимаешь, у меня все в зимнем вылетели. Пятьдесят четыре градуса ниже нуля.

ГОЛУБЕВ. Все самолеты?

КОЖИН. Одна эскадрилья. Не весь флот приспособлен к таким полетам, конечно. Но на такой высоте я над зоной шел, вроде как над Тверским бульваром.

ГОЛУБЕВ. Почему же вас не фиксировала карта?

КОЖИН. А это им от наших радиоспециалистов сюрприз. Небольшая комбинация со встречными волнами. В общем, ослепла карта. Понятно?

ГОЛУБЕВ. Мы что, будем вглубь продвигаться?

КОЖИН. Ничего подобного. Приказано выполнить задание и уходить домой.

ГОЛУБЕВ. Их войска могут подойти?

КОЖИН. Все мыслимо, Они, правда, хорошо всю эту музыку замаскировали в лесу. Нам это на-руку. Но, в общем, времени у нас, конечно, коротенькие минуты. Не за грибами пришли.

ГОЛУБЕВ. Дай мне дело. Я готов. Я только хотел... я хотел...

КОЖИН. Знать, где Валя? Понятно. Я ее с разведкой отправил. Сюда не взял, неизвестно, в каком виде мог застать тебя, — дело военное.

ГОЛУБЕВ. Но она здесь?

КОЖИН. Не беспокойся, любящий супруг. Все будет, как полагается, — и наговоришься и нацелуешься.

ВАЛЯ (*вбегая*). Володя!.. (*Бросается к нему, останавливается на полдороге. Репортует Кожину.*) Товарищ майор! Противник! С ближнего участка зоны

идут, лесом. Артиллерия, два танка. Мы не стреляли, чтоб себя не обнаружить. Как прикажете действовать?

КОЖИН. Действовать? Бить их и в хвост и в гриву, — вот как действовать! За мной!

Все выбегают за ним, остается один Глухов, который, наклонившись над радиоаппаратом, выстукивает позывные, говорит в рупор.

ГЛУХОВ. Алло, алло. Я звезда, звезда. Вызываю 19, 19, 19... Алло, алло, алло...

За сценой глухо слышна стрельба.

Алло, алло, алло... Передаю донесение, алло... В настоящий момент основные силы десанта, десанта брошены на подрывные работы. Алло, алло... Так. На штаб, захваченный нами, нами, противник ведет наступление. Наши силы у штаба незначительны. Майор Кожин в бою. Алло... в бою.

Стрельба сильнее.

Противник окружает... алло, алло... окружает штаб, — так.

ВАЛЯ (за сценой). Осторожней.

Она, Ерохин и десантник вносят раненого Горохова.

Вот сюда, к стене. Шинель под голову.

Его кладут.

ГОРОХОВ. Идите, мне очень хорошо.

Ерохин и десантник выбегают. Валя заряжает винтовку, бежит за ними.

ГЛУХОВ. В ногу?

ГОРОХОВ. В бедро. Ерунда.

Выстрелы сильнее. За сценой гул голосов.

ГЛУХОВ. Жмут?

ГОРОХОВ. Танки подошли.

ЛЕМКЕ (вбегает). Управление должно быть слева. Правильно, — здесь.

ГЛУХОВ. Вот доска.

Лемке бежит к распределительному щиту, наклоняется, читает: «Перегородка», «вверх», «вниз», «щит». За сценой гул голосов.

ГОЛУБЕВ (вбегает). Лемке, нашел?

ЛЕМКЕ. Жду сигнала.

Голубев перед открытой дверью всматривается в коридор. Лемке держит руку на рычаге. Стрельба и голоса за сценой.

ГОЛУБЕВ (махает рукой). Щит!

ЛЕМКЕ (нажимает рычаг). Есть!

КОЖИН (голос его за сценой). Тут размещаться! Пулеметы сюда! Так, левой. (Входит с Ерохиным, тащит пулемет. За ними — Валя, Бобров, десантники.) Капитан Бобров, у щита приказываю поставить боевой заслон. Чорт его знает, может, эта консервная коробка и снаружи открывается. Осмотри весь блиндаж, установи, какое есть оружие. К пленным — двойной караул. Понятно? Действуй.

БОБРОВ. Приказано действовать. (Выходит с десанниками.)

КОЖИН. Так. Лемке, тут второго выхода нет?

ЛЕМКЕ. Только один.

КОЖИН. Понятно. Тогда — с новым домом. Там, между прочим, хозяйева волнуются, обидно — перед самым носом дверь захлопнули.

ЕРОХИН. Мышеловка.

КОЖИН. Бетонная. Тут нас не возьмешь.

ЛЕМКЕ. Верно, товарищ Кожин!

КОЖИН (Глухову). Связь со штабом есть?

ГЛУХОВ. Прервалась, товарищ майор. Только что.

КОЖИН. Восстанови. Приказываю восстановить. А где Горохов?

ГОРОХОВ. Я здесь.

КОЖИН. Ну как, Миша?

ГОРОХОВ. Ничего. Отлично.

КОЖИН. Ну, ты, брат, молодец. Расцеловать тебя. Между прочим, к ордену представляю. Понятно?

ГОРОХОВ. Что? Нет, нет, ерунда.

КОЖИН. Орден — ерунда?

ГОРОХОВ. Да, да. Да нет, я о себе. Ты смотри, вот, брат, сооружение. (Показывает на карту.) Вы передвиньте меня туда, поближе...

КОЖИН. Лежи, лежи, какая там карта.

Глухой взрыв за сценой. Все прислушиваются.

Что это они там колдуют? Не нравится мне это.

Треск аппарата. Загорается красная лампочка на телефонной доске.

Стоп. Внимание. Сигнал с того света. Ну-ка, Глухов, включи.

Глухов подходит к доске и включает телефон. Голос из рупора: «Алло, алло!»

КОЖИН. Слушаю.

ГОЛОС. У аппарата начальник сводной истребительной группы, полковник Габер.

КОЖИН. Чем могу служить?

ГОЛОС. Кто со мной говорит?

КОЖИН. Майор Красной армии Петр Кожин.

ГОЛОС. Майор Кожин, я предлагаю вашему отряду сдатьсь.

КОЖИН. Сдаться? А что это такое? Не понимаю. Мне это слово неизвестно.

ГОЛОС. Не тратьте времени, у вас его не так много. Я даю пятнадцать минут.

КОЖИН. Покорнейше благодарю. Хотелось бы знать, что будет через пятнадцать минут.

ГОЛОС. Мы взорвали вводные отверстия воздушных фильтров. Вы не сможете их закрыть.

КОЖИН. Понятно. Ну и что?

ГОЛОС. Через пятнадцать минут я пропущу через вентиляционную систему газ. Вам не выйти из этой ловушки.

Треск выключенного аппарата. Лампочка гаснет. Молчание.

КОЖИН (смотрит на часы). Газ. Это возможно. Противогазы у всех?

ГОЛУБЕВ. У меня есть.

ГЛУХОВ. У меня сняли, когда брали в плен.

ЕРОХИН. У меня тоже. У всех нас, когда разоружали, отняли.

ВАЛЯ. У меня в бою шланг порвался.

КОЖИН. И у тебя нет? Так. (Вдыхает воздух.) Приготовить противогазы! Горохов, противогаз проверь, ты слышал?

ГОРОХОВ (на коленях около механизмов, с листками и карандашом). Что? Да, да, сейчас. Я, понимаешь, смотрю механизмы. Ловко сделано. Я уж тут записал. Ты мне, пожалуйста, не мешай, я скоро кончу.

КОЖИН. Извини, пожалуйста, беспокоил тебя. Но тут, видишь ли, через несколько минут дадут газ.

ГОРОХОВ. Что? Да, да, очень хорошо.

Все невольно смеются.

ЕРОХИН. Тринадцать минут.

БОБРОВ (входя). Ваш приказ выполнен. Оружие есть.

ГОЛУБЕВ. А противогазы?

БОБРОВ. Нет. Не обнаружил.

КОЖИН (вдыхает воздух). Так.

ЕРОХИН. Товарищи, как же так, нет ведь противогаса!

КОЖИН. Спокойно. Сядь.

Ерохин садится.

Так. Так. Ловушка, стало быть. Вот странно, Володя, о чем говорить нам не пришлось, — у тебя родные-то есть?

ГОЛУБЕВ. Мать.

КОЖИН. А у тебя, Валюшка?

ВАЛЯ. Мать и отец. Сестра...

КОЖИН. Сестра? Что ж ты мне раньше не сказала, чудачка? Эх ты, голова еловая. На-ка противогаз.

ВАЛЯ. То-есть как?

КОЖИН. Возьми, говорю.

ВАЛЯ. А ты?

КОЖИН. Слушай, тут между прочим, не дамский спортивный клуб. Понятно? Возьми, и все.

ГОЛУБЕВ. Она наденет мой противогаз.

ЕРОХИН. Одиннадцать минут.

ВАЛЯ. Я не возьму противогаса ни у тебя, ни у него. Командиру противогаз понадобится больше, чем мне. Это очень просто.

КОЖИН. Я надеюсь, противогазы никому не понадобятся. Капитан Бобров, сюда весь отряд!

БОБРОВ. Есть!

Выходит, и сейчас же начинают сбегаться вооруженные десантники.

КОЖИН. Внимание! Прошу слушать!

Тишина.

Через несколько минут враг собирается душить нас газом. Понятно? У пятнадцати человек из отряда Голубева, бывших в плену, противогазов нет. Нам отсиживаться и ждать, пока из них смастерят покойников, не к лицу.

ГОЛОСА. { Правильно!
На воздух!
Верно!
Прорваться надо, чего тут сидеть!

ЕРОХИН. Драться, товарищ майор! Погибать, так лучше в бою, чем в лужке.

КОЖИН. В три часа наши подрывники закончат свои операции и пойдут сюда, к штабу. Наша задача — ждать их до последней минуты, а потом прорваться им навстречу. Понятно?

ЛЕМКЕ. Прорвемся, наверняка!

ГОЛУБЕВ. Порознь надо держаться. Пробиваться к лесу.

КОЖИН. Должны быть три взрыва. После третьего, по моей команде — выходи. За мной идет первое звено с ручными гранатами. Капитан Голубев!

ГОЛУБЕВ. Слушаю, товарищ майор.

КОЖИН. Ты следуешь за мной с пулеметчиками.

ГОЛУБЕВ. Есть!

ГОРОХОВ. Дайте мне винтовку, руки-то у меня целы.

ВАЛЯ. Мы с Глуховым возьмем Мишу.

КОЖИН. Кто погибнет — слава. Кто домой вернется — бригаде скажи, и Иосифу Виссарионовичу пусть передадут — в тылу врага десант большевиков дрался хорошо, дрался, пока мог. Ну, Валька! *(Обнимает и целует Вальку.)* Лемке! *(Жмет ему руку.)* Прощай!

ЛЕМКЕ. До свидания. Мы скоро встретимся.

КОЖИН. Не знаю, скоро ли. Война только началась. Но, между прочим, встретимся. Это будет, Лемке.

ЛЕМКЕ. Это будет, Кожин. Вы передайте там у себя. Бывают войны, в которых своя армия находится по другую сторону границы. И еще передайте, когда освобождают сидящих в тюрьме, заключенные изнутри помогают ломать двери.

ГОЛУБЕВ. Будет передано.

КОЖИН *(смотрит на часы)*. Так. Еще одно нам осталось. Последнее. Капитан Голубев!

ГОЛУБЕВ. Слушаю, товарищ майор.

КОЖИН. Пора.

Голубев прикладывает руку к козырьку и выходит с Валею и Бобровым.

Смирно!

Вооруженные десантники становятся в две шеренги у стены. Кожин поднимается на возвышение. Лемке тоже стал смирно. Голубев входит. За ним Валя и Бобров несут закрытое с головой флагом тело. Кожин снимает шлем. Все следуют его примеру. Голубев, Валя и Бобров опускают свою ношу. Тишина. Кожин смотрит на лежащую фигуру, на стоящих бойцов и начинает говорить очень просто, как бы беседуя

Зоря!

Пауза.

Многое может сделать человек, если захочет. Одного не может — отдать свое сердце. А если б мог, я б вырвал его, ты б жил и написал музыку, про нас, нашу жизнь и нашу смерть. Пришел ты к нам, как ничей сын, но у нас нет никаких детей. На родине — твои отцы и матери, вот стоят с непокрытой головой твои старшие братья. Мечтал я, — не было у меня детства, — чтоб счастливо ты рос, чтоб отдал свой талант нашей стране. Ты отдал ей жизнь. Люди, за счастье ваших детей погиб мальчик Захар Байков, по прозвищу Зоря.

Пауза.

Зорька, минуты бегут. Нам пора. Враг не ждет. Прости, мы оставляем тебя.

Получается, как в стихах, что ты читал.
Как сейчас помню:

Прости же, товарищ! Здесь нет ничего
На память могилы кровавой;
И мы оставляем тебя одного
С твоею бессмертною славой.

Только, между прочим, неверно это. Не на чужой мы земле, — наша эта земля. Грузчиков, плотников, слесарей. И они завоюют свою землю. А тогда на этом месте, если будет жив Кожин, он поставит гранитный камень и напишет: «Люди...

За сценой гул взрыва, продолжающийся несколько секунд.

ГОЛУБЕВ (*выступает на шаг вперед и рапортует Кожину*). По твоему приказанию центральная станция заградительной зоны выведена из строя.

КОЖИН. ...за счастье ваших детей...

Взрыв с другой стороны. Все стоят неподвижно.

ГОЛУБЕВ. По твоему приказанию снарядные склады противника, номера пять и шесть, выведены из строя.

КОЖИН. ...погиб...

Третий взрыв.

ГОЛУБЕВ. По твоему приказанию железнодорожный мост центральной магистралю выведен из строя.

КОЖИН. ...мальчик Захар Байков, по прозвищу Зоря.

Пауза. В страшном волнении, показывая рукой на карту, Валя нарушает наступившую тишину.

ВАЛЯ. Петя... Майор Кожин! Володя!

КОЖИН. Что?

ВАЛЯ. Карта, карта... Наши наступают. Смотрите!

Карта оживает. Одна за другой вспыхивают красные линии, идущие разными направлениями с востока на запад. На экране загораются цифры: ТБ 300, ТБ 500, ЛБ 300, ЛБ 500, ИС 300. Одновременно загораются зеленые лампы на другом экране: ДД 300, ДД 200, ДД 300.

ГОЛОСА.	{	Штурмовики.
		Двести.
		Истребители.
		Триста.
		Танки.
	}	Пятьсот.

ЛЕМКЕ. По воздуху и по земле!

ГОЛУБЕВ. Зону пролетели, зону! Нет больше зоны!

КОЖИН. Внимание, бойцы! Старый капрал идет нам на выручку. С трех сторон ударим. Ну, кто в ловушке, чортово семя?! Мы наступаем, наступает большой день!

Стихотворения

Г. САННИКОВ

ДЕЛЕГАТКА

Глава из поэмы о текстильпроизводстве

(По документам пятилетки)

Вот она, первая, рядом с вождем.
Кремлевский зал заседаний.
И долго по залу грохочет дождем
Восторженный рокот рукоплесканий.

Бодрая буря, и в буре она,
Еще небывалый образ героя,
Рядом с вождем стоит, смущена,
Знатная девушка нашего строя.

Знатная... Кто-то назвал
Имя ткачихи из Вичуги тихой.
И снова вскипает и плещется зал,
И в честь делегатки-ткачихи,

Из бури приветствий, волной, в унисон
Рождается песня труда и здоровья.
В ней пафос победы,
В ней ветер знамен
И громкая встреча вождя и героя.

И вспыхивают, шипя,
Юпитеры Главкинпрома.
Лучи, как фанфары...

И в зале опять

Припадок дождя, гудение грома
И возгласов яркая брызнь:
«Да здравствует Сталин!
Да здравствует жизнь!»

Так открывалось стахановское собрание
тяжелой и легкой промышленности
и железнодорожного транспорта.

На трибуну Кремля всесоюзную,
Вослед за любимым наркомом

В свете юпитеров, всем знакомые,
Подымались забойщики грузно.

Молодые, крутые, плечистые
Товарищи Алексея Стаханова
И железных дорог машинисты,
И текстильщицы из Иванова.

И одною из первых в прениях
От стахановцев Вичуги тихой
Выступала под гул одобрений
Знаменитая наша ткачиха.

Слово к слову, простей простого.
И, как в цехе своем фабричном,
Точно ситцевая основа,
Потекла ее речь отлично.

О маршруте и механизмах,
О стахановской технике дела...
Вся страна социализма
На нее в этот час глядела.

И наутро газетные полосы,
Вперемежку со сводками, сметами,
Говорили ее голосом,
Улыбались ее портретами.

И черты ее детски-милые,
Через полосы эти бумажные,
Ее имя, ее фамилия
Отмечались в сознании каждого. —

— Ткем нашей жизни ткани
Солнечного покроя.
Все мы героями встанем
В основу грядущего строя.

1936 г.

И всех нас, героев строительства,
Ткачей без числа и счета,
История социализма
Занесет на скрижали почета!

ВО ИМЯ РОДИНЫ

И судьи слушали, и слушал зал,
И, содрогаясь, весь народ читал
Историю ужасных преступлений
Троцкистской банды,
вставшей пред судом,
Задумавшей в сообществе с врагом
Свою страну поставить на колени...

И судьи слушали, и слушал зал,
И по стране народ негодовал.

Изменники, предатели, громилы!
Вы родину великую губили.
Вы покушались на ее восход
И в бешенстве бросались на народ,

На жизнь вождей,
На крепость пятилеток.
Злодейству вашему предела нет.
Вы сами, вы,
как на отвратный слепок,

30 января 1937 г.

Глядели в ужасе на свой портрет,
На свой кровавый список
злодеяний.

Во имя родины, ее сиянья,
Во имя мира, счастья и труда
Народ по улицам разливом гнева,
Огнем знамен и бодростью напева
Приветствовал решение суда;

Клеймил плакатами всю вашу банду,
Грозил тому — фашисту-диверсанту,
Носителю войны и властолюбцу,
Которому, как вам, придет черед, —
Врагов карающий меч Революции,
Где б ни был он, везде его найдет —

Под сенью ли фашистского разбоя,
В кругу ль международных прихлебал...

Так приговор народ в Москве
встречал
И шел по улицам военным строем.

Голубая река

ХАДЖИ-МУРАТ МУГУЕВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Тысяча девятьсот тридцать третий год. Красная армия уходила. Ее передовые части уже покинули Шинань. Артиллерия и обозы переправились через длинный, извилистый хребет Лань-Тян, и только арьергардные отряды еще оставались в городе.

Не сегодня, завтра весь Шинаньский район провинции Хубэй должен был перейти в руки врага. Многочисленные дивизии Чан Кай-ши, под руководством германских инструкторов, возглавлявшихся старым, опытным генералом, участником мировой войны, Гансом фон-Сектом, наступали из Дунши. Семь пехотных дивизий генерала Чжо Шао-шена двигались с севера, перерезая путь красной армии. Двадцать дивизий, объединенных в «армию наступления», форсированным маршем шли от Ханькоу, выходя во фланг красным войскам. Сто пятнадцать самолетов, десятка четыре бронемашин, дюжина танков и самые современные орудия смерти были брошены Чан Кай-ши в этом походе на красных.

Красная армия советской провинции Хубэй ловким маневром обошла дивизии Чжо Шао-шена и, оставив по ущельям небольшие заслоны, направлялась на соединение с главными силами, отделенными от нее цепью огромных гор.

... Вечер приближался. Солнце уходило на покой. От реки несло свежестью и шумом. Красноармейцы шли молча, изредка перебрасываясь односложными словами. Обстановка требовала скорей-

шего отхода частей за Ланьтянский хребет. К перевалу, с южной стороны, форсированным маршем приближались отборные отряды Чан Кай-ши, во главе с «дивизией смерти», составленной из юнкеров, буржуазных молодчиков, сыновей джентри и шенши. Каменный мешок — ущелье Фуншаня — мог стать местом гибели усталых, обносившихся красных бойцов. Надо было сегодня же пройти ущелье и занять перевал, предотвратив вражеский удар во фланг.

Год назад в районе Шинаня была провозглашена советская власть. То, что сделали новые люди, победители генералов, очень удивило крестьян. Деньги крестьян и ремесленников, собранные по грошам, красные возвратили обратно. Они роздали городской нищете запасы риса, захваченные у бежавших белых. Они отдали трудящимся в собственность всю землю вместе с посевами, аннулировав вековые долги бедноты помещикам-землевладельцам. И сейчас, когда 400-тысячная армия Чан Кай-ши наступала на советские районы Хубэя, почти все крестьяне решили уходить вместе с частями красных.

— Мы только при вас узнали человеческую жизнь и теперь не желаем возвращаться к подобию свиней, — заявили начальнику политотдела Ха-Мину представители крестьян.

Лишь после того, как Ха-Мин убедил их, что уход красных частей временный и что крестьяне, оставшись на местах, принесут гораздо больше пользы красной армии, они согласились остаться, дав клятву всеми силами по-

могать красной армии и агитировать среди белых солдат за советскую власть. Все же не менее 3.000 молодых крестьян ушли с обозами армии. Они заменяли убитых, помогали ухаживать за ранеными и готовили пищу сражавшимся.

Около 800 женщин, не пожелавших оставаться на территории врага, также шли с ними.

Полк, почти сплошь составленный из шахтеров Фушунских копей и грузчиков Ханькоу и Шанхая, отходил последним. Это был один из лучших полков красной армии. Среди старых бойцов, посевших в боях за революцию и советскую власть, можно было встретить и рудокопа, и кантонского кули, и ученого студента. Под соломенной, выцветшей шляпой красноармейца можно было увидеть суровое лицо бывшего воспитанника военной школы Вампу, ушедшего в красные повстанческие отряды.

Неувядаемая слава шла впереди полка. Десятки выигранных сражений, сотни взятых с бою орудий, пулеметов и знамен значились в его активе. Храбрейшие бойцы заполняли его шеренги. Но лучшим и храбрейшим во всем полку бойцом считался его командир — Ли Гуй-юань, бывший воспитанник японской военной академии и майор нанкинских войск, года три назад перешедший на сторону красных. Человек лет сорока, невысокий, подтянутый, всегда спокойный, суровый к себе, беспощадный к трусам и дезертирам, он быстро завоевал любовь красноармейцев своим бесстрашием и непоказным презрением к смерти. Даже и тогда, когда после первых боев за Шинань наступил недолгий мирный период, командир Ли Гуй-юань остался верен своим военным привычкам. Он ежедневно выводил полк на поле и учил бойцов рытью окопов, штыковому бою, партизанским методам войны, гранато- и бомбометанию или разведочному делу. Отличный оратор, умный и трезвый руководитель, он выступал перед бойцами только как военный специалист, командир части. Когда Ли Гуй-юаню указывали на это на партийных собра-

ниях или на заседаниях политического совета, он спокойно улыбался и отвечал:

— Не могу, не умею, товарищи, выступать с политическими речами, да еще перед крестьянской массой. Со временем я научусь этому. Пока я умею говорить только с солдатами.

Действительно, Ли Гуй-юань был, что называется, коренной военный. Сын офицера кантонских войск, он поступил в японский кадетский корпус в Йокогаме, по окончании которого в чине лейтенанта вернулся в Китай. Прослужив полтора года в армии генерала У Пейфу, он был вызван в Пекин и как один из наиболее выдающихся офицеров китайской армии послан в 1915 году в качестве военного наблюдателя во Францию. Там он проделал в армии генерала Нивеля всю кампанию с отходами и наступлениями на Ипре, а затем участвовал в верденской операции, защищал форты Во и Дуомон. После окончания мировой войны Ли Гуй-юань, награжденный большим крестом Почетного легиона, возвратился в Китай и через год был снова направлен в Японию, слушателем императорской военной академии в Токио. Из академии, по замыслу руководителей японского генерального штаба, он должен был выйти японофилом, убежденным сторонником поглощения Китая Японией. Но тут, как гласили донесения тайных агентов, майор Ли Гуй-юань свихнулся, совершенно неожиданно для японцев оставил академию в 1922 году.

Через год имя Ли Гуй-юаня еще раз промелькнуло в сводках японского штаба. Он был замечен японской агентурой на речном пароходе «Цзинь-рень», недалеко от Кантона. А при взятии Шанхая бойцами кантонской армии батальон волонтеров, предводительствуемый Ли Гуй-юанем, под градом снарядов и пуль ночью атаковал шанхайский вокзал, взорвал электростанцию и водокачку и с пением революционных песен ворвался в город. Волонтеры захватили арсенал и забросали гранатами штаб маршала Сун Чуан-фана. Увлеченные храбростью волонтеров, части кантонских войск самовольно поднялись из окопов и бро-

сились в штыки. Вся линия укреплений, вынесенных северянами на десяток верст вперед, была захвачена стремительной атакой кантонцев.

Но талантливый военный специалист, многообещающий офицер Ли Гуй-юань, перед которым открывалось блестящее будущее, тотчас же после переворота Чан Кай-ши ушел в отставку. Сам диктатор, отлично знавший маленького майора, послал сказать ему, что «китайский народ, гоминдан и будущее страны нуждаются в таких людях, как генерал Ли Гуй-юань». Но майор с холодной вежливостью отклонил и это приглашение и неожиданное повышение в чинах. А еще через несколько лет одна из лучших бригад Чан Кай-ши, посланная для ликвидации красных в район Ханькоу, была начисто уничтожена коммунистическим полком, которым командовал Ли Гуй-юань.

... Полк проходил ущелье. Подойдя к мосту, наведенному через горную речку Мень-Хэ, командир приказал выдвинуть сторожевое охранение и поставить пулеметы. По темной, узкой железной полосе моста шли бойцы — последние роты красноармейского полка.

— Красный Хубэй будет снова советским Хубэем! Мы еще придем сюда! — уходя из Шинани, заявил народу командир корпуса Ма Ту-инь. Эти же слова были написаны на воротах, на стенах и на высившейся близ города огромной белой скале.

Под тяжелыми шагами скрипели железные балки и деревянный настил моста. Внизу редела река.

Наконец, гул шагов затих. Прошли запоздавшие, которых на мосту осмотрел патруль. Маленький фонарик командира бросил в их лица узкий сног огня.

— Мы еще вернемся сюда, — глядя ваясь в темноту, прошептал командир.

Затем он внимательно прислушался, повернулся и, сопровождаемый ординарцами, быстро перешел мост.

Было тихо. Но вдруг ночь озарилась пламенем взрыва, и железные балки, настил и перила моста тяжело осели, провалились вниз...



Утро встало над горами. Серый туман полз по ущельям, цепляясь за выступы скал. С Ланьтянского перевала спускалась длинная темная лента отступавших. На горах курились сизые дымки. Это грели себе пищу оставленные на перевале полки, прикрывавшие отступление корпуса Ма Ту-иня.

Штаб корпуса отступал вместе со всеми. Сам командир, старый, худой, высокий человек, был опытным революционером-профессионалом. В прошлом студент, искавший правду жизни в мудреных изречениях Лао-Тсе да в туманных заповедях Конфуция, он очень быстро понял, что будущее Китая — не в этих пыльных архаических свитках, учивших народ безропотно повиноваться властям. Он бросил академию, ушел в народные учителя и, увлекшись учением Толстого, проповедовал его нищим мужикам. Крестьяне слушали Ма Ту-иня, но сейчас же начинали говорить о своем — о тяжести арендной платы за землю, о голоде и болезнях, о поборах и произволе помещиков и властей.

Затем Ма Ту-инь был рабочим в Чаньша, копал землю в иностранном сеттльменте Шанхая, грузил рис в Кантонском порту. В 1916 году, в разгар мировой бойни, он был впервые арестован полицией за «принадлежность к партии большевиков и злонамеренную пропаганду среди китайских кули».

Просидев пять месяцев в грязных клоповниках, избитый, но не сломленный, он был выслан из Кантона.

Не прошло и полугода, как пекинская полиция арестовала Ма Ту-иня, агитировавшего против богатых и против самого маршала Чжан Цзун-чана, властителя провинции Аньхой. Только оплошность тюремщиков помогла арестованному, уже осужденному на публичную казнь, бежать из тюрьмы и этим спасти свою голову.

Прошло 17 лет, и член ЦК китайской коммунистической партии, член политического совета армии и командующий 6-м корпусом товарищ Ма Ту-инь вел своих бойцов через перевал Лань-Тян.

Оторвавшись от преследовавших его

нанкинских войск, корпус Ма Ту-иня достиг реки Сун-Хэ и, перейдя ее, вступил в небольшой провинциальный городок Да-Минь-Ху, из которого еще три дня назад бежали уездный дубань, чиновники и богатеи.

Да-Минь-Ху с его лабиринтом запутанных улочек, на которых от зари до зари работали ремесленники — медники, кузнецы, чеботари, плотники и резчики, — с самого утра готовился к встрече красных войск. Население толпилось на улицах. Делегация от окрестных деревень — представители рабочих и мелких ремесленников — встретила корпус у самого города. Женщины размахивали красными лоскутами. На глиняных городских стенах полыхали красные флаги. На самом большом из них, свисавшем над раскрытыми настежь главными воротами города, зеленым шелком было вышито: «Ленин».

Отряд городской бедноты охранял порядок до вступления советских войск. В отряде было много молодежи, вооруженной самодельными пиками, железными палицами и отточенными ножами. Два охотничьих ружья и старинная, заряжавшаяся с дула фузея представляли все огнестрельное оружие этих бойцов. Однако отряду удалось разоружить полицейских, а рота дубаня сама охотно сдалась в плен. Трофеи — два автоматических ружья, тридцать шесть английских винтовок и один японский пулемет — были торжественно преподнесены красной армии, вошедшей в Да-Минь-Ху.

Крестьяне с волнением смотрели на проходившие мимо войска. Это была настоящая армия, одетая в единую красноармейскую форму из синей материи. Красная звезда ярко адела на фуражке у каждого бойца. Песню, которую пели входившие в город части, крестьяне не слышали никогда. Но слова ее:

Мы идем по полям и горам Китая,
Чтоб бороться за революцию,
Чтоб смести с лица земли гоминдан
И уничтожить власть дворян и
помещиков —

Угнетателей и палачей бедноты.

Всю землю крестьянам! Всю землю
бедноте! —

это были заветные слова, выражавшие чаяния целых поколений бедняков. И, размахивая красными лоскутами и большими соломенными шляпами, крестьяне кричали:

— Десять тысяч лет красной армии!

— Десять тысяч лет и больше!

Штаб Ма Ту-иня расположился в помещении уездного ямыня. Доставленные разведкой сведения были благоприятны. Во всем уезде не осталось белых войск; при первых же слухах о приближении красных они бежали в Дунши. Дороги на Сычуань были свободны на сто ли вперед. Запасы риса и скот, брошенные помещиками, застряли в амбарах и на сельских складах.

Собрание представителей крестьян, ремесленников и горожан, созданное политотделом корпуса, происходило в родовом храме помещиков Му, владевших половиною всех земель района Да-Минь-Ху и ныне убежавших в горы.

Посреди храма стоял длинный, обтянутый красным сукном стол, над которым висела зажженная керосиновая лампа. Над входом красовалась начертанная золотой тушью надпись: «Добро пожаловать». На стенах были развешаны красные флаги, расклеены лозунги и плакаты:

«Вся политическая власть — трудящимся!».

«Земля — крестьянам!»

«Долой гоминдан и японских империалистов! Да здравствует союз рабочих, красной армии и крестьян!».

«Да здравствует Советский Китай!».

Большие портреты Маркса, Ленина и Сталина украшали храм. По стенам висели портреты вождей китайской красной армии — Чжу-Де, Ма Тзе-дуня и ряд табличек с именами руководителей советских районов. Художники, писавшие Ленина и Сталина, придали портретам, особенно глазам на портретах, явно китайские черты. Крестьяне с почтительным любопытством спрашивали:

— А это кто?

И, получив ответ, кланялись и говорили:

— Большие, великие люди... Сто тысяч лет благополучной жизни!

И, снова взглядевшись в портреты, удовлетворенно добавляли:

— В них, несомненно, есть китайская кровь!

Делегаты сидели вдоль стен на циновках, на полу, на выступах колонн и возле алтаря, где богачи Му жгли свои курительные палочки и молитвенные бумажки, вознося просьбы и благодарения духам-покровителям. Шум, смех, покашливание заполняли храм. Делегаты ели засахаренные яблоки, пыльные, тягучие сласти, апельсины, грызли арбузные семечки и пили чай, вытирая потные лица горячими, смоченными в крутом кипятке, полотенцами. Повсюду сновали подавальщицы с фруктами, семечками и чашками чая на больших лакированных подносах.

Шагая через ноги сидевших на полу людей, прошла комиссар корпуса Чен Чин-чю — молодая стриженная женщина, коммунистка, делавшая вместе с бойцами корпуса уже пятый поход. Шум стих. Подавальщицы убрали остатки еды.

— Товарищи делегаты, бойцы, рабочие и крестьяне! — сказал Чен Чин-чю, поднимая руку над головой. — Мы должны создать здесь, в городе и уезде Да-Минь-Ху, новый советский район. Нам необходимо, опираясь на вас, на трудовое крестьянство, немедленно же приступить к очистке района от врагов народа, поднять массы на борьбу против гоминдана, произвести раздел земли и риса между трудящимися, аннулировать кабальные договоры крестьян-арендаторов с помещиками, прекратить оплату долгов и налогов, объединить вокруг красной армии и коммунистической партии все активные организации беднейших крестьян, как, например, «Дадахуэй», «Красные пики», «Стянутые животы», вербовать добровольцев в красную армию, произвести выборы в советы, конфисковать помещичьи земли в пользу крестьян, вернуть свободу девушкам-рабням, уни-

чтожить мей-чай¹⁾, уравнивать женщин и мужчин во всех правах. Помните, что вы, делегаты бедноты, вернувшись в деревни, будете там организовывать советскую власть, а красная армия будет охранять вашу землю, работу и покой...

Гул одобрения пробежал по храму:

— Сто тысяч лет советской власти!

— Сто тысяч лет красной армии!

— Нунмин вансуэй²⁾!

Кто-то запел «Интернационал». Чен Чин-чю и красноармейцы подхватили слова рабочего гимна...

На следующий день был праздник уничтожения межи. С раннего утра на поля вышли крестьяне с лопатами, сохами и мотыгами. У некоторых были только заостренные палки и ножи. Прямо на поле состоялся митинг, на котором выступали агитаторы, призывавшие к уничтожению межей — символа помещичьей собственности на землю.

Затем, под звуки оркестра, взрывы петард и цветных ракет, под пение «Туди гэмин»³⁾, тысячи крестьян принялись уничтожать межи на полях.



Командир полка, несмотря на глубокую ночь и усталость, не спал. Перед его циновкой горел маленький ночничок, скупо озарявший бумаги, чашку с недопитым чаем и толстую книгу на немецком языке: «Генерал Людендорф. Воспоминания о войне». В стороне лежало несколько других немецких книг. Это были трофеи, взятые в обозе нанкинских войск несколько дней назад, когда полк Ли Гуй-юаня захватил почти все вещи немецких офицеров, военных советников Чан Кай-ши. Здесь были германский пехотный устав, инструкция для ведения горной войны полковника Шлоозе, «Западный фронт» Ганса фон-Куля и «Война упущенных возможностей» генерала Макса фон-Гофмана, которого бывший майор Ли Гуй-юань несколько раз встречал в Берлине в 1919 году. Он читал Людендорфа, комментировавшего как-раз те самые вер-

¹⁾ Институт купленных наложниц.

²⁾ Да здравствует крестьянство!

³⁾ «Аграрная революция».

денские бои, в которых принимал участие на стороне французов, тогда еще молодой офицер, Ли Гуй-юань. Картина залитых дымом и кровью верденских полей встала перед ним. Орудийный рев, растерзанные снарядами люди, взорванный Дуомон... Ли Гуй-юань отложил в сторону мемуары. Нет, старому фельдмаршалу, фактическому руководителю германской войны, не было известно истинное положение вещей. Любой германский солдат, любой французский «пуалю», прятавшийся в глубоких, вырванных тяжелыми снарядами, воронках, знал о «великом верденском сражении» больше, чем прославленный немецкий генерал.

Командир полка посмотрел на часы. Была полночь. Он зевнул, прикрутив ночничок, лег на цыновку и закрыл глаза. Лампа мигнула раз, другой и с легким треском погасла.

...Было еще совсем темно, когда его разбудил чей-то настойчивый шопот:

— Командир, проснись, проснись!

— Кто это? — вздрогнув, спросил Ли Гуй-юань и быстро нащупал рукою маузер.

— Это я, Сун, адъютант командира корпуса. Товарищ Ма Ту-инь требует тебя к себе...

При свете спички командир увидел корпусного адъютанта, однорукого Сун-Мина.

Проснувшийся ординарец зажег ночничок. Ли Гуй-юань быстро оделся, положил маузер в кобуру и вышел вслед за Сун-Мином.

В ямине, занимаемом штабом Ма Ту-иня, за столом, освещенным двумя огромными лампами, сидело 12 человек. Это были командиры бригад, вошедших в Да-Минь-Ху, начальник политотдела корпуса Вин-Инь, комиссар корпуса Чен Чин-чю, командир комсомольского полка Сян, трое коммунистов, начальники политотделов и какой-то человек с умным, серьезным лицом и быстрыми, пытливыми глазами. Он был одет, как крестьянин средней руки, в стеганой ватной кофте и таких же шароварах, с деревянными башмаками на ногах. Через большие круглые очки он внимательно посмотрел на Ли Гуй-юаня и

молча подвинулся, давая ему место возле себя.

У закрытого ставнями окна сидел сам командир корпуса Ма Ту-инь. Возле него лежали карта, пачка бумаги и несколько отточенных карандашей. Командир корпуса был одет так же скромно, как и остальные командиры, только на высоком воротнике его синей блузы алела красная нашивка, и вторая такая же нашивка виднелась на левом рукаве.

— Заседание политического совета при штабе корпуса считаю открытым, — сказал Ма Ту-инь. — Слово для доклада о делах армии Чжу-Де имеет товарищ Лю Фан-мин.

И он указал на человека в больших круглых очках.

— Товарищи, я только-что прибыл из корпуса Пен Де-Хуая. Красная армия и реввоенсовет, оперирующие в Шаньси, приветствуют вас!

Человек в очках посмотрел по сторонам и, щуря глаза, продолжал:

— Нашими частями взяты Нанду, Дуньян и Пинсян. Штаб 18-й дивизии вместе с генералом Му Ши-чэном захвачен в плен. 116 орудий, 42 пулемета, множество винтовок, боеприпасов и продовольствия попали к нам в руки в этих городах. Отбитым у белых оружием мы вооружили многие тысячи крестьян и рабочих. Красная армия Китая никогда не была так сильна, как теперь. Защита вами районов Шинани и Дунши дала нам возможность перестроиться и разгромить нанкинцев. Теперь вы отходите под натиском противника, чтобы опереться на армию Чжу-Де. Но, товарищи... — он сделал паузу, — армия Чжу-Де, оставив небольшие заслоны в ущельях Син-шань, форсированным маршем идет на Даян. Армия Хо-Луна уже перешла реку Цзюхе и со стороны Юань-аня спускается в долину Ян-Цзы. Наш корпус, под командою Пен Де-хуая, через несколько дней выйдет в район Ичана.

Лю Фан-мин встал и, показывая на карте названные им пункты, продолжал:

— 14 отрядов красной гвардии районов Ши-мынь, Ань-фу, Цзыли и Ли-чжоу, объединенных в пехотные дивизии,

уже прошли с юга Уфын. Они плохо вооружены. У них мало винтовок, почти нет пулеметов, их артиллерия — это деревянные пушки и старинные поршневые орудия, но мы знаем, что в руках этих бойцов за советскую власть ножи и косы страшнее, чем пулеметы и бомбы в руках наемных солдат гоминдана... Основная задача нашего одновременного движения заключается в том, чтобы заманить врага в самое опасное для него место — к городу Ичану, в ущелье. Здесь партия решила дать белым войскам решительный бой. Полки Пен Дехуа уже достигли Ичана. Бригады Дунь-Линя скопились в лесистых холмах Танхэ. Армия генерала Го Жудуна и его немецких советников обречена на разгром. Наши партийные организации, работающие в нанкинских войсках, сообщают, что при первом же столкновении полки этих дивизий перебеют своих офицеров и перейдут на нашу сторону... Обстановка благоприятна для нас. Но, товарищи... — тут Лю Фан-мин снова сделал паузу, — для того, чтобы поражение Чан Кай-ши превратить в разгром, нужно, чтобы железо-бетонный мост через Ян-Цзы, у Ичана, был взорван...

— Сколько человек нужно для этой операции? — спросил начальник политдела.

— Человек пять, — ответил за докладчика командир корпуса. — Но люди должны быть верные, испытанные.

— И знатоки подрывного дела, — коротко добавил Ли Гуй-юань.

— Я думаю, подошел бы товарищ Ван, секретарь газеты «Хунци»¹⁾. Это верный и бесстрашный человек, участник Кантонской коммуны, — сказал начальник политдела.

— Да, это подходящий человек, — заметил командир корпуса. — Но предупреждаю, что малейшее раздумье или неуверенность служат отводом.

Все молча наклонили головы.

Затем была предложена кандидатура Хо-Кэя, комсомольца, политрука 17 полка, дважды, по заданию партии, проби-

равшегося в Нанкин на подпольный съезд комсомола.

Ма Ту-инь улыбнулся, вспоминая детские, восторженные глаза юноши, и около имени Вана написал: «Хо-Кэй, пулеметчик».

Третьим был назван старый революционер, бывший шахтер А-Чао.

И Ма Ту-инь твердо написал рядом с первыми двумя именами: «А-Чао, командир роты».

— Четвертый — товарищ Фын-Ю, командир саперной команды. Это убежденный коммунист, — сказала комиссар корпуса Чен Чин-чю.

— Товарища Фына нельзя посылать на такое предприятие, — прервал ее Ли Гуй-юань. — Во-первых, он очень близорук. А затем товарищ Фын — уроженец Мукдена, южнокитайский язык знает плохо. Не пройдет и дня, как он будет задержан. Я против посылки этого товарища.

— Отвод правильный, — заявил Ма Ту-инь. — Давайте четвертого человека, и на этом закончим список.

— Прошу политический совет назначить меня в эту экспедицию, — сказал, вставая, Ли Гуй-юань.

— Кто выскажется по этому поводу? — спросил командир корпуса.

Все в один голос отвергли предложение Ли Гуй-юаня. Никто не хотел отпустить этого человека на такое рискованное, смертельно опасное предприятие.

Комкор взял слово последним.

— И я считаю кандидатуру уважаемого командира Ли Гуй-юаня неподходящей для этого дела, — сказал он. — Ни для кого не секрет, что главный штаб красной китайской армии очень высоко ценит знания и способности товарища Ли Гуй-юаня. Политическим и военным советом армии он выдвинут на должность начальника штаба нашего корпуса.

— Все-таки я категорически настаиваю на своем предложении. Я должен быть четвертым, — заявил Ли Гуй-юань. — Я специалист, окончивший во Франции, в пятнадцатом году, курсы подрывников при Сен-Сире. Мост охраняется в высшей степени бдительно. По-

¹⁾ «Красное знамя».

мимо проволочных заграждений, караулов и окопов, там имеется ночная сигнализация, световая и звуковая. Охрану моста ведут гвардейцы Го Жудуна под руководством немецких саперов. Товарищам, включенным в список, моста не взорвать. Помимо храбрости, здесь необходимы знания специалиста...

Командир корпуса молча заходил по комнате. Старые, разошедшиеся половицы скрипели у него под ногами.

Затем он резко остановился у стола и прибавил к списку:

«Ли Гуй-юань».



Молодой горнист и пулеметчик Хо-Кэй был сыном ткачихи из Чанша. Матери своей, рано овдовевшей и занятой на фабрике от зари и до ночи, он почти не знал. Вместе с другими мальчишками он бегал на пристань. Там он проводил целые дни, купался в реке и, ныряя, доставал зубами со дна медные монеты, которые бросал в воду какой-нибудь веселый матрос или купец.

Начало его шестнадцатой весны ознаменовалось двумя событиями. Внезапно умерла его мать, оставив сыну один доллар и 16 копперов денег, чашки четыре грубого, непросеянного риса и старый халат. Прекрасная ткачиха, которую даже хозяева хвалили за ее золотые руки, безработная Чан за 14 лет тяжелого труда не смогла приобрести ничего, кроме этого халата. В том же году, через месяц после смерти матери, молодой Хо-Кэй направился в Кантон, где, как он слышал, можно было устроиться матросом или рабочим на торговый пароход.

Но юноша в Кантон не попал. По пути, на расстоянии каких-нибудь 10—15 ли от Юн-Чжоу, он встретил трех таких же, как он сам, бедняков, шедших из этого городка. Присев у каменистой дороги, они разговорились. Стремление юноши итти на заработки в Кантон рассмешило его новых знакомых:

— В портах Кантона стоят пустые суда. Грузчики сотнями бегут из города.

Парни предложили Хо-Кэю риса.

— Ешь, ешь, — говорили они. — Бедняки всего мира должны помогать друг другу.

Поев, все четверо помыли руки в протекавшем мимо рисополивном потоке и ополоснули рты.

Затем парни, посоветовавшись в стороне, сказали Хо-Кэю:

— В Кантоне голод, война. Милитаристы дерутся между собою и всякого способного носить оружие мужчину забирают в свои войска. Пойдем с нами! И он пошел.

Его компаньонов, этих безработных, как они себя называли, кантонских кули, интересовало состояние дорог, количество расквартированных в Чанша войск генерала Хэ-Цзяня, число японских и американских канонерок, отношение солдат гарнизона к советской власти. И Хо-Кэй скоро понял, что это — разведчики красной армии.

Хо-Кэй удивлялся бесстрашию и откровенности их разговоров с крестьянами, попадавшимися в пути или работавшими на полях.

— В Советской России, — говорили они, — бедные объединились и прогнали богатых. Там нет голода, нет безработицы. Все сыты и все равны. Там земля принадлежит крестьянам, а заводы — рабочим. Беднота Китая должна последовать примеру Советской России.

В конце пути Хо-Кэй сказал шедшим рядом с ним людям:

— Я тоже бедняк. Располагайте мной, как хотите.

А через два месяца после встречи с разведчиками он вступил в комсомол. Из молчаливого, запуганного подростка Хо скоро превратился в жизнерадостного, смелого юношу. Он окончил корпусную совпартшколу и считался лучшим пулеметчиком корпуса.

Сын чаншйской ткачихи, он одним из первых с боем ворвался в свой родной город, когда в 1930 году железный корпус Пен Де-хуая, поддержанный городской беднотой, взял приступом Чанша. После отхода красных войск Хо оставался больше месяца в подполье, ведя агитационную и пропагандистскую

работу среди молодых солдат дивизий генералов Хо-Цзяня и Го Жу-дуна.

Никто, кроме командира Ли Гуй-юаня, не знал, кому поручено взорвать Ичанский мост. Все выделенные для совершения этой операции бойцы были вызваны в штаб корпуса одновременно.

Когда Хо-Кэй узнал в штабе о том, что выбор пал на него, он просиял и, делая под козырек, сказал Ма Ту-иню:

— Товарищ комкор, от имени нашей молодой комсомольской организации благодарю за высокую честь!

Секретарь газеты «Хунци» Ван был поэт и летописец. Он вел дневник героической кампании, проделанной его корпусом за последние полтора года в Хубэе и Цзянси. Целые ночи просиживал он при тусклом ночнике над длинными листами бумаги. Поэму о поднимаемом крестьянстве, о кули, взявшемся за винтовку, о женщине, вместе с бойцами дравшейся за советский Китай, он намеревался посвятить Ма Ту-иню или Чжу-Де, героическому полководцу красной армии. Но, узнав, какое дело ему поручено, Ван на первом листе своей неоконченной поэмы цветными чернилами написал: «Посвящается всем умершим за дело Революции». Затем он аккуратно сложил рукописи, бечевкой перевязал их и отнес в политотдел.

К вечеру его уже не было в Да-Минь-Ху.

Командир роты А-Чао, выслушав Ма Ту-иня, сказал коротко:

— Товарищ комкор! Постараюсь взорвать. Сделаю все, что могу.

Оба они были пожилые люди, с густой сединой на висках. Походы и бои, проведенные вместе, сблизили их, и командир корпуса мягким, дружеским взглядом смотрел теперь на бывшего шахтера.

А-Чао встал. Перед ним уже не было начальника. Целуя Ма Ту-иня в белый висок, он сказал:

— Прощай, старый друг Ма! А вот это прошу тебя отдать достойнейшему...

И он, бережно сняв со своей груди боевой орден, передал его командиру.

Ма Ту-инь в волнении кивнул головой.

Когда ушел Ли Гуй-юань, не знали даже в самом штабе, Только Ма Ту-инь, оставшийся один, долго разглядывал двухверстку, на которой были обозначены Ичан и берега Ян-Цзы. Четыре линии, начерченные на карте цветными карандашами комкора, сходились у кружка, обозначавшего железнодорожный мост.

... Корпус Ма Ту-иня остановился в Да-Минь-Ху и окапывался в окружавших городок горных высотах. Арьергард корпуса прочно занял перевал, к которому подходили части генерала Чжу Шао-шена. На левом фланге уже дважды завязывались недолгие, но упорные бои, — это разведка противника старалась нащупать слабое место для прорыва фронта. Ясно было, что дивизии нанкинцев, не дожидаясь подхода частей Чан Кай-ши, попытаются атаковать перевал.

Корпус Ма Ту-иня был невелик: всего четырнадцать тысяч человек. Военная техника и оснащение частей сильно хромали. Многого, порою даже самого необходимого — винтовок, боеприпасов, медикаментов, — нехватало. Всем этим, по мере сил, корпус снабжался у врага, громя его дивизии.

Перед Ма Ту-инем, как живые, вставали железные шеренги его корпуса: комсомольская дивизия, шахтерский полк, молодоговардейские батальоны, крестьянская повстанческая бригада, женский партизанский отряд. Это были сильные духом бойцы. С песнями шли нестройные отряды вчерашних рабочих и крестьян, которым советская власть указала дорогу в жизнь. Маршировали пехотные части. Тяжело катилась артиллерия. Вот впереди полка, который является лучшим в корпусе, салютуя саблей, идет храбрый командир полка Ли Гуй-юань.

«Где он может быть сейчас?» — возвращаясь к действительности, подумал комкор.

Он придвинул карту и нагнулся над ней. Вот эта оранжевая линия означала примерный путь командиру...

Трубка полевого телефона, лежавшая на столе, зашипела. С позиций доносили о том, что над перевалом появились

четыре бомбовоза нанкинцев. Один из них продолжал кружиться над горами, а три других полетели дальше, держа направление на Да-Минь-Ху.

Оповещенные сигналами горнистов, жители попрятались в окружающих городок лесистых холмах. Четырнадцать тяжелых пулеметов, трофеи, отбитые в свое время у белых, были расставлены на холмах и, замаскированные ветвями, ожидали налета аэропланов.



Перескакивая с камня на камень, по ущелью шел человек в крестьянском платье. Горная река бежала у его ног. Внезапно в воздухе загудели моторы самолетов. Сгибаясь и прячась между камней, человек стал пробираться наверх. Забравшись в кусты, он снял с плеч солдатский ранец, осторожно положил его возле себя и, закинув голову, стал смотреть на небо. Три бомбовоза с бело-голубыми гоминдановскими знаками на крыльях низко проплыли над ущельем.

«Через час они будут бомбить Да-Минь-Ху», — подумал человек, провожая самолеты суровым взглядом.

Где-то вдали куковала кукушка. Со всем близко трещал кузнечик в траве. Человек раскрыл карту. До Ичана оставалось не больше сорока ли. «Сторожевые посты нанкинцев, вероятно, недалеко. Говорят, что патрули белых поднимаются даже до этих мест. Надо быть осторожным...».

Человек вынул из кармана пакет, достал рисовую лепешку и кусок вареного мяса и принялся за еду. Затем он осторожно сполз к реке. Помыв лицо и напившись воды, он хотел было подняться наверх, как вдруг снова услышал далекий гул моторов. Человек удивленно поднял голову:

«Что это? Ведь в Да-Минь-Ху самолеты долететь так скоро не могли. Что же заставило их вернуться?»

Из-за деревьев показались только два самолета.

Человек радостно вскочил на ноги:

— Третий не вернулся!

Но тут чей-то громкий смех остано-

вил его. Человек взглянул туда, где остались его мешок и карта. Пять гоминдановских солдат, держа ружья наизготовку, смотрели на него, а молодой черноусый офицер крикнул сверху:

— Не шевелись, ублюдок черепахи!

Из-за кустов поднялись еще три солдата в защитных мундирах и фуражках с бело-голубыми гоминдановскими кокардами. Они скрутили человеку руки и погнали его наверх, где стоял офицер.



В чайной было дымно и весело. Там собрались несколько крестьян, разносчик продуктов, чистильщик ушей с набором крохотных щеток, старик-нищий и молодая, разговорчивый продавец каштанов. У стойки, заставленной чашками, сидел с довольным видом хозяин. Ему нравился и разговорчивый паренек, и то, что смешные истории, которые он рассказывал, веселили обычно угрюмых крестьян, заходивших в придорожную чайную, где за три тунзера можно было съесть пару сладких картофелин и выпить чашку-другую чая.

Крестьяне были в заплатанных штанах, в просторных нанковых блузах, с соломенными сандалиями на ногах. Островежные шляпы их были откинута на затылок. По благодушным, распаренным чаепитием лицам блуждала довольная улыбка. Возле каждого стояли чашки с дымящимся чаем и лежали кучки тыквенных и арбузных семечек, шелуха от которых сплевывалась на глиняный пол.

Это были бедняки из сел, окружавших Ичан, куда они носили на базар продукты своего труда — лук, рис, сладкую репу, каштаны и рыбу, хорошо ливившуюся в разливах рисовых полей и протоках, отведенных от Ян-Цзы.

Разговор шел о мнимой учености бонз, о бездельниках-можахах.

— Слышали вы или нет, — рассказывал разносчик каштанов, — об известном Ван-Чу, главном бонзе городского храма Дао¹⁾ в Наньчане? Он на весь

¹⁾ Дао — сверхбожество, по имени которого создан орден монахов-даосов.

уезд славится своей святостью. Однажды ночью, когда Ван-Чу в обществе двух красивых конкубинок начальника уездной полиции попивал английскую водку и кантонское вино, женщины из-за чего-то повздорили со святошей и так его отделали, что тот ползал по дому на четвереньках и закаялся встречаться с конкубинками...

Крестьяне удовлетворенно рассмеялись.

— Прошло двое суток, — продолжал между тем разносчик, — и нужно было бонзе выступать перед верующими с проповедью. Долго думал святой, о чем ему говорить народу. О необходимости подчинения гоминдановским властям он уже не раз говорил, да все равно без толку. О любви бедных и богатых тоже не удается договорить до конца. Бонза был в затруднении. Но в эту минуту заболели у него битые бока. Есть! Нашел, о чем говорить. О семье, о браке. И на следующий день у храма перед наполненным мужчинами двором бонза произнес свою речь. Говорил долго и закончил: «Всех, кто не доволен своими женами, прошу встать. Я хочу знать, как протекает семейная жизнь у верующих моего храма...». Весь двор — буквально все сидевшие на земле мужчины вдруг встали. Остался сидеть только один человек — начальник полиции, тот самый, с конкубинками которого бонза тайно кутил две ночи назад. Святой ужаснулся: полный двор недовольных своей семейной жизнью стоял перед ним. «Плохо! Ой, плохо это! — завопил бонза. — Вот потому-то красные советские безбожники и взяли такую силу, что рушилась у нас в Китае семья. Но, к счастью, не все еще потеряно. Есть еще один человек, который доволен своим семейным счастьем и домашняя жизнь которого течет, как в раю. Это, — тут бонза указал на продолжавшего сидеть начальника полиции, — наш уважаемый, досточтимый хозяин города Лай Ту-мын. Расскажите нам, о высокомудрый Лай Ту-мын, как добилась вы счастья и мира в своей семье?» Начальник полиции горестно вздохнул и ответил: «Увы, я не потому сижу, что мне весело живет дома,

а потому, что мои жены и конкубинки вчера, передравшись между собою, сломали мне ногу».

Общий хохот раздался в чайной.

— Веселый ты парень, с тобой не пропадешь! Откуда ты? — спросил хозяин.

— Издалека. Из уезда Дуньян, что граничит с советскими районами Хунаня.

— Что у вас там? Какие новости? — поинтересовался хозяин.

— Слухов много. Говорят, будто все налоги, которые были отменены при красной власти, нанкинские войска заставляют теперь платить за целый год помещикам...

— Как за весь год? Мы этого не знаем, — сказал ближайший крестьянин, отодвигая чашку.

— Не может быть! Это было бы ужасно! Да и откуда мы возьмем столько денег? — заволновались остальные.

— А я думаю, что это правда, — заявил паренек.

И сейчас же посыпались вопросы:

— Значит, опять налог на очаг?

— И на соль?

— И на борьбу с коммунизмом?

— И на умилоствление духов?

— И на реставрацию храмов и родовых табличек?

— И на орошение полей?

— И на дверные надписи?

— А как же быть с землей, уже засеянной при красных?

Всех налогов, которые крестьяне должны были платить богачам, насчитывалось свыше сорока. Многие уже успели при советской власти забыть об этих налогах. И вдруг...

— Да ты верно ли слышал? — спросил паренка один из крестьян.

— В нашем уезде все говорят об этом. Уже вторая неделя, как идет плач по всему району. Только в нашей деревне крестьяне не плачут от такого горя, — лукаво улыбнулся паренек.

— Почему же они не плачут? — удивился хозяин чайной.

— Да ведь наша деревня граничит с советским районом. Нет у нас ни помещиков, ни джентри, — отвечал с напуск-

ным равнодушием паренек, сплевывая на пол шелуху.

— Вам хорошо! — вздохнул ближайший крестьянин. — Помещики и джентри не посмеют приблизиться к пограничному району. Но каково будет нам?...

— А ведь это похоже на правду, — вмешался хозяин чайной. — Я слышал, что у самых ворот, — и он указал при этом на видневшиеся вдали западные ворота Ичана, — с завтрашнего дня поставят сборщика.

— При советской власти этого не было, — робко заметил кто-то из крестьян.

— Конечно, не было, — ответил паренек. — Советы всегда стоят за крестьян.

— А ты почему здесь, а не с ними? — спросил чистильщик ушей.

Паренек засмеялся.

— Я человек торговый, война мне не по душе. У меня вот есть в корзинах каштаны, я их продам, а там, если будет плохо в Ичане, уеду в Шанхай.

И, расплатившись с хозяином, паренек вышел, бережно неся свои корзины.



Ичан — портовый город, раскинувшийся на левом берегу Ян-Цзы-Киянга. Благодаря Великой Голубой реке, или, как ее называют, Ян-Цзы, город Ичан имеет прочные деловые связи с Ханькоу, с Чанша и даже с далеким Кантоном.

... По спокойным водам Голубой реки проплывали десятки больших пароходов, пришедших издалека, чтобы увезти отсюда рис, чай, опиум и хлопок. Итальянские, французские, японские, английские и американские флаги развевались на кормах. На реке уже второй день стояла пришедшая из Ханькоу японская канонерка. Ее зеленовато-серые шестидюймовые орудия смотрели на Ичан. Сотни рыбацких лодок, неуклюжих джонков, парусных судов, плотов с шалашами на них, легких сампанов, на которых пылали очаги, дымилась кухня, пищали дети и сушилось развешанное белье, осторожно обходили японский корабль.

Городская площадь Ичана была центральным местом города. Отсюда начи-

нались две главные улицы, носившие по примеру Шанхая громкие названия: «Нанкин-род» и «3-е авеню». Здесь находились: телеграф, отделение Японо-Китайского банка, земельно-ссудные кассы, уездный суд и ямынь, конторы по оптовой торговле опиумом и хлопком. В конторах суетились купцы и клерки в белых воротничках, в черных роговых очках, — люди, делавшие прибыльные торговые дела. Опиум, дорогой экспортный чай, шелковые ткани, перец, фрукты, мускус, воск, растительные масла и особенно высоко ценящееся во всем Китае масло тьюн-ю обеспечивали городу благоприятные условия для торговли со всей страной. Цветные надписи на английском и китайском языках висели над входом в магазины. Зеркальные стекла отражали асфальт, по которому неслись автомобили военного командования занимавших город белых частей. Чистенькие клерки, европеизированные китайки, проститутки, служители отелей с цветными галунами и золочеными пуговицами, полицейские, одетые на манер английских бобби из сеттльментов Шанхая, толстые помещики, сбежавшиеся из уездов в Ичан, офицеры, затянутые в форму японо-американского образца и обвешанные оружием, студенты богословия, чиновники заполняли эти улицы. Иногда мелькала в толпе черная сутана католического миссионера-доминиканца или белая косынка монахини из братства св. Бенедикта. Здания миссий своей казенной архитектурой напоминали военный госпиталь или казармы кадетских корпусов. У железных, редко открывавшихся ворот, несмотря на мирный красный крест над входом, всегда стоял привратник, вооруженный маузером. Внутри были расположены больница, общежитие, столовая и колледж, где, порознь друг от друга, обучались наукам и богословию китайские девушки и юноши, перешедшие в католичество.

На центральной площади, в большом, украшенном колоннами доме, находился штаб командующего сводной армией генерала Го Жу-дуна. Раньше здесь помещалось отделение Англо-Китайского

банка, из-за гражданской войны перекочевавшее в Чанша. На крыше дома развевался белый с голубым солнцем посредине военный флаг гоминдана. У входа стоял караул из личной охраны генерала. Два пулемета смотрели на площадь из открытых окон первого этажа. Посреди площади разместился конный полицейский наряд. Во дворе были расположены рота личной охраны и дежурный броневик, а также взвод кавалерии из добровольческого эскадрона, составленного из сыновей знатных горожан, купцов и помещиков Ичана. На рукавах у всадников были вышиты серебром череп и две скрещенные кости с голубой надписью под ними: «Смерть красным». Эскадрон не посылался в бой; лишь изредка он совершал карательные экспедиции в районе города. Составлен он был по образцу личной охраны Чан Кай-ши, и генерал Го Жудун очень гордился этим.

Часть здания была отведена под жилье военных советников генерала — немецкого полковника фон-Габбе, майора Шеллера и капитанов генерального штаба Мюллера и барона фон-Шера. Фактическим начальником штаба армии Го Жудуна был старый, опытный в делах войны, немецкий генерал-майор фон-Вольф, участник мировой войны. Это была часть военной миссии, прибывшей в Китай с генералом фон-Сектом, главным советником и военным инструктором маршала Чан Кай-ши.

Сам Го Жудун, полный, розовощекий брюнет, жил во дворе дома, в особняке бывшего управляющего отделением банка. Несмотря на то, что генерал Го Жудун бывал в Европе, окончил академию в Нанкине, хорошо знал английский и немного немецкий языки, в частной своей жизни он оставался старомодным, дореформенным китайцем. В глубине души он презирал этих белокурых, с солдатской выправкой, советников, как презирал и весь стиль современной китайской жизни.

— Я китайский патриот, — любил говорить генерал, постукивая пухлой рукою по груди. — Старый Китай является для нас идеалом, старый император-

ский Китай, в котором не было этих проклятых заморских чертей-чужеземцев с их аэропланами, миссиями и канонерками. А главное, китайцы тогда не делились на красных и белых и не воевали между собою. Счастливое время, дни покоя и мира! Мы, китайцы, должны объединиться без различия классов и положений, чтобы выгнать империалистов из страны и покончить с неравноправными договорами. Императорский Китай и мудрые мандарины — вот, что нужно моей истстрадавшей стране...

Генерал скорбно покачивал головой, намеренно забывая о том, что разделение на красный и белый Китай существовало давно. Он не хотел вспоминать ни о восстании тайпингов, ни о крестьянских бунтах в Хенани и Шеньси, ни о непрекращавшейся в течение сорока с лишним лет гражданской войны в провинциях Гуаньси и Таньбу. Страшные мятежи Хуан-Сюцюаня, колебавшие трон императора в течение 18 лет, восстание «Красного тюбана» в Аньхое и «Белой лилии» в Юнани и Гуаньси — все это прошлое, дело истории. Его, генерала Го Жудуна, волновало настоящее. На севере Хунани уже два года были прочно созданы советские районы. С юга, из Гуй-Чжоу, двигались в направлении на Сычуань многотысячные отряды Чжу-Де и Хо-Луна. Наконец, совсем недалеко от него, на расстоянии трех боевых переходов, стояли красные войска — 6-й корпус Ма Ту-иня.

А перевал, который мешал генералу преследовать уходивших красных! А, наконец, внутреннее положение провинции или хотя бы самого Ичана! Ведь ежедневные сводки агентуры говорят о том, что в уездах попрежнему сильно влияние советов и что агитаторы красных будоражат крестьян. А рабочие города, а эти бесчисленные кули, умирающие от безработицы! Они молчат и ждут...

А тут еще идиотские обиды и требования помещиков, вернувшихся в освобожденные от красных районы. Чорт побери совсем этих негодяев! Им нужны только арендные деньги и по-

местья, на остальное им наплевать. Трусы! Они первые, словно зайцы, убегают при появлении красных и последние возвращаются назад... Дураки! Надо выждать, пока не закончится вся операция по очистке провинции от красных. Только тогда можно удовлетворить законные требования о налогах и возмещении убытков. Близорукие ослы!.. Да, раньше жилось несравненно лучше. Императорский Китай — вот, в чем спасение страны!

Но кто мог бы стать императором? Кто-нибудь из старой династии Минов? Нет, от нее Го Жу-дун был далек. Дайцинги, правившие недавно Китаем? Он никого не знал из членов этой экс-династии. Восстановление на троне кого-либо из них не улыбалось ему. Чины, провинции и богатство уплывали бы к другим, к тем, кто связан с этой фамилией...

Пу-И, нынешний манчжурский император? Го Жу-дун пожал плечами. Этот прецедент ничего не сулил ему: у него было достаточно своих, близких по Манчжурии, друзей.

Может быть, Чан Кай-ши? Япония не допустит этого. Для японцев выгоднее было бы посадить на китайский трон того же Пу-И или кого-нибудь из удобных генералов прояпонского толка.

Го Жу-дун вздохнул. У него не было влиятельных японских друзей. И не потому, что он не хотел их иметь, а лишь потому, что его армия все время находилась в стороне от главных центров политики — Шанхая и Нанкина. Здесь, в этой дыре, нет даже простого японского консула, чтобы обменяться с ним мнениями, поговорить по душам!

Германские советники! Что, в конце концов, полезного дали они? Конечно, это знающие военные специалисты. Но чем могли они помочь ему, генералу Го Жу-дуну, его личной карьере? Ничем! Германия далеко и после разгрома в мировой войне не играла в Китае никакой роли. Англия? Генерал опять покачал головой. Америка? Эта заокеанская республика значила еще меньше, чем Великобритания. Значением и ве-

сом всех этих стран ежедневно пренебрегала Япония. Манчжурия, Северный Китай, Шанхай, Монголия — все это на глазах у англичан и американцев бесцеремонно попиралось японским сапогом... Нет, Япония важнее всех!

Генерал позвонил и сказал вошедшему адъютанту:

— Пошлите немедленно от моего имени приглашение командиру японской канонерки «Таку», стоящей на Ян-Цзы. Просите лейтенанта Миказе пожаловать кс мне послезавтра на обед.

И многозначительно добавил:

— Вдвоем.

Выход был найден. Правда, лейтенант канонерки не представлял собою ничего значительного. Но во всяком случае это был настоящий японец, разговор с которым мог в дальнейшем очень пригодиться генералу.

К вечеру того же дня в штаб армии был доставлен переодетый крестьянином разведчик красных, при котором нашли карту Ичана и восемь килограммов динамита с бикфордовым шнуром и запальниками. Несмотря на тщательный допрос, арестованный молчал, и штаб 33-й дивизии, не добившись результатов, отослал его в Ичан.

Генерал фон-Вольф читал сделанный для него перевод донесения начальника 33-й дивизии. На столе, заваленном бумагами и картами, лежал серый солдатский ранец, около которого блестели цинковые коробки с динамитом.

Генерал осторожно приподнял одну из коробок.

— Какой разрушительной силы может быть этот снаряд?

Капитан фон-Шер, офицер инженерных войск, специалист-подрывник, попробовал на руке тяжесть динамита.

— Точно сказать затрудняюсь, — отвечал он. — Надо сделать анализ динамитной массы. Но думаю, что восьми килограммов вполне достаточно для того, чтобы взорвать весь штаб.

Фон-Вольф молча кивнул головой и снова стал читать донесение:

«...Несмотря на строгий допрос и некоторое давление, арестованный хранит молчание...»

— Как бы эти дураки не забили его насмерть, — не стесняясь присутствием Го Жу-дуна, заметил немецкий генерал.

Го Жу-дун вежливо улыбнулся:

— Я могу ответить на уважаемый вопрос вашего превосходительства. Арестованный коммунист вполне здоров и почти невредим. Он находится здесь, в комендатуре штаба, и вечером ему будет сделан настоящий допрос, после которого, я уверен, — командующий при этом снова приятно улыбнулся, — он расскажет все.

Фон-Вольф неопределенно пожал плечами:

— Вы думаете?... Я настроен несколько иначе. Коммунисты, которых достаточно и у нас в Германии, не выдают своих тайн.

Го Жу-дун ласково возразил:

— Не забывайте, ваше превосходительство, что здесь не Европа, а Китай. Мы, китайцы, еще долго будем держаться старины. Не позже десяти часов вечера мы уже будем знать, что хотел взорвать этот преступ...

Не успел он закончить фразу, как глухой, тяжелый удар потряс здание. Оконные стекла со звоном рассыпались по полу.

Генерал Го Жу-дун, бледный и трясушийся, повернулся к фон-Вольфу и растерянно пробормотал:

— Что это такое?

За окном беспорядочно трещали выстрелы.

В комнату вбежал запыхавшийся офицер:

— Покушение! Только-что взорван миной караул, охранявший западный выход особняка!.. Убито более пятнадцати солдат!..

Фон-Вольф, не понимая языка, ожидал перевода. Генерал Го Жу-дун облегченно вздохнул: больше всего он боялся внезапного налета красных, а тут взорвалась только мина, убито несколько солдат.

— Ничего особенного, покушались на меня, — храбро посмотрел он на Вольфа.

Старый немецкий вояка, выдавший на своем веку немало трусов и хвастунов, не мог удержаться от улыбки — так смешон и внезапен был у генерала Го Жу-дуна переход от панического страха к показной храбрости.

Невозмутимый капитан фон-Шер спокойно заметил:

— Хорошо, что я случайно вынул детонаторы из запальных патронов. От взрыва легко могла произойти детонация.

И добавил, глядя на командующего армией:

— Вот вам простой ответ, ваше превосходительство. Несомненно, и один, и другой коммунисты готовили покушение на вас.

Основное ядро гарнизона города состояло из хейлуунцинских, чахарских и мукденских полков. Это были рослые, широкоплечие здоровяки, грубые и неуклюжие, медлительные в движении северяне. Они держались своих привычек и ходили гурьбой, не отставая друг от друга. Их простодушное и наивное любопытство вызывало смех у бойких горожан Ичана. Но это были верные и надежные войска. Агитаторы красных, не зная северных наречий, не могли разложить их. Насмешки горожан, улюлюканье мальчишек, хмурые взгляды крестьян, с которых посылали взимать налоги именно их, солдат северных полков, сделали северян недоверчивыми ко всему, что исходило от «кантон ян-гуй-цза» (кантонских чертей), как называли они всех южан.

Генерал Го Жу-дун очень ценил манчжур, и гарнизоны городов, занимаемых его армией, всегда были составлены преимущественно из северян. Эти не подведут! Прежде, чем агитатор красных при помощи письмен и туши сможет нарисовать солдатам свои пропагандистские лозунги, он уже будет «за рядами истоков»¹⁾. Эти обозленные, угрюмые черти успеют оторвать ему голову.

¹⁾ Будет мертв.

...Западные ворота здания штаба охранял караул из 18 человек третьего батальона. Несмотря на то, что караул этот был из образцового полка, все люди вместе со своим начальником расположились в тени двора на каменных плитах и с увлечением играли в маджон. Капрал Хунг, азартный игрок и пьяница, выигрывал. Кости, выбрасываемые капралом, удивительно ловко падали на назначенные им числа.

Часовые примкнули к игре. Пост у западных ворот не считался важным — он охранял черный ход особняка, через который ходила в город прислуга генерала. Всего в ста метрах от площади начиналась китайская часть города с лабиринтом переулков, с тяжелым запахом туземной кухни, бобового масла, рыбы и гнилых продуктов. Чтобы не пропускать оттуда к центру нищету, в переулке стоял полицейский пост.

Капрал Хунг, вначале обыгравший солдат, стал вдруг проигрывать. Монеты переходили из рук в руки. В ворота заглядывали прохожие. Маджон — народная игра, и редкий китаец, имеющий деньги, может удержаться от соблазна поиграть в нее. Играть с солдатами, да еще северянами, было бы глупо. При любом повороте игры солдат мог остаться в выигрыше, отняв все деньги партнера и вдобавок избив его. Но все же несколько наиболее азартных и любопытных горожан, постояв у ворот, осмелели и окружили играющих.

Капрал Хунг сердито поднял голову. Проигрыш обозлил его, и он решил выместить свою злость на непрошенных зрителях. Рука его потянулась к бамбуку. Но в это мгновение взгляд Хунга упал на молодого разносчика каштанов, через плечо которого были перекинута на длинном коромысле две глубокие, прочно сплетенные корзины. Лицо разносчика выражало волнение и азарт. Капрал понял, что тут можно отыгаться наверняка.

Собирая в памяти отдельные слова, которые он знал на южном наречии, Хунг подмигнул юноше:

— Играть... хочешь?

К удивлению капрала, продавец каштанов ответил на довольно сносном пекинском наречии:

— Хочу, если позволит господин полковник.

Он вынул из кармана несколько копеек и один потертый серебряный доллар. Солдаты подвинулись, освобождая место глуповатому парню, решившемуся играть с военными в маджон на деньги.

Юноша нерешительно осмотрелся и, зажимая деньги в кулак, сказал:

— Шесть и восемь, с вашего позволения.

Затем он сел возле капрала и придвинул к себе корзины с каштанами.

— Откуда ты знаешь наше наречие? — спросил капрал.

— Моя мать и мой высокий отец были родом из Мукдена, — почтительно ответил разносчик.

Капрал удовлетворенно мотнул головой.

Игра продолжалась. Кости снова зашелкали, и монеты опять заходили по кругу.

Разносчик очень скоро проиграл и доллар, и медяки, но все же не казался огорченным.

«У этого птенца есть еще деньги» — решил капрал, благосклонно беря паренька под защиту.

Вопросы, которые задавал разносчик, были так нелепы, что солдаты, оставившие игру, покатывались со смеху.

— Правда ли, что существует пушка, которая бьет, как гром, и бросает за сто ли ядра в тысячу пикулей весом? И есть ли у вас такая? — широко раскрывая рот, спрашивал он.

Солдаты смеялись еще громче. Вместе с ними смеялся и паренек. Затем он набил глиняную трубку скверным сычуанским табаком и закурил. Его розовый кисет, обшитый синей каемкой, вызвал смехок и одобрение солдат, всегда с удовольствием куривших чужой табак.

— Дай-ка сюда, архат¹⁾, мы подыдем в твою честь, раз нет душистой

¹⁾ Архат — преувеличенно вежливое обращение, означающее: истинно-верующий.

бумаги, — сказал ближайший солдат, беря кисет с колен разносчика.

Несколько грязных солдатских рук потянулись к кисету, но капрал Хунг вырвал его и резко сказал:

— Встать! Довольно бездельничать. По местам...

Солдаты поднялись и неохотно разбрелись по двору. Часовые, вскинув за плечи винтовки, отошли к воротам.

Разносчик взялся за корзины, но капрал жестом остановил его. Хунгу уже начал надоедать этот глуповатый парень. Но что, если у него еще действительно были деньги?

Словно угадывая мысли капрала, юноша низко поклонился и сказал:

— Да не рассердится мой старший брат, господин полковник, на своего ничтожного, незаметного младшего брата за его низкую, необдуманную просьбу. Я очень хочу быть солдатом и служить под храбрым начальством вашей высокой руки. Не побрезгуйте, господин полковник, моим скромным, смиренным угощением. Немного виски или стакан-другой сладкой рисовой водки, если позволите, в ближайшем ресторане.

С этими словами он вынул из кармана грязную тряпицу, и перед глазами капрала блеснули два новеньких мексиканских доллара.

Два серебряных доллара! Это были большие, хорошие деньги. Их легко было отнять у этого дурака, особенно после трех-четырех стаканов водки.

Но уходить с поста... Капрал Хунг оглянулся. Часть солдат разбрелась по двору. Несколько человек, усевшись в тени под стеною, ели из глиняной миски кислый овощной суп. Другие, лежа на солнце, поочередно искали друг у друга в голове. Двое отделенных, сидя в углу, играли в ну-тянг. Они весело хохотали, когда число пальцев, выбрасываемых из сжатых кулаков, не совпадало с цифрой, которая при этом выкрикивалась. Увлеченные игрой, они даже не слышали, как их окрикнул Хунг. Наконец, один из игроков лениво поднялся и, почесываясь, подошел к капралу.

— Я скоро вернусь, останешься здесь вместо меня, — сказал капрал отделенному и, подтягивая пояс, пошел к воротам.

Разносчик каштанов, вскинув корзины на плечо, засеменял за ним, но Хунг остановился.

— Это оставь здесь, — сказал он, указывая на корзины. — Иначе тебя не пустят в ресторан... Да и не думаешь ли ты, что я, — тут капрал с достоинством посмотрел на смутившегося юношу, — войду с твоими корзинами в бар? — И видя, как тревожно блеснули глаза у разносчика, он снисходительно добавил: — Не бойся. Кому нужны твои каштаны!... Что же ты молчишь? — рассердился он, наконец. — Что там у тебя, золото, что ли? А ну-ка, покажи...

Юноша низко нагнулся, сбрасывая тяжелую кладь с плеча, и сказал с улыбкою:

— Господин полковник изволит смеяться. Если бы у ничтожного Ши Баотона было хоть четверть лана золота, о, тогда он немедленно записался бы в офицеры!

Говоря это, разносчик отвернул синий полог, прикрывавший одну из корзин. Вареные с солью каштаны, насыпанные доверху, лежали перед Хунгом.

— Возьмите, кушайте, сколько хотите, — кланяясь, предложил юноша. Затем он осторожно повернул коромысло и откинул красный лоскут с другой корзины. — А тут сырые, к услугам вашей мудрости.

— Так что же ты боишься за это добро? Здесь не наберется и на двадцать центов, — пожал плечами Хунг.

— На целых семьдесят кэшей, господин полковник. Я очень не хотел бы оставлять их здесь...

Но капрал перебил его:

— Пустяки! Мы выпьем водки и тотчас вернемся. Марш за мной! Неси свои корзины.

Юноша, осторожно ступая, пошел за Хунгом.

Перейдя двор, они попали в нижний этаж флигеля. Окна его выходили к

главному зданию, у дверей которого стоял внутренний наряд из личной охраны Го Жу-дуна.

— Послушай, приятель, — обратился капрал к обедавшему, сидя на цыновке, солдату, — побереги эти корзины, я сейчас вернусь.

Солдат кивнул головой, продолжая есть сладкую репу и моченый горох.

— Клади сюда, в каморку, — сказал Хунг.

Разносчик поставил корзины в угол. Капрал прикрыл их брезентом. Затем они прошли через двор, направляясь к второразрядному ресторану — бару, находившемуся недалеко в переулке.

— Я хотел бы при вашей помощи попасть в такую дивизию, которая немедленно идет сражаться с красными, — попивая маленькими глотками виски, говорил паренек. — Что пользы сидеть в городе! Невозможно отличиться... Ведь вот ваш полк, когда еще его пошлют на фронт?..

— Везде нужны солдаты, — отвечал, ухмыляясь, Хунг. — Одни сражаются, другие несут охрану. Не будь нас, красные давно захватили бы город. Ты думаешь, здесь мало их сторонников? Рабочие! Вся местная беднота!.. Службы и тут достаточно. — Капрал до дна осушил свой стакан.

Юноша с восхищением смотрел на него.

— Значит, это вы охраняете самые важные места в городе?

— Да, мы! — отвечал Хунг. — Арсенал, мосты через Ян-Цзы, вокзал и самый город. И здесь, говорю тебе, можно отличиться не хуже, чем на фронте. Вот я служу всего шестой год, а уже представлен в сержанты, а там легко и в подпоручики. Надо только уметь...

Он не закончил фразы и поставил стакан с водкою на стол. Страшный взрыв потряс здание ресторана. Стол, за которым они сидели, задрожал; из стаканов на пол плеснулось виски.

Юноша вскочил. Смертельная бледность покрыла его лицо. Глаза выражали отчаяние и тревогу.

— Что... что это такое? — простонал он.

Хунг допил свой стакан, вытер ладонью усы и спокойно ответил:

— Взорвалось что-то... Наверное, бомба... Плати деньги, храбрец Чжуге-Лян¹⁾ знаменитый!

С улицы между тем стали доноситься крики, пальба. Капрал понял, что оставаться здесь ему, начальнику караула, не безопасно, и бросился к выходу, по пути вынимая из кобуры револьвер. В ресторан, спасаясь от пуль, вбегали прохожие. Рухнуло выдвинутое в панике стекло, и раздалось испуганные голоса:

— Покушение на штаб!.. Взорван дом генерала!.. Го Жу-дун убит!.. Красные ворвались в город!..

Разносчик каштанов поднял голову. Губы его были иссиня-бледны, но глаза горели сухим, лихорадочным огнем. Он кинул серебряный доллар на прилавок и вышел на площадь, туда, откуда неслись крики и где тяжело скакала по асфальту конная охрана генерала.

По двору металась растерянные люди и беспорядочно стреляли в воздух. Кто-то жалобно стонал. Из флигелька, где Хунг только-что оставил корзины разносчика, валил густой желто-багровый дым и выбивалось яркое пламя. Часть солдат, опасаясь нового взрыва, бросила винтовки и попряталась по углам. Другие пытались тушить огонь. У стены валялись изуродованные взрывом трупы. Возле черного, обожженного входа лежал, скрючившись, убитый повар генерала. Несколько офицеров с маузерами в руках вырывали винтовки у ошалелых, стрелявших в ворота солдат.

Капрал Хунг понял все. Он вспомнил доллары, так заманчиво блестящие в руке у паренька, и его внезапно изменившееся при взрыве лицо, и тяжелые корзины, которые он ни за что не хотел оставить...

Один из уцелевших при взрыве солдат рассказал офицерам, что отделенный Вэнь нашел в оставленной кем-то корзине с каштанами странный метал-

¹⁾ Национальный герой, храбрец-полководец.

личный ящик. Вэнь никак не мог открыть этот ящик и потому вместе с двумя солдатами из караула стал рубить его тесаком.

— Они думали, что там лежат деньги, — пояснил солдат. — Весь караул сбежался к ним, желая получить свою долю. А у меня, к счастью, болел живот, и я сидел в уборной... Я тоже хотел поспешить к ним, как вдруг брызнул огонь, ударил гром, и люди попадали на землю, как сшибленные груши...

Хунг понял, что ему не удастся скрыть правду. Его могла спасти только поимка разносчика.

Он вырвался вперед и закричал:

— Я знаю, кто сделал это! Я знаю, где скрывается преступник!

И в сопровождении офицеров и солдат Хунг побежал к бару.



Городской комитет коммунистической партии Ичана находился в глубоком подполье, но его работа чувствовалась и в порту, среди грузчиков и матросов, и в окружающих деревнях. Политическая полиция отдела пропаганды штаба ежедневно доносила о стачках среди рабочих, о недовольстве крестьян, о том, что среди учащих и солдат ходят по рукам прокламации красных и дерзкие карикатуры, высмеивающие гоминдан и Чан Кай-ши. Листовки находили на улицах, и на базаре, и в порту, и даже в самом штабе. По ночам кто-то расписывал стены города и домов Ичана несмывающимися красками. Это были лозунги, призывающие всех трудящихся китайцев объединиться под знаменем коммунистической партии для того, чтобы бороться с гоминданом и японцами. Язвительные шутовские прозвища, едкие замечания по адресу лидеров гоминдана широко распространялись в городе.

Десятки провокаторов и шпионов были брошены в порт и на фабрики, но влияние красных не ослабевало. Где-то в городе имелась их типография.

Полиция, поднятая на ноги дерзким покушением на штаб, производила аре-

сты. В здание полицейского ямыня то и дело приводили задержанных. Военными властями был арестован начальник караула капрал Хунг, допустивший злоумышленника в здание штаба и игравший с ним в ма-джон.

«...Весть о взрыве распространилась с быстротою ветра. И в городе, и по деревням, и на реке — всюду говорят о нем, а смерть офицера и 15 караульных солдат превратилась в устах молвы в гибель целого батальона. Агитаторы красных усиленно используют эти слухи, утверждая, что генерал Го Жу-дун не уйдет от народного суда и непременно будет убит...»

Генерал поморщился, дочитав до этого места донесение отдела пропаганды. Чорт побери, хотя он знал, что красные являются противниками индивидуального террора, но кто их разберет...

Го Жу-дун еще раз перечитал последние слова сводки: «...не уйдет от народного суда»...

Странно! Что в конце концов сделал он плохого народу? Не в том ли его вина, что он истинный китайский патриот и желает мира своей стране? Ведь он не Чан Кай-ши. Уж если красные так настойчиво хотят отомстить кому-нибудь из руководителей гоминдана и казнить его «народным судом», то пусть они взрывают Чан Кай-ши с его немецкими советниками, или хотя бы Ван Цзинь-вэя, или еще кого-нибудь из лидеров партии.

Генерал задумался. Нет, он действительно не должен умирать. Кстати, сегодня к обеду будет японский лейтенант Миказа, командир канонерки «Таку». Надо использовать этот взрыв и представить его японцу как месть красных бандитов генералу за его японофильские настроения.

Чтобы подчеркнуть свое особое внимание гостю и неофициальную, дружескую форму приема, генерал оделся в мягкий серый шерстяной халат, поверх которого была накинута черная кофта-безрукавка из матового шелка с вытканым на ней блестящим узором. На белых, холеных пальцах блестело большое золотое кольцо с сердоликовой печат-

кою, заменявшей иногда генеральскую подпись.

Но Го Жу-дун был не в духе. Этот взрыв выбил его из колеи. Красные были далеко от Ичана. За ними гонялись армии генералиссимуса. Задача Го Жу-дуна состояла в охране коммуникаций и тылов Чан Кай-ши. Из всей армии Го Жу-дуна лишь две дивизии, где-то за пределами района, соприкасались с частями красных. Жизнь в Ичане была хотя и напряженной, но во всяком случае веселей и безопасней, чем где-то в горах. Там ежедневно шли бои, грозили восстания и партизанские набегии распропагандированных крестьян. Здесь береговые укрепления, канонерка японцев, дивизии северян, полиция и охрана гарантировали покой, а десятки прекрасных женщин, конкубинок и европейнок-актрис скрашивали жизнь. Вино, опиум, женщины. Это было замечательно и напоминало Шанхай, не говоря уже о доходах, которые приносило командование целой армией и управление большим торговым районом. И вдруг этот проклятый взрыв и эта сводка! Да, красные не шутили. Сколько же человек с бомбами послали они, чтобы взорвать его? Ведь это был уже второй... Чорт их знает, кто и где они! Быть может, с ними можно было бы договориться, наконец, подкупить их. Все на свете делают деньги, и все люди стремятся к ним... Хотя... был же случай с майором Ли Гуй-юанем. Ради каких-то своих идей он отказался от всего — от денег, от чина генерала и от личной дружбы Чан Кай-ши. Мало того, он даже ушел к красным и дерется в их рядах...

Образ майора, еще недавно бывшего образцом для всех военных Китая, встал перед Го Жу-дуном. Да! Ведь, вот, отказался же он от карьеры, и от какой карьеры...

Го Жу-дун задумался было, но сейчас же махнул рукой. Очень просто! Майор Ли был слишком большим военным специалистом, чтобы стать под начальство Чан Кай-ши, а у красных он, вероятно, надеялся занять место Чжу-Де. Да и, говоря по правде, такому от-

личному офицеру, как майор, нечего было делать в штабе Чана.

И все-таки, если бы майору Ли предложить богатую провинцию вдали от Нанкина и армию в 40.000 человек он завтра же явился бы...

Жизнь существует однажды,
И молодость цветет однажды,
И смерть приходит однажды.
Так зачем же мучить себя,
Если розовый куст и розовые губки,
И яшмовая постель ожидают тебя?..—

процитировал он известные стихи поэта Ли Тай-по, как нельзя лучше отвечающие его настроению.

За дверью послышались шаги. Го Жу-дун, придав лицу деловое выражение, придвинул к себе бумаги и стал зеленым карандашом делать отметки на полях.

Адъютант вошел в кабинет. По растерянному, беспокойному блеску его глаз генерал понял, что снова что-то произошло. Углы его губ опустились, выражение непроницаемого спокойствия сбежало с лица.

— Ваше превосходительство, — нагибаясь к Го Жу-дуну, полушопотом сказал адъютант, — к вам пришли... Вас хочет видеть... — офицер сделал паузу и, глотнув воздуха, быстро договорил: — майор Ли Гуй-юань, тот самый... известный...

Бритое лицо генерала залила багровая краска. Глаза широко раскрылись. Карандаш покотился под стол.

— Кто-о? — приподнимаясь с кресла, спросил он.

— Бывший майор Ли Гуй-юань, — повторил адъютант.

Генерал расстегнул ворот кофты.

— Вы ошиблись!.. Это невозможно!.. — с усилием проговорил он.

— Я не ошибся, — твердо сказал адъютант. — Он назвался этим именем... Да и кто из нас, молодых офицеров, — адъютант сделал широкий жест рукою, — не знал в армии знаменитого майора. Это он.

— Один?

— Один, — подтвердил офицер.

Наступило молчание.

Ли Гуй-юань!.. Не может быть! Ведь только секунду назад он думал о нем...

— Что прикажете делать? — снова спросил ад'ютант.

Генерал растерянно смотрел на ад'ютанта.

Офицер, словно понимая мысли командующего, добавил:

— Всех, кто является на личный прием к вашему превосходительству, охрана обыскивает и отбирает оружие.

— Конечно! Конечно! — обрадовался Го Жу-дун и уже спокойно сказал: — Пусть войдет, но не раньше, чем я позвоню. Это будет через десять-пятнадцать минут.

Ад'ютант вышел.

Десять-пятнадцать минут нужны были генералу для того, чтобы до встречи с Ли Гуй-юанем привести в порядок свои мысли и вместе с тем показать майору, что в его появлении у себя в приемной генерал Го Жу-дун не видит ничего особенного.

Он взял со стола трубку телефона:

— Соедините с кабинетом генерала Вольфа. — И, услышав знакомый, сильный голос немца, сказал: — Ваше превосходительство! Как видно, дела красных очень плохи... У меня в приемной сидит гость... Знаете, кто? — Он рассмеялся. — Вы изумитесь! Тот самый майор Ли Гуй-юань, о котором генерал фон-Сект недавно сказал маршалу Чану: «В Китае имеется только один настоящий, талантливый военный — майор Ли Гуй-юань, да и того Нанкин не сумел удержать в армии»... Возможно, что ваш покорный слуга сделает то, что упустил маршал, и вернет Китаю знаменитого майора...

В трубке что-то зарокотало. Генерал, выслушав своего советника, кивал головой:

— Ну, конечно! Как бы там ни было, но до распоряжения главнокомандующего бывший майор Ли Гуй-юань никуда не отлучится из штаба.

Он положил трубку и задумался. Если Чан Кай-ши попрежнему высоко ценит способности майора, то, несомненно, Ли Гуй-юань, спустя короткий срок, делается одним из самых приближенных к главнокомандующему офицеров. Его измену и шатания, конечно, про-

стоят. Ведь Фын Юй-сян дважды воевал с Нанкином. А Ху Хань-минь, бывший личным врагом Чана, а генерал Чжан Фа-гуй, а Чжан Сюэ-лян, а маршал Сун Чуан-фан!.. Все они воевали с Чан Кай-ши и с его гоминданом, однако все они помирились и поныне работают в одном правительстве, признав диктатуру Чана. В Китае к изменам и политическим шатаниям давно привыкли. «Жизнь существует однажды» — снова вспомнил он любимые стихи. Важно только, чтобы генералиссимус простил майора, тогда на этом неожиданном визите можно кое-что заработать... Если же майор не будет прощен, и маршал захочет его наказать, то и в этом случае тот факт, что Ли Гуй-юань находится в руках генерала, может быть только выгоден ему...

Го Жу-дун прошелся по комнате. Все складывалось замечательно хорошо, и даже неприятное ощущение от чтения сводки отдела пропаганды оставило его. Он позвонил и спросил у вошедшего ад'ютанта:

— Оружие отобрал?

— Его не было у майора.

— А-а! — удовлетворенно протянул Го Жу-дун и, усаживаясь в свое глубокое, покойное кресло, сказал:

— Просите.



Четвертый из посланных на взрыв Ичанского моста, — А-Чао был единственным, кому политотдел 7-го корпуса приказал связаться с подпольным комитетом компартии Ичана.

А-Чао прибыл в Ичан только на шестнадцатый день после ухода из Да-Минь-Ху. Он не спешил с выполнением задания о взрыве моста, отлично понимая, что первое условие успеха — правильная организация дела. Поспешность, неподготовленность могли погубить все. Старый командир, об'ехав часть районов, захваченных гражданской войной, сел в порту Шаши, далеко от Ичана, на торговый пароход «Сватоу» и в качестве пассажира 2-го класса прибыл в Ичан.

В пути он не сказал и десятка фраз. Подолгу молча сидел он у борта паро-

хода и глядел, как по сторонам бежали зеленые горы или залитые водою рисовые поля, сменявшиеся серыми, угрюмыми скалами. Сухое, загорелое лицо, приличная чесучевая пара и длинный шелковый халат придавали ему вид мянхлы или торговца средней руки. А то, что он обедал в каюте вместе с капитаном и несколькими ичанскими купцами, подчеркивало его особую солидность и вес.

Ночью «Сватоу» перегнала большая японская канонерка. Она прошла слева от парохода, подняв тяжелую волну. На мачте судна был виден освещенный кормовым прожектором военный флаг Японии. А-Чао, по обыкновению сидевший у борта, проводил канонерку долгим пристальным взглядом. Этот флаг, надменно развевавшийся над спящими водами великой китайской реки, он видел не в первый раз.

А-Чао встал.

— Недалек день, когда китайская красная армия растопчет твой гордый флаг, — угрожающе прошептал он и пошел в свою каюту.

Утром пароход подходил к Ичану. Портовые постройки, пагоды и храмы, раскинувшиеся на левом берегу Ян-Цзы, вставали впереди. Городская стена полукругом уходила за серый, безжизненный утес, на котором виднелись развалины старинной крепости. Большой железнодорожный мост на прочных гранитных быках виднелся выше пристаней.

Город рос и приближался. Яснее различались низкие, спускавшиеся к воде домишки, шалаши на сваях, узкие, кривые улочки. Пароход развернулся, дал протяжный гудок и стал проходить в порт, лавируя между усеявшими реку судами. Вокруг плыли десятки джонок и сампанов с вырезанными на носу духами, гениями рода и страшными размалеванными драконами. Слышались крики, голоса, детский плач. Это были пловучие жилища людей, не имевших на суше и одного вершка своей земли. В этих домах жили, плодились и умирали целые поколения безземельной китайской бедноты. Грязная, зеленоватосерая вода плескалась о борта судов.

Вниз по течению плыли арбузные корки, кожура бананов, обрывки бумаги, ветки деревьев, нечистоты, дохлые собаки — всякая грязь, которой так богаты китайские портовые города.

В порту виднелось несколько однотрубных торговых судов с китайскими и английскими флагами. Посреди реки на якоре стояла японская канонерка, ночью обогнавшая пароход. «Сватоу» протискался мимо неподвижных купеческих судов и пришвартовался к деревянной пристани.

Шум, гомон, суетола порта, крики кули, ругань матросов и холодные, сосредоточенные лица полицейских встретили сходявших с парохода пассажиров.

А-Чао был окружен толпою рикшей, шумно предлагавших «почтенному купцу» свои услуги. Изможденные, худые, они, отталкивая друг друга, наперебой расхваливали свою выносливость, быстроту и удобство экипажей. Глядя на эту суетливую, голодную толпу, командир вспомнил, что эти необеспеченные, неорганизованные даже в союз, обремененные семьями и долгами люди-лошадки, вырабатывающие за целый день каких-нибудь 20—25 центов, всего три месяца назад прислали в корпус Ма Ту-иня 300 долларов, собранных ими на подарки красным бойцам.

Он подошел к первой же коляске и молча сел в нее. Рикша, ничего не спрашивая, понесся вперед. Он быстро перебирал сухими оголенными ногами, хрипло дышал и на-бегу, чуть наклоняя голову к плечу, одним глазом взглядывал на пассажира, ожидая от него приказаний.

А-Чао знал, что поездка на рикше безопаснее всего. Коляска рикши,личный костюм, независимые, солидные манеры и некоторая свобода в средствах делали его в глазах полиции типичным джентри, шеньши, может быть, даже купцом или отставным чиновником, ищущим счастья в торговле или на службе в Ичане.

Он смотрел на худой, грязный затылок бегущего в оглоблях человека, на его нанковые, в заплатках, короткие штаны, на судорожно вздымавшиеся плечи.

«Сколько их, таких вот бывших рикшей, находится сейчас у нас в корпусе?» — подумал он и, заметив, что человек-лошадь на-бегу устремил на него взор, тихо и сочувственно сказал:

— Не спеши, не надо так торопиться...

Рикша замедлил бег.

— Куда прикажете доставить высокопочтенного господина? — спросил он. — В китайскую или японскую гостиницу? — И, видя, что пассажир молчит, добавил: — Конечно, сейчас спокойнее на Нанкин-Род... В китайских отелях после взрыва... идут облавы... Солидным людям эти обыски не могут дать покоя...

— В японскую, — сказал А-Чао, важно откинувшись вглубь коляски.

Рикша повернул на широкую улицу.

О каком взрыве говорил он? Мост был цел. А-Чао только-что видел его. Он хорошо знал, что и среди этой голодной бедноты встречаются шпионы, служащие в полиции. Надо быть осторожнее.

По тротуару шли прохожие. Длинноусый полицейский стоял посреди улицы, регулируя движение. Шурша по асфальту, пронесся автомобиль. Все было, как и обычно, но в сердце командира уже запало сомнение, и он с опаской глядел на согнувшегося в оглоблях рикшу. На пароходе никто не говорил ни о каком взрыве... Да, этот человек подозрителен!..

Рикша свернул в улочку. Навстречу, тяжело ступая, шла полурота солдат. Поодаль, растянутый через всю улицу, висел большой плакат, на котором черной и зеленой тушью было написано: «За доставленного красного разбойника, совершившего взрыв в штабе командующего армией, уплачивается: за живого — 20.000 долларов, за мертвого — 10.000. Кто укажет его укрывателей, получит по 10.000 долларов за каждого. Деньги выплачивает отдел пропаганды армии немедленно после ареста».

Рикша остановился, пропуская солдат.

А-Чао чуть притронулся зонтиком к плечу человека-коня.

— О каком взрыве ты говорил? Я с парохода и ничего не слышал о нем.

— Четыре дня назад красные взорвали штаб генерала, — ответил рикша. — Убито двести офицеров и солдат... Сейчас, господин, по всему Ичану ищут скрывшегося бандита...

Солдаты прошли, и рикша, пересекши площадь, вынесся на Нанкин-Род. На углу квартала, возле двухэтажного «Хотэл-Ниппон», он остановился, отстегнул легкую полость и, через силу улыбаясь, сказал:

— Приехали, господин чиновник!

Из отеля выбежал бой и взял из коляски свернутое одеяло и полосатый саквояж пассажира.



А-Чао хорошо знал Ичан. Его молодость, безотрадная молодость голодного крестьянского парня, потом рабочего на лесосплаве, рыбака, кули, кочегара на грузовом судне, часто безработного, всегда нищего, прошла здесь, на берегах Великой реки.

Командир с любопытством бродил теперь по улицам Ичана. Город почти не изменился. Разве только прибавилось шуму от автомобилей да больше стало расцвеченных вывесками магазинов. В гостинице, в книге для приезжающих, он расписался: «Ва-Сянг, купец и меняла из Ухана». Пока все шло хорошо. Тем не менее командир был настроен нелепый, непонятно для чего совершенный взрыв обеспокоил его. Кому нужна смерть этой жирной собаки, Го Жудуна? Разве на его место не найдется сотня таких же, а быть может, еще худших генералов? Не красные совершили этот взрыв. Партия никогда не стояла за индивидуальный террор. Иначе разве уцелел бы Чан Кай-ши? Разве среди шанхайских рабочих не нашлось бы людей, готовых пожертвовать собою! Сколько угодно... Нет, совершенно ясно, что этот взрыв — дело рук полиции, предлог для репрессий против компартии и рабочих Ичана.

Все это осложняло задачу А-Чао. Мимо него шли прохожие — штатские в серых, голубых, белых кофтах и халатах, офицеры в защитного цвета френчах и желтых гетрах, раскрашенные.

набеленные женщины с замысловатыми прическами и в ярких, пестрых одеждах, маленькие, чинные школьники с книгами в руках, носильщики тяжестей, зазывалы, громко расхваливавшие свой товар.

А-Чао вежливо уступал дорогу. Встретив лавочку менялы, он зашел в нее, поинтересовался курсом дня, навел справки о биржевых делах Шанхая и, кстати, обменял пять пекинских бумажных долларов на серебро и медяки. Поговорив о разнице между банкнотами провинциальных правительств Хубэя и Сычуани и выпив чашку чая, он ушел от менялы, приятно улыбаясь новому знакомому и пообещав снова зайти к нему.

Да, Ичан изменился мало. Если не считать обилия войск и некоторого налета внешнего европеизма в торговой части города, все оставалось в прежнем своем виде. Так же много было на улицах голодной бедноты. Та же вонь и грязь в каких-нибудь пятидесяти метрах от 3-го авеню. Полицейские так же били бамбуками оборванных людей, осмеливавшихся в своих отрепьях показаться на Нанкин-Род.

Командир свернул с 3-го авеню на площадь, направляясь к порту. Жить он должен будет в центральной части города, но данные ему ярки были в районе порта и железнодорожной станции.

А-Чао широко зевнул и раскрыл зонт. Никто, даже его собственные бойцы, красноармейцы 1-й роты образцового полка из корпуса Ма Ту-иня, никогда не признали бы в этом скучающем, малоподвижном человеке своего командира.

Над зданием банка висел гоминдановский флаг. Два автомобиля стояли у под'езда. Часовые неподвижно вытянулись у дверей. По тротуару, перегоняя А-Чао, прошли группа шумно разговаривающих студентов, молодая девушка в деревянных башмаках и черных роговых очках, два матроса с японской канонерки с желтыми тесаками на боку. Командир посторонился, пропуская их, и вдруг зонт едва не выпал из его задрожавшей руки: в двух шагах от перегнавших его японцев нето-

ропливой, размеренной походкой шел командир полка Ли Гуй-юань, тот самый лихой и бесстрашный командир, которого себе в пример всегда ставил А-Чао.

Возможно, что это только сходство... Но нет, он так хорошо знал четкую, подтянутую фигуру командира Ли! Конечно, это был он. Но почему он здесь? Верно, и он тоже.. пошел на это дело.

С невыразимой нежностью А-Чао посмотрел ему вслед. Но тут глаза его снова округлились: командир полка китайской красной армии бывший майор Ли Гуй-юань, не меняя размеренного солдатского шага, вошел в под'езд штаба генерала Го Жу-дуна.



Хо-Кэй медленно брел по улочке, запутавшейся в десятке таких же кривых и тесных хутунгов порта. Прошло уже пять дней с того часа, когда он, стараясь войти в доверие к сержанту Хунгу, так неосторожно оставил подорывную машину в здании штаба. Пятые сутки прятался он, ночуя то в порту, в заброшенных старых баржах, то на берегу, среди сваленных в кучи бревен. За эти пять дней он спал всего не более двенадцати-четырнадцати часов, просыпаясь при каждом шорохе. Утром он уходил в город, в сутолоку, где легче было скрыться от полиции. Он видел развешенные повсюду плакаты, обещающие деньги за его голову, и знал, как жадно ищут его в Ичане. Лежа на циновке, в душной нише курильни спиаума, куда он заходил ежедневно, чтобы покурить для виду и соснуть часок-другой, он слышал, что выезд из города без особого разрешения полиции запрещен. Он знал, что у городских ворот стоят жандармские посты и что наряды сыщиков обыскивают всех, вплоть до женщин. Однажды он даже сам попал в облаву, но счастливо ушел от опасности, спрятавшись в мусорной яме, среди отбросов.

С того злополучного дня, когда сержант Хунг выбежал из бара, оставив его одного, Хо-Кэй казался постаревшим на несколько лет. Немыгтое лицо

даже под налетом грязи казалось бледным и осунувшимся. Синяя ситцевая курма и широкие нанковые штаны были грязны и заношены.

Первым движением Хо-Кэя было броситься к месту взрыва, об'явиться, не прячась, не скрываясь от врага, умереть, использовав свою смерть как агитацию... Но партия не за этим послала его. Партия не нуждается в его театрально-аффектированной смерти. Задача, из-за которого он пришел сюда, важнее всего. «Если не ты, то кто-нибудь другой взорвет этот мост» — вспомнил он слова Ма Ту-иня, дававшего ему последний наказ.

Не он, а кто-нибудь другой!.. Юноша горько усмехнулся и быстрыми шагами пошел от штаба.

Каждую ночь, прячась между барж, ночуя под досками пристаней и днем бродя в портовых трущобах, он думал об этом проклятом мосте и ждал оглушительного взрыва. В его мечтах рушились быки, стальные конструкции, проваливалось полотно железной дороги. Даже в часы короткого возбужденного сна в его голове лихорадочно теснились те же видения. Но стройный, красивый мост попрежнему прочно висел над зеленоватой гладью Великой реки.

Хо-Кэй пробирался между складских зданий, растянувшихся по берегу Ян-Цзы. На сходах и мостках пристаней работали грузчики-кули. Сгибаясь под тяжестью тюков, они напевали монотонную, унылую песню:

Лей-ла... уй-ла!..¹⁾

Хо-Кэй знал эту скорбную мелодию. Кули распевали ее по всей Ян-Цзы, вплоть до Шанхая.

Уй-ла, ганг-ла!..²⁾

Тела грузчиков были наклонены под острым углом к земле; они тащились медленно, как загнанные ломовые лошади. И все время, не переставая, несло заунывное:

Лей-ла...
Уй-ла...
Ганг-ла...

¹⁾ Я иду, — дорогу!

²⁾ Дорогу, посторонись!

Надсмотрщик-китаец в желтых роговых очках отмечал на листке бумаги количество проносимых тюков хлопка.

Хо-Кэй смешался с толпой рваных, суетящихся китайцев. В этой невообразимой суете и путанице человеческих тел, звуков, движений он был в безопасности. Здесь, на территории, арендованной иностранными фирмами, китайская полиция не производила облав. Эти склады принадлежали английским и японским торговым предприятиям, и она не смела своими действиями нарушать порядок разгрузки судов. У пристаней виднелись полисмены-китайцы, но они стояли здесь лишь затем, чтобы не допускать стачек среди грузчиков и рабочих порта.

У пристани, пришвартовавшись к ней, стоял пузатый английский пароход «Кэптаун», из трубы которого вился тонкий дымок. Грузчики, взбираясь по длинным сходням, сбрасывали мешки у раскрытого трюма. Трое англичан — капитан и представители компании — в тропических пробковых шлемах молча следили за ними, попыхивая дымом толстых сигар. Каждый кули, сбросив свой тюк, получал от приемщика-китайца небольшую бамбуковую палочку с вытесненным на ней названием фирмы. Эта палочка заменяла наряд. Получить пять таких палочек значило заработать 2½ коппера. По окончанию погрузки кули собирались у ворот конторы пароходства, и здесь возвращающим палочки уплачивались деньги.

У себя на родине Хо-Кэй много раз таскал такие же огромные тюки с товарами и очень гордился, когда ему, юнцу, удавалось за 12—13-часовой рабочий день получить 60 копперов. Он сам тянул это скрипучее, протяжное:

Лей-ла... Ганг-ла...

Вдруг Хо-Кэй почувствовал на себе чей-то упорный взгляд. Он поднял глаза и вздрогнул. Человек, пристально следивший за ним и захваченный врасплох встречным взглядом, отвернулся и прикрыл лицо рукавом курмы. Это был сыщик, шпик. Но самое главное заключалось в том, что Хо-Кэй знал этого

человека. Недавно, совсем на-днях, он где-то видел его.

Но где? Хо-Кэй не мог припомнить этого. Надо было спастись решительно и быстро. Не показывая своей тревоги, он с наивно-удивленным видом деревенского парня, впервые попавшего в город, пошел вперед и затерялся в толпе. Через некоторое время, прячась между сваленных в кучи отбросов хлопка, Хо-Кэй вернулся к тому же месту, но только с другой стороны. И тут он узнал сыщика: это был чистильщик ушей, с которым он встретился в чайной у ворот Ичана.

Хо-Кэй прошмыгнул под мостки, присел на корточки и, скрытый навесом и сваями пристаней, стал наблюдать.

Толпа шумела и бушевала. Но юноша заметил, как к надсмотрщику, наблюдавшему за погрузкой хлопка, подошел полицейский и что-то тихо ему сказал. Он видел, как засуетился и стал тревожно озираться по сторонам надсмотрщик, как трое из охранявших склады полицейских были сняты с постов, как в толпе зашмыгали какие-то чрезвычайно внимательные люди, заглядывавшие в лицо каждому...

Через несколько минут появился взвод солдат, быстро преградивший выходы в город. Толпа оказалась оцепленной со всех сторон полицией и солдатами. Только кули, охраняемые на время работы грозным флагом Британской империи и серыми орудиями канонерки, продолжали таскать свои тюки.

Хо-Кэй лег на живот между сырых, полусгнивших досок. В нескольких метрах от него плескалась вода. Пахло сыростью и дымом от трубы парохода. Над головою гнулись половицы мостков, по которым взад и вперед не переставая проходили кули.

В порту протяжно выла сирена. Юноша утомленно закрыл глаза и стал ожидать ночи.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

После ухода товарищей, посланных на взрыв моста, прошло много дней. Штаб корпуса и политотдел все еще

находились в Да-Минь-Ху, вокруг которого возникло кольцо укреплений. Лес, близко подходивший с западной стороны к городу, был вырублен, толстые городские стены починены, дубовые, обитые железными полосами ворота заново покрыты стальной броней. Все пути, ведущие от перевала к Да-Минь-Ху, были изрезаны окопами. На скрещении дорог были заложены фугасы, мосты минированы. Отряды крестьянской самообороны несли охрану дорог. Батальон городской бедноты и комсомольский полк составляли гарнизон города. Регулярные части корпуса расположились на перевале.

Внизу, у перевала, находился корпусной резерв: пехотная бригада, саперная рота, восемнадцать орудий, полк и пять тысяч крестьян-волонтеров, вооруженных дубинами, пиками, косами, ножами, фузеями и охотничьими ружьями. Это было все, что мог выставить Ма Ту-инь в помощь регулярным частям, занимавшим перевал.

По ту сторону гор, на виду у красных бойцов, расположилась «армия умиротворения Китая», состоявшая из 60.000 человек. Ежедневно по Ян-Цзы поднимались баржи и крутобокие пузатые корабли, с которых сходили на берег свежие части кавалерии, сталкивались орудия, бронемашин. Два раза перед фронтом красных показывались танки, не выходявшие, однако, на линию огня.

С каждым днем все чаще вспыхивали мелкие стычки и встречные бои. Перебежчики, солдаты нанкинских полков, утверждали, что белые готовятся к наступлению на перевал, что ожидается приезд самого Чан Кай-ши.

Из четырех нанкинских самолетов, находившихся на этом участке, осталось только три: тяжелый бомбовоз недавно взорвался в воздухе и упал в расположении красных. При этом погиб начальник авиации карательного отряда го-миндана, генерал Ван Сун-лин, личный друг и родственник Чан Кай-ши. Самолеты, кружась над перевалом, производили фотосъемки и сбрасывали кипы прокламаций, призывавших красноармейцев сдаваться нанкинским войскам.

«За каждую сданную винтовку, — говорилось в прокламациях, — военное казначейство «армии умиротворения Китая» выдает сдавшемуся или перебежавшему красноармейцу 20 долларов наличными деньгами, за принесенный пулемет — 100, за сотню патронов — 6, за сданное орудие — 200 долларов, за захваченного живьем и сданного нанкинским войскам живого комиссара — 300 долларов, за мертвого — 100, за простого коммуниста — 150, за голову комиссаров высшего состава, начиная от бригады и дальше, — согласно договоренности, но не ниже 1.000 долларов».

Командир корпуса находился на перевале. По полученным сведениям, готовилась атака противника. Перебежчики называли даже день, когда должно было начаться наступление. Крестьяне прислали своих ходоков предупредить красных о том, что за последнюю неделю их деревушки стали заполняться солдатами, прибывающими по Ян-Цзы. Ходоки принесли при этом с собою план расположения нанкинских частей.

Среди перебежчиков-солдат были два коммуниста, перешедшие по постановлению подпольного военно-революционного комитета 29-й белой дивизии, стоявшей против перевала. По их сведениям, гоминдановские агитаторы, прибывшие из Уханя, раз'ехали по полкам для пропаганды наступления:

— Красные повсюду уничтожены, — говорили агитаторы белых, — и только перед вами собрались остатки разбежавшихся красных отрядов. Опрокиньте их, и тогда Чан Кай-ши наградит вас двухмесячным жалованьем, и вы вернетесь домой с деньгами и славой.

Подпольный комитет коммунистической партии в свою очередь вел пропаганду среди белых солдат, раз'ясняя им лживость сообщений казенных гоминдановских пропагандистов.

...Совещание, созванное комкором, недавно началось.

— По имеющимся данным, — сообщил собравшимся Ма Ту-инь, — атаку перевала командование белых предполагает начать 4—6 августа двумя дивизиями — 11-й железной и 29-й шан-

хайской. Одновременно с наступлением этих дивизий в центре бригада провинциальных войск Хубэя, под командой генерала Бао-Тина, начнет на нашем левом фланге демонстрацию против расположения Образцового коммунистического полка. Кроме пехотных частей, белые поведут наступление также 2-й конной бригадой и пешими отрядами самообороны помещиков. Общая численность наступающей ударной группы белых — до 26—28 тысяч человек при 63 орудиях, 8 танках, 12 бронемашинах и двух самолетах... В резерве армии генерала Чжо Шао-шэна имеются две слабые дивизии, только недавно разгромленные под Кайфыном корпусом товарища Хо-Луна и поэтому небоеспособные, 9.000 мобилизованных солдат провинциальных войск также совершенно небоеспособны, настроены панически и в бой пущены быть не могут. При наступлении белых необходимо учитывать еще наличие двух военных судов — монитора «Тайфун» и японской канонерки «Таку», которая, несомненно, откроет по нашим позициям огонь из своих мощных дальнебойных орудий... Вот, товарищи, какова обстановка. К этому я добавлю еще следующее. К генералу Чжо Шао-шэну изпод Гуйяна форсированным маршем идет Чан Кай-ши. Через 10—20 дней он будет здесь. Раз'яренный постоянными неудачами, Чан спешит со своей сотысячной армией и немецкими советниками сюда, чтобы, соединившись с войсками генерала Чжо Шао-шэна, обрушиться на наш корпус и взять перевал. Этой победой маршал Чан думает вознаградить себя за все предыдущие поражения и возвестить империалистам всего мира о своей великой победе над красной китайской армией. Но... — тут комкор улыбнулся и лукаво сощурил глаза, — но генерал Чжо не желает таскать из огня каштаны для маршала Чана. Генерал Чжо намерен сам стать китайским Наполеоном. Узнав о приближении диктатора, он отдал своим частям приказание готовиться к атаке на перевал...

Военный совет долго еще обсуждал детали ожидавшегося боя. Среди дру-

гих выступила комиссар корпуса Чен Чин-чю. На поясе у нее висел большой американский кольт, а на груди рядом с алой пятиконечной звездой виднелся значок-медальон с портретом Ленина.

— Товарищи, — сказала она, — задержавшись на перевале около двух недель, мы оттянули на себя целую армию Чжо Шао-шэна и дали возможность корпусам Хо-Луна и Пен Де-хуая пробиться через кольцо врагов. Но этого недостаточно. Мы обязаны не только оттянуть на себя войска генерала Чжо, но и уничтожить их. А затем мы должны удержаться несколько дней и против самого Чан Кай-ши. Если мы сделаем это, то мы вправе будем считать, что приказ компартии и реввоенсовета красной армии нами выполнен...

Выступали также командиры частей, представители крестьянских батальонов, комсомольцы, работники политотдела, делегаты партизанских отрядов «Красных пик» и «Больших ножей».

Высокий мужественный крестьянин, представитель деревенской бедноты и один из организаторов крестьянских полков, просил комкора и военсовет разрешить его отряду сразиться с врагом врукопашную.

— Белые солдаты, — сказал он, — эчень боятся наших кос, пик и ножей. Не было случая, чтобы в рукопашном бою наши крестьянские отряды уступили нанкинским полкам. Пустите нас в атаку первыми, и мы сомнем наемных собак гоминдана.

Делегаты партизанских отрядов ожились и закивали головами.

Ма Ту-инь улыбнулся:

— Товарищи, мы ценим вашу доблесть и желание первыми нанести удар белым войскам. Но это будет тяжелый и упорный бой. Мы победим только в том случае, если каждый боец нашего корпуса будет строго выполнять предписания штаба... Без дела, товарищи, сидеть никому не придется. Это я обещаю вам...



По дороге поднимался с песней небольшой отряд молодогвардейцев, шедших сменять патрули:

Вперед, заре навстречу,
Товарищи, в борьбе
Штыками и картечью
Проложим путь себе...

Эта боевая комсомольская песня стала излюбленной песней молодежи.

Стараясь держать равнение и не сбиваться с ноги, молодогвардейцы запели громче, когда заметили, что у дороги на камне сидит командир корпуса.

Ма Ту-инь опустил бинокль, в который разглядывал далекую колонну белых, и дружески кивнул молодым жизнерадостным юношам, еще не очень умело, но крепко державшим в руках винтовки.

Пропустив отряд, Ма Ту-инь пошел вдоль перевала. Всюду видны были окопы. На стыках дорог и там, где покатые склоны горы представляли удобное место для движения атакующих цепей, были установлены пулеметные гнезда, по несколько в ряд, с таким расчетом, чтобы можно было обстреливать дорогу и холмы поперечным и продольным огнем. Кое-где меж обломков скал стояли полускрытые зеленью противотанковые пушки.

Комкор шел медленно, подолгу задерживаясь то у одного, то у другого пункта.

На дороге слышался скрип телег. Это из обоза везли утренний завтрак — горячий рис, овощную похлебку, репу и зеленый чай. Красноармейцы в большинстве еще спали, завернувшись в шинели, одеяла или халаты.

Но вот по всему перевалу вдруг затрубили горны, будя людей. И почти мгновенно все засуетилось, задвигалось. Из-под камней, из-за скал, из каких-то ям, из сложенного в кучу хвороста, из-под артиллерийских ящиков — отовсюду стали выползать и подниматься люди. Одни тотчас же затевали веселую возню, чтобы согреться, другие спешили к водопаду, где несколько красноармейцев уже плескались, фыркали и смеялись, обливали друг друга холодной горной водой.

Комкор с любовью смотрел на неунывающую красноармейскую массу.

Именно такой она и должна быть. Крепкой, веселой, задорной.

«Многие из этих людей погибнут, и быть может, скоро, быть может, сегодня или завтра в ночь, — подумал Ма Ту-инь. — Но четыреста миллионов китайских рабочих и крестьян, батраков и кули должны победить».

Как-раз в это мгновение за грядою утесов, там, где были расположены части Образцового коммунистического полка, сначала тихо, а затем ясней раздалось:

Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов!

И командир корпуса с волнением приложил руку к козырьку своего тропического шлема.



Встреча майора с Го Жу-дуном прошла совсем не так, как рисовал ее себе генерал. Ли Гуй-юань вошел ровным, уверенным шагом. В лице его не было и тени неловкости или смущения. Раскланявшись с командующим, он спокойно и твердо сказал:

— Ваше превосходительство, прошу сообщить телеграммой в штаб главнокомандующего армиями Китая маршала Чан Кай-ши о том, что майор Ли Гуй-юань после трехдневной отлучки вернулся в ряды национальной армии.

Го Жу-дун, ожидавший деликатных разговоров, полупрактиков и смиренных просьб, удивился. Как все это не похоже на традиции старого Китая, на учтивые манеры мандаринов императорского двора! И тогда бывали случаи, что изменивший богдыхану вельможа вновь возвращался ко двору, трепетно ожидая прощения или шелкового шнурка. И тогда военачальники, соблазненные золотом противной стороны, поднявшие мятеж против центральной власти, в один прекрасный день, взвесив положение, посылали гонцов ко двору униженно просить пощады. Все это бывало. Политика — хитрое дело. Но еще никто никогда не поступал так, как поступает этот майор, бесстыдно, прямо, по-сол-

датски докладывающий о своем переходе к Чан Кай-ши.

«Европа совершенно испортила его», — решил генерал и обеими руками обнимая майора, сказал:

— Китайская армия не забыла вас. Маршал, я совершенно в этом уверен, будет очень рад вашему возвращению.

Он оглядел майора и добродушно заметил:

— А выглядите вы очень хорошо. Дорога не утомила вас?

Этот вопрос означал: как вы попали в Ичан, каким путем?

Но майор опять неприятно поразил учтивого генерала. Не давая хозяину возможности продолжать вежливый допрос, майор очень спокойно и корректно сказал ему:

— Ваше превосходительство, не стоит, мне кажется, тратить время на пустяки, на китайские церемонии, как говорят в Европе. Давайте сразу перейдем к делу. Об остальном мы поговорим с вами после, на досуге...

Генерал был оскорблен невежливостью гостя. — «Поговорим ли? — ехидно подумал он. — Быть может, сегодня же ночью придет из штаба приказание расстрелять тебя».

И задушевным голосом он сказал:

— Вы все такой же пунктуальный и точный. Узнаю вас, дорогой майор! — Затем, заглядывая ему в глаза, добавил: — А может быть, и генерал? Ведь командующий, конечно, наградит вас за возвращение...

Ему очень хотелось бы сбить спесь с этого спокойного, хладнокровного человека, и этот вопрос показался ему особенно тонким. Действительно, что мог ответить на него двойной перебежчик, явившийся теперь в стан победителей с повинной, ожидая пощады или казни?

— В предварительных переговорах с маршалом о моем обратном переходе я получил твердую гарантию, что меня назначат командующим отдельной армией, — ответил майор.

Го Жу-дуну показалось, будто он ослышался. Не найдя подходящих слов, он умолк и растерянно глядел на майора.

«Командующим армией! — пронеслось у него в голове. — Но какой? Все вакансии заняты. Формирования новых армий пока не предвидится. Старые, заслуженные генералы трутся около штаба маршала, терпеливо ожидая назначений на более скромные посты, а этот подозрительный и наглый человек... Хотя, чего ожидать от Нанкина, который возглавляется Чан Кай-ши, окружившим себя наемными немецкими советниками, японскими дипломатами и английскими купцами! Если то, что говорит майор о своем назначении, — правда, то в будущем он может мне пригодиться...»

— Зачем вы сели в этом месте? Сядьте лицом к югу. И прошу вас отобедать сегодня со мною, — с расцветшей на круглом лице улыбкой засуетился генерал.

Через час после визита майора в ставку главнокомандующего была послана шифрованная телеграмма, в которой Го Жу-дун сообщал главному о появлении Ли Гуй-юаня, о своей беседе с ним и просил инструкций.

Лишь несколько человек, в том числе генерал фон-Вольф и немецкие офицеры, знали о появлении в Ичане бывшего майора Ли. Вечером был устроен интимный ужин в честь майора, на который были приглашены немецкие советники, полицеймейстер и два-три офицера штаба.

Ли Гуй-юань был сдержан, но на вопросы о своем пребывании в красной армии отвечал охотно. Он подробно рассказывал о боях, в которых принимал участие, нисколько не преуменьшая своей роли в них.

«А он, кажется, не врет», — подумал фон-Вольф, внимательно слушавший майора.

— Несмотря на отходы, части красной армии еще крепки, им не угрожает развал, — рассказывал Ли Гуй-юань. — Крестьянство едино, его интересы везде одинаковы: и здесь, и в Цзянси, и в Хэнане, и на полях Манчжурии. Если генералиссимус и гоминдан не разрешат земельного вопроса, никакие победы над красными не уничтожат коммунизма.

— Однако, опыт Кантона показал, что военные победы имеют решающее значение, — заметил Го Жу-дун.

Майор пожал плечами:

— Сейчас, когда воюют народы, побеждают идеи, воля масс и, конечно, экономические условия. Изумительные победы германской армии, одержанные над многочисленными врагами, — прекрасный тому пример. Немецкое оружие не было побеждено в мировой войне. Германию победил тыл.

Фон-Вольф утвердительно кивнул головой. Этот майор положительно нравился ему.

Капитан фон-Шер, расспрашивая майора о постановке военно-инженерного дела в красной армии, рассказал о взрыве в штабе и результатах технического исследования остатков подрывной машины.

Ли Гуй-юань улыбнулся.

— Простите меня, капитан, — сказал он, — но вы имеете превратные понятия о технике красной армии. Специальных, высококвалифицированных инженеров в ней нет. Есть только отдельные подрывники, рядовые саперы с самыми элементарными знаниями. Соорудить примитивную бомбу, подорвать железнодорожное полотно, разрушить мост красные, конечно, могут. Но изготовить сложную подрывную машину такой силы, чтобы она могла взорвать целый штаб... — майор развел руками.

— Но ведь это же факт, — настаивал фон-Шер. — Анализ осколков показал, что это был технически совершенный снаряд огромной разрушительной силы.

— Взрыв этот произведен, конечно, коммунистами, — вежливо согласился майор. — Но снаряды, по-моему, изготовлены не в красной армии, а привезены из Шанхая, Чанша или какого-нибудь другого центра... Не переоценивайте красной армии. Она сильна только отсталостью нашей страны. Форма правления, экономические условия, родовой быт Китая остаются и в наши дни такими же, какими они были в средние века. Народы всего мира меняют свои экономические и административные системы в соответствии с духом

времени. А у нас, к сожалению, необходимость таких изменений понимают лишь очень немногие.

«Как видно, либеральные идеи еще крепко сидят в голове этого сумасброда» — подумал Го Жу-дун, радушно потчуй гостей.

Ужин был совершенно европейский, с тонкими блюдами и ассортиментом дорогих вин.

Фон-Вольф медленно тянул крепкий, неразбавленный виски.

Го Жу-дун предложил виски и майору в расчете на то, что крепкий напиток еще больше развяжет язык гостю:

— Настоящий английский, «Вууд с сыновьями».

Ли Гуй-юань учтиво поклонился и выпил.

— Отсутствие вина, признаюсь, было для меня одним из самых больших лишений, — сказал он.

— А разве красивые не пьют? — усмехнулся Го Жу-дун.

— Возможно, что и пьют. Но я этого не видел.

— Разве? — недоверчиво спросил Го Жу-дун. — А по нашим сведениям, главари красных прожигают огромные состояния.

Ли Гуй-юань пожал плечами:

— Не знаю. В частях, в которых был я, этого не случалось. Я мог бы, конечно, сказать все, что угодно, о руководителях красной армии, но нахожу такой метод вредным... Ваши осведомители, генерал, дают вам неверные сведения и лишь затемняют положение вещей.

Солдатская прямота майора пришлась по вкусу фон-Вольфу. Он поднял стакан и, кивнув головой майору, коротко по-немецки сказал:

— За офицерство! За воинский дух!

— Да здравствует храбрая германская армия! — тоже по-немецки ответил Ли Гуй-юань.

Немцы встали и, высоко подняв бокалы, прокричали:

— Хох!..

Го Жу-дун не понял точного смысла слов фон-Вольфа, но по возбужденному виду немцев, по их дружному выкрику,

по тому, как звонко они чокнулись с майором, он сообразил, что Ли Гуй-юань и здесь, в его доме, среди его гостей, уже успел завоевать себе авторитет.

Он дружески обнял майора и... тихо вышел в соседнюю комнату.

Через несколько минут новая шифровка полетела по проводам в ставку Чан Кай-ши. Генерал тонко намекал главному, что бывший майор Ли Гуй-юань кажется ему, Го Жу-дуну, весьма подозрительным.

Отправив телеграмму, генерал возвратился к гостям и весело провел с ними остаток ночи.

На следующий день из ставки главного пришел ответ:

«Бывший майор Ли Гуй-юань является моим другом, вашим гостем и генералом нанкинской армии. Прошу принять это к сведению.

Генералиссимус Чан Кай-ши».

Го Жу-дун вздохнул, спрятав телеграмму в стол и стал припоминать, какие налоги, кроме соляного, табачного, чайного и опиумного, можно было бы, пока еще не поздно, получить с провинции, занятой его частями.

Появление Ли Гуй-юаня и телеграмма Чан Кай-ши напугали его.



А-Чао шел домой. Сегодня он впервые встретился с уполномоченным подпольного комитета партии на квартире у железнодорожного стрелочника, бывшего партизана войск Чжу-Де.

Хотя комитет уже был осведомлен о нем, тем не менее их встреча произошла только на второй день после того, как А-Чао через условленных лиц пред'явил свои явки комитету.

Свидание произошло в маленькой комнатухе с одним окном, выходившим во двор. Первое время и командир, и уполномоченный говорили на общие темы, как бы прощупывая друг друга. Хозяин квартиры был третьим. За стеною слышались глухие голоса и позвякивание медной посуды. Это старуха, мать железнодорожника, возилась у

очага. Когда командир и уполномоченный заговорили, наконец, о деле, было уже темно. Старуха внесла в комнатку плошку с фитилем, желтое пламя которого дрожало и чадило. По стенам забегали расплывчатые, дрожащие тени...

... После трехчасовой беседы первым вышел из комнаты хозяин. Через некоторое время он полоткнул дверь и сообщил, что на дворе и на улице тихо, ничего подозрительного не заметно.

А-Чао крепко, так, как он привык это делать еще в Красной армии в Сибири, пожал руку уполномоченному и, провожаемый хозяином, вышел во двор.

— Идите через базар, обходя порт и погрузочную гавань, — посоветовал хозяин. — Там сегодня с самого утра облава. Весь берег кишит полицией и шпиками.

Командир кивком поблагодарил его и вышел на улицу.

Стояла ночь. Лаяли собаки. Скрипя немазанной осью, проползла двухколесная высокая арба, которую тащили старый оборванный китаец и мальчуган лет десяти.

А-Чао, пройдя несколько шагов, резко свернул в сторону, пересек дорогу и осторожно через плечо осмотрел улицу позади себя. Все было спокойно.

Дальше он пошел медленным, размеренным шагом заправского буржуа. Пока все обстояло благополучно. Повидимому, шпики еще не проведали ни о нем, ни о конспиративной квартире, из которой он только что ушел. Внезапно он уронил зонтик и нагнулся, чтобы поднять его. Это был старый трюк подпольщика. Поднимая зонтик, он успел оглядеть всю улицу. Опасности не было. А-Чао ускорил шаги. Он вспомнил совет железнодорожника и свернул к базару, далеко обходя порт и береговую полосу Ян-Цзы.

Новости, полученные от уполномоченного, были неутешительны. Взрыв в штабе произошел неожиданно для всех. Никто, даже террористическая организация китайских националистов «Союза пламенных ножей», не ожидал его. По-

видимому, взрыв явился совершенной неожиданностью и для полиции. Начальствующие лица, допустившие его, понесли наказание за халатность.

Над базаром висел тяжелый запах гниения, перемешанный с вонью от нечистот, выбрасываемых из дворов прямо наружу. Чувствовался едкий запах опиума.

На территории советского Китая повсев опиума, торговля им и содержание курилен наказывались расстрелом.

«Только красная армия освободит наш несчастный народ от этого проклятого яда», — подумал командир.

Он вспомнил свои молодые годы. Зарабатывая тяжелым трудом кули жалкие гроши, он нес их в ближайший притон, где, накурившись до одури, проводил на грязных дыновках тяжелые часы ядовитого сна...

До центра города оставалось немного. Надо было пройти еще несколько запутанных улочек, перейти площадь и по неширокой европеизированной улице выйти на Нанкин-род, откуда было недалеко и до «Ниппон-Хотэла». Командир обошел развороченную посреди дороги яму, оглянулся и свернул в хутунг. В это время где-то невдалеке раздался крик, а затем послышался топот, загремели выстрелы. За кем-то гнались.

Командир ускорил шаги, но в эту минуту в соседнем переулке, совсем близко от него, затрещал маузер, и послышался голос:

— Лови!.. Лови!..

Просвистала пуля, затем другая.

А-Чао быстро шагнул в темную нишу ворот.

В конце хутунга блеснул колеблющийся свет.

«Фонари полиции», — подумал А-Чао, крепче прижимаясь к стене.

Огоньки скоро растаяли в темноте. Только на перекрестке одиноко горел уличный керосиновый фонарь.

Одной рукой командир нащупал документы на имя менялы Ва-Сянга из Уханя, а другой подтянул поближе висевший на поясе под сюртуком десятизарядный «парабеллум».

Снова слышались крики. Из-за угла выбежал человек. Пробежав несколько шагов, он остановился у фонаря, тяжело глотая воздух. Затем он сделал еще два-три движения вперед и бессильно обхватил фонарь руками.

Командир из своего прикрытия смотрел на него. По всей вероятности, это был жалкий базарный воришка, от голода и нищеты осмелившийся залезть в плохо охраняемую лавку.

«Сейчас ночная стража заберет его, и все будет кончено», — подумал командир.

Между тем человек у фонаря стал тихо оседать к земле. По щеке у него текла струйка крови.

Преследователи с ревом подбежали к раненому. Один из них сразмаху ударил падавшего человека по голове и закричал:

— Попался, ублюдок черепахи!..

Преследователи мало походили на ночную стражу, охранявшую базар. При свете фонаря А-Чао различил петли офицера, солдатские погоны, белые воротнички сыщиков и голубой цвет полиции. Значит, это не был простой базарный воришка.

Один из преследователей, повидимому, сержант, наклонился над упавшим, приподнял его к свету и радостно закричал:

— Он! Это тот самый проклятый разносчик, который взорвал штаб!

Раненый, поддерживаемый солдатами, медленно поднял голову. Свет фонаря озарил его лицо.

А-Чао вздрогнул: он узнал комсомольца Хо-Кэя.

— Попался, сын черепахи, коммунистическая собака, червь! Говори: это ты взорвал штаб? — нагибаясь к окровавленному лицу юноши, крикнул офицер.

Хо-Кэй безразлично взглянул на него.

Офицер изо всей силы ударил Хо-Кэя кулаком, и тот со стоном упал на землю.

Тогда А-Чао, не размышляя ни минуты, выхватил свой «парабеллум» и

выпустил в упор все десять пуль в офицера и сгрудившуюся над упавшим Хо-Кэем толпу солдат и полицейских.



Генерал Вольф, опытный военный специалист, хорошо изучил особенности гражданской войны. Недаром же, подбирая себе состав военной миссии, генерал фон-Сект остановился на нем — суровом, строптивом Вольфе. Сект отлично знал заносчивый характер этого генерала-солдафона, но он хорошо понимал и то, что в разрешении тактических задач гражданской войны, в вопросах стратегии уличного боя вряд ли кто-нибудь из остальных членов миссии мог быть полезнее генерала Вольфа, лично руководившего белыми частями в гамбургских боях. Генерал фон-Сект знал также и о том, что это с помощью Вольфа финский генерал Маннергейм в 1919 и 1920 годах подавил советское движение восставших финских рабочих и крестьян. Сект особенно настаивал перед Чан Кай-ши на расширении полномочий фон-Вольфа и полном подчинении ему штаба генерала Го Жундуна. Обстановка, создававшаяся в провинции Хубэй, близость фронта, частые крестьянские восстания, волнения рабочих в Ичане и неустойчивость нанкинских войск требовали от германского советника не только политического, но и военного вмешательства в дела армии.

Генерал Вольф был обеспокоен событиями последних дней. Поимка коммуниста, шедшего с динамитом в Ичан, таинственный взрыв штаба и, наконец, стрельба на улице взбудоражили весь город. Коммунисты, несомненно, задумали какое-то дело. Но какое? Восстание в самом Ичане? Это мало правдоподобно. Обстановка на фронте не благоприятствует этому. Красные части почти всюду с боями отходят. Правда, донесения не всегда ясны. Иной раз по сводкам получается, что отступающие отряды красных стремятся в район Ичана; иногда же кажется, будто они уходят на Сычуань.

Генерал махнул рукой. Еще со дней мировой войны он перестал верить донесениям штабов и агентурным сводкам. Все это было лживо, путанно, недостоверно. А здесь, в условиях китайской гражданской войны, тем более. Бесконечные сообщения о победах над красными оказывались ерундой, враньем. Красная армия была цела и даже изрядно поколачивала своих «победителей».

«Сюда бы один корпус баварских или померанских солдат начала мировой войны, хорошо подкрепленный моточастями и авиацией» — подумал генерал, отодвигая в сторону донесения разведки, переведенные для него еще с утра.

Задержанные коммунисты вечером должны быть допрошены. Надо во что бы то ни стало узнать, кто они такие, откуда и зачем прибыли в Ичан.

Генерал прошелся по комнате. Затем он взял со стола донесение начальника полиции и едва ли не в четвертый раз прочел:

«Когда части полиции и армейского жандармского отряда настигли раненого преступника, из темноты раздалась револьверная стрельба. Полиция и жандармы открыли ответный огонь, длившийся 20 минут. В перестрелке убиты: командир особого отряда капитан Ван Чун-ся, жандармы и трое полицейских. Ранены: сержант Хунг в руку, а полицейский Ши — в голову, ногу и живот. Кроме преступника, взорвавшего помещение штаба, захвачен неизвестный, легко раненный в плечо и кисть левой руки. При нем найден револьвер системы «Парабеллум» с 3 обоймами и 46 боевыми патронами. Неизвестный — пожилой китаец: судя по выправке, — военный, вероятно, коммунист. Полиция усиленно ведет розыски остальных стрелявших и уже напала на след. Арестованные заключены в тюрьму, в камеру, где находится ранее задержанный частями 33-й дивизии коммунист-динамитчик».

Генерал Вольф покачал головой. Пока он не видел и намека на раскрытие этой загадочной истории. На следствие он возлагал мало надежд. Он слишком хорошо знал коммунистов и не верил, что-

бы пытки при допросе могли заставить их говорить. Даже те, кого били, вешали или сжигали в паровозных топках живьем, — даже они никогда не молили о пощаде, никогда не выдавали своих тайн. Ночная пытка при «допросе», как называл ее в своем донесении начальник полиции, конечно, ничего не даст. Пойманных коммунистов будут пытаться истязать и, ничего не узнав, через день-другой расстреляют или отрубят им головы. Цель их появления в Ичане останется неизвестной.

Генерал снова заходил было по комнате, но вдруг резко остановился. Конечно! Никто — ни этот растяпа Го Жудун, ни его штаб, ни полиция не помогут ему. Единственный, кто способен дать генералу дельный совет, — это майор Ли Гуй-юань. Это настоящий военный, с кругозором, эрудицией и умом.

Генерал протянул руку к телефону, чтобы позвонить в особняк командующего, у которого, по телеграфной просьбе самого Чан Кай-ши, гостил теперь майор, но в это время в комнату вошел сильно взволнованный фон-Шер.

— Что случилось? — спросил Вольф. Капитан махнул рукой:

— Армия генерала Чжо Шао-шена, атаковавшая перевал, разгромлена. Вся артиллерия, танки и даже речной монитор попали к красным. Сам генерал убит, его штаб в плену. Армии больше не существует, так как две дивизии, перебив своих офицеров и развернув красные знамена, перешли к коммунистам. Вот телеграмма.

Генерал, насупившись, стал читать донесение.



Атаку на перевал, занятый красными войсками, повела вторая бригада провинциальной дивизии. Японская канонерка «Таку», поднявшись по Ян-Цзы, открыла огонь. Снаряды, проносясь над головой шедших в атаку солдат, разрывались в горах. Артиллерия нанкинцев также была по позициям красных.

Но на перевале царило молчание. Ни один выстрел не прозвучал в ответ.

Бригада, пройдя долину, подходила к хребту. Генерал Чжо Шао-шен в сопровождении штаба перешел с монитора на берег, чтобы лично руководить сражением. Пока все шло хорошо. Генерал был доволен своей инициативой, правда, несколько ограничившей с неповиновением генералиссимусу Чан Кай-ши, который запретил ему самостоятельно атаковать перевал. Генерал Чжо считал, что юридически он поступает правильно. Узнав о приказе Чана еще до получения его, он распорядился немедленно ударить по красным. Отменить опубликованный по войскам приказ невозможно, это снизило бы дух солдат. Да и к тому же — победителей не судят. А генерал Чжо в этом бою должен был победить.

Генерал был рослый веселый человек. Сам Чан Кай-ши благоволил к нему и любил вспоминать его остроумные словечки. Так, однажды на всекитайской конференции генералов на вопрос о разоружении отдельных милитаристов Чжо Шао-шен ответил: «Я сторонник разоружения, но я подожду, пока мои солдаты не будут достаточно обучены и подготовлены для того, чтобы я мог разоружить солдат своих противников».

В военной среде генерал считался знающим начальником, мужественным человеком и хорошим политиком. Миллионер, совладелец пароходной компании «Хуан-Хэ-Кантон», хозяин чайных и рисовых плантаций, он пользовался поддержкою Чан Кай-ши в ЦК гоминдана. Знающие люди в Нанкине утверждали, что звезда генерала Чжо только восходит и что карьера его впереди.

Генерал поднес к глазам бинокль и стал разглядывать окутанные утренней мглой очертания гор. Позади стояли молчаливый начальник штаба, сухой человек с умным и злым лицом, адъютанты, ординарцы и несколько человек из личного конвоя.

Артиллерия продолжала стрелять по горам, но начавшаяся было ружейная пальба почему-то стихала. Лишь на

флангах раздавались редкие выстрелы, в центре же, где должна была идти демонстрация наступления, они прекратились совершенно.

Затем вдруг позади войск раздалась беспорядочные залпы, а неподалеку от штаба послышались громкие голоса людей.

Генерал опустил бинокль. Мимо него нестройно, не в ногу, очень возбужденно и шумно проходила толпа солдат.

— Узнайте, какой части, — приказал Чжо Шао-шен.

— Это добровольцы, нанятые помещиками Ичанского района, — доложил подбежавший ординарец.

— На них лежит охрана батарей, — пояснил генералу начальник штаба.

Какие-то крики снова раздалась поблизости. Из-за бугра показалась группа кавалеристов. Что-то крича и размахивая руками, всадники промчались по дороге и исчезли вдаль. Только один из них на всем скаку грузно свалился с коня и остался лежать без движения посреди дороги.

— Что все это значит? — спросил генерал. Но окружающие также ничего не понимали в этой странной суматохе.

А стрельба у перевала разгоралась сильнее; чаще рвались снаряды, эхо гремело между скал.

В бинокль генералу было видно, как поднялись первая, а затем и вторая цепи наступавших нанкинских солдат. Красные двигались им навстречу. Обе стороны сближались для штыковой схватки...

Но что это? Несколько человек из цепи подались назад и были заколоты своими же. Другие, бросая винтовки, бежали к красным, размахивали руками и что-то кричали.

— Они сдаются! Они братаются с красными! — раздался вдруг возмущенный голос начальника штаба.

Командующий выронил бинокль.

— Прикажите артиллерии открыть по этим мерзавцам огонь!

Один из ординарцев бегом кинулся выполнять поручение. Но артиллерия внезапно смолкла, а за ней, словно по

команде, стала стихать и ружейная пальба.

У перевала нанкинские солдаты действительно братались с красными.

Затем генерал увидел, как под кормой у японской канонерки взвились один за другим два фонтана воды, как третий снаряд разорвался уже под самой кормой канонерки, и судно окуталось дымом.

Увидел генерал и то, как поспешно, срывая с себя погоны, бросились к пристани офицеры его конвоя. Те самые солдаты-добровольцы, которые полчаса назад прошли мимо него, теперь бежали к штабу, и впереди этой толпы неся высокий рябой солдат, размахивая ярким, нестерпимо красным флагом.

Еще не созная всего случившегося, Чжо Шао-шен бросился к пристани вслед за конвоем, но подбежавшие солдаты схватили его и поволокли к штабной палатке, над которой уже развевался красный флаг.

У входа в палатку ничком на земле лежал труп начальника штаба. Рядом блестело черное дуло браунинга самоубийцы. Повсюду были видны возбужденные лица солдат. Некоторые из них вели обезоруженных, связанных офицеров. По реке, отстреливаясь с борта и с кормы, уходило окутанное дымом японское судно.

Посадив пленного генерала в штабной автомобиль, красноармейцы повезли его к командиру корпуса Ма Ту-иню через толпу сдавшихся нанкинских солдат, которые посылали теперь проклятия своему недавнему командарму.

Сначала генерал не поверил, что сидевший перед ним худой, молчаливый человек в тропическом шлеме, в выцветшем защитном сюртуке и крестьянских сандалиях на босу ногу, был действительно Ма Ту-инь, знаменитый красный военачальник, корпус которого уже третий год громил белые нанкинские и провинциальные войска. Генерал решил было, что красноармейцы просто издеваются над ним, но скоро убедился в своей ошибке. Этот простой, скромно одетый человек энергично и толково отдавал самые разнообразные приказа-

ния беспрестанно являвшимся к нему ординарцам.

Вообще, все окружающее удивляло Чжо Шао-шена. Простота взаимоотношений между красноармейцами и комсоставом и вместе с тем строгая дисциплина, которая чувствовалась на каждом шагу. Красноармейцы сносили к штабу оружие и другие трофеи, а также деньги, найденные у плененных офицеров нанкинских частей. Порядок, спокойствие, дисциплина царили даже в малообученных крестьянских отрядах. Партизаны, женщины-бойцы, молодежь проходили перед ним. Он видел радостные лица людей. Он чувствовал на себе их взгляды, то любопытные, то торжествующие, то горящие ненавистью. Но ни одного оскорбительного слова, ни одного угрожающего жеста. Генерал облегченно вздохнул. Вдали от своих солдат он чувствовал себя безопаснее. «Типичный сельский учитель, — подумал он, вновь пристально разглядывая Ма Ту-иня. — Тем лучше! Легче будет подкупить или обмануть этого простака».

Допрос Чжо Шао-шена начался поздно ночью и кончился только под утро. Красные допрашивали тщательно, интересуясь каждой мелочью, и пленный не врал. По характеру вопросов генерал понял, что красное командование прекрасно ознакомлено с дислокацией нанкинских полков, их численностью, вооружением, настроением солдат. И, желая расположить к себе Ма Ту-иня, генерал выбалтывал решительно все, что только знал, рассказывал о нанкинских и шанхайских делах, о положении тыла, о связях Чан Кай-ши с иностранцами. Решив откровенностью купить себе жизнь, он в своих речах не щадил никого и выдал даже нескольких членов тайного антикоммунистического общества, работавших по заданию Нанкина в партийных кругах красной армии. И чем подробнее Чжо Шао-шен рассказывал, тем больше казалось ему, что он недостаточно откровенен. Разве его жизнь, которую он должен был, как ему представлялось, купить ценою признаний, не была значительно дороже, чем все то, что он сообщал красным? И он продолжал гово-

рять, путаясь и повторяясь, копаясь в мелочах, вспоминая забытое и вновь дополняя сказанное ранее...

Под утро, закончив свои показания, усталый, но совершенно успокоенный ровным и вежливым обращением с ним красных, Чжо Шао-шен спросил командира корпуса:

— Что теперь, ваше превосходительство, намерены вы делать со мною?

— Это будет зависеть от решения ваших солдат, генерал, — ответил Ма Ту-инь.

— То-есть как солдат?

— Очень просто. Если вы были для них сносным командиром, они вступятся за вас.

— А если... а если нет?

— Тогда вас расстреляют, — невозмутимо сказал Ма Ту-инь.

Генерал похолодел.

— Позвольте! Но ведь я рассказал вам решительно все, ничего не утаил.

— И хорошо сделали, — отвечал Ма Ту-инь. — Но разве вам кто-нибудь обещал за это пощаду?

— Однако я прошу вас считаться с этим. Прошу учесть мои показания. И потом... я никогда не был врагом народа.

— Вот и прекрасно! Если только ваши солдаты подтвердят это.

— Но я хотел бы сказать вам лично несколько слов, — понизив голос до шопота, заявил генерал. — Дело в том, что, желая помочь революционному движению народа, я очень охотно внес бы... если бы меня, конечно, отпустили... скажем, триста тысяч долларов... или даже пятьсот...

— Довольно! — сухо сказал Ма Ту-инь.

— Миллион! — быстро выкрикнул Чжо Шао-шен, ловя комкора за руку. — Ведь все в вашей власти.

Ма Ту-инь брезгливо поморщился.

— Уведите его, — сказал он вошедшим красноармейцам.



Генерал обвел тоскующим взглядом солдатское море, бушевавшее перед ним.

Со всех сторон раздавались злобные крики:

— Где наше шестимесячное жалование?

— Вор, отдай наши деньги!

— Убийца! Обманщик!

— Почему ты дрожишь, свинья, ты, который уверял нас, что смерть в бою желанна для солдата?

— Жирная черепаха!

— Кусок сала в мундире!

Ма Ту-инь поднял руку, и толпа затихла. Женщины, мужчины теснились внизу под трибуной.

— Товарищи, кто может сказать что-либо хорошее в защиту этого человека? — спросил командир корпуса. — В армии белых есть разные офицеры. Есть изверги, но есть и такие, которые добры и человечны с солдатами. Красная армия с радостью выслушает хорошую речь о добром генерале. Кто желает выступить в защиту Чжо Шао-шена?

Суровое молчание.

«Никто» — с тоской подумал генерал и вдруг высоким, срывающимся голосом закричал:

— Товарищи солдаты, братья! Сознаюсь, я был плох с вами... Но я это делал не со зла... по положению... Я всегда любил вас и много думал о новой рабочей жизни... Вы увидите, что я, войдя в красную армию, буду совсем другим...

Гул голосов прервал его слова:

— Смерть ему, собаке!

— Какой хитрый — войдет в красную армию!

Ма Ту-инь снова поднял руку:

— Итак, кто же хочет сказать что-нибудь в защиту генерала?.. Повидимому, никто. А плохое, порочащее может сказать кто-нибудь?

— Все могут! — хором закричали люди, и сейчас же отдельные солдаты стали протискиваться к трибуне. Поднимаясь на возвышение, они говорили о том, как по-зверски обращался с ними командующий Чжо Шао-шен. Сожженные села, ограбленные крестьяне, замученные и расстрелянные красноармейцы, как живые обвинители генерала, вста-

вали перед толпою. Список злодеяний все увеличивался. И генерал понял, что его дело проиграно.

— Я буду красным! Я буду красным! — стал повторять он, лоя руки Ма Ту-иня.

Командир корпуса хмуро отвел его трясущиеся пальцы.

— Как вы решите, так и будет, — сказал он, обращаясь к толпе.

И вся площадь ответила:

— Смерть! Смерть собаке Чжо Шао-шену!..

... Корпус Ма Ту-иня, пополнив свои ряды перешедшими к нему нанкинскими войсками и вооружив крестьян захваченным оружием, шел между тем горными тропами на Ичан.

На перевале, к которому подходили войска Чан Кай-ши, осталась лишь одна бригада, имевшая задачей возможно дольше задержать нанкинцев.

Вспоминая, как глупо он попался в руки нанкинских солдат, Ван не испытывал ничего, кроме стыда за свою нелепую оплошность. Побой, допрос в штабе дивизии не напугали его. Ван знал, что его ожидает казнь. Уже здесь, в Ичане, куда его препроводили из 33-й дивизии, он трижды подвергся избиению. Его левая рука висела, как плеть. Разбитые губы и синяки по всему телу говорили о том, что следователи, которые вели дело «неизвестного коммуниста», не очень с ним церемонились. Но за все это время тюремщики и следователи ни разу не услышали от Вана ничего, кроме стонов после очередных избиений.

Камера, в которую поместили Вана, была одной из самых глухих одиночек Северной башни тюрьмы. Крохотное оконце упиралось в противоположную стену, и в камере всегда было темно и сыро. Два раза в день один из тюремщиков молча наливал в глиняную плошку немного тепловатой бурды. Горсть непросеянного риса и кувшин с водой дополняли еду. Иногда приходили следователи-офицеры. Тогда у двери стано-

вился часовой с винтовкой, надзиратели занимали выходы из коридоров, и за дверью камеры слышались глухие удары.

Через некоторое время, вытирая зараннее заготовленным полотенцем окровавленные руки, допрашивавшие выходили из камеры, а избитый арестант, тяжело хрипя, валялся на холодном полу. Приставленные полицией писцы жадно прислушивались к его бреду и стонам, но каждый раз огорченно разводили руками:

— Крепкий! Опять ничего не сказал.

Случилось как-то, что день, другой, третий никто, кроме надзирателя, приносившего пищу, не являлся в камеру Вана. Весь мир, казалось, забыл о нем. Побой прекратились, и жизнь стала ярче проявляться в молодом организме. Первые за последние дни Вану захотелось походить по своей крохотной камере, захотелось услышать звуки человеческого голоса, говорить самому. Он стал лицом к слепому окну и, подняв кверху свою здоровую правую руку, медленно, нараспев, стал читать:

—... И когда красный свет революции в Китае сольется с алым пожаром всемирного коммунизма, тогда наступит для всех кули, батраков и голодных, для всех несчастных страдальцев моей страны великий, радостный день. В этот день рабочие Европы и крестьяне Индии, и батраки Америки, и все черные, белые и желтые труженики прокричат приветствие бойцам за Коммуну, живым и мертвым, победившим и павшим, и почтят их память горячей любовью...

Тюремщик, бесшумно приподнявши глазок в двери, старался не пропустить ни одного слова из того, что говорил арестант.

Часа в три ночи Вана разбудили надзиратель и двое солдат.

— Собирайся!

Ван вопросительно поглядел на пришедших.

— В штаб армии, — сказал надзиратель, выходя в коридор и запирая двери камеры.

Сопровождаемый солдатами, Ван по длинным, душным коридорам вышел во двор тюрьмы. Свежий воздух и ночной ветерок опьянили его, и, не в силах двигаться дальше, он опустил руку на плечо конвойного. Солдат покосился, переложил ружье на другое плечо и поддерживал ослабшего арестанта. Так дошли они до тюремного фургона.



Хо-Кэй очнулся на холодном полу полутемной камеры, через решетчатое оконце которой едва брезжил мутный свет.

«Рано еще» — подумал юноша и хотел потянуться, но тупая боль в висках остановила его. Вытянутые руки упали на колени.

— Они, видно, разбили тебе голову, сынок!

Хо-Кэй оглянулся. В углу сидел человек, весь измазанный запекшейся кровью. Правое плечо его было туго затянато бинтом, сквозь который также проступала кровь.

— Сильно же изуродовали меня эти продажные собаки, если даже ты не узнал меня, — вытирая рукавом куртки лицо, сказал незнакомец. — Я — А-Чао.

И тут Хо-Кэй увидел, как из-под кровавой маски на лице собеседника проступили знакомые черты старого партизана.

«Как они изувечили тебя!» — хотелось сказать Хо-Кэю, но в это время загремели ключи, дверь в камеру открылась, и вошел тюремный доктор в сопровождении надзирателя и конвойных солдат. От сумки врача несло иодоформом. Вся его сытая, круглая фигурка выражала самодовольство.

— Покажи рану, — сказал он Хо-Кэю, мелко оглядывая второго заключенного.

Присыпав рану порошком, доктор быстро забинтовал Хо-Кэю голову.

— Где еще болит? — небрежно спросил он.

— Всюду болит, — ответил Хо-Кэй и отвернулся.

Доктор, не слушая его, так же небрежно спросил А-Чао:

— А у тебя?

А-Чао с любопытством посмотрел на доктора. Этот господинчик возился около них только для того, чтобы до казни у них хватило силы рассказать полиции все.

— Ступай к чорту! — спокойно сказал А-Чао.

Доктор оторопело взглянул на него, потом быстро повернулся и вышел из камеры.



Карета немилосердно тряслась на ухабах, и при каждом толчке Хо-Кэй вздрагивал из-за сильной боли в раненой голове. А-Чао о чем-то напряженно думал. Два солдата, держа между коленями ружья, сидели у двери, возле которой висел фонарь, освещавший внутренность кареты. Рядом с возницей поместились жандармы с револьверами в руках.

Наконец, карета остановилась.

— Выходите!.. Не оглядываться! Марш вперед!

Солдаты окружили пленников и повели их внутрь большого каменного здания военного типа.

В приемной, плохо освещенной большой комнате с низким потолком, находилось еще несколько человек из охраны, солдаты и два-три полицейских со связками ключей и кандалами в руках. В углу сидели писцы, с любопытством глядевшие на арестованных. У стены, покрытый чехлом, стоял на треноге большой фотоаппарат.

По распоряжению тюремщика в военной форме арестованным надели наручники, а на ноги им набили тяжелые кандалы. Принесли большие лампы, и арестованных поставили поближе к свету. Писец, наведя на них фотографический аппарат, дважды щелкнул грушей. Затем записали время прибытия, приметы, приблизительный возраст, и военный скомандовал:

— Вперед!

По узким, едва освещенным коридорам шли молча, толкаясь и наступая друг другу на ноги.

Наконец, полутемный лабиринт кончился, стало просторнее и светлее.

У одной из дверей остановились, и начальник караула почтительно постучал в нее.

В большой комнате с двумя окнами висела на стене военная карта Китая, испещренная цветными карандашами и тушью. Над картой виден был большой портрет Чан Кай-ши. В углу красовались два скрещенных палаческих меча. Старые, широкие, с отточенными лезвиями, они, видимо, не раз были в работе. К их рукояткам были прикреплены длинные полоски бумаги — формуляры, на которых отмечались истории и число отрубленных этими мечами голов.

За столом с книгами, свертками бумаг, кисточками и доской для туши сидели три китайца-следователя в черных халатах, а посреди них — полицейский генерал, старый, тощий человек с высохшей, как пергамент, кожей и длинными опущенными усами.

Поодаль стоял офицер, судя по погонам, капитан.

На полу, возле стола, черной краской был очерчен квадрат — место для обвиняемых, когда их вызывали к допросу. Начальник караула, подтолкнув Хо-Кэя и А-Чао, поставил их в самый центр четырехугольника. По бокам разместились солдаты с примкнутыми к винтовкам штыками.

Хо-Кэй чувствовал локоть стоящего рядом А-Чао, видел его лицо, сохранявшее невозмутимое спокойствие.

«Буду подражать ему» — твердо решил юноша.

— Ты что же, не слышишь, что ли? — прервал его размышления офицер. — Сколько лет? Откуда родом? Имя?

Юноша, не отвечая, стал с безразличным видом разглядывать портрет Чан Кай-ши — бритое, молодежавое лицо, чуть сощуренные узкие глаза, высокий тугой воротник военного френча, золотой

жгут генералиссимуса и орден «Цветной яшмы».

— Оглох или онемел? — тихим, вежливым голосом осведомился полицейский генерал.

Юноша продолжал молчать.

— А ты? Ты тоже оглох? — поднимая на А-Чао выцветшие глаза, ласково спросил старик.

Командир зевнул и поглядел на него так, словно это было пустое место. Следователи переглянулись.

— Хочется спать? — с участием проговорил генерал. — Не дали выспаться? Ай, ай, ай, как грубо поступили. Нехорошо, нехорошо...

Он поднялся с места и, обойдя стол, подошел сбоку к Хо-Кэю.

— А ведь у тебя, наверное, есть мать... — забирая в горсть черневшие из-под повязки волосы юноши, ласково продолжал старик. — И отец, наверное, имеется, — проговорил он и с усилием вырвал густой клочок волос из головы Хо-Кэя.

Юноша побелел. Незажившая еще рана на голове начала кровоточить.

— Как, ты сказал, зовут тебя? — переспросил генерал, по волоску сдувая с ладони вырванную прядь.

Но тут он присел и охнул: А-Чао с силою толкнул его коленом в живот.

Солдаты с бранью накинулись на А-Чао и жестоко его избили.

— Ты дорого заплатишь мне за это! До своей смерти ты еще узнаешь немало мук и пожалеешь себя.

Переждав минуту, он спросил:

— Будете отвечать следственной комиссии?

Арестованные молчали.

— Ну, что ж, подождем третьего, — заявил генерал.

... Ван уже больше часа сидел в комнате, куда его привезли из тюрьмы. До ушей пленника доносились заглушенные звуки улицы, гул голосов, автомобильные гудки.

Один из солдат закурил папироску. Ван, давно уже не имевший ни крошки

табаку, жадно потянул носом табачный дым.

В безразличном взгляде солдата мелькнуло что-то похожее на сочувствие. Он вынул изо рта недокуренную папиросу и молча сунул ее Вану в рот. Второй солдат опасливо посмотрел на дверь и плотнее прижал ее.

Ван стал быстро курить, глубоко и сильно затягиваясь.

За окном где-то далеко прогудела сирена, и ее низкий колеблющийся звук обеспокоил солдат.

— Докуривай скорее!

Притушив ногою брошенный Ваном окурок, солдат поднял его и выкинул за окно.

Папироса успокоила Вана. Он закрыл глаза, и мысли его перенеслись к красноармейской газете, к политотделу, к товарищам, которых он оставил в частях дорогого ему седьмого корпуса.

Но Ван недолго предавался размышлениям. В комнату вошел офицер и командовал:

— За мной!

В комнате, куда его привели, Ван в окровавленном, с перевязанной головой человеке сразу же узнал Хо-Кэя, с которым часто встречался в корпусной комсомольской организации. Второго, пожилого, с проседью, китайца в наручниках и кандалах, Ван, как ему казалось, видел впервые.

Но А-Чао узнал Вана, которого видел не раз в политотделе корпуса.

«И он!» — подумал А-Чао, ничем не выдавая, однако, своего удивления.

Хо-Кэй тоже отвернулся от Вана со скучающим видом.

— Ну, зачем шли? С какой целью? Откуда? — снова начал допрос полицейский генерал. — Тот, кто первый расскажет все, будет пощажен. Опоздавшие... — генерал помолчал, — ... опоздавшие будут преданы пыткам, а затем казнены вот этим мечом.

И, видя, что арестованные продолжают упорно молчать, старик приказал:

— На пытку!



Допрос и пытка за ночь возобновлялись трижды. Но искалеченные, полумертвые люди не сказали ни слова.

Утром всех троих бросили в темный подвал, где на холодном, сыром полу они пролежали без чувств много часов.

К концу дня командир, очнувшийся первым, подполз к товарищам, держа в руке чашку с водой.

Хо-Кэй стонал, тихо, еле слышно. Нежное, похожее на сострадание отца к мукам любимого сына, чувство охватило старого партизана.

— Сынок, сыночек, — с трудом шевеля разбитыми, вспухшими губами, сказал он и поднес чашку ко рту юноши.

Веки Хо-Кэя приподнялись, и он потянулся к воде.

Ван лежал без движения. Если бы не короткое покашливание да изредка вырывающиеся стоны, его можно было бы принять за спящего.

По коридору зазвучали шаги, послышались голоса.

— Пришли за нами! Товарищи, умрем коммунистами! — твердо сказал А-Чао.

В подвал вошло несколько человек. Большая керосиновая лампа, которую один из солдат держал над головой, осветила мрачные, грязные стены.

А-Чао окинул вошедших быстрым взглядом и замер: перед ним стоял командир полка китайской красной армии, бывший майор Ли Гуй-юань, в новеньком щегольском мундире генерала нанкинских войск.

— Здорово, приятель, — улыбнувшись краешком губ, сказал Ли Гуй-юань и, тотчас повернувшись к соседу, пожилому офицеру в иностранной форме, заговорил с ним на каком-то непонятном языке.

При первых же звуках знакомого голоса Ван приподнялся. Сомнений не было: это майор Ли, его недавний кумир, человек, которому Ван собирался посвятить свои стихи. Кровь бросилась ему в голову.

— Подлец! — дрожа от злобы и охватившего его отчаяния, крикнул Ван.

Иностранец что-то сказал Ли Гуй-юаню, и оба они, сопровождаемые чиновниками и стражей, пошли к двери.

В подвале снова стало темно и тихо.

Что все это могло значить? Зачем целых три с половиною года майор Ли Гуй-юань ожесточенно дрался с белыми генералами? Зачем он, как будто не за страх, а за совесть, обучал военному делу крестьянские толпы, превращая их в красноармейские отряды?

— Я уверен, что это он выдал нас, — первым нарушая молчание, с мрачной ненавистью сказал Ван.

— Конечно, он! — подтвердил Хо-Кэй. — Если бы не этот предатель, мост...

Но тут А-Чао, забывая о ранах товарища, положил ему на рот свою большую, тяжелую ладонь.

— Хо! Если ты еще раз повторишь это слово... Что бы ни случилось, мы должны молчать...

И через минуту он продолжал:

— Я не знаю, кто виноват в том, что ты, Ван, попался в лапы к белым... Может быть, майор, действительно, изменник. Но в том, что я сижу здесь, в подвале, виноват только я сам. Никто не знал обо мне, никто не заставлял меня выбегать на помощь к Хо-Кэю. И никто до сих пор ни разу не назвал ни моего имени, ни звания, ни цели прибытия сюда. Не называли, насколько мне известно, и вас... А ведь майор Ли Гуй-юань находится здесь уже давно. Я шестнадцать дней назад встретил его на улице в Ичане...

Он помолчал. Потом, еще больше снижая голос, добавил:

— Это показывает, что майор не знает о нашей цели, и мы должны до самой смерти молчать о ней...

Не прошло и часа, как в коридоре снова зазвенели ключи, и трое солдат в сопровождении тюремщиков вошли в подвал. Один из них, с нашивками сержанта, осветив фонарем лицо А-Чао, сказал:

— Вставай! Пойдем за нами.

А-Чао поднялся. Ван также привстал

на колени и вопросительно смотрел на вошедших. Но сержант махнул рукою:

— Остальные не нужны!

... Солдаты ввели А-Чао в кабинет с тяжелыми шторами на окнах. Посреди комнаты за прекрасным письменным столом, заваленным бумагами, сидел в кресле Ли Гуй-юань.

На стене висела карта военных действий с флажками, воткнутыми в различных пунктах провинций Шэньси и Хубэй. На легком лакированном столике стояли чашечки с отпитым чаем, сифон с коньяком-микст, лежало несколько ломтей английского кэкса.

Бывший майор неспеша докурил папиросу, аккуратно потушил ее о перламутровую пепельницу и приказал сержанту:

— Выйдите в коридор. Когда надо будет, я позову.

Сержант вышел вместе с солдатами.

Ли Гуй-юань встал, подошел к А-Чао и коротко спросил:

— Ты узнал меня, конечно?

Старый партизан впервые пожалел о том, что руки его скованы. Он отвернулся и, звеня цепями, отошел к окну. Внизу горели огни световой рекламы, слышался уличный шум. Приглядевшись, он сообразил, что это центральная площадь Ичана.

«Значит, мы в помещении штаба. Вон за тем углом начинается Нанкин-род, а через два квартала — и мой «Ниппон-Хотэл» — подумал командир.

— Слушай, А-Чао, — прервал его размышления Ли Гуй-юань, — завтра утром вас расстреляют, тебя, Вана и Хо-Кэя... Ты видишь, я знаю вас и знаю, зачем вы пришли в Ичан.

А-Чао криво улыбнулся и с презрением взглянул на Ли Гуй-юаня.

— Это я настоял на расстреле, — продолжал между тем Ли Гуй-юань. — Вам хотели отрубить головы...

— Напрасно старался, предатель! Нас не страшит никакая казнь, — твердым, отчетливым голосом сказал А-Чао.

— Я знаю, ты храбрый человек, А-Чао, — невозмутимо продолжал Ли Гуй-юань. — Но дело не в этом. Дело

в том, — и тут он почти вплотную подошел к стоявшему у окна узнику, — что ты, командир красноармейской роты А-Чао, сегодня в беседе со мною сознался, что прибыл сюда, в Ичан, со специальной целью взорвать...

Глаза А-Чао метнули молнию. О, если бы не эти цепи!

— ... взорвать штаб генерала Го Жу-дуна, — наклонившись к самому лицу командира, прошептал Ли Гуй-юань.

А-Чао вздрогнул. Уж не смеется ли над ним этот изменник? Но нет, лицо Ли Гуй-юаня было сурово, губы крепко сжаты, а пронизательные, умные глаза смотрели прямо в упор.

Что-то большое и радостное шевельнулось в сердце А-Чао. Но он сейчас же отодвинулся и сказал:

— Отойдй прочь, предатель!

— Нет, я не предатель, — возразил Ли Гуй-юань. — Делай так, как я говорю тебе.

И затем вдруг он обнял А-Чао и, прижимая к себе его седую голову, прошептал:

— Мой старый боевой товарищ, ты можешь умереть спокойно: Ичанский мост будет взорван!

Когда через час в кабинет вошла охрана, чтобы увести заключенного, на столе лежал протокол допроса, подписанный сознавшимся во всем А-Чао.



Ли Гуй-юань ошибся: арестованных коммунистов не расстреляли, им отрубили головы.

Когда Го Жу-дун прочитал донесение следственной комиссии, закончившей дело о взрыве штаба и покушении на жизнь командующего, Ли Гуй-юань сказал генералу:

— Теперь осталось последнее: расстрелять всех трех и оповестить об этом население.

Но Го Жу-дун высоко поднял брови:

— Расстрелять? Нет, я, как китайский политический и военный деятель, стою за старый национальный вид казни — отсечение головы мечом. Этот способ имеет тысячелетнюю давность,

и, клянусь, ничего худого я в нем не вижу.

Фон-Вольф утвердительно мотнул головой:

— О, да! Иного они и не заслужили.

И командующий наложил резолюцию: «Казнить мечом, без промедления».

Отодвинув бумаги, Го Жу-дун погрузился в раздумье. Обстановка не нравилась ему. Красная армия ускользнула от ударов Чан Кай-ши, и очень может быть, что красные, идя лесом и горными тропинками, приближаются к Ичану.

Командующий поднял глаза на собеседников:

— Каково ваше мнение, господа, — возможно ли появление противника у Ичана?

Фон-Вольф вспомнил недавний взрыв и перепуганное лицо Го Жу-дуна. Ему стало весело.

— Конечно, возможно, — сказал он. — Для нерегулярных полупартизанских отрядов все возможно.

— Думаю, что продемонстрировать они будут именно в направлении Ичана, — подтвердил и Ли Гуй-юань.

— Что же делать? — спросил Го Жу-дун.

Этот беспомощный, бездарный генерал возмущал фон-Вольфа. «И зачем ему понадобилось идти на военную службу, когда из него вышел бы отличный маклер» — подумал он.

И ответил:

— Надо поручить охрану города дельному генералу, настоящему военному, а не этому вашему Ян Ху-чжену.

— Да, но где взять настоящего военного? — вздохнул Го Жу-дун!

— Как где? — возмутился фон-Вольф. — Перед вами в обстановке боевой тревоги проводит целые дни без дела ваш лучший офицер!

И он глазами указал на Ли Гуй-юаня.

— Ваше превосходительство, — ответил Го Жу-дун, — вы говорите то, о чем я думаю все эти дни. Но... — тут он протянул обе руки к Ли Гуй-юаню и умильно добавил: — ... но ведь высоко-

чтимый генерал Ли не пойдет, не захочет пойти хотя бы и во временное распоряжение к ничтожному его слуге Го. Не так ли?

— Если дело этого требует, пойду, — ответил Ли Гуй-юань.

— Но это будет небольшой для вас пост. Ведь генералиссимус обещал вам отдельную армию.

— Для того, чтобы заслужить армию, надо хорошо покомандовать полком, — засмеялся Ли Гуй-юань.

— Значит, вы согласны?

— Да, я в вашем распоряжении... Что непосредственно переходит ко мне?

— Город, река и порт... Мой дорогой друг Ли, какое тяжелое бремя вы с меня снимаете! Теперь я спокойно займусь гражданским управлением.

Он обнял Ли Гуй-юаня и, улыбаясь, повернулся к фон-Вольфу:

— Благодарю вас, генерал, за мысль привлечь моего друга, генерала Ли, к боевой работе.

«Толстая лиса» — подумал фон-Вольф и одобрительно хмыкнул.



Утро было мягкое, с теплым ветерком, с розовыми облаками, проходившими высоко в небе.

Посреди тюремного двора стоял короткий стол, около которого прохаживался палач — низкорослый человек в цветном халате с оттянутыми назад рукавами. Помощник палача устанавливал на каменных плитах двора широкое, оцинкованное корыто с желобком.

Тут же стояли осужденные. Человек десять жандармов с маузерами и несколько полицейских окружали их.

— Цосс! ¹⁾ — закричал вдруг жандармский офицер.

Во дворе появилась высшая администрация. Впереди шел начальник гарнизона генерал Ян Ху-чжен. За генералом, что-то тихо ему объясняя, семенил начальник полиции. Шествие замыкали судья, военный юрист, жандармские офицеры и полицейские надзиратели.

Несколько в стороне шли бывший майор Ли Гуй-юань и один из членов германской миссии, капитан Шеллер, с «лейкой» в руках.

Группа остановилась перед палачом.

Капитан навел объектив, щелкнул аппаратом и сказал Ли Гуй-юаню довольным голосом:

— Это будет отличный снимок.

— О, да! — подтвердил бывший майор, подходя к столу, на котором лежали мечи. — А вот, дорогой капитан, настоящие мечи настоящего китайского палача...

— ... которыми, спустя несколько минут, будут отрублены головы настоящим коммунистам, — добавил, смеясь, Ян Ху-чжен.

Перед группой довольных, отлично одетых людей, окруженных вооруженной охраной, стояли три скованных, избитых, измученных человека, на обрывках одежды которых темнели засохшие пятна крови.

Генерал Ян Ху-чжен холодно оглядел всех троих. Ему не нравилось презрительное спокойствие осужденных.

— Я думаю, ваше превосходительство, нечего терять времени. Приговором известен, теперь надо действовать палачу, — сказал начальник полиции.

Ян Ху-чжен кивнул головой.

Начальник полиции подал знак, и надзиратели засуетились, подталкивая осужденных.

Первым подошел Ван.

— Встань на колени! — сказал ему палач.

Ван обернулся и прямо в лицо офицерам и полицейским закричал:

— Да здравствует советская власть! Красная армия Китая отомстит за нашу смерть!

Жандармы бросили Вана на колени у самого корыта, и сильный удар меча отделил ему голову от туловища. Кровь брызнула, окрашивая землю и стекая в корыто по желобку.

Капитан Шеллер щелкнул аппаратом. Вторым был А. Чао. Он коротко сказал:

— Да здравствует коммунизм!

¹⁾ Смирно!

И опустился на колени.

— Предателям смерть! — крикнул Хо-Кэй, когда подошла его очередь, и плюнул в лицо Ли Гуй-юаню. Окрашенный кровью плевков упал на рукав новенького генеральского френча Ли Гуй-юаня. В третий раз сверкнуло широкое лезвие меча...

Солдаты взвалили трупы казненных на ручную двухколесную тачку. Помощник палача смывал кровь с меча. Поли-

цейские засыпали песком кровавые пятна.

Ли Гуй-юань сел в щегольской автомобиль Го Жу-дуна, поджидавший у ворот тюрьмы. Когда машина двинулась, бывший майор задернул шторы и задумался. Лицо его посерело, глаза стали сосредоточенны и влажны. Он приблизил локоть к лицу и поцеловал пятно на рукаве, то место, куда попал плевков Хо-Кэя.

Конец первой книги.

Ошибка капитана Шибаева

Рассказ

Л. ОСТРОВЕР

I

Пахло мятой, и этот холодный запах раздражал капитана Шибаева. Несколько раз он вставал, подыскивал глазами другое место, куда можно было бы скрыться от назойливой мяты, но вновь усаживался, точно не верил, что мыслимо такое место. Один раз показалось капитану Шибаеву, что неловкость вызвана бугристостью ступеньки, на которой он сидел. Шибаев прошелся рукой по ступеньке, но сразу поймал себя на том, что он не оцупывал доску, а выбивал по ней барабанную дробь.

Плохо себя чувствует капитан Шибаев. Необычно плохо. Сосновый лес уходит на восток и запад двумя синими крылами. Комсоставские дома, алеющие черепицей крыш, кажутся опознавательными знаками на крыльях гигантского самолета. За лысой поляной, отороченной редким березняком, притаился лагерь. Над конюшнями застыл молодой месяц, похожий на обломок стремени.

Кругом — тихо, странно-тихо, словно люди не спят, а лежат с раскрытыми глазами и, сдерживая дыхание, следят за капитаном Шибаевым. Даже цепи, которые обычно гулко звякают по жести коновязей, теперь ходят мягко и почти беззвучно, словно их подбили шинельным сукном.

Шибаев чувствует стеснение в груди: ему кажется, что мысли с трудом пробиваются сквозь липкую толщу, и

поэтому доходят они до сознания разжиженными намеками.

Шибаев встал. Посмотрел на цветы перед домом, на черный силуэт леса, привычным движением одернул гимнастерку, подобрался и взошел на крыльцо. По мере приближения к комнате шаги Шибаева теряли уверенность. Дверь он открыл легким нажимом плеча и мучительно ждал обычного повизгивания петель. Дверь не скрипнула.

В комнате душно, хотя оба окна настежь раскрыты. Катюша лежит, свернувшись. Кажется: она накрыта молочной сеткой.

Шибаев на цыпочках подошел к столу. Шпоры деревянным скрежетом отмеряли шаги. Шибаев опустился в кресло, которое стояло спинкой к столу, и опасливо, точно боялся этим движением разбудить жену, поднял голову. Глаза его встретились с взглядом Катюши.

— Я разбудил тебя?

— Нет. Давно не сплю.

Лицо жены было теплое.

Шибаев шагнул к кровати.

— Катюша! Я честный человек?

В его голосе слышалось раздражение.

— Честный, — просто, буднично ответила Катюша.

Этот простой и будничный ответ успокоил было Шибаева, но, подметив напряжение во взгляде жены, он еще сильнее разволновался. Остро очерченный нос вздрагивал, а узкое и длинное лицо казалось еще больше сплющен-

ным. Одни только глаза были мягко затенены.

— Катюша. Если надо будет... Пойми... Это очень важно... Я сумею умереть...

Катюша розовела в рассвете. Ожились ее глаза. Из ночной неясности влажно вырезывались припухлые губы, и загоралась красная полоса на правой щеке.

Катюша потянулась к мужу, поправила ремень на его плече, заботливо заглянула ему в глаза.

— Ты устал, Коля.

Шibaев отодвинулся. Тонкий, ловкий, подтянутый — он стоял несколько мгновений по-строевому четко.

Катюша приподнялась на колени. Черная ленточка от сорочки упала с левого плеча.

— Коля. Твоя жизнь нужна, а ты о смерти говоришь, — мягко, нараспев сказала Катюша, боясь вызвать новую волну раздражения.

— Сложно стало...

И Шibaев вновь возвысил голос до крика:

— Что я должен делать?! Обучать бойцов делу или психологией заниматься!? Неужели в таком деле, как военное, можно считаться с настроением бойца?! С его вкусами...

— А Гунько ведь считается. — И, чтобы ослабить впечатление от этих суровых слов, Катюша прижалась теплой щекой к щеке мужа.

Шibaев оторвал щеку, жестко посмотрел на жену. Потом подошел к столу, опустился в кресло, снова встал, вернулся к кровати. Заговорил тихо, почти шопотом.

— Неужели мой эскадрон хуже гуньковского? — Он склонился, накрыл своими ладонями пальцы жены.

— Катюша, чего-то я не понимаю. Люди другие. Даже ты. Была — маленькая. По мостику боялась переходить. А теперь какие-то гигантские сооружения проектируешь...

— Другие, Коля, — вплела Катюша свой спокойный голос в шопот мужа. — Стахановцы, бригадиры...

Шibaев это хорошо знал, все же ни разу не прервал жену. В голосе Катю-

ши была необычная теплота, и Шibaев, слушая жену, думал: откуда эта теплота? Потому ли, что Катюша со сна, или потому, что в ее знакомых словах кроется иной, непонятный ему смысл.

Несколько минут молчал Шibaев. Наконец, ему ясно стало, что они говорят о разных вещах.

— Что мне в их биографиях!? Я должен учить их рубить, стрелять. Чего же еще?

Катюша рассмеялась — звонко, по-девичьи.

Шibaев удивленно смотрел на жену.

— Коля. Помнишь «Боярина»?

— Помню, — ответил он сдержанно.

— Помнишь, как ты мучился с ним? Помнишь, как каждый раз, когда ты его подводил к канаве, он бросался в сторону...

Шibaев встал, насупленно подошел к умывальнику, снял снаряжение, стянул через голову гимнастерку и начал умываться.

Катюша поняла, что воспоминания раздражают мужа. Она легла, дотянула одеяло до подбородка и, лукаво скасывая глаза, следила за Шibaевым. Умываясь, он отфыркивался, как конь, которого силком загнали в воду, потом неистово тер тело мохнатым полотенцем.

— Не больно, Коля?

— Нет, Катюша. Не больно.

В лагере заиграли «под'ем». Бодрый мотив, пробиваясь сквозь чащобу, терял свою металлическую четкость; «под'ем» звучал интимно и приглушенно, как детская песенка.

Шibaев торопливо оделся, стянул пояс на одну дырку дальше обычного, подтянул наплечный ремень, рывком обнажил клинок и проверил лезвие. Направился к двери и с порога сказал:

— Прощай, Катюша.

Откозырнул и вышел.

Четко вызванивали его шаги. Заглохли.

Звон шпор снова приближается. Трель замирает у самых дверей, точно подошедший не может решиться войти. Наконец, раскрылась дверь.

Катюша улыбнулась. Шibaев, не глядя на жену, раскрыл ящик, достал оттуда несколько коробок папирос, расстал их по карманам и вновь направился к выходу.

— И это все? — спросила Катюша насмешливым голосом.

Шibaев подошел к жене, поправил на ней одеяло, придвинул к постели табуретку, на которой лежали папиросы и спички, достал с полки и присоединил к папиросам коробку с печеньем.

Катюша старалась перехватить его взгляд, но — тщетно: Шibaев делал свое дело холодно-сосредоточенно. Закончив, он сказал сухо, почти рапортуя:

— Даже маневры убедят вас всех, что я прав. Военное дело не знает лирики.

И вышел.

II

Кухни ушли на рыси, и едва только пыль рассеялась среди деревьев, — трубач заиграл «сбор»:

Сберитесь, быстрее сомкнитесь,
всадники ратные, бурею ринуться,
саблею тешиться,
дружно мы слоим врага.
Слушай, всадники-други,
звуки призывной трубы...

Эскадроны выстроились вдоль коновязей, бойцы — при конях.

— По ко-о-о-ням!

Из эскадрона в эскадрон перекачивается команда. Звякает упряжь, ржут кони, позванивают стремена.

Из штаба полка, блестя медью инструментов, надвигается серая масса. Далекая команда.

Грянул оркестр.

Кавалерийский полк выступил на тактическое учение.

Двухверстка испещрена цветными карандашами. Пунктиры идут вдоль и поперек, пронизывают кружки, бегут по берегу синих речек, углубляются в зелень лесов. Цветные линии, несмотря на кажущуюся хаотичность, бегут

стройными соединениями к незакрашенному рубежу.

Двухверстка — проекция земли, как день — проекция вечности. И на проекции этой земли жирной точкой чернеет лагерь.

Капитан Шibaев лежит плашмя, в траве. Рядом с ним, также уткнувшись в карту, лежат командиры его эскадрона. Тишину леса хлопотливо будоражат звонкие шмели.

Шibaев не думает над решением задачи: он разглядывает точку, жирную точку лагеря. Он удивляется, как может такое множество людей поместиться на малюсенькой точке. В особенности — Гунько! Толстый, грузный Гунько!

Сосны отливают медью. Высокие купы покачиваются нехотя, сдержанно. Кони нервно позванивают уздечками. Изредка хрустит хвоя под ногами приближающегося бойца.

— Ковтук — это повторение марша Кутузова, но в иной обстановке, так же, как танки являются повторением слонов Ганнибала. Вот Наполеон...

Шibaева сегодня раздражает младший лейтенант Громов, раздражает, как назойливое гудение шмеля.

Шibaев ловко вскакивает на ноги. Командиры мгновенно проделывают то же, а лейтенант Громов почему-то подносит руку к козырьку. Может, вследствие этого жеста обращается Шibaев именно к Громову.

— Пошли Левушкина. Пусть держит паром на нашем берегу.

Лейтенант Громов «проработал» уже Клязуевича. Стратегия для Громова — высшая конкретность с учетом психологических неконкретностей. Раньше надо решить конкретное и только потом взвешивать психологическое, невесомое. В распоряжении Шibaева Громов не уловил стратегической конкретности: в задании не входило лишение «врага» переправы.

— «В 10.00 занять высоту 96. Расстояние от реки — 22 км. Местность — пересеченная. Пулеметный эскадрон Гунько направляется к той же высоте с заданием помешать сабельному эскадрону занять высоту 96...»

— Есть! — отрапортовал Громов.

Он сделал налево кругом, рысью пошел к спешенному эскадрону.

— Боец Левушкин!

С конем на поводу подбежал боец с фигурой атлета и глазами восторженно-го ребенка. Он остановился, замер перед Громовым, но с обеих сторон бойца продолжалось движение: его шашка раскачивалась, как маятник, а конь, точно заведенная игрушка, мотал головой, бил хвостом, попеременно поднимал задние ноги.

Громов повторил распоряжение Шибаяева, убедился, что распоряжение правильно понято, и вернулся к командирам.

Шибаяев заметил, что Левушкин чересчур низко собрал повод и поэтому, вскакивая в седло, ухватился за гриву, а не за холку, Шибаяев заметил, что Левушкин шпорами при натянутом поводке поднял коня в галоп, Шибаяев заметил, что Левушкин об'ехал поваленное дерево, а не перепрыгнул через него. Шибаяев повернулся к Громову.

— В академию готовитесь, товарищ лейтенант, а бойцы у вас ездят, как пожарные.

Громов посмотрел вслед Левушкину: прекрасная посадка и конь под ним идет ритмично, как поршень в цилиндре.

— О ком говорите, товарищ капитан?

Шибаяев понял: Левушкин сгоряча допустил несколько погрешностей, но конник он хороший. Зря придрался.

Шибаяев ухмыльнулся.

— Это я так, чтоб ты не зазнавался. А то бубнишь все время про Наполеонов и про Ганнибалов. — Он достал портсигар, настоял, чтоб Громов угостился, и, подавая ему огонь, внезапно спросил: — Побьем Гунько?

Громов не курил, его тошнило от табаку, но на этот раз решил взять папиросу.

— Побьем, Шибаяев! — ответил Громов добротнo, баском и сделал несколько глубоких затяжек.

Хотя душно и муторно стало в лесу, хотя сосны стали покачиваться, как в грозу, но Громов блаженно улыбался.

Попав в такой полк, который с клинком прошел от Кубани до Варшавы, в такой полк, где многие командиры по своим рубцам или орденам восстанавливали историю гражданской войны, Громов устыдился своих 22 лет, своего бархатистого лица, с девичьи-пухлыми губами. В первое время Громов старался говорить басом, но получилось неестественно: Шибаяев направил его к врачу лечить простуду. Тогда Громов решил бороду отрастить, но и из этой затеи ничего путного не вышло: волос шел такой светлый, что только на ближайшем расстоянии можно было его заметить. Все командиры, особенно «старрики», относились к Громову любовно-ласково, но Громов, не зная, что это отношение вызвано именно его наивной молодостью, раздражался, усматривая в предупредительности «стариков» обидное высокомерие. Армейская жизнь младшего лейтенанта Громова не налаживалась. Однажды на плацу, после занятий, подошел к Громову помполит Кудеяров.

— Любишь яблочный пирог?

Громов раньше восторженно ответил «люблю», потом, спохватившись, удивленно посмотрел на помполита, почувствовав подвох в этом странном вопросе.

— Вот и хорошо, — спокойно сказал помполит, — приходи обедать сегодня. Пирогом угощу и поболтаем.

Громов хотел отказаться: о чем беседовать? Помполит тоже «старик»! Ведь это он во главе взвода ворвался в Новоград-Волынский. Ведь это он с сорочка бойцами изрубил польский штаб дивизии, ведь это он, будучи старшиной в особом дивизионе, прикончил махновщину... О чем беседовать? Что может рассказать он, 22-летний младший лейтенант? Разве только о том, что в семилетке он мечтал о кавалерии, или о том, что ночи такие короткие, а учебники по стратегии — многотомные и трудные? Может, пожаловаться на то, что французы и немцы пишут свои книги чорт знает на каких языках, только не на русском?

Помполит протянул руку:

— Ровно в 16 жду.

И Громов не успел отказаться.

Обед был вкусный, и разговоры были самые пустячные. Валентина Осиповна спрашивала: как он думает использовать отпуск, нравится ли ему Ромэн Роллан, почему он не ест простокваши по утрам? Громов чувствовал себя так хорошо, что рассказал о Зине, которую он пылко любил три года, а она почему-то уехала в Арктику, рассказал о матери, которая возвращалась домой поздно вечером и то с набитым портфелем парторговских дел, Громов хвалил какого-то Вову Сторыковского, но никак не мог толком объяснить, почему этот Вова достоин похвалы. Яблочный пирог был, действительно, отменный. Громов попросил Валентину Осиповну рассказать, как делается такой пирог. Глаза Валентины Осиповны смеялись. Кончик носа с крошечной отметиной — не то родинка, не то пятнышко — вздрагивал.

— На всякий случай, — пояснил Громов, сам устыдившись своего наивного вопроса.

Вместо Валентины Осиповны ответил помполит.

— Легче легкого. Бери немного муки, сахару и яблок. Все это смешай и ставь в печь. Правильно, Валя?

— Так, — серьезно подтвердила Валентина Осиповна.

После обеда помполит угостил Громова сигарой.

— В штабе дивизии подарили. Душистая, говорят.

Хорошо, что Валентины Осиповны уже не было в комнате: Громова вытошнило. Кудеяров уложил гостя на диван, заставил его лимон пососать, а когда Громов оправился, помполит напоил его крепким чаем. И только за чаем завязалась беседа.

— Не умеешь курить, не кури. Ты чего чудишь? Кого ты удивить хочешь? И чего по ночам просиживаешь? В гроб себя вогнать хочешь? Учиться? Хорошо. Учись. Но учись толком. А то ходишь на занятиях осенней мухой. И какой из тебя кандидат в академики, когда ты языков не изучаешь? Преподавателя нет? А ты мне когда-нибудь говорил, что тебе преподаватель нужен?

Дам ли? Ясно, дам. Но ты чудачества брось. Понятно? Засядем с тобою, план выработаем...

И Громов после этого обеда не прибежал больше к наивным ухищрениям, чтобы скрыть свою наивную молодость. И папиросу он взял у Шибаева не для того, чтобы казаться взрослым, а потому, что внезапно понял Шибаева. Он понял, что Шибаев пошел на хитрость не из опасения провалить тактическое задание, а для того, чтобы досадить капитану Гунько.

— Николай Павлыч, влетит за паром. — Громов сказал это внушительно, нараспев, как старший, опытный товарищ.

Шибаев ничего не ответил. Направился к эскадрону. Кони неистово помахивали хвостами. Бойцы лежали напряженно, готовые одним прыжком встать на ноги. Шибаев, ловкий и стройный, шел от коня к коню, высматривал что-то, наконец, скосив глаза в сторону Громова, остановился возле «Грача» и проверил подругу. Громов смутился: он был уверен, что у «Грача» подруги не отпущены.

Так и оказалось!

Шибаев шагнул в сторону, под сосны, где расположилось отделение.

— Отдыхаете?

— Отдыхаем, товарищ капитан! — ответило несколько бойцов.

— А конь не должен отдыхать?!

Бойцы вскочили. Гимнастерки утыканы зелеными иглами.

— Товарищ Ерохин! Вам зянька нужна?

— Товарищ капитан, — пытался Ерохин оправдаться, — стоит подругу отпустить, он седло вмиг сбросит. С хитрецей конь.

— Отпустить подругу!

— Есть, товарищ капитан!

Шибаев выждал, пока Ерохин выполнил распоряжение, и двинулся с места. Громову показалось: капитан шагает по мраморному полу и сосны снизили свои ветви. Громов ждал упреков.

Вот останавливается Шибаев, поворачивает голову. Лицо — каменное, глаза — хмурые.

— В боевой обстановке надо использовать малейший шанс.

Громов глянул в сторону: под соснами движение. Все бойцы на ногах: проверяют подпруги. Кони отфыркиваются, задирают головы, бьют копытами...

Громов подошел вплотную к Шibaеву, сказал ему шопотом:

— Повторяется история с Гроховским.

Громов ясно увидел связь между такими событиями, которые на первый взгляд ничего общего между собой не имели. Назвать, оярычить эти события Громов не мог бы. Это были события дробно-этического порядка, но тем не менее яркие в шкале советской нови...

... «Бард» понес бойца Гроховского. Конь, наострив уши и распушив хвост султаном, несся гигантскими скачками, все усиливая ритм бега. Ноги Гроховского обрубем обхватывают коня; строевые шпоры, длинные и острые, впиываются коню в бока.

Первым опомнился Шibaев. Без слов, рывком, снял он ближайшего конника с седла, сам вскочил на его коня и пустился за Гроховским. Шibaев несется наперерез, чтобы не допустить обезумевшего «Барда» повернуть влево, где видны красные огневые знаки пулеметчиков, Шibaев несется в ястребином гоне, чтобы перехватить «Барда» до того, как он юркнет в лес. В обоих случаях погибнет Гроховский: или попадет под пулеметную дробь, или разобьется в лесу о крепкие сосны.

«Вот это командир!» — подумал Громов, восхищенными глазами глядя вслед Шibaеву.

«Бард» свернул к пулеметчикам, но, услышав за собою топот, рванул вправо. Гроховский сначала улыбался, но, осознав, что не совладать ему с конем, побелел и с'ежился. Лес мчался навстречу с такой быстротой, точно его также нес обезумевший конь. От напряжения или от страха выпали ноги из стремян, и вместо того, чтобы отвести шпоры, Гроховский еще круче вонзал их в конские бока.

Удлинилось расстояние между Шibaевым и Гроховским. «Бард», резвый молодой конь, рвал пространство со все нарастающей быстротой, как парусная лодка при свежающем ветре. Шibaев же шел на упрямом «Граче», который все время дергал повод к земле.

Тогда переменял Шibaев направление: он пошел в хвост «Барду», выбрасывая «Грача» короткими укулами.

Видя впереди себя молодого коня, почувствовал себя «Грач» обиженным, хотел вынестись вперед, чтобы пробежать мимо «Барда», фыркнуть с презрением и лихо гоготнуть.

Несется третий конь.

Шibaев обернулся. Конь Громова идет, как борзая на зайца: с азартом охотника.

Но «Грач» не дал себя обскакать. Он настойчиво нагонял «Барда».

Шibaев направил своего коня вдоль «Барда», откинулся вправо и орлиным когтем вцепился в пояс Гроховского. «Бард» ушел из-под всадника, а Гроховский, уже в воздухе, рванулся вслед за конем, потом повис, как пловец, бросившийся с вышки.

Громов, готовый к прыжку, во-время заметил маневр Шibaева. Он ушел под углом; из-под передних ног его коня стрельнули два облачка.

— Становись на ноги!

Гроховский встал на ноги, подтянул штаны и растерянно улыбнулся.

Громов под'ехал к Шibaеву. Хотел ему руку пожать, или хотя бы с благодарностью заглянуть ему в глаза. Но изумился: глаза Шibaева — злые, пренебрежительно-злые.

— Кавалерист! Коня удержать не можете!

Не только слова, но и голос Шibaева был злой, пренебрежительно-злой...

III

Пулеметный эскадрон на крупной рыси подошел к берегу. Ездовые еле сдерживали коней на крутом вираже. Лесные колеса тачанок поднялись в воздух,

и вторые номера, балансируя телом, с трудом сохраняли равновесие.

Капитан Гунько повернулся к своим бойцам и озабоченно сказал:

— Приехали, товарищи.

Лицо капитана Гунько казалось обрабтаным золотом. Много металла пошло на усы и брови, два кружка — на глаза и тысячи крупинок — на веснушки. Хотя золото сияло на солнце, все же заметили ездовые с первой тачанки, что лицо командира эскадрона угрюмо-озабоченное. Гунько сидел в седле грузно, разочарованно, и левая его рука решительно уткнулась в бок. Круглая голова капитана, которая обычно держалась прямо, с готовностью слушать, была сейчас подозрительно-настороженно склонена набок.

— Не успеем, — шепнул ездовый второму номеру.

Оба бойца глянули на реку. Она текла широкой и щедрой струей. Многочисленные водоверти морщинили водную гладь.

Первый номер встал, сложил ладони рупором.

— Дай паром!

Крик не дошел до противоположного берега: слова упали в воду, заглохли.

Гунько не обратил внимания на крик, точно его не расслышал, хотя конь под ним вздрогнул. Ему не нравилось выцветшее небо, пронизанное белесыми полосами. Еще в лесу, ведя тачанки форсированным маршем, Гунько обратил внимание на шаловливый ветерок, который бежал впереди эскадрона, шуршал в листве, звенел игольчатой хвоей и выплетал завитки в дорожной пыли.

Несколько раз Гунько прикладывал часы к уху, хотел себя поймать на оплошности, но оплошности не было: он прибыл к реке в точно назначенное время.

К Гунько подехал политрук. Крепыш с грудью кузнеца. Он вытащил три сосновые иглы из гривы своего коня, дотянулся до челки, прочесал ее пальцами и только после всех этих манипуляций серьезно сказал:

— Значит, подвох.

Гунько убедился, что небо нехошее, хотел об этом сказать политруку, но с первой тачанки спрыгнул боец, подошел к командиру и отрапортовал:

— Разрешите пригнать паром!

Гунько не удивился, точно ждал такого предложения. Он посмотрел в глаза бойцу, улыбнулся и добродушно ответил:

— Не разрешаю, товарищ Гроховский.

Пальцем показал Гунько на горизонт. Там накапливались грозовые тучи: синие с черными подпалинами. Часть этих туч уже плыла по прямой на пулеметный эскадрон, оставляя за собой грифельный след ливня.

Гроховского не убедил довод командира. Он приложил руку к козырьку.

— Я не вплавь, товарищ капитан!

Гунько и политрук одновременно сделали разные вольты: хотели раз'ехаться. Гроховский шагнул вперед, сказал решительно:

— Я по тросу, товарищ капитан!

Острое птичье лицо с глубоко сидящими глазами. Нос тонкий, как лезвие клинка. Губы — прямые. Вглядываясь в это лицо, Гунько осознал, что именно из-за этого бойца Шибаете решил вести паром.

— Ваяйте, Гроховский!

Гроховский натянул на подбородок ремень от фуражки и вошел в воду. Долго он шарил рукой возле берега. Бойцы на тачанках и командиры на конях напряженно следили за действиями Гроховского. Троса в его руках никто не заметил: все видели, что Гроховский вошел в реку и что от него протянулась водная складка, убегающая к противоположному берегу. Дно, видно, было бугристое: то Гроховский проваливался, оставляя на поверхности одни лишь ладони, то показывалась его спина.

И случилось то, чего ждал Гунько. Ветерок, который в лесу резвился впереди эскадрона, как полковая собачонка, дорвавшись до реки, обернулся диким зверем. Вода клокотала, точно ее перелопачивали, волна сталкивалась с волной, к месту борьбы спешили другие

волны, налетали, откатывались жемчужными брызгами...

Исчез черный след каната, исчез Гроховский...

Полил ливень. Река поднялась стеной.

Гунько несколько раз выбрасывал коня в реку, но каждый раз поворачивал обратно, боясь потерять направление в сумерках косо́го ливня.

Гроховский выбивался из сил. Плыть нельзя было: волны относили в сторону. Приходилось подтягиваться на руках. Каждый шаг стоил огромных усилий и новых царапин на ладонях. Обмундирование связывало и холодило, сапоги, точно грузило, тянули ко дну...

Внезапно в хаотический рев вплелись размеренные всплески. Гроховский приободрился: паром!

С осторожностью, излишней в речном шуме, Гроховский вскарабкался на паром. Вытянувшись, лежит боец. В стороне, на мокрых досках, — фуражка, рядом с фуражкой — винтовка. По спине Гроховский узнал Левушкина. Как водное чудовище, мокрое и неуклюжее, подполз Гроховский к товарищу, завладел его винтовкой и усталым голосом, в котором все же слышалась ласка, сказал:

— В плен попал, товарищ Левушкин.

Левушкин обернулся, сделал резкий выпад, точно собирался удар нанести, но сразу же обмяк и расхотелся:

— Ну, и портрет у тебя!

Гроховский поднялся на ноги, сбросил фуражку, выжал воду из волос и, не обращая внимания на Левушкина, взялся за трос.

Левушкин прыгнул к товарищу, прижал его к тросу.

— Ты сдурел, Володька! Капитан Шибает меня поставил!

Гроховский мокрыми плечами оттолкнул Левушкина, улыбнулся ему водянистыми глазами:

— Уходи, пленный.

Левушкин только теперь осознал появление Гроховского, только теперь вспомнил, что Гроховский ушел из 1-го

эскадрона. Он отошел в сторону, присел на корточки и размеренно, точно в раздумьи, сказал:

— Удружил, Володька.

Ветер и волны били в грудь парома, и Гроховскому не удалось сдвинуть его с места. Гроховский упирался ногами, тянул трос изо всех сил, но трос ускользал, точно был густо намылен.

Левушкин вяло приподнялся, подошел к тросу, встал спиной к Гроховскому и рывком потянул.

Гроховский улыбнулся, но ничего не сказал товарищу. Четырьмя руками притягивали они трос, разматывали его, как рыбак сети...

IV

Боевое задание отличается лаконичностью и простотой: занять такой пункт к такому времени. Это лаконичность большого искусства, когда за простыми словами угадывается человеческое волнение. Боевое задание — схема философской мысли, выполнение боевого задания — творческое возрождение мысли.

Каждый из командиров 1-го эскадрона, которые лежали вокруг двухверстки, решил боевое задание по-своему, и хотя все задачи были решены одинаково правильно по результатам, но все решения были различны по блеску и по художественному наитию.

Все ждали вопроса Шибаета, каждый готовился доказать, что именно его решение самое эффективное.

Но Шибает не спрашивал. Он смотрел вдаль, сквозь лес... Такой же лес: сосновый и густой. Пахло свежим хлебом. Привал. После трехдневного марша. Ноги были налиты свинцом. Шея ныла. Ждали команды «слезай». Командир эскадрона стоял на дороге, ждал ординарца из штаба полка. Топот. Толстогобый Кацитадзе, сосед Шибаета по строю, приободрился. «Вестовой едет. Не раскисай, Шибает. Спать будем». Вместо ординарца подошло несколько штабных. Они сказали десяток слов командиру эскадрона и вновь ускакали. Командир посмотрел вслед начальству,

четко повернулся к эскадрону и зычным голосом крикнул: «Шибает и Кацитадзе! Ко мне!». Кони упирались: ноги подкашивались. Командир спросил: «Устали, товарищи?», но Шибаету показалось, что он издевается. Шибает резко ответил, но смешливый Кацитадзе, лукаво взглянув на товарища, бодро ответил: «Какой там устали, товарищ командир. Я хочу лезгинку танцевать». Командир устало взглянул на Кацитадзе: «Лезгинку после, а пока вот что сделайте». Он развернул карту и посеревшим, усталым голосом закончил: «Вот деревня Черный Став. Две дороги ведут в эту деревню. Одна — покороче, на Збигнево, другая — подлиннее, на Млыны». Командир посмотрел Кацитадзе в глаза. «Понятно? На Млыны поезжайте. По дальней дороге». — «Понятно, товарищ командир» — почему-то шопотом ответил Кацитадзе. Лесом они ехали стремя к стремени, а полем — врозь: таково было распоряжение. Вторым ехал Шибает, на расстоянии километра от товарища. Дозревающие хлеба. Мухи, которые нагоняли сон. Покосившиеся халупы. Шибает приехал в Черный Став. Редкий лай. Несколько стариков грелись на солнце-пеке. Вороной жеребенок носился по деревне, точно угорелый, и визжал так жалостливо, что Шибаету хотелось его пристрелить. Шибает выехал за околицу. Мельница. Плотина. Бугор. На бугре — дом под железной крышей. Дом пустой. Обрывки проводов. Приказание выполнено. Можно было вернуться и доложить командиру: поляки ушли из Черного Става. Но Шибает накормил коня, напоил и присел к окну. Ждал ровно час и вернулся в эскадрон. Доложил командиру и свой рапорт закончил необычно: «А в Збигневе поляки». Командир удивился: «А ты там был?» Шибает ничего не ответил, но командир понял. Он угостил папиросой и отпустил. Хотелось курить, особенно такую толстую, аппетитную папиросу, но Шибает ее искрошил, втоптал сапогом в землю... Кацитадзе не вернулся...

— Ерохина на двое суток за невыполнение приказа!

Командиры глянули на Шибаета, удивились: на его бледном лице горели красные пятна.

— Есть. Ерохина на двое суток.

Громов ответил четко, но не так громко, как обычно. Воспоминания оборвались сразу, как канат, обрубленный клинком. Какие странные воспоминания... Мальчики строили дворец из кубиков. Веснущатый Петя суетился и волновался больше всех, хотя сам ни одного кубика не уложил. Всем и ~~всем~~ был он недоволен. Покрикивал, поучал и при этом смешно дрыгал ножками. Когда дворец был возведен и мальчики отошли в сторону, чтобы издали залюбоваться архитектурными причудами, Петя подскочил к дворцу и на шпиль возложил красный конус. Дворец рухнул. Мальчики бросились врассыпную, точно обвал угрожал их жизни, но вскоре опомнились, и вместо того, чтобы вернуться к развалинам дворца, все бросились к Петьке. Все с одним желанием: выколотить из него веснушки. Петька стоял, как замороженный: смотрел удивленными глазами на груду кубиков, не примечая разгневанных товарищей. И этот ищущий, этот недоуменный взгляд спас Петьку. Юрка Кигель, которому обычно попадало от товарищей за сущие пустяки, первый добежал к Петьке, размахнулся, но лейтенант Громов, тогдашний Коська-Моська, крикнул угрожающе: «Не трожь, Юрашка!». И мальчики не били Петьку... До сегодняшнего дня лейтенант Громов не думал об этом случае, и только сейчас, только-только, он по-настоящему понял свое поведение...

Громов придвинулся к Шибаету, шепнул ему на ухо:

— С паромом ты плохо поступил.

Шибает улыбнулся, посмотрел Громову в девичьи глаза и ласково, как говорят больному, ответил:

— Боевая обстановка.

Громов растерялся. Если раньше, после того, как Шибает сделал «замечание» Ерохину, Громов не мог себя убедить, что Шибает неправ (ведь мелочь может иметь решающее значение в бою), и все же не мог освободиться от

неприятного чувства (не то стыда, не то гнева), — то сейчас ласковый ответ Шибаяева его убедил, что капитан определенно неправ, и не только в частном случае с Ерохиным, но в чем-то очень большом, принципиальном. Ошибка с Гроховским, ошибка с Гунько — только следствие большой принципиальной ошибки.

Громов чувствовал, что должен немедленно сказать об этом Шибаяеву, но из-за взволнованности не мог слов подобрать. Он отодвинулся от Шибаяева, стал по форме и по-мальчишески задорно выкрикивал:

— Это наши товарищи! Товарищи!

— Может, курить хочешь? — спросил его Шибаяев спокойным, чуть-чуть вялым тоном.

И этот спокойный вопрос, который, казалось бы, должен был прищипорить Громова, охладил его задор. Громов понял, что поступки Шибаяева не случайные, что в мелочах сказывается характер. Разве с бойцом Гроховским он был груб? Отнюдь. Наоборот: он был корректен. Чего добивался он от Гроховского? Только хорошей работы. Но как?

Громов вспомнил: плац, эскадрон выстроен к рубке лозы, конь под Гроховским нервничает. Шибаяев стоит в стороне, бьет прутиком по голенищу. Он такой красивый, молодцеватый, под фуражкой угадывается четкий пробор.

— Гроховский! На рубку лозы галопом марш!

И слова команды звучат в устах Шибаяева красиво и молодцевато.

Гроховский погнал коня. Он знал, что не срубит, но хотел срубить. Он торопился, не рассчитывал движений коня, и его удары то запаздывали, то были нанесены преждевременно. Ругал его Шибаяев за это? Нет. А в глазах Гроховского стояли слезы. «У тебя все равно ничего не выйдет» — было во взгляде Шибаяева.

— По ко-о-о-ням!

Команда Шибаяева звучала бодро и торжественно.

Командиры были разочарованы: не

пришлось защитить свои планы. Шибаяев это понял.

— Задача пустяковая. Пулеметный эскадрон должен помешать нам занять высоту. Я сделал так, чтобы пулеметчики не могли нам помешать. Понятно?

— Понятно.

Шибаяев поднял часы к глазам.

— Тогда по местам и — рысью на высоту!

Эскадрон вышел на лесную дорогу. Шли гуськом, по обочинам, избегая изрытого колесами месива. Отдохнувшие кони рвались в галоп: их раздражали низко нависшие ветви и необычная раздробленность строя. Но «Гималай» эскадронного командира шел невозмутимо на легкой рыси.

Лейтенант Громов держался в седле по-казачьи: не облегчался и не пружинил. Он был собою недоволен, его волновали невысказанные мысли. Обычно верховая прогулка по лесу доставляла Громову не сравнимое ни с чем наслаждение. Шорохи, медвяный запах, перекликанье птиц, таинственный зов кукушки, — все это напоминало детство, все это сближало с природой, сближало интимно, до дрожи в голосе. Даже конь становился задумчивее, более ласковым и более родным. Упрямое мотанье головой, от которого его никак не отучишь, пропадало в лесу. Но сегодня не чувствовал Громов природы; он напряженно следил за Шибаяевым, ждал случая, когда можно будет высказать невысказанные слова.

Внезапно слева послышался хруст и топот: стадо мчится по бурелому...

— Гало-о-пом марш!

Команда Шибаяева была подхвачена командирами, но это оказалось излишним: кони сами поднялись в галоп.

Шум слева приближался. Если раньше казалось, что идет стадо мелких животных, то сейчас, по мере приближения, животные вырастали до огромных размеров. В хруст и топот вплелись металлические звуки, конский храп и человеческие голоса.

«Гималай» под Шибаевым рванул в сторону. Громов увидел: по лесной тропе, на карьере, шли тачанки. Впереди — капитан Гунько. Громов на секунду задержал коня. Он увидел, как повозочники норовят развернуться, чтобы «огнем» задержать движение 1-го эскадрона, — но их усилия были тщетны: развернуться негде! Он услышал, как Гунько скомандовал: «Снять пулеметы!», он увидел Гроховского, прыгнувшего с головной тачанки...

Громов пришпорил коня.

Первый эскадрон прошел. Редет лес. Луг с изумрудной травой и пыльной дорогой. Овраг. Снова лес с жирной глиной... Наконец — высота 96!

— Слезай!

Бойцы шопотом подхватили четырехтактную команду:

Долой с коней,
слезай скорей
пешком померяться...

Шибаев внимательно оглядывает коней. Доволен. Улыбается. Единичные влажные пятна на крупах.

Шибаев спешился, закурил...

В эту минуту вынеслись тачанки из леса. Капитан Гунько высился над строем, как мяч. Вот закрылись тачанки пыльным облаком.казалось: движется один Гунько, и он один производит такой невероятный грохот.

Гунько в'ехал на высоту, посмотрел на часы.

— На четыре минуты опоздал, — сказал он добродушно.

Шибаев похлопал по шее гуньковско-го коня.

— Неважно, Вася, на сколько, важно, что опоздал.

Шибаев сказал э́то, не поднимая глаз на Гунько; создалось впечатление, что он обращается к коню, а не к Гунько.

Капитан Гунько снял фуражку, вытер пот с бритой головы. И череп Гунько весь усеян веснушками.

— Ошибаешься, Коля. Очень важно. Ты паром отвел?

— Отвел.

— А Гроховский его доставил. Так что первую половину я выиграл.

Шибаев швырнул недокуренную папиросу.

Гунько прыгнул на землю.

— И если б тачанки не подвели, то ты бы высоты не увидел. Разворачиваться негде было.

Бойцы на головной тачанке слышали этот разговор.

— Теперь я знаю, что делать! — крикнул внезапно Гроховский, хотя ему казалось, что он шепчет про себя.

Шибаев и Гунько одновременно посмотрели на Гроховского. В его глазах играло солнце.!

— Лирика! — резко бросил Шибаев и направился к своему эскадрону.

V

В лагерь вошла песня. Она родилась в поле, крепла по мере приближения к кумачевым воротам и раскололась на много хоров, когда бойцы раз'ехали по эскадронам.

Кони уже были расседланы, а песня все еще кружилась над лагерем...

С геометрической четкостью расположился лагерь на зеленом ковре, отгородившись от мира частоколом бронзовых сосен, опоясавшись желтыми тесьмами «линеек». Но к вечеру исчезла геометрическая четкость, посерели белые палатки, под траву уползли дорожки.

Песня вышла из лагеря, докатилась до комсоставского квартала, влилась в окна бодрых домиков. Хотя лагерь близко, за проезжей дорогой, все же песня влилась в комсоставский квартал приглушенно, под сурдинку, как звучит голос за бревенчатой стеной.

Под навесом электростанции зафыркал трактор. Узенькой струйкой держался дымок. Птичьими глазами вспыхнули огоньки среди листвы.

Маленькая старушка, с лицом сморщенным и темным, как мороженое яблоко, вышла на крыльцо, посмотрела на дорогу, ведущую в лагерь. Она увидела много командиров, идущих веселой ватагой, увидела яркие ткани жен, бегущих навстречу своим мужьям, но то-

го, кого высматривала, не было среди них. Командиры приближались. Они шли размашисто, загребая ногами, чувствуя неловкость в коленках после пятидневного «выезда». Впереди — Шибаяев. Стройный, ловкий, но — не такой, как все: сосредоточенно-молчаливый, хмурый, и две складки от тонкого носа к четкому рту кажутся нарисованными углем.

Старушка хотела спросить командиров про своего мальчика, но из-за Шибаяева не спросила. Старушка решила выждать, пока скроется Шибаяев, но — в эту минуту показался майор Давид Абрамович Френкель.

Усы подкручены, правый глаз скошен треугольником, кавалерийская угловатость. Он широко шагает. Голову держит с наклоном, как человек, который к чему-то прислушивается. Его крупное, мускулистое тело раскачивается на-ходу и отбрасывает большую, волнистую тень. Красивый, здоровый мужчина! Но старушка знает: эти ноги, которые так молодцевато вихляют, тронуты ревматизмом и пощелкивают в суставах. Старушка видит: флаг на штабе полка обвис, как девичья коса, летний вечер накрывает лагерь мягкой шалью, бодрит вязкий перегар сосен, а ее мальчик одет в кожанку и для верности подпоясан еще широким ремнем. Его тоненькие шпоры озорно вызывают, но ноги с этими озорными побрякушками не отрываются от земли, а шаркают, и поэтому так обильно кудрится из-под его ног золотистая пыль.

— Здорово, мать! Ехал-ехал и приехал!

Маленькая старушка прикинула к большому сыну, хотела расспросить о многом и очень важном (о кашле, о ногах, не спал ли он на сырой траве), но подбежал лейтенант Громов.

— Простите, товарищ майор!

— Что случилось?

— Личное дело. Посоветоваться хотел.

— Идем, голубок. Подзакусим и побеседуем.

— Не к спеху, товарищ майор. После ужина зайду.

Френкель повернулся к матери.

— Видела молодчика? Сам в гости напросился, а теперь в кусты.

Голос у майора густой и звонкий: кажется, не говорит майор, а подбрасывает на стеклянном блюде металлические шары.

Громов зарделся, хотел оправдаться, но майор его взял под руку и поволок в дом.

Умылись. Сели обедать. Майор потчевал гостя жестами: все слова он приберегал для матери. Он интересовался: хорошо ли она спала, гуляла ли, не кончилось ли белое лекарство, навещали ли ее соседи... И внезапно, после вопроса о белой курице, он обратился к Громову:

— Влюбился?

Громов оторопел, гимнастерку одернул.

— Так о чем ты хотел со мною советоваться?

Мыслей было много, но слов для высказывания этих мыслей Громов не находил. Ведь поэтому Громов не отправился к помполиту Кудяеву: перед майором не стыдно оконфузиться. Но как рассказать, что зародилось «недоброе» против Шибаяева? Не лично против Шибаяева, — его он любит, — но против капитана, эскадронного командира. Поступки капитана, если смотреть на них разрозненно, не вызывают недоумений, но...

Майор внезапно почувствовал, что годы ушли. На фронте он не знал усталости: после похода — в разведку, после разведки — в бой, после боя — снова марш-марш. Отошла гражданская — взвод, учеба, эскадрон, помкомполка... Он взобрался высоко, но вместе с ним вскарабкались прожитые годы... Френкель прилег на диван, закрыл глаза.

— Ты меня прости, Громов. Или — ложись рядом.

Старушке неловко стало перед гостем. Она достала из шкафчика свежего варенья, наполнила тарелочку до краев и поставила перед Громовым.

— Станный вы народ, — сказал внезапно Френкель.

Громов сконфуженно посмотрел в сторону майора.

— Я люблю варенье, Давид Абрамович. А ваша матушка, видно, по моим глазам угадала.

Френкель, не раскрывая глаз, сказал тем же усталым, размеренным голосом:

— В 1915 году, в Новогеоргиевске, в заштатном городишке Херсонской губернии, был расквартирован 8-й запасный кавалерийский полк. Там я служил. Во втором эскадроне. Командовал эскадроном ротмистр Зюнзя. Большой, жирный. Летом совершенно голый сидивал он на крыльце, дышал часто, с присвистом, и восхищался божьим миром. Отправившись к нему по своим солдатским делам или пройдешь мимо его дома, — Зюнзя всегда потянет на философский разговор.

«Чувствуешь, Давидка, какая благодать?»

«Так-точно, ваше высокоблагородье!»

Ротмистр выпьет стакан холодного кваса, вытрет полотенцем пот с волосатой груди, посмотрит на меня маленькими глазками и давай дальше жилы тянуть.

«А как, по-твоему, Давидка, есть загробная жизнь?»

Я тогда думал о многом: о том, что 50 копеек солдатского жалованья не хватает на целый месяц, о том, что корнет Хвостиков обещал мою «поганую морду в пожарскую котлету испохабить», если его «Филин» на окружных призах не получит, даже о том, что солнце печет, а этот ирод издевается надо мною только потому, что я солдат, но о загробной жизни никогда не думал.

«Так точно, ваше высокоблагородье!»

«А вдруг нет?» — брало обычно Зюнзю сомнение.

«А может, никак нет!» — приходилось соглашаться.

И в эту минуту я отчетливо представлял себе, как черви по крупинкам растаскивают жирное тело Зюнзи и в могиле, вместо ротмистра, остаются одни только рыжие волосы.

На этом обычно кончалось философствование.

«Дурак! Ступай!»

«Слушаю-с, ваше высокоблагородье!»

«Дурак! А может, никак нет! Убейся, болван!»

Понял, Громов? «Никак нет» и «так точно». Это на все случаи жизни. «А может, никак нет» уже не годится. Непорядок. А тебе даются все человеческие слова, и ты ими пользоваться не можешь...

Громова увлек рассказ майора. Он отчетливо увидел маленький заштатный городок: пыль летом, грязь — осенью. Он отчетливо увидел двухэтажные постройки полка, красные конюшни, плац. Услышал слова команды. Громов сощурил глаза: перед ним развернутым строем проходят эскадроны. Вот — Френкель... правофланговый... какая посадка! Зюнзя сидит рыхло, мешковато, но в глазах — ироническое пренебрежение: «Хочу так сидеть и сажу, а вы, болваны, не смеете, потому что — солдаты...».

Френкель уже давно закончил свой рассказ, а Громов все еще заглядывает в глаза ротмистру Зюнзе. Громов что-то вспоминает, где он видел такие глаза?

Внезапно исчез плац, затуманились глаза Зюнзи: все исчезло в свисте, храпе...

Это спал майор Френкель.

— Устал мальчик. Думаете, года большие? Нет. Жизнь трудная. Детство без детства. Юность без радости. И три раны в теле. А тут? — Старушка тонкими пальцами показала на свое сердце. — Больше ран, чем в теле. — Старушка наклонилась к Громову, сказала шопотом, точно боялась, что слова разбудят спящего. — Он пятый у меня. Первых четырех убил Петлюра.

Она не посмотрела в глаза Громову, словно не хотела его огорчить старческой слезой. Поднялась, подошла к сыну, погладила его бритый череп и ласково, как уговаривают расшалившегося ребенка, сказала:

— У тебя гость, а ты уснул, Давид. Гость у тебя.

Громов вскочил с места. Звякнула тарелка. Громов с'ежился, втянул голову в плечи и на цыпочках вышел из комнаты.

VI

Капитан Гунько направляется к своему дому. День еще не ушел, в белые облака еще вплетена солнечная зелень, но в домах уже уютно теплятся разноцветные абажуры, и голоса, выкатывающиеся на дорогу, уже звучат по-ночному интимно.

У соседа хата била,
У соседа жинка мила...

Эту песню поет Гунько, когда на душе беспокойно или, как он выражается, «дальномер подводит». Песня не звучит упреком, а вызовом. «Подождите, посмотрите, что у меня будет». Это он сам себя подбадривает. Сколько случаев он проворонил, от скольких девушек отказался! Мечтательный шахтер! Под землей, при алмазном блеске антрацита, созрела мечта: золотоволосая, с зелеными глазами, лицом бледным и чтоб непременно на висках были синие жилки. И крепко держится Гунько мечты.

Крыльцо. Дверь. Первым делом Гунько внимательно осмотрел комнату, точно отсутствовал не пять дней, а по крайней мере год. Хотя никто за это время к нему в комнату не входил, все же показалось Гунько, что бьют Сталина не стоит на обычном месте и что на книжной полке беспорядок. Гунько распахнул окна, переставил бьют, выровнял книги, стер пыль с письменного стола, еще раз внимательно осмотрел комнату и только после этого разделся до трусов и облачился в мягкий бухарский халат.

Гунько вышел во двор. Шел медленно, степенно. Возле колодца, в миниатюрной будке, похожей на собачью конуру, стояло ведро. Гунько, тихо напевая, наполнил ведро водою и с заботливостью садовода начал поливать цветы. Вокруг каждого куста он пальцами выжимал ямку и неторопливыми движениями заливал эти ямки. Много раз он возвращался к колодцу и угомонился только тогда, когда земля под цветами жирно лоснилась.

Работы по дому закончены.

Капитан снял халат и приступил к купанью. Воду он лил на себя полными ведрами, фыркал, плескался, делал гимнастические выпады и при этом радостно улыбался, точно делал какое-то большое дело. Его крупное тело, белое, с обилием веснушек на руках и груди, скоро стало красным, а при отсветах заката почти синим.

— Отставить! — скомандовал он сам себе.

Вытерся, одел халат, на место поставил ведро и вернулся в комнату.

— А теперь, Василий Тарасович, одеваться и айда к командиру!

Гунько чувствовал нудную усталость, которая не прошла и после купанья. Хотелось прилечь хотя бы на часок, — но командир пригласил к ужину. И... все равно! Надо идти. Авось, удастся поговорить о Шибее. Нехорошо получается... Ошибся — имей мужество сойтись!...

И, как это часто бывает с людьми, одиноко живущими, Гунько, сам того не замечая, начал думать вслух:

«Ты чего добиваешься? Говори! Чего ты добиваешься? Тебе показалось, что из Гроховского не выйдет хороший боец. Ошибся, браток! Я тебе твердил, выйдет. Что ты предложил? Ты сам что предложил? Переведи Гроховского к себе в эскадрон! Я перевел. А теперь что? В амбицию ударился? У Гунько он хорош, почему он у меня был плохим? Это, браток, не советские разговоры. Ты радоваться должен за бойца, а не в бутылку лезть! Понятно, товарищ Шибее?»

Но, когда воображаемый Шибее ничего не ответил, Гунько вдруг расхохотался.

— Чорт! Заговариваться стал.

Он достал из чемодана белое обмундирование и начал одеваться. Застегивая воротник перед зеркалом, Гунько нахмурился и сказал, укоризненно глядя в лицо своему двойнику:

— Жениться тебе надо, Василий Тарасович. Скучно мне с тобой. Выдумал зеленоглазую. Ерунда. Понятно?

— Понятно, Вася, — ответил Шибее.

Гуныко не удивился: видно, Шибает часто подходил к раскрытому окну.

Продолжая прихорашиваться перед зеркалом, сказал Гуныко:

— Раз понял, значит, хорошо. Важно понять. Тогда...

Но Шибает не дал товарищу развить своей мысли.

— Вася. С ужином ждем.

Гуныко только в эту минуту почувствовал результат купанья: теплая волна поднялась по спине. Он подошел к окну.

— Не могу, дорогой. К командиру обещался.

Шибает виновато потупился.

— Жаль. Катюша будет огорчена... И я хотел с тобой поговорить...

— О чем?

Шибает отвернулся, посмотрел в сад. Заговорил шепотом:

— Мерзость получилась. С паромом... И вообще...

Раздался стук в дверь. Гуныко повернул голову.

— Войдите!

Раскрылась дверь. Гроховский.

— Входите, — радушно предложил Гуныко и вновь повернулся к Шибаету, но — увидел быстро удаляющуюся спину. Не такую прямую, молодцеватую, как обычно, а сгорбленную, старческую.

Гуныко подошел к Гроховскому.

— Садитесь.

Гроховский не присел, наоборот — еще больше подобрался, поднял руку к козырьку.

— Разрешите спросить, товарищ капитан!

Гуныко расстегнул ворот, думая, что этим он создает уют, домовитость, уселся по-кавалерийски на стул, раскачался.

— Не успели отдохнуть, и уже с вопросами.

Гроховский точно не расслышал слов командира. Он сделал шаг вперед, остановился с сомкнутыми ногами.

— Товарищ капитан. Если б не на-

до было разворачивать тачанок, наш эскадрон занял бы высоту?

Гуныко приостановил качание стула. Он пристально посмотрел на бойца, старался вникнуть в его вопрос, но ничего не понял.

— О чем говорите, Гроховский?

На щеках бойца пятна кирпичного цвета. Глаза сужены, похожи на китайские.

— В лесу, товарищ капитан, когда проходил первый эскадрон, мы тогда не могли развернуться...

Гуныко привстал на одну ногу. Потянулся к Гроховскому.

— Вот вы о чем? — Гуныко расхохотался. — Чудак-человек! Что значит, если б не надо было разворачиваться? Ведь тачанка стреляет только с обратного хода. А помните, какая была тропинка? Узенькая.

Лицо Гроховского побагровело. Глаза — две щелочки. Голос — жаркий, душный. Гроховский жестикулировал, а, по тени на стене судя, могло показаться, что пальцы Гроховского хватают и уминают что-то очень неподатливое.

— Товарищ капитан! Мы должны иметь такую тачанку, которая стреляет со всякого хода. Я хочу ее сделать. Кони будут не спереди, а сзади. Они будут толкать тачанку. Разворачиваться не надо будет... Ведь на войне, на настоящей войне...

Резкий стук в дверь. Не ожидая разрешения, вбегает боец. Он возбужден.

— Товарищ капитан! Командир полка просит вас немедленно прибыть в штаб!

Гуныко машинально застегнул ворот, схватил фуражку и одним прыжком очутился возле двери. На мгновение остановился, обернулся к Гроховскому.

— Подождите меня.

И выбежал.

Гуныко осознал, что случилось «что-то высокосное», но спросить посылного не успел: тот умчался к дому лейтенанта Громова.

Гуныко посмотрел на запад. Небо — кровавое.

— Что могло случиться?

И, несмотря на тревогу, Гунько хотелось петь. Радостью были налиты мышцы, радость светилась в его глазах, радость сжимала горло и не пропускала слова, когда он, по своей холостяцкой привычке, хотел сказать вслух:

— Ну и люди!

Бревенчатое здание штаба полка утопает в цветах. Занавески в окнах, зеленые абажуры, мезонин, две террасы... У полковника — народ. Майор Френкель разглядывает мокрую фуражку. Помполит Кудеяров что-то пишет. Шибает стоит в стороне, возле высокого окованного железными полосами сундука. Полковник Безукладный шагает по комнате. Шагает жестко, на полную ступню, и крупное его тело держится прямо. Серебристые усы блестят, как две сосульки. Возле окна, в тени, — несколько командиров.

Вбегает Громов, становится по форме, но не рапортует, что явился, точно его смутила насупленность полковника.

Полковник остановился перед Гунько.

— Вы знаете, что в первом эскадроне коня отравили?

Гунько опешил. Он посмотрел на Шибаета, еле выжал:

— Не знаю.

Полковник подошел к письменному столу, взял мокрую фуражку из рук Френкеля и вернулся к Гунько.

— Полюбуйтесь, капитан Гунько. Отравитель оставил на память свою фуражку.

Гунько посмотрел на фуражку. Серый верх казался черным.

Полковник повернул фуражку. Подкладка скомкана, клеенчатый ободок сморщен. На козырьке... Что это? Гунько наклонился. Прочел «Владимир Гроховский». Надпись сделана химическим карандашом. Почерк — Гроховского...

— Что скажешь, Василий Тарасович?

Гунько посмотрел на помполита. Оказывается, он уже не пишет, а следит за ним. С помполита Гунько

перевел взгляд на Шибаета. Тихо спросил:

— Эту фуражку нашли у тебя в эскадроне?

Все заметили, как пальцы Шибаета сжались в кулаки. Все были уверены, что Шибает резко ответит.

— Да, Гунько. У меня в эскадроне. В колоде, из которой пил отравленный конь, — спокойно, с дружеской теплотой в голосе ответил Шибает.

Гунько рванулся к полковнику. Он крикнул, и в крике его слышалось раздражение.

— Не может быть, товарищ полковник! Боец Гроховский у меня дома сидит!

— А фуражка чья? — спокойно возразил полковник.

— Не знаю!

Шибает шагнул к полковнику.

— Может, это и не имеет никакого отношения, но я только-что вспомнил. На выезде у бойца Гроховского вырвалась такая фраза: «Я знаю, что мне теперь делать». А я заметил, что он очень тяжело пережил неудачу пулеметного эскадрона.

— Полагаете, что это расплата за поражение?

Шибает не дослушал фразы до конца: нервно, раздраженно ответил:

— Не полагаю, товарищ Кудеяров! Я многое сегодня по-новому понял, а вот это, — Шибает ткнул пальцем в мокрую фуражку, — меня снова сбilo с толку!

Громову почудилось, что Шибает пытается глубоко принципиальный спор вести к делу о мокрой фуражке. Ему, Громову, безразлично, кто отравил коня. Гроховский мог оказаться подлецом, но это не оправдывает действия Шибаета. По отдельным интонациям, по отдельным взглядам накапливал Громов свои наблюдения...

— Разрешите доложить.

Полковник взглянул на Громова. Уши — белые, губы вздрагивают, румянец на щеках то появляется, то исчезает, отчего лицо Громова кажется полосатым.

— А вы не волнуйтесь, Громов.

И эти спокойные слова заставили Громова еще больше волноваться: он убедил себя, что полковнику не интересны будут мысли 22-летнего младшего лейтенанта и что те слова, которые он тщетно искал за столом у Френкеля и которые сейчас созрели и оформились, останутся невысказанными.

— Я вас слушаю, товарищ Громов, — еще приветливее сказал полковник.

Громов поднял руку к козырьку и сейчас же ее опустил. Впечатление: муху отогнал.

— Не в фуражке дело, товарищ полковник!

Помполит подошел к Громову.

— А в чем? — ободряюще спросил полковник.

Громов, борясь с мучительными спазмами в горле, прохрипел:

— Майор Френкель знает. Он мне только-что рассказал: никак нет и так точно...

Всем стало неловко за юного Громова. Так оскандалиться! Полковник переглянулся с Кудяровым.

— Лирика, — сказал Шibaев шопотом, но все ясно расслышали эту реплику.

Френкель повернул голову к Громову. Многие впервые заметили, что у Френкеля глаза темносиние, цвета сливы.

— Насчет Шibaева ты ко мне приходил советоваться?

— Так точно, товарищ майор! — обрадовался Громов. И сразу ему легко стало, словно высказал, наконец, заглавное.

Все же никто из присутствующих не понял, что произошло. Слова Громова и Френкеля не доходили до сознания, точно эти слова произносились на незнакомом языке. Полковник бережно завернул мокрую фуражку в газетный лист, положил сверток в высокий, обитый железными полосами сундук (сундук раскрылся и закрылся тревожным звоном), одернул гимнастерку и строгим тоном обратился к дежурному по полку:

— Возьмите двух бойцов и вернитесь за предписанием.

— Есть, товарищ полковник! — отчеканил дежурный, а так как он стоял, прижавшись спиной к двери, то, повернувшись налево кругом, он чуть ли не носом раскрыл дверь.

И в кабинете стало легко, точно окна распахнули. Некоторые командиры укоризненно смотрели на Громова: хотел запутать такое ясное дело.

— Капитан Гунько! Боец Гроховский у вас дома?

Гунько машинально сделал шаг вперед. И он ничего не понял из диалога между Френкелем и Громовым, но он и не старался вникнуть в непонятные слова. Он думал о Гроховском. Неужели можно маскироваться под нового человека? И горение, и любознательность, и творческий подъем, рожденный поражением, а главное, любовь, огромная любовь к родине, которая чувствовалась в каждом его поступке, — может ли это быть поддельным, наигранным?..

— У меня дома, товарищ полковник!

Вернулся дежурный. За ним следовали два бойца, угрюмые, как штыки, которые холодно поблескивали за их спинами. Полковник, стоя, заполнил печатный бланк, подписался и четким выпадом протянул листок. Командиры шагнули к стенам. Образовался коридор, и по этому коридору двинулся дежурный. Шпоры звонко округляли каждый его шаг.

— Взять с квартиры капитана Гунько, — тихо сказал помполит Кудяров.

Часовые пропустили дежурного, повернулись и последовали за ним. Их шаги гулко гремели.

У Гунько было странное выражение лица: все в складках, рот полуоткрыт. Впечатление: никак не может чихнуть. Остальные командиры стояли четко, подобранно, точно ждали распоряжений.

Кудяров шепнул что-то полковнику. Безукладный кивнул головой, поправил наплечный ремень.

— Вы свободны, товарищи командиры. Останутся майор Френкель и лейтенант Громов.

Полковник Безукладный сказал это предупредительно, устало и сейчас же опустил в кресло.

VII.

Шибает поднял руку к козырьку и прямо со штабной линейки свернул в эскадрон.

Товарищи его не удерживали; всем хотелось скорее домой, чтобы наедине разобраться в происшедшем. Случай необычный: боец сознательно отравил коня! Враг. Подлый враг! Громов — юнец: ему это кажется пустяком. Но майор Френкель? Вместо того, чтобы оборвать Громова, — еще ободрил...

Торопливые шаги. Прямо на командиров надвигается подразделение. Вступает в полосу света. Впереди — дежурный по полку. За ним, между двумя часовыми, Гроховский. Он шагает в ногу со своим конвоем. Командирам он показался узеньким в плечах, хилым и почему-то косоглазым. Фуражка криво надетая.

Гунько шагнул вперед. Дежурный сурово окликнул:

— С дороги!

Гроховский сбился с ноги. Он посмотрел на Гунько, растерянно улыбнулся, но сейчас же неуклюже подпрыгнул, ногу переменял, — отряд ушел в ночь, четко отбивая такт.

Гунько последовал за Гроховским. Шагал в ногу с ним, точно замыкал строй. Так он дошел до гауптвахты, не сказав ни слова и не осознав, для чего последовал за отрядом.

Когда дежурный с часовыми, сдав арестованного, вышли из бревенчатого домика, Гунько прыгнул в сторону: ему внезапно неловко стало за свое бессмысленное поведение, но вместо того, чтобы укрыться под деревья, Гунько подошел к дежурному, протянул ему коробку.

— Передай папиросы Гроховскому.

Дежурный удивленно посмотрел на Гунько.

— Ты что?

Гунько жестко ответил:

— Передай!

Дежурный шопотом спросил:

— Не веришь, что он это сделал?

Гунько возмущенно:

— А ты веришь?

Дежурный взял коробку и одним прыжком вскочил на крыльцо гауптвахты.

Гунько не дожидаясь возвращения дежурного: свернул на боковую линейку. Он потянулся к дереву, хотел добыть себе хлыст, но сосны чересчур высоко занесли свои сучья. Раздражало отсутствие папирос, раздражали частые фонари и даже свежая тишина летней ночи. Гунько был уверен, что Гроховский не мог, не мог этого сделать. Но коня все же отравили! Значит, проглядели врага... Вот проезжая дорога. Направо — конюшни. Выверенными перпендикулярами упираются они в придорожную канаву. Редкие лампочки выносят из тьмы аккуратно подвешенную сбрую или конский круп. Налево — штаб полка, скрытый в молочном тумане электрических фонарей. Небо — цвета околышка кавалерийской фуражки — обильно усеяно яркими звездами...

Гунько насторожился: недалеко от штаба густеет человеческая тень. Она крадется от дерева к дереву, обходя световые пятна, то приближаясь к штабу, то удаляясь от него. Гунько ускоренным шагом направился к подозрительному человеку. Тот хотел юркнуть в лес.

— Стой!

Подозрительный человек оказался бойцом. Фигура — атлета, глаза — восторженного ребенка. Он мялся, дергал плечами.

— Вы что здесь делаете? — сурово спросил Гунько.

— Жду товарища комиссара.

— Зачем?

Боец волновался, слова прыгали.

— По личному делу.

Глаза бойца избегали взгляда Гунько, но, несмотря на это, боец внушал доверие. Гунько улыбкой ободрил бойца.

— Выйдем на линейку. Там комиссар и подождем.

На линейке, шагая в ногу, Гунько спросил:

— Какого эскадрона?

— Первого, товарищ капитан.

Гунько прижался к бойцу, заговорил интимным шопотом:

— Письмо из дому получили? Неприятности?

Боец втянул голову в плечи.

— Тут неприятности.

Гунько остановился, удивленно глянул на бойца.

— Тут? Так вам не комиссар нужен, а капитан Шибаев. Идем к нему.

Боец рванулся в сторону.

Гунько был ошарашен.

— Своему командиру не хотите рассказать? — И сейчас же спокойно прибавил: — Как вас звать?

— Левушкин.

— Нехорошо, товарищ Левушкин. Своему старшему товарищу не доверяете.

Левушкин не нашелся, что ответить. Он переминался с ноги на ногу; похож был на провинившегося ребенка.

Гунько решил действовать энергичнее.

— Пошли, товарищ Левушкин. Капитан Шибаев посоветует...

Боец не двинулся с места.

— А какая у вас неприятность? Может, мне скажете?

Левушкин преобразился. Исчезла нерешительность. Он стал по форме и четко отрапортовал:

— Я коня отравил!

Гунько схватил бойца за руку.

— Вы?

Гунько пристально следил за выражением лица Левушкина. Он хотел изучить это лицо, запомнить, — лицо врага. Левушкин отодвинулся от капитана, ушел в тень.

— Нечаянно, товарищ капитан. На выезде я выпросил порошок. Слабительное для коня. И спрятал порошок в фуражку. Забыл про него, товарищ капитан. А когда коня поил, фуражка упала в колоду. Оказывается — порошок ядовитый...

Все было естественнее и проще, чем Гунько предполагал. Он схватил Левушкина под руку и увлек в штаб. Но, сделав несколько шагов, внезапно остановился.

— А почему там нашли чужую фуражку?

— На пароме поменялись, товарищ капитан. Нечаянно.

В штабе сидели вокруг письменного стола. Полковник Безукладный широкой ладонью подпирал голову и прищуренно смотрел на кованный сундук. Кудеяров заносил что-то в записную книжку. Френкель уставился в пол. Говорил один Громов. И оттого, что никто из присутствующих не смущал взглядом, рассказ Громова лился плавно, с обилием деталей. Он забыл, что перед ним «старики», он чувствовал себя так же хорошо, как на последней комсомольской вечеринке в школе, когда человек десять уединились в темный класс и рассказывали друг другу эпизоды из книг, дополняя повествование личной тоской по героике...

Гунько удивился, что его никто не замечает. Он постучался, ему показалось, что кто-то ответил «войдите», он вошел, и — никто не обращает на него внимания.

— Разрешите доложить, товарищ полковник!

Первым повернул голову, Громов. Он подскочил к Гунько, взял его за обе руки, притянул к письменному столу.

— Вот и с ним! Шибаев сам предложил перевести Гроховского к нему в эскадрон, а когда Гунько его перевел, Шибаев обиделся...

— Что скажете, товарищ Гунько? — деловито спросил полковник, точно не расслышал страстной тирады Громова.

— Я привел бойца, который нечаянно отравил коня.

Френкель поднял глаза на Гунько.

— Боец первого эскадрона.

Френкель не спрашивал, а утверждал.

— Как это привели? — удивился полковник. — Вы его разыскивали?

Гунько внезапно неловко стало за полковника, за помполита, за всех, которые так легко поверили, что Гроховский сознательно отравил коня. Он хотел сказать об этом, но, глядя в усталые глаза Безукладного, он почему-то

вспомнил, с какой чуткостью, с каким тактом этот старый шахтер всего несколько часов тому назад пригласил его к ужину.

Все в полку знали, что Гунько вынужденный холостяк, что зеленоглазая девушка только отговорка, хотя и маловероятная по своей романтической нелепости. На самом деле только застенчивость удерживала Гунько. В каждую хорошенькую девушку он готов был влюбиться, но он твердо знал, что никогда, никогда не сможет ей в этом признаться. Знал об этом и Безукладный. Вернувшись с выезда, полковник удержал возле себя майора Барабаша и Гунько. Он просмотрел телефонограммы, подписал приказ по полку, отдал несколько распоряжений начальнику боевого питания...

— А теперь вот что, — обратился он к Барабашу, — у тебя гостит сестра жены. Девушка хорошая и дельная. А у меня в полку есть жених. Тоже хороший и дельный...

Гунько почувствовал сначала зуд в ступне, потом — во всем теле. Такой нестерпимый зуд, точно его голого бросили в крапиву. Он был уверен, что Безукладный назовет его фамилию, тогда — хоть в санаторию просись на месяц: как после этого смотреть в глаза Наташе!

— Надо их познакомить, с соответствующим предисловием. Приходи сегодня ко мне, с женой, с Наташей. Я жениха пригласу. Авось, полюбят друг друга. Ты в предисловии скажи: жених стоящий, далеко пойдет...

И когда Барабаш согласился, полковник изменившимся тоном сказал лейтенанту. Если в разговоре с майором сквозила дружеская ироничность, то в обращении к Гунько звучали нотки тоски, отеческой озабоченности!

— А ты, сынок, приходи ко мне ужинать. Шахту вспомним. Давно мы с тобою под землю не заглядывали...

— Вы вопроса не поняли? — удивился Безукладный.

— Понял, товарищ полковник. Я его не искал. Он сам искал товарища Кудярова. Сознаться хотел.

Полковник потянулся за блок-нотом,

набросал несколько слов и, перечитывая написанное, не поднимая головы, крикнул:

— Дежурный!

Мгновенно вырос в дверях дежурный, точно он ждал зова.

— Немедленно!

Дежурный взял бумажку, прочел и отрапортовал:

— Есть! Немедленно!

Безукладный приветливо посмотрел на Гунько.

— Отправляйтесь вместе с дежурным.

Гунько почувствовал обиду. Нельзя же, в самом деле, держать бойца на гауптвахте, когда за дверью стоит истинный виновник происшествия. Он хотел сказать, что Френкель и Грохов могли бы отсрочить свой разговор...

— Поторапливайтесь, а то дежурный уйдет.

Гунько, огорченный, вышел из комнаты. Дежурный на ходу расписался в получении пакета, забросил его к начштаба и прыгнул с крыльца. Что-то стрекозье усмотрел Гунько в порывистости дежурного, и это его еще больше огорчило.

Гунько решил итти домой. Он шел медленно, отяжелело и следил за стрекозьими движениями дежурного.

— А куда ты так скачешь? — спросил Гунько в раздраженье.

— На гауптвахту, — донесся издали глухой ответ.

Гунько мигом нагнал дежурного.

Формальности выполнены. Большая комната. Четыре койки. Все застланы. За столом — один Гроховский. Он чертит мелом. Рядом с чертежом — несколько замысловатых построений, составленных из шахматных фигур.

— В эскадрон, товарищ Гроховский!

Гроховский вскочил, — только теперь он заметил командиров.

Гунько подошел к столу, всмотрелся в чертеж, в шахматные построения.

— Выходит, товарищ капитан, — радостно сообщил Гроховский, — трудно еще с поворотом, но и это одолеем. Будет тачанка!

— А вы не голодны, Гроховский?

Гунько шагнул вперед, взял со стола, из раскрытой коробки, папиросу и долго ее прикуривал: он хотел разжечь впечатление от своего нелепого вопроса.

VIII

Катюша впервые видела мужа в таком состоянии. Он вошел в комнату окаменело, как слепой, не сказал ей ни слова, хотя знал, что она ждет его с ужином, не сел, а упал на стул и, придвинув к себе бумагу, принялся писать. И лицо его было странное: на щеках горел румянец, а уши, подбородок и нос были иссиня-белые.

Катюша решила дать ему «отдышаться». Он писал быстро, видно, торопился перенести на бумагу заранее обдуманые мысли. Рука ходила с механической поспешностью, но спина, как неживая, пугала слепой неподвижностью. Катюше бросилось в глаза, что шея мужа багрового цвета. Она подошла на цыпочках к мужу, заглянула через его плечо.

«... он же, боец Левушкин, не ска- зал мне первому о своем поступке, учитывая мою вспыльчивость и боясь резкого выпада с моей стороны, что также доказывает полную мою непригодность к службе в Красной армии, где взаимоотношения между командирами и бойцами построены на полном доверии.

б) Кроме вышеуказанных случаев с капитаном Гунько, лейтенантом Громовым, бойцами Гроховским и Левушкиным, а равно неэтического поступка с паромом, я должен заявить, что, хотя я и почувствовал изменение человеческого материала, в смысле резкого повышения его качества, все же не считаю себя подготовленным к отказу от выработанных за 16 лет методов. Кроме того, я далек от мысли все вышеуказанные поступки объяснить только вспыльчивым характером. Здесь, видно, играет роль и какая-то политическая близорукость, которая свидетельствует о

том, что я, как коммунист, также не на высоте...»

Катюша положила руку на плечо мужа. Он резко повернулся, точно испугнули его одиночество.

— А дальше можешь не писать.

Шibaев испуганными глазами посмотрел на жену.

Она увлекла его к столу, усадила, достала с тарелки бутерброд, разрешила его на две половинки...

Шibaева сначала удивило ее спокойствие, потом — возмутило.

— Что это значит?

Катюша уселась рядом с мужем.

— Ведь ты понял, что Гроховские и Левушкины — новые люди. Так зачем клеветать на себя? — Она сделала строгое лицо, заговорила басом: — Не считаю себя подготовленным к отказу от выработанных методов... Коленька! Чушь! Чушь на острых шипах, как говорит Барбашев. С новыми людьми будешь работать по-новому...

Шibaева успокоил тон жены, но смятение не улеглось. Ведь все, что ему сказал Громов, также показалось ему сначала незначительным. Взволнованные слова Гунько ведь тоже не убедили. Доказал случай с Левушкиным! Через Левушкина он понял Громова и Гунько. Он сделал единственно правильный вывод, и вдруг — новое освещение и Громову, и Гунько, и Левушкину...

— Я понял, я все понял. Но — завтра? Как мне работать завтра?

— Так, как работал, Коля, — успокоенно ответила Катюша: лицо мужа горело ровным румянцем. — Только в каждом бойце ты должен видеть страну — великую, влюбленную...

Катюша внезапно встала.

Шibaев посмотрел ей в лицо.

— Что случилось?

Только-только улеглось сомнение: ведь страна — это люди. Как все это просто...

— Что случилось? Почему ты на полуслове оборвала?

— К нам гости идут. Шаги в коридоре.

Шibaев подбежал к письменному столу, разорвал рапорт на мелкие куски, одернул гимнастерку...

Но в комнату никто не вошел.

Катюша выбежала в коридор, оттуда на крыльцо и увидела: три командира выходят на дорогу из их садика. Катюша побежала за ними, узнала.

— Товарищи! Ведь вы к нам шли.

Прибежал Шибает. Увидев Безукладного, Кудеярова и Френкеля, он было смутился, но на смену первому чувству пришла радость — искренняя, непосредственная.

— Товарищи! Ужин на столе! Не обижайте!

Кудеяров решительно ответил:

— Поздно, Коля.

Безукладный сказал на ухо Катюше, но так громко, что все слышали:

— Гунько хочу женить. Благословляете?

— На ком? — таким же громким шопотом и так же на ухо спросила Катюша.

— На барабашевской Наташе.

— Благословляем! — затянули Шибаеты дуэтом, а Катюша добавила: — Хорошая девушка.

Френкель порывисто пожал катюшину руку и сказал взволнованным шопотом:

— Но не такая, как вы.

Всех смутила взволнованность Френкеля, хотя Безукладный и Кудеяров его понимали и одобряли: ведь они втроем слышали разговор супругов. Шибаеты были увлечены и не заметили: за их спинами стояли три командира, которые пришли поговорить «всерьез» со своим товарищем.

Мастера

Роман

ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ

(Продолжение ¹)

VIII

Письмо было непонятным. Гурий перечитал его еще раз, полаягал зубами и, вытянувшись на диване, укрылся одеялом.

— Я на-смерть обидел однажды моего покойного папашу, — говорит Рорбах: — я так-таки и не захотел быть врачом, сколько он меня ни уговаривал. Потом он прослезился и сказал: «Слушай, Семен, что сказано у пророков. Там сказано, резинная твоя голова: «Счастье потому и заманчиво, что несуществимо». Хе! Я не очень унывал тогда, ей-богу, нет. Я занят был оформлением идей моих. Но, когда умер отец, я все-таки пожалел: почему я не врач? Пожалел и начал учиться, чтобы не путать в аптеке лекарства.

— Что происходит на улице, Семен Львович? — спросил Гурий. — Я не могу согреться...

— Природа и человек едины, — сообщил Рорбах. — Ты мерзнешь потому, что на улице весна. У меня начинают ныть кости, потому что на улице опять-таки весна. Днем каждая встречающая девушка улыбалась мне, старику, потому что на улице гуляет весна... Но, если ты хочешь знать, я могу сообщить тебе, что у тебя, Гурий, инфлюэн-

ца. Говорю тебе, как опытный врач: насморк и повышенная температура — все признаки налицо. Дай-ка пульс...

— Оставьте меня, ради бога, Семен Львович.

— Вот, вот, и раздражительность к тому же, — удостоверил Рорбах. — Тебе надо лежать и не выходить на улицу.

Многозначительно улыбнулся, протер запотевшие очки.

— Как ты думаешь, Гурий, что будет, если меня застанет твой суровый папаша? Пропаду я или не пропаду?

— Не пропадете: отец уехал в Петербург.

— В Петербург? Я тоже бывал в Петербурге, очень хороший город. На каждой улице стоит царь, то-есть памятник которому-нибудь из них, хотел я сказать. И кругом казармы, войска и полиция. Тогда я подумал, что мне совсем незачем оставаться в таком недружелюбном городе. Ты смеешься, Гурий? Чрезвычайно рад. Смех — явление, в сущности, безобразное, хотя действует на организм весьма благотворно. Смейся, Гурий, сейчас буду рассказывать пустяки: как я однажды влюбился. Мне важно, чтобы ты скорее поднялся. Что могу я, если прокламации на чердаке ресторана? Ты хорошо придумал тогда — печатать прокламации на чердаке

¹) См. «Новый мир», кн.кн. 6—8 за 1935 г., № 1 за 1936 г. и № 1 с. г.

ресторана, и мы тогда очень удивлялись, как это ловко. А теперь я ничего не знаю, ты болеешь, я скрываюсь у Строчиной и ни черта не делаю. Но ты слушай: я влюбился через улицу... Ну, да: она жила как-раз напротив, у них кондитерская, у нас аптека. Я сажился у окна, готовил уроки и глазел на кондитерскую А. И. Чуvasова. Немного погодя появлялась она, садилась у окна и принималась глазеть на вывеску Л. С. Рорбаха. Так продолжалось три года, и мы успели хорошо подрасти и кое-что понять в чувствах. В первый год мы только еще любовались друг на друга, глядели робко и через занавеску, потом я осмелел: я выкрал у папаши флакон одеколона и показал его моей возлюбленной. «Могу осчастливить подарком», — хотел я сказать. На другой день она уходила и возвращалась из гимназии мимо нашей аптеки. Как ты думаешь, что я сделал? Я ухитрился бросить ей под ноги коробку с одеколоном и в коробку положил записку: «Люблю» и прочее.

— И стишки? — в полусне спросил Гурий, и тени улыбки не было на его лице.

— И стишки, конечно...

— А-ах! — зевая, потянулся Гурий. — И одеколон назывался «Мечта»? И... постойте, постойте. Вы думали когда-нибудь, что это обязательно для всех? Заплакать можно, Семен Львович...

— Хе! Если бы в такое время думали... Как ты нехорошо рассуждаешь, Гурий, слишком уж буднично.

— В папашу уродился, Семен Львович, ничего не поделаешь.

— Одеколон был вещественным доказательством любви моей, — продолжал Рорбах, — и действительно назывался «Мечта». Я не понимаю, почему ты не смеешься, Гурий?

— У матери на комодке целая дюжина пустых флаконов, и замечательное совпадение, Семен Львович: все двенадцать были наполнены когда-то духами «Мечта». Или любовь одного качества, или же это подлинная цена любви! — смеялся, наконец, Гурий.

— Подлинной цены на любовь не

знаю, — покачал головой Рорбах, — не приторговывался.

— А вот я знаю, — оживился Гурий. — Не приторговывался, а знаю: за отроковиц, если они ржаные, как говорит Патрикей, то-есть из простой рабочей семьи, всего пятьдесят рублей, а если пшеничные, из благородных, то и совсем дешево, чорт их возьми! — испуганно заорал Гурий. — Но ты, пожалуйста, рассказывай, я ведь смиренный, терпеливый, послушный и больше не буду, успокойся, не буду кричать.

— Ты совсем сумасшедший, Гурий, ты в лихорадке, — испуганно замахал руками Рорбах. — И, наконец, что это такое? Ведь это я любил, и я же был обманут — не ты... И, может, к чорту смешную мою болтовню? Любовь, если поглядеть со стороны, так же бывает смешной, как и всё прочее. Французы, например, относятся к этому легко, почти иронически. Мы, только мы, любим с тоской и мрачностью. Ты послушай. Я бросил коробку с одеколоном, с запиской, где и стишки были. Она, конечно, живо подняла и сейчас же побежала к себе домой, села у окошечка, вынула флакон и принялась его целовать, — поглядывает на меня и целует флакон. Я всегда утверждал, что женщины богаты воображением... На другой день она появляется у окна со свертком, показывает мне знаками, чтобы я вышел на улицу. Хе! Когда я действительно вышел, она выбросила мне под ноги сверток, я нашел там пирожные, записку и стишки. И я тогда подумал, что совсем разорю моего папашу или она разорит родителя своего, кондитера Чуvasова. И вот в один совершенно прекрасный весенний месяц (теперь-то уж ты посмеешься, товарищ Гурий) к дому моей возлюбленной подкатывает лихач, из коляски выскакивает она, и с нею он. (Потом я узнал, что это был всего лишь старший приказчик мануфактурного магазина, именно это и показалось мне обидным тогда.) Всё, как есть, по форме: на нем крахмальная сорочка, галстук веером и ловкий такой скютучок, и она в платье с буфами. Грустное для меня зрелище было, Гурий. Но ког-

да они, чорт их побери, уселись у открытого окна и она достала мою коробку с одеколоном и принялась брызгать из флакона на этого франтика, потом целовать его у меня на глазах, я тогда понял, что любовь моя (в том-то и дело, что не одеколон) называлась мечтой. Я задернул занавеску, сбежал вниз, в аптеку, и рассказал отцу, какая есть на свете проклятая любовь и сколько флаконов краденого одеколona пролил я на эту любовь! Отец запер меня в чулан, чтобы я образумился, и так я ослабел тогда, что тут же на ящиках и заснул. Утром я стал думать: а может, я еще встречу хорошую, неизвестную мне девушку, потом еще и еще, и буду любить и томительно тосковать. Правда, мне, слава богу, скоро пятьдесят, и я так и не встретил той девушки, о которой мечтал, но ведь она, наверное, где-нибудь все-таки живет, может, совсем неподалеку. Слышишь, Гурий? Ага, ты уже спишь. Ну, хорошо, это так же полезно для организма, как и хороший смех.

Рорбах долго сидел в ногах больного Гурия и все думал о прокламациях на чердаке ресторана «Севилья», о любви своей и о том, что вот прошло уже много лет, а он так и не сумел совершить подвига.

Апрельский вечер был тих и темно-синь. По грязному двору прошла женщина в мужских сапогах, звучно шлепая по лужам; потом она скучным голосом принялась скликать кур, и Рорбах почувствовал вдруг приступ тяжелой тоски от безделья своего и неопределенности.

«Э, чорт, надо же было ему заболеть! — сердито думал он, поглядывая на спящего Гурия. — Что же я все-таки буду делать?»

Рорбах прошелся по комнате, оглядел иконы, обширный киот, украшенный резьбой, с деревянным голубем вверху, который держал в клюве вызолоченную цепь лампы.

«Сооружение! — подивился Рорбах. — Любого задавить может. А запах... господи, какой запах скучный!»

Подошел к двери, осторожно приоткрыл. Мрачный, обставленный мягкой

мебелью зал, цветистый, во весь пол, ковер, фикусы, пальмы, дешевые картины в широких рамах и мелкие окна, занавешенные тюлем.

«Могила, — решил Рорбах, шагнув в залу и озираясь, — опора российской державы».

Вдруг он услышал разборчивое бормотание:

— Планета показывает, что ты пригожа, стыдлива и темноволоса. Будешь страдать печалью от множества наговоров, но внутренне заражена ты любовью, а снаружи духовного поведения. В старости будешь иметь порядочное пропитание, доставленное тебе мужем. Выйдешь замуж лишь в лучшей поре жизни и будешь иметь хороших, благонаправленных детей, которые принесут тебе много радостей. Берегись лицемерных людей, могущих за тебя посвататься, и в особенности остерегайся, чтобы кто-нибудь из них не поднял тебя насмех. И не ищи приключений, ибо они не принесут тебе пользы, а только повредят. Сердце твое тоскует по знакомом тебе человеке, ты через многих людей введена будешь в борьбу со многими заботами. Любовь твоя никогда не будет причиной к раскаянию. Многие хотят сделать тебя счастливою, потому что любят тебя. Настоящее твое положение переменится к твоей пользе. Люби в жизни так, как тебя любят...

«Чорт знает что! — удивился Рорбах, заметив за тяжелой портьерой открытую дверь в соседнюю комнату. — Кто же это у них пророчествует?.. Э, чорт, на какой чорт они мне нужны?» — разозлился Рорбах, подкрадываясь к двери.

— А вот и врешь ты, все врешь! — горячась, выговаривала кому-то Степанида Сидоровна. — Детей у меня всего один, и не благонаправленный совсем, с отцом заодно пакостит, ему повинуются, какая же радость тут!

— В книге так под планетой Стрелец указано, матушка ты моя, Степанида Сидоровна. Через меня сам господь бог говорит, я тут истинно не при чем. И про любовь тоже вот...

— Про любовь не говори, я в душе ее скрываю, в истерзанном своем сердце.

И тоскую я, и до могилы моей имени его не произнесу вслух, благородство его оберегаю.

— Так и указано, ангельчик ты мой, Степанида Сидоровна: сердце твое тоскует по знакомом тебе человеке, только неизвестно, кто он по положению, — гражданский, простой человек или военный, в заслуженных чинах, да и то, ежели на картах кинуть, узнать можно.

— Молчи, молчи! — умоляюще пролепетала Степанида Сидоровна. — Не кайся священной моей тайны... Ну, вы что? Вы чего ко мне? — совсем уж ослабленным голосом обратилась она неведомо к кому. — Ничего я не могу, я сама слабая, беззащитная...

Рорбах замер у двери, отодвинул портьеру. В просторной комнате, должно быть, столовой, толпились женщины, одетые до последней степени бедно, и лица у всех были испытые и сиротливые.

— Пришли, Степанида Сидоровна, к вам пришли, куда же еще? Фридрих Иванович неприступны: две недели у завода караулили, так и не укараулили, — говорят, уехал будто бы. С детишками для пробуждения жалости стояли и попеременно плакали. Епимах Лазарич, действительно, выходили, да и то с одними насмешливыми словами, и около, которые помоложе, вертелись, на квартиру к себе приглашали, ну только очень уж страшные с лица, никто пойти не захотел. Только один супруг ваш с жалостью говорили, насчет семейства расспрашивали, у кого сколько ртов, о сыновьях и о дочерях, все как есть подробно, об нужде нашей болели...

— Подлый человек, Искарриот иудейский! — ненавистно выговорила Степанида Сидоровна. — А другой подлый человек там лежит, поразила царица небесная, больной лежит сын мой Гурий... Слышите вы? Не смейте, не вздумайте милости просить у них!

«Вот как, и сына в подлецы зачислила, — продолжал удивляться Рорбах. — Плохо же приходится Гурию! От такой игры не то, что заболеть, — подохнуть

можно. Дорого будет стоить ему дружба с отцом» — пожалел Гурия Рорбах.

Он хотел было послушать еще, как будут причитать и плакаться на судьбу пришедшие к Степаниде Сидоровне жены рабочих, но и без того всё было известно ему до мельчайших подробностей, к тому же сознание полной невозможности устранить сейчас же, немедленно, людское горе тяготило Рорбаха невыносимо.

Над двором проходил тихий апрельский вечер. Весенние помолодевшие звезды казались выдуманными для умиротворения человеческой души, что уже было прямым и несомненным доказательством насмешливого равнодушия природы ко всему происходящему на земле. Рорбах понял это и решительно обозлился и обругал себя дураком за теорию свою о единстве человека с природой.

— Как это можно? — сказал он, войдя в комнату Гурия. — Как это можно?

— Все можно, — отозвался Гурий.

— Ты проснулся?

— Не знаю, и никто этого не знает, — задыхаясь, ответил Гурий. — Думается мне, что по-настоящему еще не проснулся.. Потушите лампаду, Семен Львович, устал я очень от этого. Отдохну, покуда отец путешествует.

Гурий видел, как потянулся Рорбах, поднявшись на носках, к иконам, дул из всех сил и долго не мог потушить притаившийся в глубокой лампаде тонкий огонек. Но, когда огонек погас и Рорбах обернулся, за его спиной тотчас же встали три бородатых святителя; в сумраке они казались все на одно лицо, и глаза их были теперь пронзительными и злыми. Гурий приподнялся на локоть, святители шли на него. Одноликие и страшные, они напоминали Гурию отца, когда бывал тот чем-нибудь раздражен.

— Зажги лампаду, зажги скорей! — в страхе закричал Гурий.

Но Рорбах, должно быть, ничего не слышал, он говорил:

— Ты бы, может, поднялся, Гурий! Дай-ка руку, я пульс послушаю... Ах, черт, тебе, пожалуй, и на самом де-

ле выходить нельзя, удержишь ты меня.

— Гони их, чего на них смотришь? — бормотал Гурий. — Ты погляди, погляди; трое святителей, трое Полуденовых, трое Елимахов, трое Фридрихов. Гони их, гони!..

— Да ты опять уснул, кажется? — заметил Рорбах плотно закрытые глаза больного. — Может, мне лучше уйти?

— Ну вот тебе раз! — очнулся Гурий. — Как же вы пойдете без меня?

— Значит, пойдём? — обрадовался Рорбах. — Но ты лежи, лежи, рано ещё итти.

Гурий вздохнул, поправил подушки, сел, привалившись к изголовью, и натянул одеяло до подбородка.

— Рассказывайте что-нибудь, Семен Львович... Ой, как тошно! Не понимаю, что такое происходит со мной, надо бы пригласить доктора. А? Как вы думаете?

— Доктора? — забеспокоился Рорбах. — Нет, я думаю, доктора нельзя, постороннего доктора. Ты такое можешь выболтать в бреду, — объяснился он, — что лучше покуда без доктора. Я пришлю своего, ты не волнуйся, Гурий, на днях у тебя будет настоящий доктор... Чего ты смеешься? Я так смешно говорю?

— Напротив, Семен Львович, очень серьезно.

— Ну да, ну да! Я всегда серьезно говорю, — с видимым удовольствием согласился Рорбах, — такой уж у меня склад ума. Хотя иногда случается, что и не так говорю. Видишь ли, язык не успевает за мыслями, вот отчего это происходит. Кстати насчет рассказа. — вдруг перескочил Рорбах. — Но это уж так и совсем несерьезно, и лучше уж я помолчу, чтобы ты не подумал обо мне бог знает чего и не волновался. Только ты прости, пожалуйста, рассуждения давай отложим, времени совсем нет... Ты как себя чувствуешь?

— Я задыхаюсь, товарищ Рорбах.

Сбросил одеяло и соскочил на пол.

— Что ж, сейчас как-раз время итти, Семен Львович, чтобы уж не думать потом. Характер у меня дурацкий, ей-богу!..

— Нет, отчего же, — сказал Рорбах, — мне твой характер нравится.

Они вышли на улицу. Ночь была прозрачной и тихой, и не слышно было под ногами земли, пахло свежим дыханием помолодевшего ветра.

— Неудачная погода, — досадливо заметил Рорбах.

— Очень, — согласился Гурий. — Ждите меня здесь, Семен Львович, за углом ресторана, я выйду потом..

Стояли у под'езда ресторана лихачи. Подгулявшие посетители раз'езжались по домам. Смейся, выбегали женщины; высоко подобрав юбки, они брали кавалеров дешевым своим кокетством и откровенными улыбками. И опять-таки зрелище было привычным и давно уже примелькалось, так что Гурий, наблюдая все это, вроде как бы и не замечал совсем, в особенности после Патрикеева откровения. В эту ночь было особенно много девочек-деточек, они выбегали крикливые и пьяные, некоторых выносили расфранченные кавалеры на руках и прямо укладывали на сиденье пролеток и мчались с хохотом и взвизгиванием в тихую, прозрачную ночь.

(Следует еще раз напомнить о том, что на пути из ресторана в город стояли завод братьев Ланге и веселый домик известной мастеровым Колпачихи, а на площади высилась церковь «Спас-преображения». И, ей-богу же, не для контраста сообщает об этом автор, потому что контрасты подбираются или же придумываются, в данном же случае ничего придуманного нет. Даже тот факт, что в обширном поповском доме в этот час ночи бренчали на расстроенном рояле дебелие поповны, а сам поп, хмельной и растрепанный, играл с гостями в преферанс, тоже не выдуман и в точности соответствует будничной действительности того времени.)

Гурий прошел в буфетную комнату, чтобы принять Патрикеев отчет.

— Можете итти, Патрикеев Лукич, — сказал он, усаживаясь за стол проверять счета. — Заприте двери. Объяснять ничего не надо... нет, нет, на этот раз не надо...

Патрикей помялся, побряхтел и, пощечячи умильно заглядывая в лицо Гурию, сокрушенно вздохнул.

— Что там еще? — спросил Гурий.

— А ничего-с, Гурий Карпыч... вид у вас сумлительный нынче, и лицом изменились.

Покачав головой, Патрикей обежал вокруг стола.

— И еще-с не знаю, как поступить с непредвиденным происшествием...

— Да не тяните же! — прикрикнул Гурий.

По кабинетам господин Варган гуляют, в крайне растерзанном виде, и отчаянно рыдают, — сообщил Патрикей, — и никто не может их унять-с.

— О, чорт! — не удержался Гурий. — Что ему надо? Чего это его так разобрало?

— Жалеется на врагов и супостатов, и на новые времена-с, — лукаво улыбнулся Патрикей. — Я же сообщаю так-с, что обиды Севастьяна Корнеича в низкой расценке начальством его преданной души.

— Понимаю, — догадался Гурий, выражая улыбкой своей участие и соболезнование неудачнику Варгану.

Заметив улыбку хозяина и определив ее значение, Патрикей проследил за спиной Гурия, зашептал:

— Сердце у вас, Гурий Карпыч, обширное-с, к горю ближнего открыто, извините громкое выражение моих чувств. Ведь Севастьян-то Корнеич душу свою в угоду начальству распластали, и вдруг в преклонных летах постигла его неудача.

Патрикей приблизился скольльзящим, еле слышным шагом. Остановившись за спиной Гурия, зашептал:

— Одолевают смутные прокламации слабые головы рабочих людей и повсеместное имеют распространение, до того даже, что в кабинетах ресторана были обнаружены-с, и неоднократно, только я молчал, опасаясь тревожить вас, Гурий Карпыч, а прокламации, будто чудом, совсем неведомо как рассеиваются.

— Вот это действительно скверно, — сказал Гурий.

— Куда сквернее-с! — развел руками Патрикей. — Оттого и убиваются Севастьян Корнеич, что не могут настичь врага в злом его деянии и тем отличиться. Уж я говорил им: «Может, и осенит вас господь, Севастьян Корнеич, молитесь, говорю, в таком деле господь всегда на вашей стороне будет». А Севастьян Корнеич запыли-с...

— Запыешь, — посочувствовал Гурий. — Чего же вы молчали до сих пор? — упрекнул он старого официанта. — Я бы крестного уведомил.

— Василий Тимофеевич давно в курсе и мне наказывали, чтобы я доглядывал, а что я могу? Официантов допрашивал. Глазами хлопают, понять ничего не могут-с. Прямо оказия! И, что всего хуже-с, в кармане собственного пальто обнаружил однажды. И вот-с положение, Гурий Карпович; держу в руках прокламацию и дрожу, бросить не смею, — а что, ежели заметит кто? «Вот он, — скажут, — государственный злодей, который смуту сеет». И при себе оставить боюсь, вдруг обыск учинят по приказу того же Василия Тимофенча. Вскочит это мне в копеечку, думаю, сотельным билетом не откуплюсь, — я ведь характер Василия Тимофеевича отлично знаю-с.

— Ну, и что же? — заинтересовался Гурий.

— Перекрестился я, Гурий Карпыч, и под подкладку зашил-с, да так стой поры и ношу с трепетом. Ежели любопытствуете, то вот-с. Прошу вас ослобонить старика от проклятого смущения. По ночам не сплю, за судьбу свою стесняюсь, Гурий Карпыч...

Патрикей живо вспорол подкладку пальто, вытащил помятую прокламацию и трепетной рукой положил на стол.

«Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Гурий тотчас же узнал прокламацию и самую манеру начертания Бориса Кракова.

— Ужасно! — сказал он, талантливо изобразив на лице своем испуг и

недоумение. — Уберите, Патрикей Лукич, прикасаться боязно.

— Нет-с, уж лучше вы уберите, слезно прошу вас! — взмолился Патрикей. — При вашем положении вы этой самой бумажкой большую честь заслужить можете от самого высокого начальства, ежели участие в разоблачении врагов примете... Тут, может быть, полет судьбы, Гурий Карпыч, и счастливая карьера заключены. Послушайте старика, потому писание такое прямо от антихриста исходит, на что даже указание в библии имеется.

— Указание в библии?..

— Доподлинные слова изображены, Гурий Карпыч: «И восстанет брат на брата, и сын подымет руку на отца». Слышали-с? — Патрикей, набожно вздохнув, убежденно залопотал: — Великое дело совершите, Гурий Карпыч, когда отдадите силы свои для уловления злодеев, которым самое настоящее место в сырой тюрьме. И не жалко, Гурий Карпыч, истинно говорю вам. Которые из рабочего сословия — туда дуракам и дорога, им-то ведь все равно, а из благородных попадетсЯ кто, — значит, предался бесу через проклятую свою образованность.

— Вы-то, Патрикей Лукич, как? Вы опытной меня. Вот если бы вам такое дело — чувствуя приступы удушья, выпытывал старика Гурий. — И душе спасение, и награда... Чего же вы не отвечаете? Может, сочувствуете бумажкам этим, а? Ха-ха! Вот я вас и поймал. Вас сразу - то не разберешь...

— Севастьян Корнеич разберут-с. Напрасно вы повергнуть меня в смущение хотите, устарел я, хотя душой и жажду подвига, чтобы родине послужить... Тут ведь примирения быть и не может-с, со смустителями-то.

— «Ах, как разгорелся старичишка!» — подумал Гурий.

— Ну что ж, Патрикей Лукич, идите, поздно уж, а я тут подумаю, может, и отличиться решу.

— Не-эт и не-эт, — взметнулся вдруг пьяный и довольно хвастливый голос, и Варган, слегка пошатываясь,

возник в дверях буфетной. — Имею честь бла-ародным людям (и ты благодароден, Патрикей, и наплевать) засвидетельствовать мое выражение чувств! Са-авершено верно: высокиих чувств! Душа моя в смятении, Гурий Карпович, и в час ночной забвенья ищет. Гм! позвольте мне присесть к столу.

— Вы огорчены, Севастьян Корнеич, — участливо спросил Патрикей, — или же находитесь в сомнении?

— В сомнении, — качнулся Варган. — О, Патрикей, трудовая пчелка! А ну, подбежи, я пожму твою руку. Да, я, без сомнения, в сомнении. Ты угадал, старик. Подбежи, обლობызаю... Фу-ух, бог мой, как вы надменны, Гурий Карпович! Ваш взор минует меня, ничтожного и вдобавок пьяного, но, чорт подери, я, Варган Севастьян Корнеевич... Савоська... Я... Ну, да что ж я в сравнении с вами? Хе! Полнейшее, смею выразиться, несуществующее существо. Так или не так? И, э-э-э, вернее, конечно, так-с... Ведь у вашего папеньки далеко за миллиончик, ему самолично генерал-губернатор ручку подает-с, а мы в прихожей постоять за великую честь для себя считаем-с. И вот, наблюдаю, и вы ко мне с надменным взором...

— Не угадали, — вежливенько и с улыбкой отозвался Гурий. — Как вы могли подумать такое, Севастьян Корнеевич! То-есть, если хотите знать, так совершенно напротив...

— Напротив-с, — поддержал Патрикей.

— ... и только что вспоминали вас, — продолжал Гурий. («Ох, чорт, как я глупо улыбаюсь!») — Скажите, Патрикей Лукич, господину Варгану...

— Что и говорить, с большим расположением и чувствами, — поклонился Патрикей, — и по известному вам вопросу. — Придвинул прокламацию. — Вот и документик-с.

— Хе-хе-хе! — вдруг закатился Варган. — Дорогие мои други-недрузи, не лучше ли будет, если закроем мы стралицу моего отчаяния?

Он уронил голову и как-то опустился весь, жалкий даже в щегольском своем сюртучке, в петлице которого болталась ошипанная белая роза.

— Уберите его, Патрикей, — уже не скрывая брезгливости, распорядился Гурий. — Отвезите домой.

— Э-э-э, благодарю... — силясь подняться, бормотал Варган. — А эту вот, вот так вот!

Он разодрал прокламацию, бросил ее под ноги и топтал, топтал, не слезая со стула, злобно дергаясь и балансируя растопыренными руками.

Кончено... Патрикей помогает Варгану подняться со стула и медленно уводит его через черный ход.

На улице потухает сияющая ночь. «Должно быть, разыграется непогода», — думает Гурий. Он долго стоит на крыльце, откуда сбегают широкие ступени в почерневший сад, и смотрит на небо. Отовсюду надвигаются темные облака, как будто бы небо своей тяжестью упало на потухающий костер, и только одна случайная и, должно быть, влюбленная в землю звезда прорвалась над самым садом и повисла в ветвях высокой березы.

«Замечательная ночь» — радуется Гурий и, пройдя садом, открывает калитку. Две меловые черты еще сохранились на полотне калитки. Гурий поспешно стирает их рукавом пиджака.

Из-за угла вынырнула длинная тень и закачалась, приближаясь.

— Проходите, Семен Львович, — пригласил Гурий, отступая в сад.

Они прошли по лесенкам и переходом на чердак ресторана, в темную каморку, в которой пахло еще теплым запахом человека.

— Как вы думаете, Семен Львович, вернется он или не вернется?

— Откуда я могу знать? Услышим потом. Давай торопиться, Гурий, чтобы я мог хорошо уйти.

— Уйдете, Семен Львович. Материалы вот: две стопы прокламаций.

Гурий втиснул прокламации в чемодан, передал Рорбаху.

— Своя ноша не тянет, Семен Львович, — сказал он, спустившись в бу-

фетную. — Кстати передайте Самохинову очередную тысячу. — Добыл из ящика тугую пачку кредиток. — Вот она, возьмите...

И опять, как и в февральский вечер, на собрании, лицо Гурия исказилось, и прикасался к деньгам он с явным отвращением.

— Возьмите, возьмите, — повторял Гурий, чувствуя приступы лихорадочного озноба и бледнея. — Берите же! — выкрикнул он, хотя и попытался улыбнуться, но лицо его неожиданно перекопилось, когда заметил под ногами Рорбаха клочки порванной Варганом прокламации. — Я не могу этого вынести, Семен Львович, — не могу, не могу, не могу!

Торопясь и сбиваясь, он рассказал Рорбаху все.

Рорбах собрал клочки прокламации, и лицо его приняло выражение неумелой строгости.

— Можешь, должен вынести, — сказал он.

Тогда Гурий упал грудью на стол и, содрогаясь, принялся выкрикивать невнятные ругательства, в которых упоминал он имена Полуденова, Руденко, Елимаха — всех, кто был ненавистен ему с детства. Страшное это клокотанье слов напугало Рорбаха; он поднял трясущуюся голову Гурия и увидел лицо, покрытое крупными каплями пота, совсем безумное лицо.

IX

События замедлились; похоже было на то, что события как будто расплылись во времени. Однажды утром Гурий, очнувшись, увидел склоненное над ним лицо женщины, с такими огромными сияющими глазами, что, неожиданно для себя и совсем не владея собой, он заплакал, чувствуя необычайную легкость своего дыхания и удивительную тишину еле уловимых духов.

Пересохшие губы больного Гурия смочили водой, и кто-то огромный, с тяжелыми плечами и согнутой спиной, произнес:

— Жив ли, Гурочка, родной мой? О, господи, господи!

— Тише, — строго зашептала женщина. — Уйдите лучше...

И человек, покорно склонив седеющую голову, стал отходить к двери, но у порога обернулся, упал вдруг на колени.

— Милая барышня, — жалобно запричитал он, — пошли тебе господи всякого добра и счастья! Повек не забуду, выходила сына, молиться на тебя буду, молиться...

Тут уж женщина не выдержала; она швырнула кусочек ваты в медный таз, подскочила к коленопреклоненному человеку и принялась его толкать, выгоняя за дверь. И человек, не поднимаясь, уполз, крестясь и всхлипывая.

— Вот это уж совсем нехорошо, Евгения Павловна, — заговорил седенький старичок в очках, которые поблескивали золотой оправой, — право слово, нехорошо волноваться так. Отец ведь он, понимать надо. Хе! Не думал я, что вы еще и сердиться умеете. Сколько ночей вы не спали, вот оно и сказалось. Вы отдохните-ка лучше. Ах, дела, дела, люди-человеки.

Старичок участливо посмеялся, отвел женщину к дивану, подошел к постели Гурия, поднял одно веко, потом другое и уверенно сказал:

— Радуйтесь и веселитесь, госпожа Строчилина, — жить будет молодой человек.

— Это вы его спасли, доктор, я тут не при чем.

— Сударыня, — сердито засопел старичок, — я тоже тут не при чем. У больного воля к жизни, только и всего. Вы разве не замечали, какие у него упрямые глаза? Такие люди могут жить за сто лет...

«О чем они говорят?» — медленно соображал Гурий. Он захотел перевалиться со спины на правый бок, но сразу же почувствовал, что все его тело, пустое и одинокое, лежит где-то далеко от головы. Гурий видел длинные руки и контуры ног под одеялом, и ему было грустно очень, не чувствуя тела, глядеть на него издали. Потом стало смешно, что в эту минуту совершенно трезвого рассуждения он ничего не может поделаться со своим телом.

Тогда он хитро сообразил, что за ним ухаживают, как за больным (Он прекрасно понимал, что лежит в постели больной. «Должно быть, недели две валяюсь, — думал Гурий. — Отец из Петербурга вернулся, значит, действительно две недели»), а больному по закону положено капризничать и требовать. Гурий улыбнулся, то-есть он подумал, что улыбнулся, на самом деле дрогнула одна только левая щека; улыбнувшись, он крикнул, но, к его удивлению, доктор, разгуливая по комнате, даже и не остановился, не повернул головы, продолжая разговаривать со Строчилиной, и она отвечала что-то, и это очень обидело Гурия.

«Все-таки свинство! — подумал он. — Ору, и не обращают внимания».

Гурий натужился, что было силы, и, как показалось ему, рявкнул во все горло.

— Вы слышите?.. он уже пищит, — сказал, торжествуя, доктор. — Уверяю вас, что после такой длительной болезни редкие натуры выживают, и, честное слово, я тут не при чем, это уж от бога, его воля...

— Ах, от бога, от бога! — досадливо проговорила Строчилина. — Удивительно, как это вы так можете говорить, доктор, не зная бога, не чувствуя и не веря в него... Молчите, молчите! Я же знаю вас с юных лет.

Она поднялась с дивана и направилась к постели.

— Послушайте, он на самом деле пищал? — спросила она, склоняясь над больным и замечая, как из-под ресниц его стекают на щеки крупные слезы. — Господи, да он плачет, кажется!

«Кто плачет?» — хотел спросить Гурий и заплакал еще сильнее, чувствуя, как постепенно овладевает им неизъяснимое блаженство детской беспомощности и радостного возвращения к жизни.

— Пи-ить, — еле слышно произнес он, с удивлением прислушиваясь к жалобному своему писку.

— Милый, он пить просит. Можно, доктор?

И Гурий почувствовал, как чьи-то обходительные руки подняли его голову и в полуоткрытый пылающий рот пролилась влага. Гурий облегченно вздохнул и открыл глаза. Теперь он лежал на боку и глядел прямо в окно, за которым хлестали гонимые ветром дождь и снег.

«Какая нынче несуразная весна», — подумал Гурий.

— Да-с, Евгения Павловна, — снова заговорил доктор, — хотя я и того... как это сказать?.. и не верю в так называемый высший разум, но все же, случается, удивляюсь: человек со слабыми признаками жизни пробыв в постели шесть месяцев и выздоравливает! Конечно, у больного колоссальная воля, однако тут уже чудо. По советам, я давно уже, про себя, приговорил его к смерти. Тиф — штука серьезная.

— Тише, доктор, он слышит, — предупредила Строчилина.

Доктор остановился, подошел к больному и поднял слабую его руку; рука тяжело и безвольно упала.

— Едва ли он сознает что-нибудь, — заключил доктор.

— А ведь я все слышу и сознаю, — заговорил Гурий и очень удивился, что не слышит того, о чем говорит. — Значит, кто-то еще болен в нашем доме, только вы не хотите сказать этого? Ну, и не надо, я сам все узнаю. Встану сейчас и узнаю...

Гурий хорошо сознавал, где он и что делает. Он с любопытством наблюдал за тем, как он поднялся с постели и опустил ноги на пол, и застыдился, заметив свою наготу и людей, которые глядели на него и, как ему показалось, обидно улыбались. Тогда Гурий поспешно стащил с постели одеяло, укрылся им и тут же вспомнил, что давно не мылся и сейчас ему нужно немедленно вымыться, освежить тело, смыть липкий пот и противную мелкую шелуху, которая (он чувствовал это) каталась под пальцами, когда проводил он ладонью по груди. Путаясь в длинном одеяле, он прошел в ванную комнату и очень обрадовался, когда увидел наполненную водой ванну. Гурий сбросил

одеяло и лег во всю длину, радостно бултыхаясь в прохладной воде, испытывая почти прозрачное блаженство, как будто его, крохотного и совсем беспомощного, качала на руках счастливая мать. Счастливо улыбаясь, Гурий закрыл глаза, не в силах бороться с дремотой, которая была для него высшей точкой физического удовольствия. Опустив руки, погрузившись в упругую воду, он лежал, прислушиваясь к необъятной тишине, окружавшей его. Одно время ему казалось, что он умирает от большого, неизмеренного счастья, когда человека ничто уже не может прельстить, когда находится он как-раз на той вершине, откуда отчетливо видны (и, главное, видны-то с одной только смешной стороны) все побудительные причины человеческой деятельности; только одна любовь стояла в стороне, в старом, затасканном платье, но все еще веселая и попрежнему юная. И вот (Гурий так весь и встрепенулся) появился человек, встал на тропинке, которая вела к любви, и начал выкрикивать: «Эй, подходи, подходи, добрые люди! Кто хочет купить любовь? Пожалуйста, продаю по сходной цене!» Гурий (хотя ему ничего уже не нужно было) затрясся от приступа возмущения и открыл глаза... В ванную комнату входил отец, ласковый, с заискивающими улыбками.

— Здравствуй, Гурочка, здравствуй, сынок, как у тебя дела идут? Хорошо ли торговал, сынок?

«Господи, вот оно, мое наказание! Опять притворяться нужно», — напугался Гурий.

— Из Санкт-Петербурга приехал, Гурочка, — подвигался Полуменов к сыну. — Ах, распрекрасный город! Обитель царей и благолепия. А какие возможно вершить дела там — и-и, боже ты мой, господи! Выслушай и не осуди меня, Гурочка, потому, как указано мне наставником моим, Елимахом, в жизни все создано для употребления, и подумал я: дураком буду, ежели не воспользуюсь дарами природы.

— А дочерей рабочих, отроковиц, — закричал Гурий, — как ты с ними поступить хочешь?

— Запасной капитал, Гурочка, како-

вой при умелом обращении принесет до двухсот процентов прибыли. Сообрази, Гурочка, как единственный и разумный наследник, — улыбнулся Полуценов, — и прими мое проверенное почтение...

— О-о! — застонал Гурий и, не терпя отцовских улыбок, отвел глаза.

— ...тем более, что в данную минуту больной спит, — продолжал доктор, внимательно прислушиваясь к ровному дыханию Гурия, — и теперь вам, Евгения Павловна, осталось наблюдать его пробуждение и следить за режимом питания. И... я, пожалуй, пойду.

Собираясь, доктор скучно позевывал, но, уходя, нашел уместным пошутить:

— Главное, следите за питанием, тем более, сударыня, что, по имеющимся у меня сведениям, выздоравливающие тифозные едят, как крокодилы.

Он посмеялся и ушел, уставший в заботах о здоровье людей и равнодушный к смерти их.

Поднялся Гурий в декабре, когда задували неистовые метели и тучные снега подпирали заборы, и можно было предположить, что в этом году совсем не было ни весенней, ни летней поры и все время лежали снега и носились по снежным равнинам злые ветры.

Вечерами заглядывал Карп Полуценов, целовал сына и, справившись о здоровье, уходил к себе, всегда озабоченный и деловитый. Задерживаясь в дверях и незаметно благословляя Гурия, говорил:

— Поправляйся скорей, торопись, Гурочка. Закружился я без тебя, работы невпроворот. — Виновато улыбался в сторону Строчиловой: — Не буду, барышня, милая, не сердитесь для-ради бога...

Гурий закрывал за отцом дверь, садился на свое место, в глубокое и теплое кресло.

— Продолжайте, Евгения Павловна, — обратился он к женщине. — Я радуюсь моему воскресению и ничего не знаю о жизни, до того не знаю, что декабрьскую канитель за весеннюю при-

нял. Гляжу в окно и веселюсь, и кажется мне, что все идет заново, как будто до этого ничего и не было вовсе...

— У выздоравливающих это обычно, — объясняла Строчилова. — Вы поглядите на себя в зеркало, что от вас осталось.

— Что, очень плох я?

— Да нет, не плох, но уж совсем не похож на прежнего мечтательного Гурия.

— Мечтательного? Ну, уж нет, Евгения Павловна, для мечтательности в нашем роду совсем времени не оставлено. Какое там, к чорту, мечтание! Папашка мой без мечтаний жизнь одолел, даже и в любви не объяснялся. Он ее, жизнь эту, лицемерием взял, набожностью и гнусностью своей...

— Не надо волноваться, Гурий.

— Ни капельки. Я ведь подлинный сын своего отца. Может, это и было прежде, а теперь нет, теперь я не волнуясь.

— Тоже плохо.

— Ой, господи! Волноваться плохо, и не волноваться нехорошо. Конечно же, я волнуясь, только... как бы это вам сказать? меня уж не волнует человеческая подлость, я ее объяснил... Не верьте, вру: человеческую подлость до меня объяснили... Вы когда-нибудь видели Варгана?

— Ах, шпик этот? Нет, не видела.

— И Патрикея тоже не видели? И Фридриха Ланге не знаете? И Епимаха?... Эх, ну как же так!

— Я видела только вашего отца, Гурий. Он показался мне совсем тихим, обходительным человеком.

— Вот, вот! — привскочил Гурий. — «Тихим, обходительным человеком!» Вам сколько лет, Евгения Павловна?

— Двадцать первый... Почему это вы вдруг?

— Посвататься хотел. Да вы не смущайтесь, не посватаюсь, слишком уж я устарел. Вы подумайте только! Я знаю Фридриха Ланга, Епимаха Киндеева, Варгана, Патрикея, знаю всех мастеров нашего завода, и, наконец, знаю моего крестного, полицейского надзирателя Ру-

денко... Фу-у, будь я проклят! Зачем вы у меня, Евгения Павловна? Уйдите, уйдите, прошу вас... А-ах, ничего-то вы не знаете!..

— Перестаньте, Гурий, я в самом деле могу уйти, — пригрозила Строчилина. — Вот сейчас поднимусь и уйду.

Она сделала нетерпеливое движение, но не двинулась с места.

— Не буду, не буду! — напугался Гурий. — Это я так... Вы все-таки видели моего отца, и на первый раз этого достаточно, и даже слишком. И вы должны понять меня, то-есть мое состояние, душу мою...

Он замолчал, прислушиваясь к посвисту морозной метели, не замечая в эту минуту ничего и ничего. Он понял вдруг, что все прожитое им обернулось другой стороной, и ему казалось теперь, будто болезнь, перенесенная им, перебрала его на другую сторону жизни и между берегами лежал совсем ветхий мостик, который будет снесен первым напором весенней воды.

— Что же произошло, товарищ Строчилина? — спросил он.

— Если судить по газетам, так ничего не произошло. Я имею два номера «Русского слова», в них очень скупо сообщают о всеобщей забастовке нефтяников в Баку.

— Только и всего?

— Погодите, я не хотела говорить сначала, вы опять будете волноваться...

— Да нет же, нет, говорите, — торопил Гурий женщину. — Я здоров, ей-богу, здоров... Чего вы так подозрительно смотрите? Думаете, вру?

— Я имею, я читала шифрованное письмо Кракова, — шопотом сообщила Строчилина. — Нас не подслушают?... Вот вы уже и побледнели...

Гурий настороженно вытянул шею.

За дверью кто-то пел совсем разбитым тенорком:

— «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробе живот даровав...»

И насмешливо:

— Даровав, чорта с два даровав!

— Молчите!.. Спрячьте газеты!.. Или, нет, возьмите вон ту книгу, — заметался Гурий. — Да, да, роман «В пылу

страстей». Ах, не все ли вам равно!.. Укройте мне ноги, вот так. И читайте, пожалуйста, читайте!..

— «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробе живот даровав...»

И еще раз:

— Даровав, чорта с два даровав!

— Отоприте дверь, Евгения Павловна, — попросил Гурий, — он здесь, он зайдет... И читайте, я буду дремать.

За дверью продолжал гнусаво петь и бормотать Епимах. Вдруг пенье оборвалось, послышалось близкое покашливание, одно полотно двери без предупреждающего стука открылось, и в комнату просунулась голова мумии, высохшей до восковой желтизны, но еще живой и осмысленной.

— Кхе-эм! — кашлянула мумия.

Строчилина уронила в колени книгу и невольно подалась назад, вглубь кресла, — так было страшно видение. Строчилина хотела подняться и собиралась сказать что-то, но было уже поздно.

Епимах Киндеев, с выражением глубокого участия на лице своем, шагнул в комнату.

— Простите великодушно, дорогая барышня, пришел исторгнуть счастливую слезу по случаю благополучного возвращения к жизни больного, горячо любимого мною юноши Гурия. Поверьте, близок он душе моей, потому что имел честь быть на его крестинах и наблюдать за дальнейшим его ростом и умственным развитием. Ах, боже мой, великомудрый и милосердный! (Перекрестился на трех святителей.) Позвольте присесть и побеседовать. Приятная беседа имеет свойство способствовать исцелению.

— Садитесь, Епимах Лазаревич, — очнулся Гурий. — Распорядитесь, Евгения Павловна, подать чаю. Хотите, Епимах Лазаревич, чаю?

— Чай? — как бы дивясь предложению, переспросил Епимах и, вздохнув, сказал: — Что же теперь делать, пусть дадут чаю. Удивительны начертания пути человека, — продолжал он: — молодой и сильный подвергается болезням, а старый и хилый, между прочим, здо-

ров, и ежели боится, так только (хе-хе!) с похмелья.

Принял из рук Строчиной стакан и припал к руке, зачмокал, млея от восторга.

— Избранница сердца или сестрица милосердия? — лукаво перекошил он глаза, оглядывая молодых людей.

— Сестра милосердия, — сказал Гурий.

— Избранница сердца, — смело объявила женщина, — купца Строчилина дочь.

— Ай, ай, ай! — всполошился Епимах. — Павла Семеновича Строчилина? Очень даже хорошо знаю-с почтенную и уважаемую всеми личность вашего папаша и душевно радуюсь вашему счастью с Гурием. Примите мой поклон, барышня, и лучшие пожелания. Павлу Семеньчу, — лебезил Епимах, — скажите от меня сердечный привет, низко кланяется Епимах Киндеев, скажите. Боже мой, боже мой! Капитал к капиталу, как тому и надлежит быть.

Епимах взволнованно высморкался, вздохнул и вдруг принялся жаловаться:

— В большой горести мы с Карпом Серафимовичем и со всем начальствующим составом нашего завода, дорогие мои, молодые люди, ох, в каком горе!..

Гурий поймал внимательные глаза Строчиной, подмигнул ей и тотчас же обратился к Епимаху с хорошо сделанными словами тревоги и участия:

— Что случилось, Епимах Лазаревич? Не пугайте нас. На заводе что-нибудь?

— Именно-с на заводе, — взволнованно засопел Епимах, — забастовочку сочинили наши молодцы. И что бы вы думали? Против войны протест выразить пожелали, против воли государевой. Заступаются, изволите ли видеть, за обманутый русский и японский пролетариат-с, не более, не менее. Хе-хе-хе! Отчаянные храбрецы. А зачинщиками явились, кто бы мог подумать, молокососы: Ефим, Чемерицына, токаря, сын. Не знавали такого? То-то, что нет! И наш подмастерье Тихон Стригун. А главный подстрекатель — небезызвестный иудей Семен Рорбах. И что удивительно — не могли узнать, откуда и че-

го изготовления прокламации, из коих явствует, что забастовки эти происходят повсеместно, и в особенности смута распространилась в городе Баку, на нефтяных промыслах.

— Попустительство, Епимах Лазаревич...

— Совершенно согласен с тобой, молодой человек, — обрадовался Епимах, — так точно: не более как попустительство и наша отечественная лень-с, даже и в борьбе с вражьиими силами... Вы побледнели, молодые люди? Очень понимаю ваше негодование и радуюсь проявлению благородных чувств! — громко выражал свое удовольствие старый канцелярист, наблюдая за лицами собеседников.

Насладившись созерцанием, Епимах неожиданно заторопился; он с откровенным презрением поглядел на ненавистный ему чай, отодвинул стакан.

— Однако я пойду, дорогие мои молодые люди. Гложет печаль душу мою, и чувствует сердце приближение грозных событий.

— Надо что-то предпринять, — сказала Строчилина, подчиняясь знакам Гурия.

— Вы говорите — предпринять? — усаживаясь поудобнее, спросил Епимах, позабыв о намерении своем уйти. — Но что же прикажете предпринять против обозначенной в жизни нашей судьбы-с?

Молчание. Оно становится томительным, когда Епимах, медлительно раскрывая об'емистый портфель, выкладывает его содержимое на стол, готовится, видимо, начать нравоучительную беседу, подкрепленную документами. Наконец, он произносит:

— Вот-с!

Потом еще раз и с сожалением оглядел остывший стакан с чаем, хитро повел глазами.

— Никогда еще ни один гостеприимный хозяин не угощал Епимаха Киндеева чаем. Хе! Не осмеливался угощать, Гурий Карпович...

— Понимаю, Епимах Лазаревич, — смущенно пробормотал Гурий. — Не догадался я, не обижайтесь, дело поправимое. Легонького, и получше, разрешите вам?

— Увы, только легонького, и уж, если не жалко для старика, — получше.

Он говорил и смеялся и хлопал выпавшей челюстью, а когда принесли вино очень хорошей марки, Епимах торопливо выпил и сразу от веселья (несомненно искусственного) перешел к старческому, почти сухим слезам, которые, казалось, гремели на пергаментных щеках Епимаха.

— Вот-с, — повторил он, — трушу, чего от роду не бывало со мной. Тобишь, не трушу, — поправился старик, — а бессилен противостоять-с, хотя и ясен ум, но оттого еще хуже. Почему так? Тому есть веские причины. (Рассуждая, Епимах не забывал подливать вина и, с каждым глотком, заметно пьянея, становился дерзче в суждениях. Вначале он был жалок и как будто пришиблен чем-то, так что Гурий решил про себя, что этого человека можно уже сложить, «как высохший плавательный пузырь». По Епимаху, Гурий склонен был судить о духовном состоянии и настроении вообще всей власти в России. По сути дела, Гурий и не ошибался: власти действительно находились в состоянии растерянности и упадка; причиной тому были серьезные поражения, понесенные русской армией в войне с Японией, и крупные волнения и забастовки среди рабочих почти всех отраслей производства. Но власти все же имели достаточную способность к тому, чтобы оправиться и отстоять на этот раз господствующее свое положение. И вот непревзойденный в измышлениях Епимах, переходя от упадка к воодушевлению, как бы служил доказательством живучести самодержавия.)

Епимах вытряхнул из груди бумагу тонкую тетрадочку, поднял ее левой рукой выше головы, вытянул длинную шею.

— Документ, свидетельствующий о мероприятиях, дорогие мои молодые люди, — торжественно произнес он, слепо шаря правой рукой по столу, нащупывая стакан с вином. — Из документа явствует... (Епимах захватил, наконец, стакан с вином и тоже поднял его в уровень с головой)... явствует, чорт мою душу возьми, прости царица небе-

сная!.. что Акционерное общество механических заводов братьев Ланге, то есть Фридрих Иванович и любезный наш Карп Серафимович Полуденов, в ноябре месяце текущего года ассигновали на так называемые банкеты (хе-хе!) десять тысяч триста восемьдесят рублей. Сумма-с! Как вы полагаете, добрые мои друзья?

— Очень любопытно! — искренно удивился Гурий.—А ведь я и не знал.

— Где же знать, — подхватил Епимах, — если душа твоя имела направление в то время ко господу. (Епимах, незаметно для себя, выплеснул в рот стакан вина, клькнул и еще более воодушевился.) Но что же произошло, господа? — возвысил голос он, — В то время, когда мы — я, ну и, само собой, Яков Генрихович — при содействии образованнейшего мужа Сергея Андреевича Солунцева измышляли на банкетах петиции по части прав гражданина Российской империи и думали, на основании какого закона (а может, и беззакония... хе-хе!) наилучшим и совершеннейшим способом заставить работать его величество пролетариат, в это время другая часть общества, ну, эти... как их там?.. разночинцы, учительшки, служащие и подрастающее поколение из учащихся, затеяли свои банкеты в народных чайных и стали требовать в резолюциях своих созыва Учредительного собрания, немедленного прекращения войны и амнистии всем политическим! Каково-с?

Епимах возмущенно хлопнул тетрадочкой по столу, сердито засопел и потянулся к бутылке.

— Фридрих Иванович обозвал дорогого своего племянничка дураком, а меня... хе-хе-с! Не могу без смеха вспомнить... вопиющим политиком. Так и сказал: «вопиющий политик»... И позвольте, это еще не все-с, и дайте мне передохнуть, — уронил вдруг высокий тон свой Епимах.

И снова Гурий и Строчилина увидели его жалким и высохшим до последней возможности, так что нельзя было и предполагать, будто живет в этом человеке действующая мысль, острая и всегда обнаженно-насмешливая.

— Не учли-с, — очнувшись, произнес Елимах, — что все наши способы, в особенности гуманные-с, употребляемые для обуздания рабочих, балуют их... поняли?... дают им надежду и возбуждают аппетит-с!

— Вы за что же? — притворился Гурий непонимающим.

— За обыкновенный кнут-с... Ибо, коль скоро вы попотчуете лошадку овсецом, то уж, смею заверить вас, соломокой не соблазните потом, не-эт, не соблазните. Наоборот, отборного ячменя должны будете выдавать, а за ячменем и пшеничку... Закон человеческой природы и великая игра ума, который до скончания веков не будет удовлетворен-с, хотя бы и открыли людям райские врата.

— Совершенная и непреложная истина, — заиграл Гурий, улыбнувшись в сторону Строчиловой. — Слушал вас, Елимах Лазаревич, и насыщался мудростью...

— Как ты сказал? — беспокойно завопил Елимах, — «насыщался мудростью»? Ах, молодой человек, к чему слова, кои не имеют смысла? — Он вздохнул, но, не удержавшись, тут же и рассмеялся, хлопая вставной челюстью. — Единственно, кто мудр, бог наш вседержитель, — наставительно заговорил старый крючокоторец, — да и тот не показывался людям, потому что еще и не родился... Хе-хе-хе! Судить же о мудрости всего видимого мира мы не можем, доколе не открыли смысла сотворенного и живущего и не знаем конца. Говорить о мудрости так же нельзя, как и об итогах торгового предприятия в начале года... Аминь, аминь, глаголю вам, хотя и все сказанное тоже сущие пустяки-с, — заключил Елимах, выливая остатки вина в стакан. — Важен человеку единственно день и час его бытия, что подписом с приложением казенной печати и удостоверяю. Простите меня, и все такое прочее... Пойду за деловым разговором к другу моему Карпу Серафимовичу...

Елимах допил остатки вина, собрал бутылки и тяжело поднялся, и на длинной его шее покачивалась хмельная, но несомненно трезвая голова.

— Удивительный тип, — сказала Строчилова, проводив Елимаха и закрыв за ним дверь.

— Единственный и неповторимый, — засвидетельствовал Гурий. — Он любую игру разгадать может, проникнуть в замыслы и предсказать будущее.

Гурий поднялся, совсем окрепший и даже веселый в эту минуту.

— Надо действовать, — сказал он, — итти на поклон к папаше: он ведь ждет, чтобы я поскорее принял ресторанное хозяйство. Ну, что же, я, пожалуй, приму. Предупредите товарищей, Евгения Павловна.

— Начало игры, товарищ Гурий?

— Продолжение игры, — серьезно поправил Гурий.

Х

Веселый и удачливый Ефимка сумел избежать ареста за участие свое в забастовке на заводе Ланге. Он переменил только место службы и работал теперь в тридцати верстах от Москвы, на железнодорожной ветке, артельным старостой.

В густом лесу гудел весенний ветер, проносились над вершинами сосен легкие облака и без-умолку галдели, устраивая гнезда, хлопотливые грачи. На бугры и откосы взбиралась из низин молодая трава.

В такие дни Ефимка жил исключительно по указкам алфеевой науки и заранее знал: ветер скоро уgomонится и, как всегда, привалившись вон к тем соснам, задремлет, разнеженный солнцем, а в низинах будет сочиться из земли желтый горячий песок, и там же прорастет тоскующая польня. И всё это хорошо, если бы у Ефимки было время для размышлений над этим.

В карьере посвистывает паровоз и лязгают буферными тарелками баластные вагоны. Ефимка копошится у потухающего костра, на котором ремонтные рабочие только-что варили похлебку. Рабочие, артель в двенадцать человек, сидят у круглого земляного стола, опустив ноги в канавку, и степенно хлеблют большими деревянными ложками свое незамысловатое варево. Сопя и от-

дуваясь, они хлебают из одной железной шайки, черпают мутную жижу, выжидательно поглядывая на старшего в артели, густобородого мужика в холщевой рубашке, которую мужик этот предусмотрительно окунул в деготь, чтобы не водились в ней паразиты. Зовут мужика только по отчеству, Панфилыч, выражая этим свое почтительное к нему уважение за степенность, за очевидный ум его, который живет в строгих глазах и в широкой бороде этого мужика.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», — думает Ефимка, поглядывая на подчиненную ему артель.

Панфилыч стучит тяжелой своей ложкой по краю шайки и торжественно провозносит:

— Ташши с говядиной!

Он первый выловил кусок баранины и, подставив лопоту черного хлеба под доньшко ложки, открыл загодя широкий рот. Получив разрешение старшего, рабочие, не торопясь и соблюдая очередь, справа налево, по ходу солнца, вытаскивали куски мяса.

«Хорошие ребята, — продолжает Ефимка думать, — старательные».

Он рассеянно глядит на штабеля прошлых годовых старых шпал и вдруг вспоминает о прокламациях, которые спрятал он под шпалы, чтобы потом распространить их по линии.

Пришел смиренный вечер, давно угомонились грачи. Сипит на запасном пути маневровый паровоз, ветер нечаянно свалился под кручу, и вот уже лохматые звезды толпятся в широких весенних лужах. Ефимка сидел в товарном вагоне, поставленном на землю для рабочих, и, разбирая вместе с машинистом Дорофеем Самохиным прокламации, свертывал их для удобства в небольшие квадратики. Закончив работу, разместив прокламации по карманам и натолкав их за блузу, приятели выбрались на край откоса. Дождаясь сигнального рожка стрелочника (главный путь был занят проходящими в эти часы пассажирскими поездами), они молча прислушивались к гулкой тишине вечера. Ефимка, наблюдая природу, старался не разговаривать; в такое время казалось, что слова, даже самые хо-

рошие и высокие, обязательно испортят природу, разденут ее, и тогда снова примутся горланить встревоженные грачи, ветер начнет без толку метаться из стороны в сторону, и веселые толпы звезд будут выплеснуты из необъятных луж на грязные и затоптанные берега.

Загудел в рожок стрелочник. Самохин с Ефимкой спустились под откос, к паровозу.

— Можно отправляться, Дорофей Кузьмич? — спросил Самохина помощник. — К двенадцати как-раз в депо будем.

— Давай, — разрешил Самохин и, не дожидаясь помощника, толкнул регулятор.

Паровоз тронулся, зычно загудел и, подрагивая на стыках, направился к выходу из карьера.

— Валяй на тендер, — приказал Самохин Ефимке, — начинай отсюда, да смотри, оглядывайся...

Ефимку обдало густым дымом и мелким пеплом, когда выбрался он на тендер. Паровоз медленно проползал по недавно уложенным рельсам между высоких отвалов песку. Ефимка лег к железному борту закрома, прямо на жирные угли, и, приглядываясь к густосизой полутьме, принялся вышвыривать прокламации прямо на железнодорожную насыпь; прокламаций больше двухсот, и Ефимка рассчитал, чтобы хватило их до самой Москвы. Наконец, паровоз выбрался на главный путь и, свистя, открыв продувательные краны обоих цилиндров, стал набирать скорость. Прокламации развевались, летели, как белые голуби; некоторые, высоко взвиваясь над полотном дороги, носились, подхваченные сильным течением воздуха, и, распластавшись, падали потом далеко в стороне.

«Ничего, — радовался Ефимка, — крестьяне подымут, тоже ладно будет».

Через час заиграли многочисленные огни города. Ефимка скупо распределил остаток прокламаций и расшвырял их под Москвой, на путях сортировочной станции.

Ефим Чемерицын почувствовал какое-то особое удовлетворенное облегчение,

понимая всю важность и большую опасность того, что сделал он за минувшие полтора часа. Лежа на углях, обдуваемый ветерком, он с удивлением отирал со лба обильный пот, как будто не прокламации разбрасывал, а все тридцать верст бежал за паровозом и подталкивал его на под'емах.

— Уморился? — посмеялся Самохин, заметив пот на лице Ефимки.

— Поработал, — горделиво отозвался Ефимка и лукаво подмигнул. — Небось, довольны будут.

— Еще бы тебе! — согласился Самохин, задерживая паровоз около веерного депо. — Дуй, друг мой, обратно с товарным поездом, чтобы и духу твоего здесь не было.

Ефимке нравилась деловитая распорядительность Самохина, который так ловко и хорошо занимался делами революции, как будто пришабривал подшипники. По суете, Ефимка не очень-то был расположен к таким работникам подполья, как Левашова, Рорбах, Полуменов, Гурий или Строчилина, и склонен был, по особому складу своего характера, считать их людьми слабыми и на опасное дело не способными, и всегда удивлялся на Самохина, если видел его в обществе Строчилиной, и даже про себя ревновал машиниста к этой красивой и богатой женщине. «Ну чего она липнет к рабочему человеку? — размышлял он иногда и совсем не догадывался о любви этих людей. — Попадется когда-нибудь, — заключал Ефимка, наблюдая за Строчилиной, — вот и запоет тогда: мама, не буду!»

Ефимка знал богатый особняк Строчилиных в Денежном переулке, на Арбате, и, случалось, так увлекался мыслью о том, когда же попадется дочь купца-миллионера, что хотел бы даже видеть это, чтобы убедиться, как она струсит и будет просить прощенья. Но время шло. Строчилина, к ефимкиному удивлению, выполняла поручения не хуже других и совсем не боялась риска. И через два года знакомства с этой женщиной Ефимка стал снисходительней к ней, и до того, что иногда, в минуты особого расположения, разговаривал с ней и уж во всяком случае не дичился

и отвечал на вопросы, если она обращалась к нему.

Вернулся Ефимка к трем часам утра, тихо пробрался в угол барака, где спали путевые рабочие, лег на свой топчан, как был, в грязных сапогах, и сейчас же уснул, довольный минувшим днем.

В обеденную пору, все на том же месте у земляного стола, сидели рабочие и попрежнему чинно хлебали свою кашку с бараниной. Но, когда рабочие сели в тени за шпалами покурить, старший, Панфилыч, добыл из-под подкладки картуза аккуратно сложенную прокламацию, прокашлялся и, строго оглядев притихшую артель, медленно и важно прочел:

— «Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия». Вот, ребята, какое дело, грамота насчет положения, — сказал он и почесал густую бороду, потом подумал, тоже, должно быть, для важности, и повторил еще раз: «Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия».

И, повторив, широко перекрестился, потом зачитал, не останавливаясь и ничего не объясняя:

— «Милостию пушек, пулеметов, ружей и нагаек мы, Николай последний, убийца и насильник всероссийский, палач польский, клятвопреступник финляндский, и прочая, и прочая преступления совершивший, объявляем всем нашим малoverнопопдаанным:

Ради барышей наших родичей, для пользы богатых банкиров и ради спасения шатающегося (Панфилыч прочел: «шатащего») престола нашего от разрушительного действия мятежного рабочего движения затеяли мы бессмысленную войну, которая погубила сотни тысяч наших подданных. Чтобы горечь и боль пролитой в Манчжурии крови не вовсе уже растерзали наше любящее сердце, сочли мы за благо расстрелять в Питере, Варшаве, Риге, Лодзи, Ревеле и многих других городах дорогого нашего отечества еще несколько тысяч безоружных подданных и уравновесить бойню внешнюю бойней внутренней.

В настоящее время, так как распространение революционного движения

на все мои народы грозит и вовсе уничтожить нас и присных наших, мы порешили подкутить и подпоить вернейших наших хулиганов, шпионов и полицейских, чтобы они, собравшись вокруг трона, направо и налево раздавали тумачи другим, не столь верным нашим подданным, произвели травлю инородцев, смятение в рядах борцов за свободу. С этой целью организовали мы побоище в Баку, Казани, Пскове, Курске. Засим, в полной уверенности, что скоро придет конец державе нашей, решили мы перед последним часом усилить жандармерию, умножить тюрьмы, воздвигнуть эшафоты и привести в боевую готовность пушки и пулеметы. Манифест от 12 декабря, содержащий легкомысленную критику нашего управления и мнимые обещания реформ, сим отменяется.

В твердом уповании на воспитательное влияние картечи, шашек, нагаек и тюрем мы попрежнему благоклонны к нашим подданным и сулим чиновникам произвол и казнокрадство, революционерам виселицы, рабочему классу свинец, либералам шиш, хулиганам и шпионам серебряную монету и казенную водку.

Дан 18 февраля 1905 года, накануне ожидавшегося либералами созыва Земского собора, среди тревог и волнений смутного времени, в последние месяцы нашего несчастного царствования.

На самом манифесте за самодержавца, по его неграмотности, расписался Трепов.

С подлинным верно:
Московский комитет Российской
Социал-Демократической Рабочей
Партии».

— Вот, значит, и да, — вздохнул кто-то. — Тут, это самое, долго думать надо...

Панфилич бережно расправил прокламацию, свернул ее и спрятал на прежнее место; потом отыскал говорившего, пошевелил лохматыми бровями.

— Эх ты, кочедык тамбовский! — сказал он. — А ты как бы думал век прожить, чтобы за тебя другие мозгами ворочали? Уж лучше бы ты молчал,

когда ежели, куда ход судьбы идет, не видишь... Что сказано?

Панфилич поспешно и, казалось, с досадой вновь извлек прокламацию.

— Сказано: «Ради барышей наших родичей, для пользы богатых банкиров». Чуешь? Умные люди насчет бесстыдности правителей намекают, прямо как по писаному.

— Это я знаю, — сказал рабочий, — это насчет помощи господскому сословию, значит.

— Догадался, кочедык тамбовский? — потрянул бородой Панфилич. — И сказано еще так: «Усилить жандармерию, умножить тюрьмы, воздвигнуть эшафоты и привести в боевую готовность пушки и пулеметы».

— Я не говорю, — сказал рабочий. — Выходит, нам дожидать нечего.

— Одно слово: мы для нашего царя вроде японцы, — заключил Панфилич. — Кто на этакое положение согласен?

Артель молчала.

— Может, все-таки царь смиляется? — выразил надежду рабочий.

— И выходит, ты — чубук! — рассердился Панфилич. — В Питере, этой зимой, в январе было, ходили к нему за милостью, он возьми да и выставь на каждое крыльцо по два пулемета, да и хлобысни сплошь по всем, по старым и по малым. Хм! Смиляется! Как бы не так, держи карман шире!

Панфилич поднялся, и за ним поднялась вся артель.

— Нет, мы на этакое положение не согласны! — решительно объявил мужик.

Ефимка слышал все, но подойти не решился, чтобы не вспугнуть разговор. Он хотел знать, как будет принята прокламация, и очень удивился, когда увидел, что рабочие слушали прокламацию так, будто это была обыкновенная газета, и старший в артели, Панфилич, совсем не остерегался. Виденное и услышанное Ефимкой так его подняло, что он тут же и поверил, будто все готово к тому, чтобы по-настоящему зачинать революцию. (По натуре своей Ефим Черницын принадлежал к людям, которые любят действовать в лоб и всегда раз-

дражаются, если приходится выжидать, рассуждать и в особенности философствовать. В деле революции многое казалось ему простым. «Надо только как следует разозлить народ, — говорил он при встрече с Рорбахом. — Очень уж вы канителите, Семен Львович»). Ефимка находил себя готовым в любой день выйти с оружием в руках, как настоящий солдат, которому никакой враг не страшен. «Главное — смелость, — думал он. — Смелостью любого можно удивить. А если удивить удастся и противник хотя бы на минуту опешит, тогда его и свалить нетрудно». Обладая большой физической силой (Ефимка, из удали перед ремонтными рабочими, поднимал ось из-под вагонетки и перебрасывал через голову), он хотел возможно скорее показать ее в первой схватке с врагом и был непоколебимо уверен в победе. Ефимка мечтал совершить личный подвиг и все хотел отличиться, напрашиваясь и одолевая Дмитрия Лепихина, Рорбаха и машиниста Самохина просьбами, чтобы ему поручили самое рискованное, самое ответственное дело. Еще в этом году, четвертого февраля, примчавшись однажды с газетой в руках, он завопил в неистовом восторге:

— Убили, убили! — и, отстранив перепуганную мать, бросился к Лепихину. — Князя Сергея Александровича убили, дядя Митя, Каляев... бомбой... Ах, здорово, чорт! Это я понимаю! В куски, и к чорту. Молодец, ей-богу, молодец!

Дмитрий Лепихин, этот всегда ласковый и внимательный к своему воспитаннику человек, вдруг помрачнел, молча принял газету из ефимкиных рук и, поднявшись, крикнул в дверь соседней комнаты:

— Леонтий Никанорыч, товарищ Рорбах, ну-ка на минуточку!

Дмитрий отодвинул Ефимку в угол и, насмешливо тыча пальцем в ефимкину грудь, сказал, обращаясь к вошедшим:

— Видали дурака? Поглядите! — И пояснил: — Анархист, бомбист Ефим Чемерицын! Господи, где ты только нахлебался такой чепухи?

— Дядя Митя! — рванулся ошеломленный Ефимка. — Я, дядя Митя...

— Молчи, единокореец! — совсем уж, как показалось Ефимке, чужим голосом произнес Дмитрий. — Ты что же, бомбу отдельного эсера считаешь лучше, действительней организованной классовой борьбы, которую проповедуем мы, социал-демократы-большевики? Ну, говори, говори!.. Нет, погоди, не говори... Ты, значит, не веришь в массовое рабочее восстание против самодержавия, ты думаешь, что, уничтожая по отдельности представителей полицейской власти, можно уничтожить существующий строй?

— Раз — два, сильно... Раз — два, дружно... — однотонно, безо всякого воодушевления и бодрости выпевают ремонтные рабочие, выправляя ломиками недавно перешитый железнодорожный путь.

А в небе пылало солнце. Отсюда, с земли, солнце виделось совсем крошечным, будто радужный голубиный глазок. (В детстве водила Алевтина Ефимку в церковь «Спаса-преображения», с той поры и остался в памяти радужный этот глазок.) Ефимка, размечтавшись, угодил ногой в лужу, и мелкие брызги разбитого им солнца ослепили его. Ефимка обрадовался этому неподвижному случаю: он пришел в себя и заспешил к рабочим.

Конечно, Дмитрий Лепихин в тот же день и простил тогда Ефимку (любовь в родстве с великодушием).

— Читай побольше, — посоветовал Дмитрий, — сильнее будешь, чудачок, а на меня не сердись: обидно мне за тебя, понял ты?

И Ефимка принялся читать; он относился к этому по-своему, то-есть принимал это и понимал точно так же, как исполнительный мастер принимает заказ, будучи уверен, что заказ этот выполнит лучше и аккуратнее других. (Ах, если уж дядя Митя обозвал дураком, значит он, Чемерицын Ефим, действительно опростоловелся и наделал глупостей. Ну да, так оно и есть, соглашался Ефимка, припоминая кстати покровительственное и, пожалуй, снисходитель-

ное отношение к нему Рорбаха, Строчиной и других, в особенности Строчиной, которая, как ему казалось теперь, даже в случайных разговорах всегда уступала ему, должно быть, потому только, что считала унижительным для себя спорить с невежественным парнем. «Да, да, так оно и было, — обидчиво думал Ефимка. — А ведь я еще думал, будто я, а не она оказывает мне честь».)

Ефимка приволок сразу две больших связки книг: он собрал все, что только мог достать, он опустошил скудную библиотеку Дмитрия Лепихина, одолевал отца, чтобы тот сходил к Строчиной за книгами, и читал и читал, пользуясь каждой свободной минутой, оставляя в цепкой своей памяти все, от Беллами до Камилла Фламариона, от экономических очерков Железнова до Лассаля, Маркса, Плеханова, Ленина, от «Записок охотника» Тургенева до Писарева и Белинского. Это было похоже на то, как будто бы он переходил из одной комнаты в другую. И замечательно: в первой комнате как будто все было светло и чисто, и легко было дышать, и легко было думать; но, когда Ефимка перешел в соседнюю, первая показалась такой убогой, что ему уже стало страшно возвращаться туда: после этого он ринулся в третью комнату, но здесь он открыл чудеса, и ему просто стыдно стало своего пребывания во второй. Угодив в третью, он оробел, он сделал для себя такое ошеломляющее открытие, что тут же захотел броситься под первый проходящий поезд от отчаяния, презрения к самому себе, к тому, как он был глуп. (Сознание собственной глупости преследовало потом многие годы, и в памяти его прошедший день всегда оставался глупым по сравнению с наступившим, но и наступивший оказывался не лучше прошедшего, и Ефимке всегда думалось, что в прошлом легко можно было избежать той или иной глупости, и все же, по какому-то необъяснимому стечению обстоятельств или просто чорт знает почему, глупости повторялись, шли, проклятые, как будто бы стояли где-то в очереди, поставленные самим насмешливым дьяволом.) Наконец, он стал бояться своих слов и разговаривал только с матерью,

инстинктом угадывая, что все высказанное им она обязательно найдет умным и необыкновенным.

Ефимка приобрел способность видеть то, чего прежде не видел и не замечал вовсе; случалось, он подожду прислушивался к тому, как бьется в окно и гудит муха, или он разглядывал какое-нибудь пятно на стене, и однажды, что показалось смешным даже и Алевтине, сын ее Ефимка (ах, конечно же, необыкновенный, очень умный, очень красивый!) стоял перед картиной и плакал, перед картиной, которую, по совести, давно следовало выбросить, где кораблик, окончательно засиженный мухами, давно потерявший паруса, все еще плыл по морю.

— Раз—два, сильно! Раз—два, дружно!

— Ну что, Панфилыч? — спросил Ефимка, подойдя к рабочим. — Дай-ка промер.

— Да чего там, Ефим Леонтич, я и так, на-глазок вижу. — Панфилыч подал промер. — А то пробежим давай, мне все едино. — Запал позади по шпалам. — Бабов пригоняй завтрава, шпалья подбивать.

По главной линии мчался поезд; тяжело пыхтя и отдуваясь, торопился он в Москву. Перед закруглением машинист дал свисток. Весенний, особенно звонкий в эту пору лес подхватил его и долго перебрасывал в глубине своей певучее эхо.

Вагоны, сверкая широкими стеклами, покачиваясь на стыках, бежали за паровозом, и лица пассажиров, в особенности первого и второго классов, также были веселы. И ничего не было в этом особенного, и Панфилыч, например, совсем не обратил своего внимания на то, что вот промчался поезд с веселыми пассажирами и прозвучало эхо паровозного свистка в лесу; мужик этот шагал по шпалам и все бормотал насчет того, что «бабов» надо поздравей, потому что работа «чижолоя». И тут Ефимка не выдержал; обернувшись к Панфилычу, указывая на лица веселых пассажиров первого и второго классов, спросил:

— Как это, Панфилыч, правильно, по-твоему, или неправильно?

Панфилич проводил равнодушным взглядом своим давно надоевшие ему вагоны.

— Нынче правильно, а завтрава, может, и неправильно будет, — сказал он. — Ты не думай, Ефим Леонтич, ты так думай: ежели что не по-нашенски, стало быть, и неправильно..

XI

Наконец, он влюбился и стал находить, что из прочитанной им художественной литературы ничего нет взволнованней и выше стихов. Ефимкина любовь была удивительной, она казалась ему печальной, как пустынное пенье осеннего ветра, и невозможной, как сновиденье, которое нельзя осуществить. Все время хотел он развлечения; в чем это развлечение будет заключаться, он еще не знал, но, если бы ему грозила смертельная опасность, он все равно не испугался бы. Ефимка долго (все лето, до осени) искал ту женщину, которую так непередаваемо сильно любил он, и не мог успокоиться, потому что никого не любил и только лишь воображал, будто любит, и странное дело — любое откровение или признание в любви тотчас же разрушило бы его мечты. Самое одиночество и покинутость свою он любил больше и выше всего, и ничего не могло заменить красоты его мечтаний. Однажды, когда мечтания достигли крайней точки, Ефимка ошеломил Дмитрия Лепихина вопросом:

— Скажи, дядя Митя, есть бог или совсем нет бога?

— Дошел все-таки, — засмеялся Лепихин. — У всех одно и то же. Ты как сам-то думаешь?

— Нет, ты скажи, дядя Митя, ты скажи.

— О несомненных вещах не спрашивают, Фимка, вот что скажу я.

— Значит, нет? — торжествовал Ефимка.

— Бог выдуман, Фимка, для людей слабых, сильным он не нужен. И вообще вечный вопрос этот перестанет существовать, как только рабочий класс добьется такого положения, при котором любому позволено будет разоблачать бога.

— И все?

— Все, Фимка, и главное — совсем просто: люди так высоко поднимутся, так вырастут, что бог окажется ненужным и смешным. Тебе, я думаю, бог ни к чему, или еще нужен?

— Нет, дядя Митя, я разбил его, — совсем уже весело сообщил Ефимка, вспомнив в эту минуту деревянную иконку Тихона Задонского. — Я удивляюсь только, откуда это?

— От человеческой беззащитности. Людям страшно в жизни, Ефимка. Но ты погоди, страх этот пройдет, он уже проходит, — понимаешь ты меня, Ефимка? И когда, наконец, страх перед богами, царями, всеми пророками, церквами, мечетями, синагогами и кумирнями отойдет, тогда рабочий класс возьмет в руки оружие и разрушит все эти смешные и нелепые сооружения, разрушит дикую веру в сердце своем, в душе, в голове, всюду. Надо предать осмеянию, сделать смешными в глазах всего мира и богов, и царей, и пророков. Самое сильное оружие, Ефимка, смех. То, что хотя бы раз будет осмеяно, никогда не поднимется, не задержится в жизни, человеку стыдно будет возвращаться к осмеянному, такого случая в истории не было. Смеха никто еще не выдерживал, Ефимка, даже и боги.

«Молодец дядя Митя, — молча радовался Ефимка, — хорошо говорит». И спросил:

— А любовь?

— Что любовь? — не понял Дмитрий. — Кто тебя начинил вопросами? Ты что, влюблен, что ли?

— Нет, это я так, — покраснел Ефимка. — Я подумал, будто и любовь осмелеть можно, потому и спросил. Ну, только раздумался... любовь нельзя осмелеть.

— Нельзя, — согласился Дмитрий, — ее никто не выдумывал.

— Я знаю, — отозвался Ефимка, улыбаясь мыслям своим. — Я думаю о другом. Осмелятся люди или не осмелятся?

— Они осмелятся! — живо откликнулся Дмитрий.

Ефимка открыл окно. Душный августовский вечер уронил пыльную свою голову на чахлые деревья палисадников.

Солнце улеглось за монастырской рощицей. Резвились и трещали стрижи, кружась около тоненькой колокольни. В соседнем дворе длинно и необыкновенно певуче прокричал петух.

Дмитрий подошел к Ефимке, сел рядом и, положив на подоконник, перед ефимкиными глазами, распечатанный конверт, сказал:

— Прочти, это от Кракова, из Одессы. Люди осмелели, Ефимка. Сейчас ты узнаешь.

«Четырнадцатого июня в 10 часов вечера, в сопровождении миноносца № 267, в Одесский порт пришел броненосец «Потемкин Таврический». Стальной гигант стоял на рейде, внушая растерянность и страх одним, другим — надежду и беззаветную смелость и веру в то, что начинается новая жизнь, победоносная и гордая, и провозвестником новой жизни является этот грозный гигант, с безумной отвагой поднявший пламенное знамя восстания. Огромные толпы народа, как лава, потекли вниз, в порт, чтобы быть поближе к недвижно стоявшему броненосцу, даже попасть на него, если только это возможно, и лично убедиться, что броненосец непобедим, и не только благодаря своему вооружению, а скорее тому духу, который побуждал отважных моряков взяться за оружие во имя революции и подлинной свободы.

В конце нового мола, в палатке, сделанной из паруса, лежал труп матроса, убитого на «Потемкине» старшим офицером корабля.

Окровавленное тело матроса выставлено было, как знамя восстания, призывавшее всех к борьбе и отмщению. Его охраняли всего несколько товарищей с броненосца. Но охрана и не требовалась. Те, кто в дикой злобе своей готовы были растоптать простреленное тело матроса, надругаться над ним, не смели сюда показаться. Жерла грозных пушек с броненосца грозили врагам революции и могли в несколько минут превратить город в кучу мусора...»

(Ефимка видит сияющее под солнцем море и на берегу огромные груды разру-

шенного города. Ошеломляющая тишина установилась под небом, и вот, нарушая эту тишину, сходят с броненосца на берег победители, герои, матросы, и тотчас же песни торжества и высокой радости воскрещают город!)

«...Те же, кто подходил сюда, протискиваясь сквозь огромную толпу негодующего народа, с удивлением и благоговением глядели в неподвижные черты человека, который осмелился прямо взглянуть в глаза своему начальству и от лица товарищей заявить, что они не допустят издевательств над собой, что они, вместе со всеми массами угнетенного пролетариата, имеют право на свободу и готовы идти в бой за нее и отдать свою жизнь за счастье и радость трудящихся.

Тысячи человек как бы искали в этих неподвижных теперь чертах убитого матроса разгадку той тайны, которая отделяла нынешний день от завтрашнего. Но резкие черты загорелого молодого лица не могли дать ответа на этот вопрос. Они только ясно и вразумительно говорили, казалось:

«Я сделал свое дело. Я честно исполнил то, что считал своим революционным долгом. Я отдал жизнь за то, что считал правдой».

И толпа, приливая и отливая от палатки, не смела здесь громко говорить, как бы боясь осквернить покой, который витал над мертвым телом. Зато вокруг толпа шумела и клекотала, возмущенная и негодующая.

Бочки и любое возвышение служили трибунами для ораторов; они вскакивали на эти возвышения или поднимались руками возбужденного народа и с горящими глазами, с бледнеющими от гнева лицами бросали в толпу огненные слова. Говорили девушки, женщины, рабочие, говорили старики. Речи падали в толпу и еще больше разжигали ее возбуждение и жажду к борьбе и подвигам. Но никто еще не знал, что именно нужно делать, на что в первую очередь направить свою силу.

— Товарищи, товарищи! — раздавались промки голоса там, где собиралась толпа.

— Товарищи!

Я обернулся и увидел девушку с курчавыми черными волосами, с большими, глубокими глазами на красивом бледном лице.

— Товарищи! Совершилось событие, которое сильнее всяких слов говорит о том, что рабочий класс пробудился и понял, что ему надо делать и куда идти. До сих пор, товарищи, одиноко, по терниям и острым камням шли наши борцы за свободу. До сих пор они должны были скрываться в подпольи от своих преследователей и угнетателей народа. Теперь им некого бояться. Сила, которая грозила им, вон та сила, — указала девушка на стоявший у берега броненосец, — эта сила на нашей стороне...

— Не слушай жидовку! — заревел хриплый голос с бешеной злобой. — Бей жидов!

Высокий человек с большой бородой, портовый стражник, ринулся к девушке с поднятыми кулаками, но прямо перед его лицом блеснул ствол револьвера, громыхнул выстрел, и большое тело, взмахнув руками и постояв только лишь мгновение в какой-то неестественной позе, рухнуло на землю.

Между тем скоро стало известно в порту, что спуск с Николаевского бульвара занят солдатами и что в порт оттуда никого уже не пускают. Напуганная этим сообщением, боясь остаться отрезанной, запертой в ловушку, часть собравшихся на берегу людей бросилась назад, в город.

Все банки, заводы, магазины, даже пекарни бастовали. Чего не удалось добиться накануне, совершилось на другой день, и кровавые жертвы 14 июня были смтыты могучим приливом, неожиданно хлынувшим с моря. О «Потемкине» ходили самые невероятные слухи, и всему готовы были верить, так как самое невероятное из всего, что можно было выдумать, было здесь, у всех перед глазами.

Проходя по Гаванной улице, я встретил похоронную процессию. Запыленные матросы, всего человек восемь-десять, шли за гробом, поставленным на дроги. Позади этой странной процессии ехала закрытая карета, за стеклами виднелись

какие-то совсем, как мне показалось, чужие физиономии.

Процессия поднялась, очевидно, из Карантинной гавани. Пекло нещадное солнце, и по лицам матросов струился пот: так хоронили Вакулинчука.

Наступил вечер, и с его приходом в порту вспыхнул пожар.

Ночь дышала огнем и ужасом. Из парка и с Николаевского бульвара была артиллерия. Грохотали залпы и завывали пулеметы. Пламя и выстрелы соединились вместе, чтобы справить кровавую тризну. В эту ночь никто не спал в Одессе. К утру пламя стало меньше. Как сказочный зверь, оно нажралось досыта и днем 16 июня, уже сонное, глотало то, что было случайно пропущено им. Черные обломки зданий, точно кости гигантских скелетов, торчали там, где накануне бился мощный пульс жизни. И среди обломков зданий горами валялись обгорелые трупы погибших, да кое-где стонали, умирая, искалеченные люди.

На рассвете 17 июня катер «Потемкина» арестовал спасательный пароход «Смелый», снял с него всю команду, пересади на него свою и отправил на разведку к Тендеровскому заливу.

Вернувшись, разведчики сообщили комитету «Потемкина», что недалеко от Тендеры появилась эскадра в составе трех броненосцев.

Эскадра не замедлила появиться вблизи Одесского порта. Это были броненосцы «Ростислав», «Три святителя» и «Двенадцать апостолов». Их сопровождали три миноносца и три контр-миноносца. Эскадрой командовал вице-адмирал Кригер. На «Ростиславе» взвились сигнальные флаги, «Потемкин» также ответил сигналами:

Адмирал Кригер. Требую, чтобы вы присоединились к эскадре.

«Потемкин». Просим адмирала на борт.

Адмирал. Сдайтесь, безумные потемкинцы, или примите бой.

«Потемкин». Мы готовы к бою.

Адмирал. Я не могу принять его здесь, так как при перелете снарядов может пострадать город.

«Потемкин». Иду к вам.

И, подняв боевой красный флаг, «Потемкин» понесся, вразрез эскадре, в открытое море. Он принял вызов и в продолжение двух часов находился вблизи эскадры. Была минута, когда эскадра последовала за ним: тогда «Потемкин» сделал поворот и на всем ходу разрезал кольцо, которым его замыкали. На берегу кричали, что «Потемкин» идет на сдачу, но произошло нечто совсем неожиданное: на «Ростиславе» появился сигнал: «Мы идем в Севастополь».

«Потемкин»: «Мы остаемся здесь».

Вице-адмирал Кригер отдает эскадре приказание:

— Вперед!

Но с «Геоργия-победоносца» отвечают: «Мы остаемся здесь».

И «Геоργий» поворачивается и становится, при восторженных криках «ура», рядом с восставшим «Потемкиным».

Эскадра стала медленно удаляться и через некоторое время совсем исчезла с горизонта.

Вечером 18 июня в порт, где стоял «Геоργий-победоносец», вошел учебный транспорт «Прут». Некоторое время он переговаривался с броненосцем, и все думали, что «Прут» также присоединился к восставшим, но, постояв, он скоро ушел в море.

После его ухода на «Геоργии» поднялась тревога. Большинство команды, не видя никакой поддержки со стороны города, совершенно подавленного военным положением, испугались и решили принести повинную начальству. Во главе раскаявшихся стоял боцман. Раскаявшись, обманным образом связали зачинщиков и послали депутацию в город, к командующему войсками, и вручили ему георгиевское знамя.

Этот удар поразил потемкинцев. Часа в четыре дня слева, из-за мыса, где белел маяк, показался броненосец «Потемкин»; шел он вдоль берегов, одинокий и гордый. Черный дым, как траурный султан, далеко тянулся в воздухе, не сливаясь с ним и не тая. Было душно. Парило. И лиловая туча шла из-за моря навстречу отважному кораблю, этой легенде свободы, которая не забудется никогда...»

— Люди осмелели, Ефимка, — повторил Дмитрий, прислушиваясь к хриплому гудку на заводе Ланге, к властному его рёву, который, казалось, грозил даже и тайным помыслам.

Ефимка проводил Дмитрия Лепихина в ночную его смену. Молча прошел он за спиной своего учителя два переуллка, придумывая, что бы такое сказать значительное и важное, и очень досадовал, как это так ничего в голову не приходит и все мысли идут вразброд и такое множество мыслей, когда теряешься и совсем не знаешь, какую из них выхватить, самую точную и умную. Прошла тощую деревянную часовенку над колодецем, который был, говорят, вырыт каким-то позабытым святителем, отчего все бабы соседних улиц и переулков считали воду целебной и лечились той водицей от любовного жара и от хмельного угара.

По привычке видеть и чувствовать себя героем последней прочитанной книги Ефимка вообразил, что он... (Ах, чорт возьми, он ничего не может припомнить из того, как вел себя герой той книги, которую он читал, и, что еще хуже, Ефимка забыл не только поведение героя, но и название самой книги. «Или я перепутал все?» — испугался Ефимка)... что он, одинокий и гордый, броненосец «Потемкин», уходит в море к далеким и неведомым берегам...

Тоска и тишина в улицах. Дмитрий далеко впереди. Ефимка останавливается. Прямо на него, подымая пыль тяжелыми сапогами, шел отец, сутулый и несоразмерно широкий; он возвращался с завода, уже не замечая дороги, не обращая внимания на встречаемых; так миновал сына, перешагнув через длинную тень его, как через молодость, которая не обеспечивала спокойной старости.

За поворотом в следующий переуллок Ефимка неожиданно столкнулся с молодой крестьянкой. С узелком в руке, одетая в ситцевое платье и в легкую кацавейку, покрытая цветным платком, концы которого падали ей на плечи, закрытая узелком, крестьянка заступила дорогу.

— Иди за мной, — пригласил Ефимку чей-то знакомый голос. — Да не останавливайся ты, чудо заморское!..

«Нежное» это приглашение озадачило Ефимку; он метнулся к женщине, поймал ее за руку. Перед ним стояла сверловица завода Ланге, Надежда Ерасова; в наступивших сумерках он разглядел сердитые ее глаза.

— Руку пусти, леший, руку!

Вырвавшись, она нырнула в калитку чьего-то двора и, прижимая к груди узелок, побежала полутемными закоулками. Стояли в закоулках плешивые домики в пестрых заплатках, подпертые завалинками, зачумленные пылью. Но ухитрялись все же произрастать в замусоренных закоулках веселоголовые подсолнухи, трава лебеда, одуванчики и целительная ромашка. Копытилась тут многочисленная детвора, радуясь даже и морщинистым улыбкам местной жизни.

— Куда же мы? — спросил Ефимка, когда миновали они заросший коноплей огород и очутились под ветлами, на берегу какого-то болотца. — Бегу за тобой и ни черта не понимаю.

— Понимать не надо... Объявлено положение о государственной думе, мне Строчилина нынче сказывала. Завтра на массовку всем заводом. Нас думой не обманут...

— Так чего же ты разрядилась так? — недоумевал Ефимка. — С какой такой радости?

— В деревню к себе еду, видишь — гостинцев набрала, — указала Ерасова на узелок. — Бегу сейчас, ног не чувю, и вдруг замечаю, трусит за мной на извозчике Варган. Господи, вот перепугалась!

Ефимка поглядел на узелок, на растерянную девушку. Снисходительно улыбувшись, заметил:

— С непривычки... Ты все-таки куда это завела меня?

Он наклонился, чтобы заглянуть в глаза Ерасовой, они нравились Ефимке необыкновенной игрой своей, и однажды, было это еще в феврале, на собрании в ресторане «Севилья», Ефимка одну только Ерасову и запомнил, не приметив других женщин.

— Эй, Надя, ты меня слышишь?

— Я слушаю, — отозвалась Ерасова и насторожилась, прислушиваясь к сумеркам. Где-то раздумчиво затрещал сверчок. — Ох, как не хочется мне в деревню, Ефимка!

— Что?

— Слава богу, никого нет, — проговорила девушка. — Ничего ты не знаешь, Ефимка. Ну, пойдем. Запомни дорогу, часто ходить будешь.

К первому сверчку присоединился второй; он начал свою песню пересохшим голосом и еще заунывнее. Сквозные сумерки густели, наливаясь затхлою темненью города.

— Старый черт! — выругалась вдруг Ерасова, останавливаясь. — Поймал он меня один раз в конторе, во время полочки, и говорит: «Ты, говорит, хорошая девушка и можешь вполне скрасить мои седеющие дни...»

— Так, — сказал Ефимка, нетерпеливо топчась, как бы приготавливаясь бежать и лишь ожидая приказа. — Так, — повторил он, ревнуя Ерасову к человеку, имени которого он еще не слышал.

— ... И вот берет меня под руку и отводит в сторону. «Ах, вы прекраснее Татьяны, — напевает он. — Пойдем ко мне, и я устрою твое счастье». Ух, как он разозлил меня! (Все видят ведь и смеются.) Губы у него слюнявые, глаза пьяные, и сам весь изгибается. «Я не Татьяна вам, кричу, господин Варган, я Надежда, только надеяться вам не на что». Он ко мне опять, а я наотмашь с левой. Тут Варган через стул, вниз головой...

— Плохо, — замечает Ефимка.

— Знаю, что плохо, — соглашается Ерасова и уходит вперед.

Она шагает в полутьме через борозды вскопанного огорода. Ефимка идет рядом, не догадываясь о цели путешествия. Минуты через две они уперлись в бревенчатую стену амбара.

— Он за мной следит... слышишь, Ефимка? — останавливается Ерасова. — Я его боюсь, как чорта... Ну ладно, тише тут, мы пришли.

Ефимка озирается. Одна сплошная темносерая мгла, ни луны, ни звезд. Кто-то прислонился к противополо-

ложному забору и слушает. Покачивается голова, и шарят вокруг длинные руки.

Ефимка присаживается на корточки, дергает за платье Ерасову, шепчет:

— Вон, вон! Гляди туда вон... Ты что, не видишь, что ли?

— Нет, я знаю, это так, это ветла...

Ефимка поднимается и сконфуженно сопит:

— Чорт, верно ведь...

Бродят тени, они выдвигаются из-за углов или переваливаются через заборы, падают на землю, в дико растущую коноплю, и выползают оттуда, приняв чудовищную форму зверя или крадущегося человека. Пересохшая лебеда шуршит и ломается.

Мгла, поднятая легким движением воздуха, закрывает все, и становится несомненным, что за пологом этой мглы кто-то прячется, того и гляди, выбросит оттуда цепкие свои лапы. Совсем рядом, между гряд проползла собака, тонкая и необыкновенно длинная.

Так приходит осень; как одинокая женщина, потерянная среди окраинных улиц города и пустырей, приходит она в диких лохмотьях, с желтыми пятнами на лице, никому здесь не нужная, но неизбежная. Она падает на плечи каждого, и сердце наполняется тоской, которую еще никто не объяснил, и оцепенением, которое охватывает все существо только перед смертельной опасностью.

— Нет, я не трушу, — ненужно уверяет Ефимка свою подругу.

Ерасова, не отвечая, стучит в дверь амбара.

— Настасья Филипповна дома? — спрашивает она.

Кто-то очень торопливо и радостно откликнулся:

— Па-а-жалте-с! Обязательно даже дома.

Дверь немедленно открылась. На пороге стоял Тихон Стригун.

— Чорт, ты с провожатым, Надька?

— Хы! — усмехнулась Ерасова. — Не узнаешь? Ефимка же...

Стригун оскалил зубы.

— Цел еще, Ефимка?

— А то нет!

— Тогда проходи. Да нагни голову, дядя, притолоку вышибешь.

Из амбара угодили в сени, из сеней в низкую комнату с одним окном, занавешенным одеялом. В углу комнаты на узкой койке спал Семен Рорбах. На столе горела пятилинейная керосиновая лампа.

— Хороша квартирка? — подмигнул Стригун Ефимке. — То-то вот, а ты говоришь!.. Ну, Надек, сколько? — живо обернулся он к Ерасовой и, перехватив узелок, взвесил его на руке.

— Четыре револьвера, — сообщила Ерасова.

— Хм! Вот это, чорт, улов! — Стригун повернулся на одной ноге. — Вы, может, пожевать хотите, ребята? Вы скажите, это я сейчас.

Он говорил, бегал по комнате и мимоходом выбрасывал на стол хлеб, колбасу, яблоки. Парень был возбужден и весел от одного сознания, что в жизни, как он думал, наступило интересное беспокойство, которое обязательно перейдет в драку с хозяевами.

Пахло в комнате керосином, плесенью и мышами. Большая русская печь развалилась так неудержимо, что входивший непременно натыкался на нее; горбатый пол и кособокие стены сообщали помещению характер предбанника.

Еще кусок колбасы, полкаравая хлеба и полная крынка молока.

— Ешь, Надек, угощаю бесплатно, — тараторил Стригун.

Осмотрел оружие.

— Где же патроны? Чего же, без патрон, что ли?

— Две сотни, — okazала Ерасова, пережевывая колбасу, — там же в узелке, гляди лучше.

— Ах, Надек! За то тебе, Надек, когда устроится революция, выхлопочу золотой крест, — пообещал Стригун. — Ей-богу, чорт, что ты думаешь? Или жениюсь на тебе...

— Одолжил! — сердито произнес проснувшийся Рорбах. — Ну, а что дальше? Ты женишься, пойдут дети, и так как человек и природа едины... Тьфу, дьявольщина. Ты глуп, Тихон!

— Не буду, Семен Львович, не буду и не буду, вы спите...

— Я не пойду больше, — вдруг заявляет Ерасова, и глаза ее наполняются слезами. — Нынче поймал меня офицер один, в вагон затащить хотел...

— Чорт! — волнуется Стригун. — А ежели к тебе Ефимку прикомандируем?.. Ежели Ефимка, тогда ни один сукин сын...

— Помолчи ты! — обрывает парня Рорбах. — Сделай такое одолжение, говори, когда тебя спрашивают..

— Не буду, Семен Львович, не буду и не буду.

— Между прочим, это действительно идея, — продолжает Рорбах, — мы прикомандируем к ней Ефимку. Хочешь, Ефимка? Ерасова будет выпрашивать у возвращающихся солдат оружие, а ты — охранять ее.

— Здорово, чорт! — не выдерживает Стригун. — Тогда мы... Не буду, Семен Львович, не буду и не буду...

Ефимка молчит.

...На глухой станции, под Москвой или на раз'езде, где задерживаются эшелоны демобилизованных солдат, Ефимка вместе с Ерасовой обходят вагоны. «Товарищи! — говорит Ерасова. — Московские рабочие объявили войну самодержавию. Если вы, товарищи солдаты, сочувствуете делу освобождения рабочих...»

Она будет говорить совсем не так, она будет говорить:

«Товарищи солдаты, вы такие же рабочие, как и мы. Помогите нам в борьбе с проклятым самодержавием (с проклятым или подлым, тут любые слова будут к месту), отдайте нам оружие...».

И, может быть, она заплачет, так же вот, как плачет сейчас...

— Я пойду, товарищ Рорбах, — говорит Ефимка, — пойду с Ерасовой.

XII

«Секретно.

Его высокопревосходительству, московскому генерал-губернатору.

Происходящая в настоящее время забастовка рабочих некоторых промышленных заведений и фабрик под

влиянием местных революционных организаций сопровождается уличными беспорядками, для предупреждения которых ныне установлен усиленный наряд войск, доходящий до 23 рот пехоты, 12 эскадронов и сотен драгун, казаков и жандармов. Подобный наряд, принимая во внимание общий состав московского гарнизона, состоящего из 9 пехотных полков, 9 сотен казаков, 6 эскадронов драгун, 2 эскадронов жандармов и 1 артиллерийской бригады, не может не быть признан весьма обременительным для названного гарнизона.

Независимо от сего, возникшее среди революционных организаций намерение в недалеком будущем осуществить всеобщую политическую забастовку с целью приостановить обычное течение общественной жизни и принудить все население столицы присоединиться к требованиям забастовщиков, в случае своего осуществления ставит совместно на очередь вопрос, в состоянии ли будет московский гарнизон в настоящем его составе, при малочисленности, поддержать порядок в столице.

Представляя об изложенном, доношу, что с своей стороны полагал бы необходимым, ввиду настоящего тревожного времени, возбудить ходатайство об усилении московского гарнизона».

— Сколько это стоит? — спрашивает Самохин.

— Любая копия любого секретного распоряжения — двадцать пять рублей, — отвечает Гурий и смущенно краснеет. — Я, Дорофей Кузьмич, следуя по стопам моего папаша и... слава богу, получаю все необходимые нам сведения во-время.

— Вот каким он стал после болезни, — отмечает Строчилина. — Я знала его другим, очень застенчивым и смирным. Как все странно в человеческой душе.

— «Славься, славься, романовский род», — поет Тихон Стригун и тычет пальцем в клавиши рояля. — Я был певчим в церкви «Спаса-преображенья»,

у меня, чорт, был дискант, а теперь об-разовался благой мат.

Стригун выкатил грудь, ахнул ме-окрепшим басом:

— «Славься, славься, романовский род! Пьянством, буянством прославился ты, и нету подлее тебя на Руси...» Не буду, Дорофей Кузьмич, я сяду, я толь-ко слушать буду.

— До моей болезни, — говорил Гу-рий, — я еще верил, что человек—это... как бы сказать?..

— Животное благородное, — подска-зал Рорбах.

— То-есть, может, и благородное, только как-раз среди тех, которые жи-вут за счет своего труда.

— Ну да, чорт, я благородный! — вскинулся Стригун. — Фу-ух, дайте мне сигару!

Он вытягивает ноги, развалившись в мягком шелковом кресле, морща каблу-ками своих сапог дорогой текинский ко-вер.

— Благодарю вас, Гурий, — говорит Строчилина. — Я, следовательно, про-сто животное...

— Это я — просто животное, — вспыхнул Гурий, — но я не об этом. Я хочу быть сознательным и думаю, что для дела, которому мы служим, можно пойти на подкуп... Или это грешно?

— Отпускаю тебе грехи твои, раб бо-жий Гурий, — пропел Стригун. — Ка-тай дальше!... Не сердитесь, Семен Львович. Я, чорт, не буду больше.

Стригун уходит к окну, чтоб не слы-шать, о чем будут говорить, и не вме-шиваться. Вялые осенние облака исто-чают мелкую дождевую пыль, в возду-хе никакого движения, и дождевая пыль падает, как оседающий пепел. В улице сонливая тоска, серые фигуры людей совсем не отражаются в серых лужах, серые стены домов отекают серой пле-сенью.

— Мы решили организовать заба-стовку железнодорожников седьмого чис-ла, — слышит Стригун и, оглянувшись, видит богатую комнату Евгении Строчилиной. «Ага, значит, завтра, — дума-ет Стригун и передергивает плечами, как будто мокрая тоска улицы ложилась на его спину. — Хорошо богатень-

ким, сюда полиция, поди-ка, носа пока-зать не посмеет, всех купили». — Стри-гун косится на Строчилину и снова по-вертывается к окну.

В улице, накрыв голову мешком, про-ползает на своей кляче извозчик.

«Все они черносотенцы, — решает парень, — еще мясники, и приказчики тоже и...». Вдруг перед ним встают, в разноцветных своих заплатах, домики окраины города, косо бегущие заборы, печальные ветлы, взрытые огороды и квартира, комната, похожая на предбан-ник, со своей большой русской печью. «Плохо теперь Ефимке, — жалеет Стри-гун.

—...Бывает и так, что грехи-то (спе-циальные прехи, конечно) и служат единственным признаком ценности чело-века, — вступает в разговор Семен Рорбах. — Многому научил тебя, Гу-рий, папаша твой, это неоспоримо. Так иногда взрыленная чортом почва не-ожиданно выраживает не бурьян и чер-тополох, а полновесную пшеницу...

— Аминь! — шепчет Стригун. Свет-лые глаза его подергиваются легкой пе-леной умиления, единственно от разго-вора умных его товарищей, и ему стано-вится грустно и немного одиноко оттого, что не может он участвовать в разгово-ре, хотя и сознает богатые мысли свои, которые никак не выразить по-настояще-му. Но Тихону Стригуну смертельно хо-чется заявить о себе, и непременно чем-нибудь особенным, чего люди и не слыхивали даже, и вот он думает, что дни, когда можно будет показать себя необыкновенным героем, прибли-жаются.

Как бы угадав его мысли, Строчили-на садится за рояль, огромный, белого лака, инструмент. Тихон ничего в му-зыке не понимает, он лишь чувствует звуки, и мощный разлив их волнует его. Ах, чорт, если бы не было стыдно, он заплакал бы от воодушевления, страсти и безболезненных страданий, потому только, что очень уж хочется взлететь над землей и умереть у всех на виду, обязательно у всех на виду...

— Слушайте!

По улице, под серыми нитями тихого дождя, двинулись бороды — черные,

рыжие, седые. Стригун так и не разобрал, кто же сказал «слушайте». По улице двигались бороды — седые, рыжие, черные, а впереди плыл портрет военного, в золотых погонах, в синем мундире, с голубой лентой через плечо, портрет с сияющими глазами на самодовольном лице.

— Не надо открывать фортку, товарищ Тихон.

И в открытую фортку хлынули теплая сырость и гимн:

Боже, царя храни, сильный, державный,
царствуй на сла-а-а...ву-у...

— Теперь как-раз время, — объявляет Самохин.

И вдруг, чего нельзя было угадать в этом человеке, он заговорил с необыкновенной нежностью:

— Тебе незачем быть там, Женя, ты послушай меня: во-первых, это очень далеко и потом идет дождь, и вообще... Послушай меня, пожалуйста! А вдруг налетят казаки... Ах, какая ты, ей-богу!..

— Ты меня не запугаешь, товарищ Дорофей, — смеется Строчилина. — Я скажу, чтобы нам подали карету. Мы не пойдем, а поедем в карете моего отца, как настоящие буржуи.

— Как настоящие буржуи! — легкомысленно радуется Рорбах. — С тех пор как арестовали аптеку моего покойного старика, мне так и не пришлось насладиться буржуазной жизнью... У-у, проклятая погода! И я очень боюсь, как бы не отсырели мои древние кости, карета будет очень кстати.

Все торопливо собираются.

Во дворе, действительно, стояла карета, в упряжи лоснились воронные жирные кони.

Тихон первым проскочил в открытую дверцу. (Ему очень хотелось показать язык строгому лакею, в отместку за... Но было это давно, двенадцать лет назад. Семилетний мальчик бежал за каретой, дымилась под колесами пыль, но мальчик был резвее лошадей; он видел в лакированном кузове свое лицо, оно, приближаясь, улыбалось ему навстречу, и мальчик удачно сел на заднюю ось, уцепился за рессоры. И все бы хорошо, если бы не лакей, который со-

скочил с козел, поднял мальчонку за густые его вихры и сбросил в пыль, как бросают беспомощного, слепого котенка. Э, чорт, зачем вспоминать! Лакей был таким же вот толстым и строгим.) До чего, однако, удобно и мягко на бархатном сиденье кареты! Тихон с наслаждением откидывается в угол и всю дорогу, до Сокольников, думает о том, что будут делать с каретами, когда революция всё завоюет.

Дождь перестал, клинья чистого неба шевелились в лужах. В карете чуточку пахло духами и побольше нафталином. «Ах, если бы все время так вот ехать и ехать!..» Она положила руку на плечо Самохина и смотрела в его глаза... Чудачка, боится, что ли?

Клинья неба перестали шевелиться в лужах, дверца кареты открылась, толстый лакей улыбался Строчилиной.

— Прикажете дожидаться?

— Нет, Увар, дожидаться не нужно...

Тихон вылез из кареты последним.

«Нет, Увар, дожидаться не нужно».

Голые деревья отряхивались, как нищие. Тонкие сосенки дрожали, щетиня зеленые иглы, потемневшие липы сбрасывали последнюю листву. Густо пахло прелью. Вдруг поднялись и закружились вороны. Тихон выскочил на поляну.

— Чорт, вся Москва сбежалась! — весело прокричал он и тотчас же вскарабкался на первую березу, чтобы лучше видеть и слышать.

— Товарищи!..

Стая ворон шумно взвилась и закружилась над поляной. Кто-то бросил камнем, вороны метнулись вверх и закружились снова.

— ... Меньшевики не верят в победу рабочего класса, они против забастовки, они зовут вас на примирение...

Полнотелый высокий человек выскочил из толпы, замахал шляпой, визгливо и угрожающе закричал:

— Безумие и ужас! Вы хотите, вы добиваетесь гибели великой России!..

Стригун узнал Солунцева, выломил сук, не целясь, швырнул его вниз.

— Товарищи! Не поддавайтесь на провокацию изменников! — предупреждали с трибуны.

Человек под деревом, уронив шляпу, кинулся в сторону, к своей коляске, и за ним побежала женщина, и грязный подол длинного платья хлестал по толстым ее икрам.

Стригун все свое внимание обратил на эту женщину, на ее смешной, толстый зад, такой же испуганный, как и ее лицо.

Парень сидел на березе и смеялся.

— Меньшевики, меньшевики! — кричал он вслед бегущим, понимая это слово как ругательное. — Ах, сволочи!

Стригун поспешно слез, чтобы вмешаться в толпу, которая состояла, к его удивлению, из рабочих завода братьев Ланге. Вон Дмитрий Лепихин. Это он кричал: «Товарищи, не поддавайтесь на провокацию изменников».

«Молодец, Дмитрий Егорыч!» — мысленно одобряет Стригун и тут же сталкивается со стариком Леонтием Чемерицыным. Стригун хотел было расспросить насчет того, когда же начнется настоящая драка, но поднимавшаяся стая ворон до того была шумной, что все слова дробились и пропадали.

Зашумел ветер, высокие сосны обрызгали собрание дождем зеленых слез. Вороны, не стесняясь, уселись на ветвях и, взмахивая крыльями, плавно раскачиваясь, мрачно и зловеще каркали. Невообразимый крик их заглушал ораторов.

Леонтий Чемерицын стоял за спиной сына своего, Ефимки, и толпа разделялась тут, как волнорезом.

— Теперь — или никогда! — слышал Стригун и сам кричал в праздничном восторге, пьяный от многолюдия: — Теперь — или никогда!

На одну минуту выглянуло солнце, и толпа сразу подобрела, стала добродушней и веселее. Кто-то заиграл на гармонии, потом запели, бодро, как поют победители:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног.
Нам враждебны золотые кумиры,
Ненавистен нам царский чертог...

И Тихон слушал и наслаждался свободой, когда можно петь все и говорить все, хотя в душе его и было желание

уйти от каркающих ворон, лечь в свою постель за печкой и проспать все, о чем мечтал. На одну минуту Тихон позабыл, где он находится, и собрался было незаметно скрыться, куда беда еще не наступила. Он двигался в сторону от толпы и совсем уже собрался было бежать, как вдруг кто-то толкнул его в плечо. Стригун испугался, поднял глаза.

— Товарищ Травин?

— Ну, и что же?

В щегольском костюме и в широкополой шляпе, слесарь этот вел подруку Левашеву Анну, и было у слесаря такое счастливое и глупое лицо, что он никого уже не замечал и не хотел останавливаться.

— Удираешь, сволочь! — неожиданно для самого себя выговорил Тихон, позабыв о собственной трусости, загораживая Травину дорогу. — От своих бежишь?..

Травин буркнул что-то и зашагал быстрее, уводя свою даму. Тихон не отставал, преследуя людей язвительными словами. Так вышли они к аллее, приблизились к пролетке.

— Что тебе надо? Грязный хам! — обернулась Левашева. — Оставь меня, Илья!..

Женщина высвободила руку, коротко размахнулась; потом она вскочила в пролетку, села рядом с Травинным и толкнула извозчика в спину. Лошадь взяла с места крупной рысью. Травин оглянулся, он обидно и звонко захохотал.

Тихон Стригун, потирая щеку, все еще не мог разобраться толком, что такое случилось и зачем стоит он посреди дороги.

На повороте показался новый извозчик. Стригун стал глядеть под ноги; извозчик остановился; Стригун поднял камень.

Из пролетки вылезал, опираясь на суковатую трость, Епимах; он внимательно оглядел парня и милостиво улыбнулся.

Вверху закружились воробы, огромная стая ворон заслонила небо.

Епимах приближался, губы его шевелились, он тыкал тростью в просветы между деревьев и что-то спрашивал.

Вороны орали дико и отчаянно.

— Молодой человек, — услышал, наконец, Стригун, — тебе надобно работать, а ты стоишь с камнем в руке и созерцаешь природу. Ну-ка, скажи, где тут шумят народные витии? — Епимах ткнул тростью в сторону. — Единственно по наитию прибыл я, чтобы остановить безумных... Не меня ли, молодой человек, собираешься ты ударить камнем?

— Сам сдохнешь!..

Епимах стал еще ласковей, он улыбался, как умел, то-есть хлопал вставной челюстью.

Стригун одумался, он пришел в себя, бросил камень и ударился туда, где собрались его товарищи. Он отыскал Гурия.

— Приехал! — заорал Стригун.

Гурий ничего не понял.

— Епимах приехал...

Гурий подался назад и побледнел. Никогда еще не видел Стригун на лице Гурия Полуденова такого отчетливого испуга.

Двое друзей бежали к выходу из парка, и вслед им угрожающе орала ворона...

Епимах приближался к собранию рабочих. Их было много, он был один.

Оратор на трибуне промком и повелительно крикнул: «Товарищи!», но тут же и замолчал, как бы удивившись чему-то.

Вороны тяжелыми гроздьями повисли на ветвях; было тихо, вороны подрагивали крыльями, раскачивались и кивали головами.

Епимах взбирался на возвышение, и кто-то услужливо помогал ему. На собрании были разные люди: одни пришли, чтобы решить свою судьбу, другие — чтобы покориться судьбе. Покорные помогли Епимаху, непокорные угрожающе придвинулись к возвышению.

— Добрые друзья мои, — произнес Епимах, и все удивились властной его ласковости, — бог не без милости.

— Ы-ых! — вздохнули в толпе, как бы желая тем самым подчеркнуть тишину и свое внимание к оратору.

— А что такое вышеназванная милость? — спросил Епимах. — Милость

есть порыв излишних чувств и движение души, которая имеет намерение облагодетельствовать мир, хотя бы и в размере, не превышающем владений завода...

— Говори по делу, не пустословь.

— Что-с? — встрепенулся Епимах. — Кто же, дерзновенный, может утверждать, будто Епимах Киндеев способен на пустословие? Слово мое о милости имеет непоколебимое основание, как закон, данный самим господом богом.

Епимах заметил внизу, прямо перед собой, хмурое лицо Рорбаха и улыбнулся Рорбаху дружески, как близкому человеку, которого долго искал, чтобы излить перед ним дружеские свои чувства.

— Дорогой и многоуважаемый Семен Львович, — Епимах приподнял над головой фуражку и уронил трость, — да здравствует революция!..

В толпе длинно и замысловато выругались.

— ...По долгом размышлении, — продолжал Епимах, — решил я принять вашу сторону. Господи! Братство, равенство, свобода! Я прослезился даже...

Две тысячи человек молчали. Должно быть, многие надеялись, что дело может кончиться миром и Фридрих Ланге и другие хозяева поймут, что рабочие тоже есть хотят.

Епимах откинул голову и открыл рот. Верхняя вставная челюсть упала на нижнюю. И вдруг люди поняли, что Епимах смеется.

— Вот так сволочь! — удивился кто-то.

— Ну, братство, равенство и свобода между вами, — пояснил Епимах. — И Фридрих Иванович велел мне передать вам, что он согласен на все сразу, и даже на восемь часов, как вы требуете, только без прибавки жалования, а ежели кто захочет подработать, тому запрета не будет. Радуйтесь и веселитесь! Отныне наступает миролюбивая и благоденственная жизнь, что и удостоверяю. И напрасно вы, дорогой и многоуважаемый Семен Львович, дергаете бровками и хмуритесь — все произойдет по вашему революционному желанию и со временем исполнится превыше воображения.

Разговор этот напомнил Рорбаху далекое прошлое, первую забастовку на заводе братьев Ланге, но тогда рабочие (как они ни храбрились) были в положении просителей, теперь они чувствовали себя хозяевами положения.

Осеннее солнце легло у корней деревьев, и все, поверив в доброе намерение природы, расположились в полянявшей траве.

— Давай, доказывай! — предложили Епимаху.

— Хе-эм! шутить изволите, — развеселился Епимах. — Нет, уж это вы теперь доказывайте, на вашей стороне сила и... — Епимах, видимо, решил польстить рабочим, — ...и правда тоже на вашей стороне, что и признаю, как разумный циркуляр, изданный самим господом, или же, выражаясь на современном диалекте, установленный законом человеческой справедливости. Поверьте мне... (Епимах обшарил глазами лица рабочих) господин Чемерицын, и все другие уважаемые, я ведь единственно по расположению к вам и по влечению сердца пришел сюда... Ну вот, Семен Львович, как вы нехорошо смеетесь, — качнулся оратор в сторону Рорбаха, — между тем я готов принять в слабеющие руки мой грозное оружие...

Епимах взял палку обеими руками, взмахнул ею над головой, как мечом, потом выбросил далеко вперед, как штык. Гроздь ворон сорвались, упали вниз, но на полпути взмыли вверх, страшно каркая и хлопая крыльями.

— Если он, чорт его возьми, будет еще ломаться... — угрожающе произнес Ефимка.

— Погоди ты, — сказал отец, — послушаем...

— ...И оружием готов я пронзить врага, — продолжал Епимах, — который осмелится встать на вашем пути!

Чтобы не очень злиться, Ефимка поднял с земли слоистый кусок камня и принялся крошить его в железных пальцах своих и совсем было успокоился, если бы не отец.

— За дураков принимает нас, — сказал Чемерицын, разглядев епимаховы необыкновенной ласковости глаза.

И Ефимка, сдунув с пальцев камен-

ную пыль, полез на возвышение. На глазах у всех и при всеобщем безмолвии он легко поднял Епимаха за шиворот, подумал немного, сунул его подмышку, опустился вниз и пошел к извозчику. Тут он посадил Епимаха в пролетку и сказал испуганному извозчику: «Поезжай!», а лошадь в это время уже взяла мелкой иноходью, но Епимах успел все-таки сказать:

— Ах, какой добрый, какой великодушный молодой человек!..

Между тем извозчицья пролетка быстро свернула в просеку. Ефимка не успел рассердиться. И снова вернулись вороны и принялись кружиться над поляной и каркать...

XIII

Октября семнадцатого числа тысяча девятьсот пятого года Тихон Стригун валялся на продранном матраце в незнакомой ему квартире и охранял собранное тут оружие, почти средневековое, если бы не винтовки и револьверы. Рабочие понаделали сотни пик, кинжалов и секир. Тихон слушал нудное попискивание ставни, которую ветер раскачивал и все никак не мог оторвать. Тихон старался заснуть, чтобы не чувствовать скуки. Он ложился лицом вниз, уткнувшись носом в подушку, — сон не приходил. Тихон два раза принимался есть, чтобы немножко развлечься. Отчаявшись, он лег на спину, забросил руки за голову и проснулся через два часа. Ефим Чемерицын стоял за окном, барабанил в стекло пальцем и ругался.

— Здравствуй! — заискивающе сказал Тихон, открывая дверь.

— Здравствуй! — ответил Ефимка. — Ты чего же в это время спишь?

— Вот этого, чорт, я и не помню... А что там такое на улице?

— Спишь и не помнишь?.. Ну, иди побегай, — предложил Ефимка.

— А что там, на улице?

— Иди побегай.

Тихон вышел. Он выглянул за ворота. Здесь он столкнулся с восторженной гимназисткой, которая как будто только того и ждала, чтобы броситься на шею Тихону. Она повисла у него на шее и,

дрыгая ногами, смеясь и проливая слезы, поцеловала парня в губы.

— Да здравствует свобода! — прокричала гимназистка и помчалась дальше, чтобы целоваться, плакать и кричать о свободе.

Следом за гимназисткой молодо подскочил к Тихону благообразный старичок в очках; он также повис на шее Тихона и тоненько пропищал:

— С праздником, Христос воскрес! — и поцеловал парня подряд три раза.

И потом, кто бы ни проходил, все лезло целоваться.

Тихону показалось смешным его положение, он сравнил себя с великомучеником Пантелеймоном, и калитка, на пороге которой он стоял, была похожа как-раз на раму со своими резными украшениями.

День ясенел и постепенно становился сизым, ветер справился, наконец, с облаками, он разорвал их и растянул по всему небу причудливыми клочками, иногда выскакивало солнце, бледное и совсем неуместное в грязных улицах.

Тихону надоели частые поцелуи прохожих, он собрался уходить, но в улице показалась Надежда Ерасова, и Тихон остановился, ожидая ее приближения, как законного и вполне заслуженного счастья.

Ерасова подошла.

— Что такое — все смеются, все плачут и все целуются? — спросил Тихон.

— Свобода, — объяснила Ерасова, — манифест вышел... Ну-ка, пропусти, чего ты растопырился!

— Свобода, и все целуются, — еще раз сказал Тихон.

Ерасова прошмыгнула боком и побежала двором.

«Ну, что же, — подумал Тихон, — ну и ладно, и не надо...»

Он притворил калитку. На щеках и на губах еще чувствовались поцелуи прохожих, Тихон хотел стереть их рукавом блузы. В квартире, среди ружей, пик и секир, сидела на койке Ефим Чермерицын и Ерасова: они целовались совершенно открыто, руки Ерасовой лежали на ефимкиных плечах, и в правой руке была газета.

— Манифест о свободе! — прокричала Ерасова.

— «1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов» — прочел Тихон Стригун.

— Ага, все-таки, чорт, трусили!

Он поглядел на увлажненные глаза Ерасовой, на ее губы, дрожавшие от смеха и ефимкиных поцелуев.

— Я пойду, — обидчиво сказал Тихон.

— Иди, — поспешно согласился Ефимка.

Стригун отыскал Рорбаха; он жил теперь с ним, он сидел с ним в низкой комнате с большой русской печью, и комната напоминала предбанник, но была очень уютной и хорошо знакомой. После манифеста прошло пятьдесят дней, давно похоронили убитого черносотенцами Баумана, и Тихон Стригун никаким газетам не верил теперь и со стыдом вспоминал праздничное свое настроение в день царского манифеста, когда все целовались и восклицали...

— Ты и раскис! — издевался Рорбах. — Что? Ну, конечно же, человеку свойственна доверчивость. Ну, я тебе скажу, не один только ты такой, — Рорбах немного подумал: — Мы все такие, если ты хочешь знать. Мы хотим верить богу, чорту, судьбе своей и ближним своим, потому что хотим счастья. А ты знаешь, что такое счастье, Тихон? Нет?.. Тогда я тебе должен сказать, что и я тоже не знаю, и никто не знает, оттого и жаждут счастья, что не знают, ей-богу, так... Хе! Люди ждут счастья, как посылки у окна захолустного почтового отделения (обязательно захолустного), и посылка приходит, и в посылке, на самом дне, за толстым слоем разных сладостей, адресат вдруг обнаруживает какую-нибудь тошную дрянь, это уж непременно, и никогда еще ни одной посылки без этого не было.

— А когда мы начнем драться? — спросил Тихон, не в силах одолеть философии Рорбаха. — Теперь я хочу драться.

— Погоди, скоро уже,—утешил Рорбах и продолжал. — Счастье, говорят, без дрянца-то все равно, как щи без соли... а впрочем, я не знаю об этом настоящеу.

— Когда вышел манифест, тогда Надька стала целовать Ефимку, — раздумчиво сообщил Тихон. — Меня она не захотела целовать, она прошла мимо.

— Она его любит, — сказал Рорбах.

— Ну да, должно быть, она его любит, — согласился Тихон.

— Ты не тужи...

— Да нет, чего же тут, теперь уж все равно.

Тихон поглядел в окно. Валил снег, легкий, как мелко нарезанная бумага.

— Она его любит, потому что он очень сильный, — сказал Тихон.

— Ты не тужи...

— Да чего уж тут, теперь уж все равно...

Тихон помолчал, наблюдая за тем, как падали и кружились снежинки, а в комнате было тепло и пахло мышами и еще чем-то, очень домашним и уютным.

— Сначала я думал, будто она любит меня, — сказал Тихон. — Может, так и было, если бы она не встретилась с ним. Правильно я говорю, Семен Львович?

— Ничего, все отойдет потом...

— Я знаю, так оно и будет, — согласился Тихон, — все отойдет.

Он отвернулся к окну и немного заплакал, радуясь наступающим сумеркам и тому, что все как будто отошло уже, хотя в груди отчетливо шевелилась тоска и было чуточку странно, когда думал, как Ерасова целовала Ефимку, с какой удивительной торопливостью, будто боялась не доцеловать или сбиться со счета.

— Она его так любит, что целует на глазах у всех, — сказал Тихон. — Ей-богу, я сам видел.

— Женщины в любви редко стесняются, — авторитетно сообщил Рорбах. (Он совсем не знал об этом, но ему хотелось показать себя искусственным, опытным во всем. Он читал что-то о женщинах, только не помнил, что именно читал, но, должно быть, очень хорошее, оттого и был внимателен к людям и

ласков с женщинами, как с детьми, которых необходимо оберегать, чтобы они случайно не испортились.) Евгения Строчилина любит Дорофея на глазах у всех, — продолжал Рорбах, — и очень гордится любовью. Так все женщины: они гордятся своей любовью и хотят, чтобы об этом знал весь мир, или весь город, или вся улица. Я читал об этом.

— Если бы я был такой сильный, как Ефимка, — сказал Тихон, — я бы тогда никому Надьку не отдал.

— Ты чудак! — сказал Рорбах. — Женщину не отдают, ты не так рассуждаешь. Женщина сама находит человека, она его чувствует: тот ли это, которого она ищет? Он звучит в ней, этот человек... Ты совсем не понимаешь меня, Тихон?

— У меня голова толстая, Семен Львович, — с горечью признался Стригун. — Я знаю, Надька очень красивая, правда ведь?.. По-моему, она очень красивая!

— Только она тебя не полюбит, Тихон, она тебя не чувствует, значит, в ней нет твоей половины души. Но ты опять не понимаешь меня?

— Нет, теперь понимаю, Семен Львович. Я, чорт, несчастный теперь на всю жизнь!

— Только ты не тужи, — это тебе так кажется.

— Нет, уж я знаю...

— Ничего ты не знаешь! Твоя половина души у другой девушки, которая тебя почувствует и от тебя не отойдет.

— Вы меня хотите обмануть, Семен Львович.

— Ну вот, я тебе говорю правду...

На улице стало совсем темно, а снег все кружился и падал и сухо шуршал о стекла окна.

— Зажечь лампу? — спросил Тихон.

— Нет, мы скоро пойдем.

Сухой снег бил в бревенчатую стену и шуршал все сильнее и сильнее, как речной песок; потом он вдруг остановился, и на улице вышел мороз, совсем еще молодой и неопытный, как первый раз влюбленный, такой же несмелый и немножко конфузливый, присмиривший вдруг, хотя до любви был очень буйным. И после, когда любовь пойдет на

убыль, он тоже, наверно, будет буйным, потому что ничего уже не останется и нечего будет жалеть, даже самого себя.

В десять вечера Тихон задремал и уснул по-настоящему. И во время сна прошла перед ним огромная жизнь, в которой он, Тихон Стригун, встретил, наконец, ту девушку, в чьей душе жила половина его души. Девушка была такой замечательной, что Тихону стало смешно вспоминать, будто он мог кого-то любить до нее, любить и мучиться. Девушка была богаче всех красотой своей, и ее даже нельзя было называть по имени рядом с Ерасовой и другими. Она угадала Тихона сразу, и Тихон тоже ее угадал — и женился, и стал жить с ней. Время шло и шло, и во времени совсем не было зим, одно сплошное лето, и очень веселое. Тянулось лето долго, так что Тихон успел состариться...

Рорбах разбудил Тихона, когда было пять минут одиннадцатого и пора было идти. В улицах гуляла все тот же молодой и неопытный мороз, и под ногами шуршал снег, как речной песок, откуда они шли к дому Строчиловой, где захотели собраться все еще раз, чтобы потом разойтись по местам.

В богатой комнате Строчиловой было много народу, и все шумели, будто перед большим праздником. Рабочие в куртках и в сапогах сидели кто где хотел; они топтали сапогами богатые ковры, сидели, развалившись в креслах, и все хотели показать, что обстановка для них не является необычной: они курили, они не снимали шапок, говорили очень громко, и по тому, как они вели себя, было заметно, что им очень неудобно и неловко среди окружавшей их роскоши. В особенности было неловко Дорофею Самохину, которого ни на минуту не оставяла Евгения, и тут только Тихон Стригун понял, что половина души Строчиловой жила в душе Самохина, и оттого Самохин так усиленно старался быть равнодушным и очень уж громко стал читать прокламацию Московского комитета Российской Социал-Демократической Рабочей Партии о вооруженном восстании. Он читал, и все видели, как трясется его подбородок. Тогда предста-

витель Московского комитета, Борис Краков, отнял у Самохина прокламацию и очень внушительно, неторопливо и холодно зачитал:

— «Братья! Кровь рабочих стачечников обагрила улицы Москвы...»

А за окнами вставал рассвет. Он пробирался, держась стен противоположных домов, он дрожал на снеговых крышах, и легкие серые лапки его касались уже верхних окон.

— ... И не в том штука, чтобы любить (вижу, ты совсем не понимаешь меня), — штука в том, чтобы сделать женщину счастливой, чего еще не удавалось никому...

В комнате было чадно очень от курильщиков. Тихон поглядел на форточку и ничего не ответил Рорбаху. У окна, где была форточка, стоял большой, белого лака, открытый рояль, и за роялем, около Самохина, сидела Евгения Строчилина.

Рассвет захватил верхние окна целиком и сползал теперь все ниже и ниже — и, наконец, упал на тротуар.

Краков читал:

— «...Да падет эта мученическая кровь огненными каплями в души всех московских пролетариев, да зажжет она их великим гневом, священной ненавистью к проклятым палачам...»

Из ворот каменного дома вышел улыбающийся человек. Чорт его знает, чему улыбался этот человек! А рассвет следовал за ним, как речная лучистая борода за лодкой. Через плечо человека была переброшена берданка. Человека, может быть, убьют, даже наверное убьют, а он еще улыбался, беспечный такой, чудак или храбрый очень?.. В улице было тихо, тишина эта была слышна даже и в шумной комнате Евгении Строчиловой, и, должно быть, здесь не думали как следует об опасности; на людей благотворно действовала тишина.

Краков продолжал:

— «...Пусть ни одна рабочая рука не коснется станка и машины, пусть ни одна фабричная труба не задымится, пока не отомстим за пролитую кровь наших братьев...»

Вошел Чемерицын Ефим. Ему на встречу улыбается Строчилина, она гля-

дит прямо в его лицо и улыбается, и Ефим улыбается Евгении и подходит к ней.

Тихон Стригун отвернулся: он еще любил Ефимку и не хотел, чтобы с ним случилось плохое что-нибудь. Тихон потому и отвернулся, чтобы как-нибудь не захотеть плохого для Ефимки.

— Женское счастье самое трудное, — говорил за спиной Тихона Рорбах, — детское — напротив, самое легкое. Женщина, чтобы доказать любовь свою милому, уйдет к другому, нелюбимому, и будет жить с ним, и будет корчиться от судорог и тошноты, но это ничего не значит; она, чтобы доказать любовь свою милому, перенесет все, пусть только ее милый убедится, как она его любит... Должно быть, я плохо говорю, ты меня не понимаешь...

— Нет, я все понимаю, — сказал Тихон, повертываясь в сторону Строчиловой, наблюдая за ее щедрыми улыбками, которыми наделяла она Ефимку. — Раньше я не понимал, Семен Львович, а теперь все понимаю, до капельки.

Краков не читал, он кричал теперь:

— «Нет сил терпеть дальше!..»

Тихон срывается со своего места, но его ловит за руку Рорбах, усаживает в кресло и говорит:

— Куда ты? Краков кричит всем, не для тебя только.

Рорбах помолчал, держа свою руку на руке Тихона; потом, когда определил, куда смотрит Тихон, заговорил:

— Его и тут любят. Ты видишь, какой он рослый и красивый. Может быть, так сам бог устроил, душу ефимкину на его лице изобразил, оттого он и такой.

А вот наши души чорт их знает где, оттого мы и такие...

— Я совсем не злой, — сказал Тихон. — Может, вы меня отпустите, Семен Львович? Я не злой — я несчастливый и не такой красивый.

— А что я говорил? — почти торжественно Рорбах. — Я об этом как-раз и говорил.

Он оглядел взволнованное лицо Тихона и тотчас переменял решение: лицо показалось ему красивым. Рорбах хотел сказать об этом и раздумал, дивясь тому, как мог он думать и говорить в это тревожное утро чорт знает о чем! Он посмеялся немного и стал внимательно прислушиваться к разговорам.

Понемногу совсем рассвело, и люди казались теперь свежее и не были такими хмурыми. Все предметы в комнате стали веселее. Строчилова улыбалась не одному только Ефимке. Она стояла у окна, красивая, ловко подобранная, сияющая, и все было очень красиво на ней: и складки на платье, и пуговицы на длинных рукавах, и все, все, к чему она прикасалась, тоже становилось красивым; а когда она улыбнулась, наконец, и Рорбаху, он порозовел, стал оживленнее и как будто интереснее; и вообще Рорбаху повезло: Евгения улыбнулась ему два раза. Вдруг она вздрогнула и вся вытянулась. Широкая фортка у окна распахнулась сама собой, и загудел рояль, густо и угрожающе.

— Что это? — спросила Евгения.

Все, переглядываясь, слушали, как гудел рояль, и Дорофей Самохин сказал Строчиловой:

— Кажется, началось по-настоящему...

(Продолжение следует)

Люди и факты

1. ВЛАДИМИР КАНТОРОВИЧ — Кашевар. 2. И. ЭКСЛЕР — Заметки счетчика.

1. КАШЕВАР

Владимир Канторович

1

Отделение залегло на линии огня. Внезапно на стрельбище появился повар в халате и ослепительно белом колпаке.

В руке у него была винтовка.

— Повар Нейман — к инспектору!

Он подошел к инспектору, производившему смотр.

— Я вас слушаю.

— Позвольте и мне стрелнуть!

Инспектор оглядел боевого повара. Широкие плечи, ноги, крепко упирающиеся в землю, выправка дисциплинированного красноармейца. Он улыбнулся:

— Занимайте место.

Но повар не уходил:

— Мне бы стрелнуть вне очереди: как бы суп не переварился.

Получив разрешение, Нейман повернул халат и улегся в цепь с бойцами. Щелкнул затвор, и вслед за командой прогремели выстрелы.

Показчик сигнализировал: 26 очков из возможных 30.

— Отлично стреляете, товарищ повар!

Щеки пылали пунцовым румянцем гордости и резко выделялись на фоне белоснежного колпака, одетого по случаю приезда начальника. Нейман не скрывал своей радости: он доказал всей заставе, что повар может быть прекрасным бойцом.

Надо сказать прямо: Нейман все еще недолюбливал свою специальность и стеснялся своего поварского звания.

2

Нейман возмужал в Биробиджане. Там, на Бире и Бирушке, на полномводном Амуре, подрастает замечательный народ — новое племя советских евреев.

Подростком привезли Нафталю Неймана на ст. Тихонькую. Прибывали первые партии переселенцев. Из округи съезжались амурские казаки-старожилы: их разбирало любопытство, что за невиданный народ задумал осесть в тайге.

Все пугало сперва местечковых евреев в Биробиджане: леса, дожди, непролазная грязь, «дикие» лошади.

Отец Нафтали, уманский портной-тандетник¹⁾, боязливо подкрадывался к табуну забайкальских лошадей. Хоне Нейман искал в табуне ОЗЕТ'а лошадь посмирнее.

Его жена Двойра, крикливая и несдержанная, как истая местечковая еврейка, окружив себя детьми, причитывала над их судьбой.

Двойра не была одинока. Какой поднялся шум! Но надо сказать правду: еврейские женщины крикливы, однако отходчивы, и мужья давно уже перестали принимать всерьез истошные их вопли.

¹⁾ Изготавливает все на живую нитку; это определение по-еврейски звучит иронически.

Среди приезжих евреев оказались все же и опытные мужики.

Это были бывшие местечковые балагулы и ломовые извозчики. Забайкальским скакунам этих людей не испугать. Балагулы ходили с жнутыми подмышкой, бесцеремонно хватали лошадей за гриву, оттягивали нижнюю губу и считали зубы.

В этот день Нафталя удивил своих родителей. Пока отец безуспешно разыскивал добродушную лошадку, Нафталя вскочил на упитанного коня и, действуя коленями и кулаками, привел его к родительской телеге. Он зауздал и даже запряг лошадь. Двойра причитывала: ее худенький мальчик, ее любимое дитя Нафталя, делает такую опасную и грязную работу.

Ну, что возьмешь с суматошной женщины, отдавшей всю себя выводку голодных ребятишек? Хоне Нейман пропустил мимо ушей ее слова насчет грязной работы, ради которой евреи как раз и приехали в Биробиджан. Он не скрывал, что гордится сыном, — только где этот паренек, дитя местечка, мог научиться обращению с лошадьми и бесстрашию?

Чудесного в этом было мало: Нафталя дружил с соседом по парте Петькой Закушняком, сыном ломового извозчика. Отец как-то не успел заметить, что советская школа ничем не напоминает хедер его детства.

Так случилось, что к голосу Нафтали стали прислушиваться в родном доме.

С тайгой Нафталя скоро освоился. Он вырос, раздался в плечах, закалился. Мороз, ветер, пронизывающая сырость весенних вечеров — все это стало ему ничем. Даже мошка уже мало тревожила его: кожа обветрилась, огрубела. На лугу, в ряду косцов, он не отставал от амурских старожил-казаков, научился рыбачить и охотиться.

К лошадям Нафталя привязался всей душой. Колхоз доверил ему конюшню, и горе было тому колхознику, кто вечером возвращал лошадь со сбитой холкой, в мыле, охромевшую. Лихачам и вредителям Нафталя лошадей больше не давал, и сам предколхоза не мог с ним ничего поделаться.

Переселенцам подарили великолепного жеребца-производителя. «Часовой» не забыл еще своих побед на ипподроме. Но характер его с того времени испортился. «Часовой», когда бывал не в духе, кусался, лягался, в щепы разбивал дверь станка. Он сбрасывал со своей спины даже опытных наездников. Но Нафталя мог с ним делать все, что хотел. Он безбоязненно ползал у «Часового» под ногами, скреб ему живот, обрезаал копыта. «Часовой» играл со своим хозяином, теребил его плечо, стаскивал шлем с головы и дружески дышал в лицо. Может быть, жеребец понимал, что обязан Нафтале своей жизнью.

Случилось это так. В Биробиджан занесли сибирскую язву. Небрежный ветфельдшер выбраковывал в колхозе лошадей. «Часового» назначили к убою, несмотря на протесты конюха. В тот вечер Нафталя забрал у матери весь запас пшеничных лепешек и сухарей и, никому не сказавшись, ускакал на «Часовом» в город.

Он приехал в Биробиджан ночью и поднял ветеринарного врача с постели. Запинаясь и перебивая самого себя, Нафталя рассказал, какая участь грозит племенному жеребцу.

Взволнованный паренек понравился врачу. Ветеринар приехал в Биробиджан, как на свою новую родину. Он любил еврейский народ и болел за него душой. Вид чахлах, туберкулезных и трахомных жителей глубоко оскорблял его. Он мечтал о физическом оздоровлении евреев. Но он был трезвым человеком и понимал, что акклиматизировать евреев в тайге не легко. Переселенцы еще нехозяйственно, жестоко обращались с животными. Когда в Биробиджане колхозная лошадь тонула в болоте, никто не захотел ее спасти. В Алексеевке конюх пошел спать, не засыпав сена лошадям. Многие хозяйки доили своих коров не каждый день и кормили, когда придется. Евреи не сразу расставались с дурными обычаями местечка. В Нафтале врач увидел образ нового еврея, сельского хозяина и колхозника. Он уложил его спать у себя на тахте, а поутру, осмотрев жеребца, выдал справку, вер-

нувшую «Часовому» право на жизнь.

Прошло несколько лет, и Нейманы плотно вросли в таежный быт.

Двойра завела большое усадебное хозяйство, считалась ударницей в женской бригаде и больше уже не делила работу на «гойскую»¹⁾ и «еврейскую». Но попрежнему кричала по всякому пустячному поводу и сыпала проклятиями.

Старик Нейман избрал себе особую специальность — пасеку. В свободную минуту Хоне любил пофилософствовать. Он говорил так:

— Раньше думали: что понимает себе мужик? Копается в земле, как крот. А, теперь еврей понял, что хороший мужик-колхозник все равно, что инженер.

Что касается Нафтали, то он стал почетным человеком колхоза — стахановцем. Семья вырабатывала больше 1000 трудодней.

Колхоз прочно отвоевал у тайги несколько сот га, он воспитал евреев, которым привычны и коса, и топор, и жатка, и подойник. Много народу отсеялось, но зато создалось ядро подлинных земледельцев, хороших колхозников.

В Нафтале говорило здоровое чувство человека, который стал хозяином своей судьбы, у которого в жилах течет горячая кровь, под кожей перекатываются желваки здоровых мускулов и воля собрана в кулак. Он мог пожалеть больного, помочь слабому подняться в гору. Но от души презирал людей, которые не давали себе труда стать на ноги, хотя страна предоставляла им для этого все условия.

Еврейский писатель, приехавший из города, никак не мог взять в толк эти настроения коренных биробиджанцев. Что-то чересчур презрительно и враждебно они относятся к лодырям, растяпам и крикунам. Он обвинял Нафталу и его товарищей в эгоизме, он призывал их вспомнить, что и эти люди — евреи.

Как-раз в эти дни колхозники страстно обсуждали вопрос о Маркусе Магидове.

Этот сорокалетний хилый еврей через неделю после вступления в колхоз потребовал путевки на курорт. Врач подтвердил, что у Магидова вторая стадия туберкулеза. Колхозники хотели исключить Маркуса из колхоза: очевидно, в Биробиджане он искал не работы, а новой подачки от общества.

Городской интеллигент никак не мог оправдать жестокосердия колхозников.

— Но ведь это же бедный еврей, которому нужно помочь! — говорил он.

— Пусть ему помогают там, где он раньше работал, причем тут Биробиджан? — отвечали колхозники.

— Но болезни — это еврейское наследство, они достались от прошлого.

— Незачем, однако, спекулировать этими болезнями и ездить за 8.000 километров, чтобы вырвать у государства бесплатную путевку, а у колхоза — помощь семье.

— Но вы же забыли, что евреи должны помогать евреям!

Это взорвало Нафталу:

— Скажите, пожалуйста, кто я такой? — подступил он к приехавшему в колхоз писателю. — Советский человек или, может быть, сын избранного народа? Сначала я советский человек, потом еврей, а в избранный народ вообще не верю, — оставьте эти штучки раввинам и сионистам. Мне нет никакого дела до спекулянта, который отсиживает свой срок в Нарыме, хотя бы он был евреем. И я знаю, что, когда заболел, государство пошлет меня на курорт не за то, что я еврей, а за то, что я честно работал в тайге. И мою путевку оплатят: колхозник из «Дер Эмес», украинский хлебороб и московский слесарь. Нет?

С этим писатель поспешно согласился. Но кому же, как не самим евреям, ближе эти болезненные, неумелые люди, искалеченные старым местечком? Кто должен помогать им в первую очередь и терпеть их, — пусть даже они негодные работники, пусть даже лодыри, фантазеры и болтуны?

— Причем же здесь Биробиджан? — вновь возразил Нафталя. — На месте, в Белоруссии, в городе им легче прожить, их легче перевоспитать. Разве Би-

¹⁾ Буквально — христианскую; из националистического словаря.

робиджан богадельня? Разве такие люди завоюют тайгу? Почему мы должны покрывать и прощать своих лодырей и бездельников? Они заражают своей ленью и хороших работников. Будем их перевоспитывать, будем их наказывать, если нужно, но не прощать им потому, что это «бедные евреи». Разве в русском колхозе станут прощать лодырей и вредителей только потому, что они русские и царь угнетал их веками? Вот послушайте: колхозник Соркин оставил прошлой зимой свою лошадь в тайге — он чего-то испугался, убежал домой и лег спать. Лошадь была в упряжке и околела. Другого осудили бы на несколько лет, ведь лошадь-то колхозная! Так поступили бы с самим Соркиным в любом городе Союза. Но здесь подошли иначе: он — переселенец, и его простили. Так нельзя руководить колхозами, судья сорвал нам всю работу. Я люблю свой народ, но, когда вижу еврея, превратившегося в попрошайку, в крикливого бездельника или вредителя, — мне стыдно. Маркус — тот, по крайней мере, болен. Но что сказать о растрепанном еврее, который не может переломить свой дряблый характер? Он для меня просто дурной человек.

Писатель слушал молча. В нем боролся противоречивые чувства. Он испытывал гордость за этого Нафталя, который нашел в тайге здоровье, мужество и сохранил притом гибкий еврейский ум и национальную страстность. И все же Нафталя испугал его. Он знал, что не только в Биробиджане, но и по всему СССР растут близнецы Нафтали. Остались ли они в душе евреями, эти загорелые, бесстрашные юноши, которые не чувствуют родной крови в жителях шоломлейхемовской Касриловки, уцелевших до нашего времени, и готовы их осудить?..

3

Призывная комиссия объявила Нафталя, что он принят в войска пограничной охраны. Дух перехватило от радости: только сильным и испытанным юношам поручают защиту рубежа.

Работу пограничника Нафталя видел

вблизи. Из рыбачьей лодки он не раз наблюдал за жизнью в манчжурском пограничном городке. Однажды японский офицер на его глазах избил солдата стэком. Нафталя в бессильной ярости погрозил насильнику кулаком. Он видел: когда по улице проходили японцы или видные китайские сановники, прохожие униженно кланялись, прижимая руки к коленям. Впряженные впрягом в соху китайцы обрабатывали свои клочки земли.

По сигналу тревоги Нафталя участвовал вместе с другими колхозниками в облавах на нарушителей границы. Он видел немало примеров повседневного героизма красноармейцев. Поэтому при прощании с товарищами в колхозе ему не понадобились пышные фразы. Он знал, что не сдрейфит ни в каком столкновении с врагом.

Три долгих месяца Нафталя провел в учебной роте. Пограничник должен быть сознательным бойцом, метким стрелком, прекрасным конником.

Волевой характер, выносливость, моторные реакции — вот что командиры воспитывают в бойцах. Молодым пограничникам приходится вначале не легко. Ребята худеют, задания кажутся порой неисполнимыми. Но нагрузка рассчитана точными, научными методами. Проходит некоторый срок, и организм втягивается в работу, крепнет мускулатура, повышается выносливость.

Нафталя долго не мог овладеть вольтижировкой. Ему не удалось чисто сделать «ножницы», и страх парализовал его мускулы каждый раз, когда надо было на ходком галопе впрыгнуть в седло. Он разбил себе в кровь шлуды, десятки раз начинал упражнение снова, покрывался потом, но выполнить задачу не мог. Командиры нажимали, требовали: «Давай! Давай!» — пограничник должен быть совершенным бойцом, иначе он не сумеет охранить границу и сберечь свою жизнь.

И парень не сдавался. Вновь и вновь, стиснув зубы, он повторял фигуру. Для ребят, возмужавших в атмосфере первой пятилетки, нет невозможного. Они не признают отказов от работы, они не просят снисхождения. У Нафталя было

к тому же особое национальное самолюбие: он не желал никаких скидок себе, как еврею. Он брал в свободное время коня и в одиночку упражнялся на манеже. Несколько раз он разбивался в кровь, тело его покрывалось ссадинами, мускулы ныли. Но он добился все-таки своего. Нафталя уловил ритм упражнения и овладел искусством вольтижировки. Он гордился своими достижениями.

4

С пятью товарищами Нафталя прибыл на заставу, чтобы сменить демобилизованных бойцов.

Он знал уже, что сама граница не представляет собой непрерывной линии бетонированных окопов. Вереница часовых не стоит возле заборов из колючей проволоки, как это часто думают далеко в тылу. Но и его поразило нагромождение гор, безлюдие, настроенная тишина.

Все та же земля тянулась и за пограничной сопкой, густо поросшей лесом; трудящийся люд жил и там, за рубежом. Но как мрачно выглядели их поселки! Хлеб осыпался необранный. Стаи фазанов откармливались за счет крестьян. От этих заброшенных пашен и разрушенных фанз тянуло запахом нищеты и разорения. В этом районе японцы возводили укрепления. Китайских крестьян они бесцеремонно выбрасывали с насиженных мест.

Нафталя навсегда запомнил свой первый наряд на границу. Опытные бойцы бесшумно спешивались в лесу около пограничной сопки, вглядывались в местность. Нафталя видел сосредоточенные лица бойцов, винтовки и ручной пулемет, приготовленные к бою. Ему передавалось это состояние тревоги. Всякий шорох в тайге, казалось ему, предупреждал о приближении врага; в сумерках его воображение стало наряжать пни и кусты в одежды мнимых нарушителей. Между тем старослужащие держали себя уверенно, случайные шумы не отвлекали их. Они умели

угадывать топот дикой козы, клекот фазана, шелест листвы, обвеваемой ветром.

Дозор залег в траве и долго вслушивался в лесное безмолвие.

Где-то поблизости, может быть, прячется нарушитель, шпион, террорист. Нафталя внезапно по-новому ощутил свою ответственность перед страной.

Вечером в казарме старые пограничники делились своим опытом с новичками.

Нафталя узнал, что за рубежом платят 300 гоби (монета) за труп красноармейца, которого удалось бы подстрелить и под покровом ночи утащить в Манчжурию. Бандиты устраивают засады на нашей земле. Иногда части противника, выследив наш наряд, пытаются окружить его на советской территории. На границу бросают шпионов и диверсантов, обученных в специальных школах. Японский офицер производит тактические учения возле самой линии границы. Команда: «в штyki!» — и рота бежит прямо к нашей земле. Советские пограничники сохраняют хладнокровие; в последний момент офицер приказывает бить отбой.

Новички слышали о красных дозорах, которым не раз приходилось принимать бой с многочисленным противником, перешедшим через границу; о проводнике сторожевой собаки, что задержал и привел на заставу зараз девять шпионов; о красном командире, которого на нашей земле окружил японский дозор, — командир отстреливался вплоть до наступления сумерек и уполз от врага. Авантюристы дорого платили за каждую попытку нарушить границу.

Нафталя долго не спал в первую ночь на заставе. Он видел винтовки, уложенные в стойки. Где-то рядом конь переступал с ноги на ногу, хрустело сено на зубах. Пятеро красноармейцев одевались, чтобы идти в ночной дозор. Часовой шагал по двору, и в лунном тумане маячила пограничная сопка.

Застава готова к обороне!

В эту ночь Нафталя поклялся себе скорей сравняться со старыми пограничниками в сноровке и смелости.

5

Утро принесло Нафталя жестокое разочарование.

Начальник заставы по очереди вызывал к себе прибывших красноармейцев. Нафталя он задал несколько участливых вопросов. Потом, проглядев какие-то бумаги, лежавшие перед ним на столе, обрадованно спросил:

— Вы работали в пекарне?

Нафталя, действительно, проработал несколько месяцев подручным пекаря. Зимой 1932 года он перебрался в город, учился на курсах, а ночью зарабатывал на жизнь тяжелым трудом пекаря: два курсанта работали за одного подручного по три часа в ночь.

— У нас как-раз сменяется состав, наш повар демобилизуется. Назначаю вас, Нейман, пекарем и кашеваром.

Как это, кашеваром? — Нафталя прибыл сюда не тесто месить и не кастрюли чистить.

— Нет, мне бы к коню, в строй, не согласен быть кашеваром.

— Красноармеец Нейман, вы забыли, что на военной службе выполняют приказания командиров!

Начальник произнес внушение, не повышая голоса. Нафталя взмолился:

— Товарищ командир! Позвольте мне служить на границе, быть бойцом.

Молнией вспыхнул в памяти разговор с дядей Мотлом.

Они сидели на завалинке возле дорфрата (сельсовета), несколько биробиджанских юношей, обладателей здоровых кулаков и крепких нервов, и среди них хромой Мотл, пожилой переселенец, родственник Нейманов.

Мотл рассказывал об империалистической войне. Часть, с которой Мотл прибыл на фронт, сразу же попала в бой. Бредовую ночь провели в окопах молодые солдаты. С уханьем и шипением пролетали над головами снаряды, свистели пули. Шрапнель разорвалась над окопом, и трупов долго не убрали. Взвинчивая себя отчаянными криками, австрийцы пошли в атаку. Мотл, впервые попавший в бой, вряд ли сознавал то, что происходит вокруг. Он прижался к стене, дрожал всем телом, не мог

удержать винтовки в руках. Когда наступила тишина и бой выдохся, Мотл различил несколько тел австрийцев, распластанных на колючей проволоке. Мотл думал только об одном: любимыми средствами вырваться из этого ада. Через сколько унижений он прошел, чтобы попасть кашеваром в ближний тыл! И как он был счастлив, когда кастрюли и котлы отгородили его от фронта!

— Однако и трус же ты, дядя Мотл! — вырвалось тогда у Нафталя.

Кажется, он выразил общее мнение ребят, питомцев биробиджанской тайги и советской школы. Они презирали трусость и с эгоизмом здоровой молодости осуждали немощных, слабых духом воспитанников еврейского местечка. Когда им рассказывали о погромах, они никак не могли взять в толк, почему это евреи прятались на чердаках и в подвалах. Надо было всем поголовно вооружиться дубинами и топорами и драться с громилами.

Но Мотла задело за живое восклицание племянника. Мотл приехал в тайгу недавно и большую часть жизни пробыл в шкуре местечкового еврея.

— Что ты смыслишь в этом, мальчишка? Ты видел городского? Ты знаешь, что за вкус такой в черте оседлости? Что ты вообще знаешь об еврейском горе? О том, как евреев окрестили в царской армии шпионами? Как еврейских беженцев судили полевым судом за то, что генералы отступали? Я должен был стать смельчаком? Ради царя? Затем, чтобы мой поручик получил орден? Встретив меня, он каждый раз спрашивал: ну как, жид, спекулировать-то все же полегче, чем воевать? И я, башмачник и сын башмачника, стоял перед ним навтыяжку и по уставу «ел глазами начальство»... Ох, если б можно было б его не с'есть — загрызть...

— Я бы его убил, гада! — со стоном вырвалось тогда у нафталиного приятеля Семы Кранца.

— Да, вам легко говорить, вы всего этого ужаса не пережили...

Нафталя признал тогда свою ошибку. В царской армии еврей-то уж во всяком случае не смел быть героем.

И все же кашеварство запомнилось ему навсегда, как уловка труса.

Нафталя Нейман знает, зачем стоит на-страже рубежей. Он просился в пограничные части не для того, чтобы отсиживаться в тылу.

Кашевар! Такой обиды он не заслужил. В кашевары идут трусы, — решил он сгоряча. Что он напишет теперь своим ребятам?

Напрасно начальник раз'яснял Нафталя, что на заставе и повара делают важное дело и что по боевой тревоге кашевары выходят с винтовкой на линию огня. Красноармеец Нейман упорно твердил:

— Разрешите пойти на границу, остаться бойцом.

Преппирательство это надоело начальнику. Он хотел убедить молодого красноармейца, но, повидимому, придется прибегнуть к приказу.

— Красноармеец Нейман! Вы назначены кашеваром. Пойдите к старшине, пусть определит вас подменным к нынешнему повару. Можете идти.

Нафталя повторил уныло:

— Есть пойти к старшине, чтобы назначил подменным повара.

Повернулся и пошел к выходу.

Начальник ошибся: в учебной роте Нафталя считали сознательным, дисциплинированным бойцом. Еще в колхозе он боролся с расхлябанными местечковыми болтунами, встречавшими митингами всякое распоряжение бригадира.

Он подавил в себе желание спорить с начальником. Но с мыслями не мог совладать.

Засадить его за кастрюли вместо того, чтобы дать винтовку в руки и послать в дозор! Обида комом подступила к сердцу. Уж не думает ли начальник, что евреи попрежнему не имеют родины; не из «бывших» ли сам командир? Но Нафталя тотчас же устыдился этой мысли. Командир был молод, орден на груди рассказывал о боевых заслугах перед страной. Нафталя остановился в дверях, спросил упавшим голосом:

— Можно мне надеяться, что со временем перейду в строй?

— Это я вам обещаю, впереди — долгий срок службы.

Так ему пришлось занять боевой пост возле печи и кухонных котлов. На заставе дозор сменяет дозор. Столовая работает круглые сутки. Красноармеец знает, что его накормят, напоят и обогреют, как бы поздно он ни вернулся из тайги. Бойцы были довольны новым поваром. Он работал честно, но душа все же не лежала к этому, делу. Зато Нафталя ухаживал со всем пылом за двумя обозными лошадьми. В любой час их можно было вывести теперь хоть на парад, и командир несколько раз ставил Нафталя в пример другим. Но что толку? Он попрежнему сидел на заставе кашеваром и выпекал хлеб, пока его товарищи воевали с нарушителями.

Иногда Нафталя отпрашивался в ночные дозоры, жертвуя часами отдыха и сна. Он привык к настоуженной тишине границы. Пальцы уже не впивались судорожно в ствол винтовки, руки больше не дрожали. Он научился распознавать привычные лесные шорохи и преодолел желание расстреливать все попадающиеся на пути пни.

Иногда он ловил себя на шальной мысли, в которой неловко было признаться: он сожалел, что «происшествия» на границе случались не в те ночи, что он урывал для дозоров. Нафталя лежал в секрете, зорко всматривался в темень, но не мог сдерживать игры воображения. Он представлял себе: вот там за дальней березой мелькнуло темное пятно. Оно движется. Крадется нарушитель. Теперь уже можно различить в руках бандита маузер. Нафталя ползет стороной, он должен отрезать обратный путь диверсанту. Потом, затаившись, идет по следам врага и, выбрав местность, внезапно кричит во всю силу легких: стой!! Дальше события развивались по-разному: диверсант мог вступить в бой, отстреливаться, залечь в кусты. Но часто нарушители сдаются, когда их настигают врасплох. Нафталя еще внимательнее оглядывал местность: не крадется ли и в самом деле враг. Он был уверен в себе: не струсит, не растеряется, не отступит. Родина может верить своему часовому. Но именно по-

этому ему хотелось скорее проверить себя в бою, пойти навстречу опасности.

Всю учебную подготовку повар проходил вместе со своим отделением, ему назначили подменного кашевара. И, когда в рабочие дни выдавался свободный час, он упражнялся в стрельбе из винтовки.

Повар Нафталя Нейман упорно готовил себя к строевой службе на границе.

6

Клубы пара вырывались из дверей кухни. Отстреляв задачу и выслушав похвалу инспектора, Нафталя Нейман попросил разрешения вернуться к своим котлам.

— Ступайте, товарищ повар, — сказал дружелюбно инспектор. — Очевидно, вы так же хорошо варите суп, как стреляете по мишеням.

Он поглядел одобрительно вслед биробиджанцу. «На такой заставе и повар будет героем» — подумал инспектор. Он был доволен итогами смотра.

Нафталя поспешил к себе на кухню. Тут, действуя мирными орудиями, ковшем и ухватом, он мог предаваться мужественным своим мечтам.

Отделение вернулось со стрельбища в праздничном настроении. Застава провела смотр на «отлично». Ни один боец не «завалился».

Этот результат добыт был нелегким трудом. Застава имела боевые традиции и несколько лет подряд держала первенство по отряду. Красноармейцы ревниво защищали честь своего коллектива. Почти всех бойцов успели обстрелять на границе; они прослужили несколько лет и втянулись в жизнь пограничной заставы, изучили местность до последнего кустика, узнали повадки разрушителей. Не одни командиры недосыпали перед сном. Отделение Неймана имело свои заботы. Семенчук неуверенно работал на турнике, Азянов не до конца преодолел страх перед джигитовкой, Бондаренко прослыл «гробом» на политзанятиях.

Сознательный красноармеец и прекрасный стрелок, Бондаренко пасовал перед книгой. На разговорчивого парня напал столбняк, когда его просили рассказать о 1905 годе, о конференции в Монстре. «Дурная голова, — говорил он сокрушенно, — как прочту — будто понял, а потом — словно ветром выдувает». К Бондаренко прикрепили Нафталя Неймана, Бессонов взял двух других на буксир. Бондаренко не давали покоя. В любую минуту — в столовой, во время уборки лошадей и даже в бане во время мытья — Алеше Бондаренко всем скопом задавали контрольные вопросы. Боец стал обижаться, но вскоре понял, что в расспросах товарищей нет никакой издевки. Не только Нафталя, но и все отделение гордилось теперь успехом Бондаренко.

И все-таки он «засыпался». Это случилось немного погодя, когда инспектор собрал всех в казарму для прощальной беседы. Ему вздумалось проверить аптечку. «Лекарем» на беду числился все тот же Бондаренко. Он довольно уверенно тыкал пальцем в склянки и коробочки с порошками и приговаривал: «Этот от живота, а тот три простуде, а иод — чтобы ранку не загрязнить». Но, когда дело дошло до валерианки, он пасовал. Назначения валерианки он не знал и очень досадовал на свою забывчивость.

Инспектор решил ему помочь.

— Это лекарство дают нервным людям, чтобы успокоить их в случае какого-либо волнения.

— Тю, — обрадовался Бондаренко, — у нас на заставе нервных нету, и бойцы всегда спокойные, и это лекарство два года пролежало без употребления.

Хохотом встретила казарма слова «лекаря»: на заставе не было слабонервных и неуверенных в себе бойцов. Именно поэтому и рассмешил всех хвастливый ответ Бондаренко.

Командиры удалились, инспектор застал с красноармейцами беседу «по душам» и спросил между прочим, нет ли претензий.

Застава находилась на отшибе. Здесь

приходилось охранять большой участок границы. И все-таки красноармейцы неохотно расставались с этим коллективом. Перебрасывая любого из них на соседнюю заставу, командиры знали, что дело не обойдется без рапорта, без просьбы бойца вернуть его на старое место. Редко когда командирам приходилось делать замечания или выговоры — бойцы знали службу. Вручив задание старшему наряда, командир не сомневался, что приказ будет выполнен точно и с учетом обстановки. Проверка постов уже давно не обнаруживала никаких нарушений устава, и, как бы ни утомился боец за суточное дежурство на границе, ему никогда не пришло бы в голову лечь на койку, не протерев оружия. Застава жила дружно, и всякий мог рассчитывать на братскую помощь соседа — равно бойца или командира. При столкновениях с нарушителями бойцы проявляли не только храбрость, но и незаурядную смекалку. Старослужащие накопили боевой опыт и в нарядах свободно решали тактические задачи, которые заставили бы и среднего командира задуматься.

Граница научила бойца многому; он понимает цель борьбы, сознательно терпит лишения и, если нужно, рискует жизнью.

Словом, претензий ни один боец заставы не заявил.

Что касается Нафталя, то он желал попрежнему перейти в строй. Он готов был однажды заподозреть командира Волкова в антисемитизме. Теперь подобная мысль показалась бы ему чудовищной. Как и все бойцы, Нафталя ощущал заботу начальника и доверял ровному, уверенному в себе и потому особенно спокойному командиру.

Дружеская беседа с инспектором продолжалась. Перед Нафталем возникло искушение: не замолвит ли инспектор словечко за него перед начальником?

Все-таки Нафталя отказался от этого намерения. Тайга и армия воспитали в нем скромность и сдержанность, которой недоставало многим выходцам из местечек. Переселенцы были готовы из-за

всякого пустяка подымать шум. Когда в биробиджанский поселок приезжал кто-либо из города, на него обрушивался ливень жалоб — особенно усердствовали женщины. Коренные биробиджанцы всегда возмущались этой бесцеремонностью. Надо иметь уважение к самому себе и не докучать другим своими просьбами, — так поступают мужественные люди. Нафталя не стал затруднять инспектора своими делами, — мало ли других, более важных забот у приезжего!

Но начальнику он собирался напомнить о его обещании — вот уже скоро полгода, как он безропотно кашеварит на заставе.

7

Инспектор уехал поутру, поблагодарив пограничников за отличную службу.

Свободные от нарядов красноармейцы отдыхали в казарме: спали, читали, чинили одежду.

Нафталя задумал испечь хлеб: запас подошел к концу. Тесто было давно замешано и уже подошло. Огонь в печи догорал.

Осталось еще время для покурки. Нафталя нашел у себя в кармане недавнее материнское письмо. Оторвал от него уголок, насыпал махорки и скрутил цыгарку.

Бестолковый народ все-таки эти матери! Ненужными советами и всякими пустяками наполнила свое письмо, а о колхозе обронила всего несколько слов: МТС подняла снова четыреста га целины.

Нафталя задумался: с этих четырехсот га можно было снять богатейший урожай. Лишь бы хватило сил и настойчивости.

Он перенесся мыслями в колхоз. «Неужели там все по-старому? Вот полковой бригадир Мейер Гайсинский собирает поутру своих людей. Он бегаёт из дома в дом, кричит, торопит. Конечно, к «старикам» и ударникам ему незачем заходить. Из старых переселенцев остались лишь те, что понимают вкус в колхозной жизни и помнят: чего не посе-

ешь — того не пожнешь. Оба Постмана тянут, как добрые волаы. Рабинович носится со своими изобретениями, но работает неутомимо. Бруха Кнейнбургша — сама за бригадира, это дельная и властная колхозница. Молчаливый Штейн — он приехал в прошлом году — никогда не уйдет с поля, не выработав полторы нормы. О трактористах и говорить нечего. Мейеру Гайсинскому не приходится торопить всех этих людей. Они своими руками построили колхоз и давно поверили, в трудодни. Но...

— Пусть они провалятся, эти трудодни, — кричит как-раз жена «старика» Волка Гайсинскому (вот еще одна вхохочущая ента!). — Еврей любит фрише-копкес (буквально: свежие копейки), чтобы каждый день было на базар. А на ваших трудоднях-нудоднях не поджаришь сегодня оладьи.

Волчиха уже отошла и смеется над своей остротой. Сам Волк открывает соседнее окно и машет успокоительно рукой:

— Балд, балд.

Но кто не знает, что еврейское «балд» сродни украинскому «зараз», и бригаде придется поджидать Волка еще добрый час. Впрочем, Мейер Гайсинский раньше охрипнет, чем созовет всех своих людей. В соседнем доме на него обрушивается все семейство Кнейшицев.

— Почему у Арона нога не повернулась, когда он сбрался в эти дикие места? Лучше пролежать полжизни в больнице, чем жить у вас в Биробиджане.

— Ну, что еще стряслось с вами? — безразлично и нелюбопытно спрашивает бригадир; он хорошо знает, что это за семейка — Кнейшицы.

Оказывается, в новом доме дует из щелей.

— Десять раз говорили председателю, а он и не подумал отремонтировать.

Самому Кнейшицу, конечно, тоже не пришло в голову справиться пустячный ремонт.

Мейер Гайсинский теряет все свое напускное спокойствие и кричит в свою очередь:

— А в палатках вы пробовали жить,

как первые переселенцы? Дожди вас мочили? Разве вам не выдали бесплатной коровы? Или она перестала давать молоко? Посмотрите на него: он приехал в Биробиджан и не хочет законопатить щель в своем доме или засыпать потолок землей. Я вам скажу, хавер¹⁾ Кнейшиц, что от таких, как вы, у нас, биробиджанцев, болит голова. И еще скажу: бригада не будет вас ждать — можете уйти и из бригады, и из колхоза.

И, выпалив все это единым духом, Гайсинский бежит к Каваллеру. Этот человек прожил всю жизнь, будто просидел на чужом фургоне. Куда его только не заносило! И каков итог? Четверо босых и голодных детей и пустой — хоть шаром покати — дом. Каваллер не отпустил сегодня детей в детский сад. Он собирает их в поход на предколхоза. Это испытанное средство! Каваллер будет требовать помощи, дети — плакать, жена — причитывать. Суровому председателю уготовано трудное испытание. Вероятно, он выдаст за счет колхоза новый аванс. Но разве можно помочь этой семье? Жена вечно болеет, а муж надеется в жизни на все, что угодно, только не на свои руки.

Каваллеры, Кнейшицы и Волки, как живые, встали в памяти Нафтали. Его взяла досада. Ну что за народ! Что с ними делать? И неужели за этот год колхоз не исправил лодырей, «несчастеньких», крикливых женщин или, по крайней мере, не расстался с ними? Неужели Мейер Гайсинский все еще бегаёт по домам и упрашивает непрочных колхозников выйти на работу? Как же они справятся тогда с 400 га новой земли?

Нафталя стоял в колхозе за дисциплину, поддерживаемую строгими методами. Прогуливаешь — зарабатывай штраф; уваливаешь вовсе от работы — уезжай! Биробиджан — это не палестинская богадельня Халуки, куда приезжают старики, чтобы испустить дух возле Стены Плача.

Но стоило правлению назначить штраф, как из района приезжали мягко-

¹⁾ Хавер — товарищ.

сердечные люди и говорили, что с евреями-переселенцами нельзя обращаться так сурово. Почему-то они не желали равняться на Постманов, Нейманов, Гайсинских. Для них еврейство все еще состояло из Кнейшицов, Каваллеров и Бергов. (Берг был бы неплохим колхозником, если б его не портил пример Кнейшица.)

Нафталя припомнил писателя с его разговорами о любви еврея к евреям. Писатель хотел уверить Нафталя, что Кнейшицы и Каваллеры ему ближе, чем Бондаренко, Сёма Кранц, Петька Марецкий, Хаит Азянов и все эти самоотверженные ребята. Чудак!

У Нафталя руки так и чесались. Так и затеял бы драку со всеми болтунами и лодырями, которые не желают исправиться. Наука пограничника пошла бы ему впрок. Кнейшицы — те же нарушители, они переступают колхозный закон. С таким народом каши не сварить.

Нафталя заметил, что говорит на профессиональном поварском языке, и расхохотался. Бессонов по такому случаю сказал бы, наверно:

— Ну, чисто кашеваром заделался.

Нафталя поплевал на окурочек и выбросил его в помойное ведро. Потом принялся сажать хлеба в печь.

Внезапно задребезжали окна. Издали донесся шум взрыва.

Резким рывком Нафталя распахнул двери и застыл на пороге.

Тра-та-та-та... — пулемет строчил в отдалении, затем поднялась беспорядочная стрельба. Снова раздался взрыв гранаты.

Дозор предупреждал заставу, звал на помощь.

о

— В ружье!

Еще до команды опытные бойцы повскакали с коек. Кто натягивал сапоги, кто надевал ватную фуфайку.

Стрельба усилилась. Красноармейцы уже седлали лошадей.

Командиру Волкову не изменило обычное присутствие духа. Он приговаривает свое любимое: «Спокойненько!»

Не повышая голоса, он сообщил по телефону о событиях; обещал через три минуты выехать на границу.

Не было никакой суеты. Каждый знал свое место. Все наготове. Вот уже взбудораженные тревогой лошади храпят во дворе. Красноармейцы разбирают винтовки, гранатные сумки.

Сборы происходят в настороженном молчании. Всякий разговор отвлекает внимание. Кто-то бормочет сквозь стиснутые зубы:

— Гады, вот гады!..

Его соседи молчат, но и их душит гнев.

Это те самые красноармейцы, которые отдавали свои продукты интернированным на границе солдатам Маньчжоуго и участливо расспрашивали их о жизни за рубежом. Бессонов перевязывал раны бандитам, оказавшим вооруженное сопротивление при задержании. Иваницкий всякий раз в дозоре сокрушался о загубленных пашнях китайцев.

Но в этот час ненависть к врагу и гнев переполняли сердца бойцов.

Перестрелка не утихала, били сразу несколько пулеметов.

Наш дозор взял с собой только один пулемет...

В эти напряженные минуты Волков распоряжался все так же спокойно, не повышая голоса:

— Гриценко, возьмите семерых бойцов. Зайдите противнику с левого фланга в тыл, по возможности. Пришлите связного по прибытии на место. И помните, побольше маскировки, спокойненько!

— Янов! вы больны и остаетесь на заставе.

— Да я совсем здоров! — ответил Янов и сорвал с горла повязку. Его лихорадило третий день, но место свое в бою он не хотел никому уступить.

Янов вскочил на оседланного коня.

Он был старослужащим. В отряде начальника, после выделения группы Гриценко, осталось всего девять бойцов (часть бойцов была на сенокосе). Волков рад был решимости Янова.

Но к Нафтале он был неумолим. По-

вар останется на заставе в распоряжении старшины вместе с телефонистом, двумя связными, обозником и женщиной.

Жена Волкова, прислонясь к стене, наблюдала за быстрыми сборами. Она крепилась изо всех сил, чтобы не выдать своего волнения.

Но мужа трудно обмануть. Он даже повысил на этот раз голос.

— Что же, боевая тревога — не для вас? Займите немедленно свое место и разверните лазарет!

И поднял своего коня вскачь.

Нафталя, подпоясанный, с винтовкой в руке, глядел с тревогой и завистью вслед бойцам.

Порывы ветра приносили шум боя. Слышны были крики. Нельзя было разобрать, какая сторона пошла в атаку. Наших было слишком мало для рукопашной схватки. Значит...

Нафталя проклял кашеварское звание. Там, в бою, каждый человек дорог, а тут...

Он подумал о хромом Мотле; оскорбительным показалось сейчас это воспоминание.

Старшина указал каждому бойцу его место на случай, если враг прорвется к заставе. Связист и обозный заняли сторожевые посты. Нафталя, не находя себе места, прошел в красный уголок.

Жена командира, одетая по-походному, расставляла лазаретные койки. Ее винтовка стояла в углу. На полу играл шестилетний мальчик. Он дулся со вчерашнего дня на повара. Ребенок подражал в своих играх взрослым. Вооружившись игрушечным ружьем, он отправился «в дозор», на границу. Нафталя встретил его в двухстах метрах от заставы и принес, возмущенного, домой.

Стрельба все не унималась. Нафталя говорил себе:

«Наши держатся крепко. Подкрепление уже, наверно, подходит к ним. Кто там, на границе, первым принял удар врага? Часть бойцов ушла сегодня в тыл, на сенокос. Михайлов, Бессонов, Бондаренко — все они были в дозоре. Бондаренко теперь на своем примере докажет, что «нервных на заставе нет

и валерианка как простояла без «употребления», так простоят еще столько же».

С соседней заставы сообщили по телефону, что помощь уже выслана. Штаб запрашивал сведения о бое.

Послышался топот. Часовой предупредил: «свой». Связист, соскочив на ходу с коня, бросился к телефону.

Нафталя узнал, что границу нарушил целый батальон японо-маньчжур. Наш дозор, в составе семи человек, завязал бой. Пулеметчик стрелял с плеча комвзвода Сергеева и нанес противнику чувствительный урон. На правом фланге в бой вступил и второй дозор (три человека, — один, наверно, остался за коноводом). Атаки противника успешно отбивались. Но пулеметчик убит, раненые остаются пока в строю. Волков прибыл на место боя и принял командование.

Какие бойцы! Вдвоем, всемером принимают бой с целой сворой!

Не уступают ни пяди своей земли! Конечно, они чувствуют: отовсюду спешат к ним на помощь. Пограничник не знает одиночества, за ним вся страна.

Нафталя испытал гордость за своих товарищей. Как-то сразу поблекла личная обида, досада на кашеварство.

Он вспомнил о прямых своих обязанностях. Вернулся в кухню, прислонил винтовку к стене и занялся хлебами.

Суп остался еще от обеда — только согреть. Чем бы накормить бойцов? Нафталя поставил на плиту компот. Потом вымыл бак для кипяченой воды — пригодится в лазарете. Чем бы еще занять себя?

Вновь послышался топот. Каурый конь «Васька» вывез из боя своего хозяина. Бондаренко мешком валился с седла. Вместе с женщиной Нафталя отнес раненого бойца в лазарет. Пуля прострелила ему легкое, другая раздробила ключицу.

— Что делают, гады!..

Не стало мочи торчать без дела на заставе, когда убивают товарищей. Биробиджанский парень — не Мотл и уже никогда на него не будет похож.

Нафталя нашел старшину.

— Там каждый боец на счету. Позвольте мне ехать.

Пополнение должно было прибыть с минуты на минуту. Старшина решил послать повара с коротким донесением к начальству.

— Отвезите запас патронов и передайте пакет командиру.

И после короткой паузы:

— Или тому, кто командует теперь боем.

Командир уже мог быть ранен, убит.

Нафталя приторочил мешки с боевыми запасами к седлу и умчался в тайгу на выстрелы.

9

Низкорослые березки построились на гребне сопки в затылок друг другу. В цветистые одежды нарядила их осень, и солнце опрыскивало светом, как заботливый садовник водой. Но за горбом сопки трещали выстрелы. Нафталя неосторожно поднялся на увал — его заметили, обстреляли. Пули свистели где-то над головой. Он понял это, уже спустясь в лошину, когда был в безопасности. Страха не было. Бросил лошадь коноводам и, волоча за собой мешок с патронами, побежал, не таясь, в гору.

«Доставить патроны и лечь в цепь с бойцами» — других мыслей не было.

Задыхаясь, он вскарабкался на хребет. Он различил всего двух-трех наших бойцов, укрывшихся за деревьями на середине склона. Но сверху хорошо видно расположение противника. Шинели иностранного покроя, много шинелей, очень много.

Теперь его удивили вопли, несшиеся оттуда. Шум, стоны, крики, не то угрожающие, не то жалобные. Временами они заглушали звуки самого боя.

Пули сбили листья полукругом возле Нафтали. Он успел нырнуть в густую траву: пулемет обстрелял куст, за которым он только-что стоял. Тогда его впервые охватил страх. Его била крупная дрожь. Выступил скользкий, холодный пот. Инстинктивно он подался назад, за надежное прикрытие. И тотчас

же еще сильнее испугался, но уже того, что струсил. Трусом он не будет. Он не дядя Мотл.

Нафталя собрал свою волю в кулак. Он заставил себя покинуть убежище. Дальше пошло уже легче. Он быстро пополз к пограничникам.

Внезапно он наткнулся на труп Саши Слесарева. Сашу изрешетили пулеметом, он лежал в луже крови. Волна гнева подняла Нафталя на ноги и без остатка смела недавний страх. Почти не прячась за стволами деревьев, он выпустил на-бегу обойму патронов. Руки его дрожали, да и целиться он не успевал. Эти первые его выстрелы, наверно, не причинили вреда противнику.

— Спокойненько! — произнес рядом с ним знакомый голос.

Командир прекрасно замаскировался корнями вывороченного бурей дерева. В корнях, как в гнезде, удобно лежала винтовка убитого Слесарева. Командир нисколько не изменил себе и был, как всегда, ровен и нетороплив:

— Ложись рядом со мной, Нейман. Побольше маскировки. Принес донесение?

Волков всегда строго официален; это «ты» было единственной данью обстановке.

Командирское «спокойненько» сбilo произвольное волнение молодого бойца. Он удивился, как это во время ожесточенной перестрелки люди сохраняют спокойствие и даже разговаривают просто, по-домашнему.

Нафталя легко подчинился этому настроению. Ему даже показалось на момент, что он не в бою, а на ученьях.

— Спокойненько! — повторил опять командир.

— Бессонов, не вылезайте из-за прикрытия.

— Марецкий, ваше место займет Нейман. Отползайте в тыл и перевяжите рану получше.

Марецкий отказался: ничего, раны не чувствует, может стрелять дальше.

Ремнем он перетянул ногу пониже колена, рана кровоточила.

Командир все же послал Нафталя проводить раненого в тыл. Марецкий

отполз до следующего дерева и наотрез отказался выйти из боя.

Сердце ровно билось в груди. Нафталя прицеливался спокойно, как на стрельбище. Обрадовался, когда отметил первое попадание.

Теперь он уже сообразил, что наши, хоть и малочисленные, группы охватили противника в полукольцо. Его ураганный, плохо направленный огонь приносил нам мало вреда. Красноармейцы стреляли редко и только по видимой цели.

Крики и стоны в расположении противника не прекращались. Нафталя так освоился с обстановкой, что мог спросить у соседа Бессонова:

— Что за крики?

— Чего кричат, не знаю, но, видать, не «ура», а «караул!».

Бессонов балагурил, будто он не выходил из казармы.

Нафталя хладнокровно отмечал, что далекая пуля пролетает с визгом, а близкая звякает над ухом — очень противно.

— Цельтесь наверняка, товарищи, побольше маскировки!

Сам командир, однако, приподнялся в полроста, чтобы разглядеть лучше лагерь противника. Передвижка в его рядах усилилась. Под нашим огнем враг, потеряв много людей, отступал. Он обрушился теперь на группу Гриценко. Солнце давно зашло за сопки. Надвигались сумерки.

Пограничник должен сделать все возможное, чтобы не дать нарушителям уйти за границу. Командир оглядел свое «войско». Он мог повести в атаку едва 13—15 бойцов. Каковы потери у остальных наших отрядов, он не знал. Но на правом фланге перестрелка усилилась. Вероятно, подросли косцы; перестрелку с ними вела вторая рота маньчжур, явившаяся в разгар боя. Еще недавно командиру удалось сбить метким огнем ее штыковую атаку.

— Передай по цепи: готовиться к атаке, перебежку произвести с умом, маскируясь (он чуть не сказал любимое слово «спокойненько»). Задача: занять мысок на левом фланге.

Лес, вклинившись в распадок, обра-

зовал как бы зеленый мыс в желтом травяном море. Там мелькали цветные шинели.

Командир знал, что к нему подходят подкрепления, но ждать их не мог.

Он взорвал гранату, чтобы привлечь внимание Гриценко и косцов.

— Вперед! За мной!

Жидкая цепочка людей побежала вниз по склону с устрашающим боевым криком:

— А-а-а!!!.

Крик этот был поддержан с разных сторон.

Вперед! Это слово сорвало Нафталя с его лежанки за массивным кедром. Он бежал вместе со всеми. Его охватил восторг, его обуяла бешеная злоба. Ему и в голову не пришло бы теперь беречься встречной пули. Мысли выветрило из головы, он был охвачен ненавистью к врагу. Они убили Сашу Слесарева, ранили Марецкого, теперь хотят скосить всех пулеметом. Ударить по врагу штыком, прикладом, кулаком — это желание разгневанного бойца переполняло Нафталя до краев.

Но властный, спокойный голос командира пробился в его сознание и через эту захлестнувшую его волну яростного восторга.

— Лечь, залечь немедленно! Маскировка! Верный прицел!

Пулемет противника нащупал цепь.

Нафталя послушно улегся за кустом и сосредоточил всю свою волю на точной стрельбе. Стемнело, трудно было взять цель на мушку.

Цепь поднималась еще три раза и, пробежав 30—40 шагов, снова залегала в траве. Нафталя едва ли разбирался в том, что происходило на сопке. Он еще не научился сохранять хладнокровие в атаке.

Сознание фиксировало отдельные эпизоды. Они откладывались в памяти, но только позднее, на заставе он смог их осмыслить. Вот что он запомнил:

Марецкий ковылял за другими бойцами. Стиснув зубы, он волочил за собой ногу с простреленным сухожилием.

Пуля разнесла в щепы ложе командирской винтовки. Он подхватил дру- гую у упавшего ничком бойца.

— Я еще жив, товарищ командир, — сказал Семенчук, подняв голову, — и еще могу вколотить гаду!

Семенчука ранили в бедро. Лежа без движения, он еще долго отстреливался.

На левом фланге комвзвод Сергеев завязал рукопашный бой. Он зарубил японского пулеметчика. Размахивая захваченным пулеметом, неистово ругаясь, он шел напролом. Офицер-японец замахнулся на него шашкой, но Сергеев изловчился, выбил ее из рук и ранил офицера. (Сергеев принадлежал к иному типу командиров, чем Волков; его «несло» в атаку, он совершал безумства, но самая бесшабашная удача, подкрепленная смекалкой, оберегала его; все-таки он не избежал ранения в этот день.)

Бессонов не изменил себе и в атаке. Перебегая от дерева к дереву, он кричал дурашливо, налегая по-костромски на «о»:

— Оришка, Оришка, где ты там, посмотрела бы, как твой Санько воюет.

Аришӯ по фотографии знала вся казарма и бессоновский выбор одобряла.

Каждый вел себя в бою так, как подсказывали ему характер и опыт.

Отряд Волкова занял намеченный мыс, когда сумерки уже спустились.

Подожли подкрепления с соседней заставы. Но с темнотой бой прекращался сам собой.

Красноармейцы торопили командира:

— Почему не идем в атаку? Скоман-дуйте: вперед!

Но в наступившей темноте это было рискованно и не нужно.

Враг получил крепкий урок и под покровом ночи отступил за границу.

Нафталя внезапно вспомнил: хлеб сгорел, вероятно, в печи! Сколько времени он провел в бою? Ему казалось — долго. В действительности он не пробыл на линии огня и часа.

Не таясь шальных пуль, Нафталя по-дошел к командиру.

Он настолько успокоился, что ему захотелось блеснуть выправкой дисциплинированного бойца.

Он стал «смирно» и спросил по всей форме:

— Товарищ командир, разрешите

вернуться на заставу. Хлеба сгорят у меня в печи, да и обед бойцам надо разогреть.

Тут только он заметил, что командир перевязывает себе левую руку:

— Вы ранены? — испуганно спросил он.

— Пустяки.

Нафталя помог перетянуть кровоточившую кисть руки и получил приказание итти на заставу.

Он возвращался на заставу ленивой рысцой. В памяти вспыхивали отдельные эпизоды боя. Все время звучало в ушах «спокойненько». Потом вспомнил до крови прикусившего губу Марецкого.

Еще недавно он мчался на звук выстрелов по безмолвной тайге. Теперь его окликали на каждом повороте тропы. Полевые части заняли линию обороны. События, конечно, не застали ОКДВА врасплох.

Во время боя он, казалось, не думал о родине, о долге. Эти мысли превратились в какое-то шестое, мощное чувство. Оно толкало его в атаку, заставляло пренебрегать опасностью, точней брать врага на прицел. Только сейчас он начинал осмысливать то, что произошло. Грудь его распирало от гордости, от счастья. Застава выполнила свой долг. Есть и Нафталина доля в победе.

Меры не было счастьем.

Бедные, обездоленные Мотлы. Они прожили большую часть жизни без родины. Они не умели бороться и побеждать.

Нафталя решил написать на-днях большое письмо Семе Кранцу — этот парень, как двойник: все понимает, настоящий биробиджанец.

10

Волков вернулся перед рассветом. Дежурный врач перевязал его рану. Осколки гранаты изрешетили ладонь, поранили пальцы. Жена, которая всегда спокойно перевязывала раненых, сейчас отвернулась, чтобы не видеть его изуродованной руки.

Командир почувствовал звериный голод и зашел в столовую. Бойцы, только-что вернувшиеся на заставу, хлебали

горячие щи. Они притащили откуда-то кресло и усадили боевого своего командира.

Нафталя поставил перед командиром большую миску; от нее валил аппетитный пар.

— Кушайте, товарищ начальник, только извините — хлеб подгорел.

— Ага, повар! Ну, как, на своем кухонном посту стоишь так же лихо, как и на линии огня?

Волков густо захохотал, и все внезапно обнаружили, что у него громкий, звучный голос.

Он не унимался:

— Ну, как, товарищ Нафталя, выходит, я был прав: и кашевары защищают границу с винтовкой в руках?

Нафталя улыбнулся:

— Все-таки о вашем обещании я еще как-нибудь напомню.

— Да разве я забыл о нем? — удивился Волков. — Не забыл — у меня есть свой план.

Перед уходом из столовой он заглянул к Нафтале на кухню.

Биробиджан, осенью 1936 г.

— Вот мой план, товарищ Нейман. Почему бы повару не стать командиром? Вы хорошо грамотны, службу знаете, обстреляны на границе. У нас как-раз набирают людей на курсы младших командиров. Через четыре месяца вы вернетесь ко мне отделенным и тогда — хоть каждую ночь в дозор.

— Подумай и подай заявление, — сказал командир на прощание.

— И думать нечего — согласен!

Нафталя не страдал излишним самолюбием. Фантазером он тоже не был. Но раздумывать, право, было не над чем. Нафталя знал, что на командира падает больше ответственности, что командир служит в бою примером для других. Но он и не сомневался в своих силах. Он принимал жизнь просто, как здоровый, мужественный человек, крепко привязанный к своей родине.

В самом деле, почему бы биробиджанцу после того, как его подучат, не стать командиром отделения или взвода?.. и даже лейтенантом?

2. ЗАМЕТКИ СЧЕТЧИКА

И. Экслер

Все приготовления окончены. Наступает час, когда счетчик всесоюзной переписи населения 1937 года получает в Москве, в старинном доме с чугунными лестницами и высокими гулкими коридорами, последнее напутствие. Заместитель начальника бюро переписи Л. Бранд вручает счетчику, отправляющемуся для работы в Пошехоно-Володарский район Ярославской области, целую стопку литературы, — ее надлежит изучить в поезде, до Рыбинска.

Выезжать из Москвы в Пошехонье приходится в новогоднюю карнавальную ночь. В 4 часа утра улицы переполнены людьми, автомобили снуют один за другим, как днем... Журналист, ставший на время переписи пошехонским счетчиком, перебирает в памяти свои новогодние ночи — немало из них проведено за работой; он вспоминает, например, что одну из них он, чтобы встретить первого покупателя хлеба без карточек, пробродствовал в булочной.

Новогодняя ночь посвящается ознакомлению с инструкциями. Я уже твердо знаю, что переписи подлежат все население, наличное на 12 часов ночи с 5 на 6 января 1937 г.; предварительное заполнение переписных листов производится с 1 по 5 января; что перепись производится по месту жительства в каждом жилом помещении; что в переписной лист должны быть записаны все лица, которые ночевали в данном помещении в ночь с 5 на 6 января, и т. д.,
* т. п.

В Рыбинск поезд приходит зимним предрассветным утром. Город скрыт в тумане, тускло мерцают огни, на улицах еще ни души. Извозчик доставляет меня к берегу Волги, через которую нужно перебираться пешком на противоположный берег, называемый «Ершом». Отсюда отправляется на Пошехонье-Володарск автобус. Он отходит в 8 часов утра, надо торопиться, но быстро идти невозможно — то-и-дело скользят ноги на влажном, тающем льду.

60 километров пути преодолеваются в течение трех с половиной часов. Даже там, где дорога хороша, шофер не прибавляет скорости. Повидимому, он бережет машину. Что же касается пассажиров, то они не производят впечатления сильно спешащих людей. Лишь мой сосед, студент, едущий в родные места на каникулы, то-и-дело нетерпеливо поглядывает в окно на километровые столбы. На половине пути, в селе Милюшине, мы делаем короткий привал. В нескольких километрах от этого села протекает Шексна, где идут сейчас грандиозные работы по сооружению гигантской плотины. Недалеко от этого села находится хутор, в котором родился маршал Советского Союза — Василий Константинович Блюхер. Мы пьем в трактире чай, в обществе земляков маршала. Один из них не без хвастовства вспоминает, как он прятал нынешнего маршала, скрывавшегося от полиции, у себя на гумне...

Автобус идет по зимней дороге мимо черной стены леса.

Пошехонье-Володарск, живописно раскинувшийся на берегу Сохоты — притока Шексны, — стоит в лесу, который тянется сплошным массивом до самой Вологды.

На базарной площади, в двухэтажном белом доме райисполкома, в низенькой комнате, уставленной старинной мебелью, помещается местный штаб переписи. Тов. Федоров, руководитель переписи во всем Пошехонье, уже предупрежден из ЦУНХУ о прибытии счетчика из Москвы. Мне отведен участок на окраине города.

Остается получить удостоверение, переписные листы и приступить к работе.

Всего по городу Пошехонью-Володарску будут работать 32 счетчика. Это, главным образом, преподаватели и преподавательницы местных школ и техникумов.

Мой участок охватывает окраину города — улицы Мологскую, Напольную и Мало-Рыбинскую. Здесь живут рабочие льнозавода, МТС, промкомбината и служащие районных учреждений. Контролер-инструктор, директор местной типографии тов. Всесвятский, ведет меня на участок. В руках у нас папки с переписными листами.

С утра и до самого вечера мы обходим дома, переписываем их обитателей. Каждый из счетчиков с большим воодушевлением занимается своей работой, прекрасно понимая всю ее важность.

Еще в Москве в ЦУНХУ мне предложили возможность познакомиться с материалами переписи населения 1897 года — первой и единственной всеобщей переписи населения в царской России. Уполномоченный по переписи в Тверской, Ярославской и Костромской губерниях, тайный советник Плющевский-Плющик, красочно обрисовал в своем отчете обстановку работы счетчиков в Пошехонье того времени. Со странным чувством перелистывал я эту книгу. «Закончившаяся повсеместно в империи 31 января с. г. всеобщая перепись населения принадлежит к числу тех государственных начинаний, цель которых,

оставаясь непонятною для темной, мало-развитой массы, вызывает в ней много своеобразных толкований, могущих в иных случаях помочь делу, а в иных и совершенно погубить его: все зависит от того, какое направление примут те объяснения, какие дает возникновению данного дела темное большинство, или, вернее, как будут направлены эти объяснения. И минувшая перепись, еще задолго до ее начала, вызвала в народе немало толков, заставила шевельнуться серое море крестьянства... Начали, время от времени, слышаться объяснения предстоящей переписи, приписывавшие ей цель то выяснения количества населения, живущего с малой землей... Некоторые шли еще дальше и связывали цель всеобщей переписи с любимым вопросом о водке и кабаках: говорили, что народ хотя бы переписывать для того, чтобы знать, сколько надо поставить кабаков и где именно».

Тяжело приходилось тогда счетчикам. Во время первой переписи в Пошехонье счетчики «встретили к себе легкомысленное и насмешливое отношение». Распространялись слухи, что перепись имеет своей целью переселение людей: «В какой-то Арабии умерло много людей, а поэтому туда хотят переселить молодых бездетных вдов и выдавать замуж за арабов...» У счетчиков спрашивали: «Хотя и в отдаленном будущем высшее правительство не найдет ли возможным каким-либо образом увеличить количество земельных наделов, так как малоземелье в данной местности, скудость почвы, окружающие болота и отсутствие лесов лишают население возможности безбедного существования...»

«Не раз на вопрос об имени и отчестве жены мужики отзывались незнанием: «Буду я величать ее: баба, так и есть, и нет ей больше названия». Велись разговоры о том, что «баб завеличали, честь им пришла, по отчеству величают». Бабы же с удовольствием отвечали, что, если бы не перепись, не слышали бы они этой чести никогда...»

В некоторых местах Пошехонского уезда больше половины изб было курных. Плохо приходилось счетчику, по-

павшему в такую избу утром, когда топится печь: дым расстилался по комнате, ел глаза. Заведующий участком докладывал, что счетчики угорали в первых же таких избах и дальше «продолжать перепись делалось невыслымым»...

Такова обстановка, в которой работали счетчики во время переписи 1897 г.

Нет ничего общего между старым Пошехоньем и нынешним. Этот край, получивший свое название от Шехони — древнего наименования реки Шексны, — имел печальную славу дикого, глухого угла. Щедрин в своей «Истории одного города» имел в виду Пошехонье и пошехонцев, когда говорил, что они «под дождем онучи сушили, на сосну Москву смотреть лазали, Волгу толокном месили, солнышко мешками ловили, коров на крышах пасли, собаку за волка убили, свинью за бобра купили» и т. п.

Эти времена давно миновали.

Советское Пошехонье ничем не отличается от любого советского района. Теперь житель маленького города, оторванного от железной дороги и бывшего олицетворением дикости и заброшенности провинциальной России, выбираясь в большой город, уже больше не стыдится признаться, что он пошехонец. В этом маленьком городе, имевшем во время переписи 1897 г. 4.036 жителей, не было ни одного сколько-нибудь крупного предприятия. А сейчас имеется большой механизированный масло-сыр-завод, один из лучших в СССР. Он выработывает лучшие сорта сливочного масла, десятки сортов сыров. Сюда приезжают на практику из Москвы студенты и аспиранты. В г. Пошехонье-Володарске имеется также льнозавод, промкомбинат и машино-тракторная станция. Кроме нескольких низших и средних школ, в городе имеется рабфак, педагогический и льноводческий техникумы.

Обходя дома, переписывая жителей города, не чувствуешь никакой разницы между пошехонцами и прочими гражданами нашей великой и необъятной страны. Это толковые, грамотные, культурные люди, занятые полезной общественной деятельностью, любящие свое дело,

независимо от того — большое оно или малое.

Мы, счетчики, строго соблюдаем установленную Сталинской Конституцией неприкосновенность жилища. Счетчик не имеет права войти в дом без разрешения хозяина. На стук в дверь или на лай собаки хозяин выходит на крыльцо и, узнав, в чем дело, радушно приглашает счетчика в дом. Хозяин прекрасно осведомлен о переписи, — как рабочий МТС он присутствовал на собрании, где разъяснялись ее задачи. Хозяин, его жена, его сын видели, наконец, большие красочные плакаты о переписи, вывешенные на базарной площади.

— Наконец-то, пришли, — говорит хозяин счетчику. — Давно ждем, все сидим дома, чтобы вы всех нас застали.

В горнице, за столом, покрытым чистой скатертью, по-праздничному усаживается вся семья. Красивая, дородная хозяйка сидит в новом, негнущемся платье. Счетчика усаживают у окна, выходящего в сад. В доме пахнет кислым тестом и дымом, в печи громко трещат поленья.

Счетчик заходит на несколько минут в чужой дом, к чужому очагу, но он чувствует себя так, словно пришел к старым друзьям...

Сын-школьник с ликующим, всезнающим видом следит за каждым движением счетчика. Он деловито и серьезно говорит отцу:

— Ты не торопись. Прежде подумай хорошенько. Ответы надо давать точные...

Глава семьи отвечает на вопросы без запинки. Но он долго не может ответить на вопрос о религии. Счетчик деликатно молчит. Наконец, хозяин говорит:

— Да, конечно же, неверующий. Все мое семейство неверующее—и я тоже...

Когда счетчик, наклоняя голову, выходит через низкую дверь, — к нему доносится торжествующий голос хозяйского сына:

— Ну, смотри, тятя, раз назвался неверующим, — теперь чтобы я от тебя ничего о боге не слышал...

Вопрос о религии внес в некоторых домах, особенно среди стариков, много пересудов. Вот дочь-комсомолка в присутствии матери заявляет счетчику о себе, как о неверующей. Старуха начинает громко плакать от страха. В другом случае молодая работница льнозавода, когда ей был задан вопрос о религии, смущенно посмотрела на мать и, потупив взор, ответила, что она верующая. Но через несколько минут, когда мать вышла из комнаты, девушка, подмигнув, шепнула счетчику:

— Пиши меня неверующей, — при матери неудобно было говорить!

В некоторых домах счетчика заставляют выпить стакан чая, расспрашивают, как будут подсчитываться переписные листы, когда будут объявлены итоги переписи, и т. д. Несколько стариков рассказывают нам, что они впервые услышали о переписи не на собраниях, а от странников и монашек. Несколько дней тому назад через город по Вологодскому тракту прошел какой-то «странник», не особо старый, одет бедно, котомочка за спиной, в лаптях. Он заходил во дворы, просил милостыню, потом объявлял: «Скоро будет перепись, она означает конец света, поэтому записывайтесь верующими». Ходили по городу также две монашки. Собирая милостыню, они распускали слухи о том, что если все во время переписи заявят себя неверующими, то советская власть насильно закроет церкви.

На эту клевету пошехонцы отвечали тем, что гнали монашек втришеи со двора.

Рассказывают об этом счетчику сейчас с улыбкой, и только кое-кто из стариков да старух поддался на эту удочку.

И счетчику приходится просиживать у такой старушки или старика целых полчаса, объясняя задачи переписи и ее громадное значение для социалистического строительства.

Счетчик должен обладать известным тактом и терпением для того, чтобы выслушать каждого переписываемого. Иногда дело доходит до курьезов. Так было с одним стариком, который запи-

сал себя неверующим и потребовал, чтобы в переписной лист было включено также и все его (довольно-таки путаное) мировоззрение...

В моем участке, охватывающем три улицы, живут два нетрудящихся. Женщина, живущая на доходы от сдачи в наем квартир своего двухэтажного дома. В прошлом она была женой турка, занимавшегося торговлей и ныне возвратившегося в Турцию. В Пошехонье, как это ни покажется странным, живет несколько турок. Попали они сюда во время империалистической войны в качестве пленных, некоторые из них женились на русских и застряли здесь навсегда.

Второй нетрудящийся, зарегистрированный нами, — бывший богатый купец. Высокий, худой старик живет в маленькой бане, торгует на базаре случайными вещами, летом продает «мухоморы»... Ответы счетчику он дает, обдумывая каждую фразу, словно подводит итог всей своей жизни.

В его глазах блестит бессильная злоба. С ней он и уйдет скоро в могилу, этот дряхлый могиқан старого мира...

В одном из домов, против обыкновения, нас встречают молчаливо, сдержанно и подозрительно. Хозяин отвечает на вопросы быстро, точно, но, когда дело доходит до вопроса о занятии, мрачно отвечает:

— Пишите меня безработным! Я уже месяц ничего не делаю. Вы обязаны записать меня безработным!

Без особого труда выясняем подлинное лицо этого «безработного». Это растратчик. Везде, где он ни работал, его выгоняли и предавали суду за растрату государственных средств. В конце концов ему перестали доверять. Пользуясь мягкостью местных организаций, этот преступник не только остается безнаказанным, но и претендует на новое «доходное» местечко. Работать на одном из местных заводов рядовым рабочим он отказывается и потому сейчас, во время переписи, демонстративно

пытается зарегистрироваться безработным...

В нескольких домах я застаю студентов и студенток, прибывших на зимние каникулы из Ленинграда, Москвы, Рыбинска. Этот молодой, жизнерадостный, шумный народ бойко отвечает на вопросы счетчика, провожает его до самой калитки, приглашая вечерком обязательно зайти «на чай, танцы и варенье». На окраине города, в одной из комнаток почерневшего от старости бревчатого дома регистрирую пошехонца с высшим образованием. Это молодая женщина-врач. Она родом из Гусь-Хрустального, дочь рабочего. Ее маленькая комната сверкает чистотой, на полке тесно стоят книги, тихо верещит радио.

Эта женщина работает с увлечением, много читает, не имеет понятия о скуке.

Пошехонцы гордятся своим знаменитым земляком — маршалом Блюхером. В общежитии студентов рабфака нам с гордостью показывают на висящий на стене портрет маршала Блюхера и завяляют:

— Скоро поедет на Дальний Восток, к земляку служить!

Портреты В. К. Блюхера мы видали также во многих пошехонских домах.

Вечером 3 января счетчики закончили предварительное заполнение переписных листов. Освободившиеся работники направляются на помощь сельским счетчикам. Меня послали на 3-й контрольный участок, охватывающий 21 деревню. Все эти небольшие (по 5—6 изб) селения расположены на том самом Вологодском тракте, по которому прошли, распространяя антисоветские слухи, какие-то «странники». Местная учительница тов. Белкова, контролер-инструктор участка, рассказывает, как много пришлось ей объяснять затем старикам о вздорности слуха, пущенного «странниками».

В ряде деревень еще до появления «странников» были проведены собрания колхозников, посвященные переписи. Однако немало колхозников, из-за раз-

бросанности селений, на этих собраниях не присутствовали. Обойти же каждую деревню, как это догадались сделать церковники, и заняться устной агитацией никто не догадался.

Счетчиками на селе работают учителя и счетоводы колхозов. Все это местные, хорошо известные люди, которые, как могли, отвечали колхозникам на возникавшие вопросы. Однако проинструктированы они плохо, кое-кто из них наделал ошибок, которые мы исправляем.

Пошехонская деревня 1937 года не имеет понятия о курных избах. Кое-где они сохранились лишь как воспоминания о прошлом, в них не живут больше. От прежней анекдотической дикости местного крестьянина, живущего в лесной тиши, ничего не осталось.

Мы сидим с учительницей целый вечер в сельсовете, подсчитывая листы. В 21 селении живет 823 человека. Из них грамотных — 537 чел. Неграмотными оказались почти исключительно старики. Ввиду того, что счетчики в ряде случаев зачисляли в неграмотные даже тех, кто может читать, — грамотных в действительности будет больше.

Религиозных — 130 человек.

Единоличников — 3.

Нетрудящихся — 1.

Всеобщая перепись населения находит в нашей необъятной стране каждого человека с его судьбой. На этом единственном нетрудящемся нужно остановиться потому, что в его переписном листе, в графе «род занятий», написано «нищий». В нашей социалистической стране, где нет безработицы, профессиональный нищий не может считаться трудящимся. Но когда мы на месте познакомились с этим удивительным «нетрудящимся» нищим, то он оказался... 60-летней глухонемой, брошенной родственниками на произвол судьбы несчастной беспризорной женщиной, вынужденной добывать себе средства к существованию нищенством.

Вот так нетрудящийся, нечего сказать!

И должно было случиться так, что только сейчас, во время переписи, судь-

ба этой несчастной женщины-инвалида стала предметом внимания всей округи. Выясняется, что племянник этой нищенки работает секретарем райисполкома. Сейчас сельсовет требует от него либо оказывать помощь родственнице, либо добиться для нее социального обеспечения.

Среди неграмотных обнаружено двое детей-переростков и одна женщина 23 лет. Оказывается, они живут в таком районе, где из-за отсутствия моста через реку детям нельзя посещать школы, взрослым — ликбеза. Перед районными организациями поставлен сейчас вопрос о постройке мостков через реку.

... Вечерами счетчики собираются в райисполкоме, делятся впечатлениями дня. Непрерывно звонит телефон: из сельсоветов сообщают о ходе заполнения переписных листов. Вот сообщают сенсацию: близ деревни Тарханки есть хутор. В нем несколько заколоченных изб. Жители его несколько лет назад переселились в Ленинград, где работают на заводах. В сельсовете этот хутор числится необитаемым. Каково же было удивление добравшегося туда счетчика, когда он обнаружил там две семьи, поселившиеся в чужих домах, нигде не зарегистрированные, никому не известные...

Завтра наступит, как говорят у нас, счетчиков, критический день переписи. Пылают керосиновые лампы, в комнате слышен тихий шелест — снова и снова перечитываются переписные листы. Разглядывая каждый из них, счетчик вспоминает дом, который он посетил, семью, коротким гостем которой он был. Вот лист агронома... С каким азартом рассказывал он о прелестях охоты на уток. Задетый за живое упоминанием о прошлой «славе» его родного города, он перечислил счетчику пошехонцев, «украшающих советскую землю». Кроме маршала тов. Блюхера тут и инженер-дирижаблестроитель Александр Соколов, и знатный командир Черноморского флота Быстров, и бывший батрак,

ныне крупный ленинградский историк Жибарев, и бывший сторож пошехонской почты, ныне инженер Всесоюзной центральной радиолaborатории Дозоров, и командир эскадрильи Яковлев, и художник Малышев, и многие другие... Словно в кинематографической ленте, проходят перед счетчиком всесоюзной переписи судьбы обитателей маленького советского города, заброшенного в густых лесах, города, послужившего в свое время прототипом для творений великого русского сатирика Салтыкова-Щедрина.

Из наших листов, из целой горки переписных листов, составителю когда-нибудь книга, полная цифр...

Мы сидим в маленькой комнате, работаем при свете керосиновой лампы, делимся мыслями. Кто-то вспоминает старых земских статистиков, Глеба Успенского, который написал «Четверть лошади» и «Живой человеческий ноль» — картины человеческого горя, взятые им из статистической таблицы, где было показано «ноль» отцов, «ноль» матерей и 70 живых детей, «не имеющих ни отцов, ни матерей».

Совсем другие картины нарисует художник, взяв в руки книгу, полную цифр 1937 года...

Говорят, что Щедрин в своей «Пошехонской старине» словно списал семью пошехонских помещиков-крепостников Лихачевых. Пошехонский помещик Лихачев совсем недавно, незадолго до Октябрьской революции, запрягал летом шестерку рысаков в сани и носился с гиком и свистом в гости к соседям помещикам. Вплоть до самого 1917 года Лихачевы славились на всю округу своими дикими выходками.

В прошлом году в местном архиве был найден договор, заключенный петербургским генерал-губернатором с некоей французской актрисой, в которую влюбился сын пошехонского Лихачева, молодой ротмистр. Согласно договора актриса получала 6 тысяч рублей за то, что оставит в покое ротмистра и немедленно покинет пределы России. 3 тысячи рублей она получила при подписании договора, а остальные 3 тысячи —

на станции Вержболово, пересекая границу...

6 января, задолго до рассвета, контролер-инструктор тов. Всесвятский стучит в окно, будя счетчика. Этот последний день нашей работы, когда мы обходим дома, проверяя уже заполненные переписные листы, оказывается самым легким днем для счетчиков.

В полдень все счетчики уже закончили обход домов.

Только в Доме колхозника мы неожиданно наталкиваемся на не охваченных еще переписью 65 колхозников —

курсантов местных курсов трактористов.

В 2 часа дня контролеры усаживают себя со своими счетчиками за последнюю проверку переписных листов. Завтра — контрольный обход. Но моя соседка, пошехонская учительница, работавшая счетчицей, уже подвела итог. Она подводит меня к окну.

— Видите, — говорит она, — за рекой — Шишуловская слобода. Я родилась там. Сколько в ней было когда-то горя, темноты и пьянства! Сегодня я переписала мою слободу: в ней 891 чел. населения. Из них рабочих 469, нетрудящихся нет, со средним образованием 45 чел., с высшим — 6...

Г. Пошехонье-Володарск.
Январь 1937 г.

За рубежом

МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСПАНИЮ

Акад. Н. И. Вавилов

В общем плане исследований мирового земледелия и культурных растений для нас представляла исключительный интерес Испания, как одна из крупнейших средиземноморских стран, где земледелие существует тысячелетия.

В 1927 году, закончив экспедицию в Восточную и Северную Африку и в страны Восточного Средиземноморья, мы направились в июне из Генуи в Барселону. Это был период диктатуры Примо де-Ривера. Уже при самом въезде в Испанию чувствовалась напряженная атмосфера генеральской диктатуры: в поездах проверялись документы; паспорта должны были предъявляться не только на границе, но и при путешествии по стране. Красный советский паспорт с серпом и молотом действовал возбуждающе на джентльменов в штатском, проверявших документы. Повидимому, беспокойство их возрастало по мере нашего проникновения вглубь Испании.

Со стороны научных кругов мы встретили самый радушный прием, в особенности в лице директора Музея естественной истории известного энтомолога проф. Боливар и его сына, а также ботаника проф. Креспи. В деревнях, при поездках на автомобилях и на лошадях, мы постоянно встречали исключительно дружелюбное отношение, любопытство и гостеприимство, свойственное испанцам.

Наша задача была ознакомиться со

всеми земледельческими районами Испании, пересечь ее во всех направлениях и собрать возможно больший семенной материал по полевым и овощным культурам. Мадрид мы избрали отправной точкой, откуда направлялись по радиусам, по порядку времени созревания хлебов, начав с юго-востока и закончив севером — Галисией, Астурией и Басконией.

Выданная нам по рекомендации наших друзей виза оказалась действительной только на месяц. По мере путешествия становилась очевидной невозможность охватить все разнообразие земледельческих районов, даже выборочно, за такой короткий срок. Наши друзья Боливар и Креспи советовали хлопотать в префектуре города Мадрида о продлении визы еще на месяц.

В один из жарких июньских дней мы были приглашены к префекту — начальнику полиции — для объяснений. Старое здание префектуры, с узкими окнами, закрытыми решеткой, сохранилось, вероятно, от времен инквизиции. По узким, полутемным коридорам нас повели в приемную. Сопровождавший нас наш приятель ботаник Креспи шепнул нам, что, повидимому, префект знает русский язык. Через несколько минут мы были приняты вне очереди префектом города Мадрида в мрачной комнате с расписными сводами.

У письменного стола, в штатском сюртуке, сложив по-наполеоновски руки на груди, стоял плотный джентльмен и

декламировал на ломаном русском языке: «Шумел, пылал пожар московский...»

Предупреждение Креспи подготовило несколько меня к неожиданной декламации, на которую я ответил также стихами:

От Севильи до Гренады
В тихом сумраке ночей
Раздаются серенады,
Раздается стук мечей...

Генерал оказался бывшим военным атташе в царской России, пробывшим в нашей стране шесть лет, знающим хорошо Кавказ, Волгу. Цель нашего путешествия мало заинтересовала генерала. Он посоветовал обратить больше внимания на испанское искусство, взяв с нас слово посетить Эскуриал и Толедо.

Виза была незамедлительно продлена на два месяца с заверением, что если русский профессор пожелает пробыть в Испании долее, то никаких препятствий к этому нет, так как префект надеется, что пропагандой он заниматься не будет. В знак установившегося знакомства я получил необыкновенную по величине визитную карточку префекта.

Тем не менее, как оказалось впоследствии, с самого начала моего в'езда в Испанию ко мне были прикреплены два штатских джентльмена, которые сопровождали меня во всех путешествиях, то вдвоем, то сменяя друг друга. Будучи поглощен работой, сбором материалов, отправкой их, я мало замечал своих спутников; они обнаружили только к концу моего путешествия.

Закончив исследования на юге, я направился в середине июля к Леону, имея в виду оттуда начать исследование районов Астурии, Галисии и Басконии. Меня сопровождал проф. Креспи, направлявшийся со своей семьей в горы на летние каникулы. Перед прибытием в горы он подошел ко мне со смущенным видом и заявил, что должен поговорить со мной об одном секретном деле. Секрет состоял в том, что сопровождавшие меня от самой границы джентльмены, убедившись в моих мирных намерениях, просили проф. Креспи вступить со мной в переговоры на предмет заключения соглашения. Джентльмены

заявили, что русский профессор своими быстрыми передвижениями в автомобиле, по железным дорогам и верхом по горам довел их до изнеможения, поэтому они, беспокоясь о своем здоровье, предлагают ему следующий компромисс: профессор должен одновременно сообщать им направление и пункты своего путешествия, так как официально они должны его сопровождать; в горах же, в особенности при езде верхом, они не будут следовать за ним, а будут поджидать его в определенном месте в гостиницах, в городах. За это они обязуются всячески помогать в путешествии, заказывать билеты, номера в гостиницах, отправлять посылки.

Обдумав положение дел, я решил заключить сделку. Мы познакомились. Я увидел давно примелькавшиеся две физиономии в котелках и в штатских костюмах. Первые дни после заключения договора прошли сравнительно благополучно. Мне пришлось заниматься, главным образом, в горных районах, а джентльмены, очевидно, с большим удовольствием проводили время в городах, в гостиницах. В дальнейшем же договор пришлось нарушить в виду постоянного намерения джентльменов заказывать номера преимущественно в дорогих гостиницах, в центре городов и вообще стремившихся пожить получше.

Мадрид

Я решил пробыть дней десять в Мадриде для того, чтобы при помощи министерств, опытных станций и профессоров собрать возможно больше сведений о сельском хозяйстве Испании и в то же время познакомиться с испанской наукой и изучить центральную Испанию.

По географическому положению Мадрид находится в геометрическом центре Испании, вне связи с экономикой, среди наименее производительной части страны. Возникши в XVI веке, он имеет стратегическое значение. Вся железнодорожная сеть подчинена Мадридскому узлу.

Мадрид, несомненно, — один из лучших городов мира. Широкие авеню, тя-

нущиеся на километры, обсаженные платанами, пересекаются широкими площадями с прекрасными памятниками; большие здания на центральных улицах останавливают внимание своей разнообразной архитектурой; город имеет много зелени, скверов, большое число автомобилей.

Мадрид расположен на высоте 635 м. над уровнем моря, у подножия Сьерра-да-Гвадаррамы. Стоит выехать на 20—30 км. за город к северу, как попадаешь в полупустынные горные районы на высоту 1700 м. Осенью и в зимнее время с гор дуют резкие, пронзительные ветры, вызывающие, как нигде, частые заболевания воспалением легких. Знаменитая «испанка» — грипп — представляет наиболее обычное явление именно в Мадриде.

Все крупнейшие научные учреждения Испании находятся главным образом в Мадриде, где сосредоточена также и агрономическая наука. Здесь находится прекрасный Музей естественной истории, исключительно богатый зоологическими и энтомологическими коллекциями. По изумительной монтировке коллекций его можно сравнить только с музеем Филда в Чикаго. Мастерская по приготовлению чучел при музее является образцом художественной монтировки. При музее имеется большой ботанический гербарий, возглавлявшийся в то время проф. Фрагозо. Музей связан с обществом натуралистов и выпускает ряд превосходных изданий, в том числе международный журнал по энтомологии.

Ботанический сад Мадрида славен своей историей. Здесь хранятся гербарии первых экспедиций в Перу, Чили, Мексику и на Филиппины. Директорами его в начале XIX века были знаменитые Каванильес и Ла Гаска, тот самый Ла Гаска, который эмигрировал в Англию и там научил полковника Ле Кутера селекции пшеницы. Он показал, как различать на поле отдельные наследственные формы; от него ведет начало индивидуальный отбор, т.е. первый этап мировой научной селекции.

Мне пришлось в Ботаническом саду подробно изучать гербарий культурных

злаков, собранный Ла Гаска в 1818 г., с его личными рисунками, свидетельствующими о глубоких знаниях этого выдающегося ботаника начала XIX века. Это — лучший из старых гербариев культурных растений; по нему можно было бы в значительной мере восстановить состав культурной растительности Испании начала XIX века. По знанию культурных растений Испания стояла в то время впереди других стран.

Не могу не вспомнить благородного поступка семьи Ла Гаска и Каванильес, к которой я обратился с просьбой помочь мне приобрести редкую книгу, изданную семьей великих ботаников Испании. В ответ на мое обращение я получил трогательное письмо, в котором сообщалось, что семья имеет всего лишь один экземпляр этой книги, но, обсудив мою просьбу на семейном совете, решила, что, так как книга эта более нужна ботаникам, передать ее русскому профессору, с пожеланием процветания советской науке.

Одной из самых больших достопримечательностей Мадрида является знаменитый музей Прадо — богатейшая сокровищница искусства, не уступающая Лувру, Дрездену и Эрмитажу, наполненная тысячами картин лучших мастеров Испании — Веласкеза, Мурильо, Гойа и др. Здесь находится изумительная по реализму и близкая к современности картина Гойа «Расстрел французами испанских патриотов 2-го мая», во времена нашествия Наполеона. Здесь же — «Ауто-да-фе» Гойа, изображающая сцену сожжения еретиков в Вальядолиде в эпоху инквизиции. Здесь же «Прикованный Прометей» Тициана.

Можно без конца смотреть этот музей, воплотивший гений испанского народа, высоту мирового искусства.

Мадрид изобилует прекрасными памятниками. Вот — памятник Сервантесу, с прекрасными барельефами, один из которых изображает сцену отъезда Дон-Кихота, отправляющегося на своем Росинанте искать подвигов; другой барельеф представляет поединок Дон-Кихота со львом в клетке. Вот — огромный памятник Христофору Колумбу. Колумб — национальный герой, и памятни-

ки ему можно видеть в каждом городе Испании.

Вблизи Мадрида находится опытная сельскохозяйственная станция, превосходная центральная станция по виноградарству, и большой учебный сельскохозяйственный институт.

На северо-запад от Мадрида расположен мрачный Эскуриал, построенный Филиппом II, с именем которого связана жуткая история испанской инквизиции, убийство Дон-Карлоса и королевы Елизаветы. Построенный из серого гранита в отрогах Сиерра да Гвадаррамы, Эскуриал сливается с серовато-голубоватой далью пустынного пейзажа скалистых гор. Трудно представить себе более мрачное место. Среди безжизненной каменистой пустыни, окруженной зубьями Гвадаррамы, Эскуриал напоминает громадную казарму, украшенную башнями. Он содержит в себе дворцовые апартаменты, монастырь, церкви и огромную библиотеку. Эскуриал — усыпальница испанских королей — Карлов, Альфонсов, Фердинандов, Филиппов, бесконечной вереницей сменявших долгие века друг друга.

К югу от Мадрида, на берегу реки Таго, прилепившись к горам, расположен один из древнейших городов Испании — Толедо, своего рода музей, куда сходились и откуда расходились римляне, финикийцы, вестготы, сменяя друг друга. Во времена вестготов Толедо был столицей Испании. Здесь находится знаменитый готический собор, по своему архитектурному значению приравняемый к соборам Кельна, Милана и Рима. Город отличается узкими улицами, дворцами, мостами и воротами. Здесь можно изучать все стили архитектуры, наслоение культур. Это Эльдорадо для археологов и искусствоведов. В прошлом Толедо играл роль серьезной крепости.

Среди различных отделов науки в Испании одно из первых мест занимает география, а активным географическим обществом. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что по обширной национальной географической литературе Испании стоит на одном из первых мест. Ни в одной стране мне не приходилось

встречать такого большого количества руководств, книг по географии, включая географическую энциклопедию. Картография поставлена довольно высоко в Испании, о чем можно судить по хорошим детальным картам всей Испании и отдельных провинций. Отмечу, что и старая с.-х. энциклопедия Испании (1888 г.) является одной из лучших в мире. Сравнительно высоко стоят естественные науки, геология и археология. Ряд международных конгрессов по химии, геологии, археологии и сельскому хозяйству имел место в Испании. В общем все же приходится отметить значительную замкнутость Испании в науке: научная литература в Испании издается преимущественно на испанском языке; редко встречаешь, даже среди профессоров, лиц, говорящих на других языках, в отличие от соседней Португалии, где можно обойтись без знания португальского языка, владея французским или английским языками.

Мадрид славится своими театрами, стадионом. В быте Испании сохранилось много пережитков старого. Это отображают зрелища Испании.

В деревнях и маленьких городках, даже под Мадридом, где бой быков является слишком дорогим зрелищем, его заменяют петушиные бои. Разводится специальная порода бойцовых петухов, с сильно развитыми мускулами, с высокими ногами и могучими шпорами. Для боя подбирают обычно петухов одинакового веса. Зрители располагаются вокруг барьера, в банк бросают пезеты за того или иного петуха, и начинается бой, который продолжается довольно долго — минут 40, пока один из бойцов не свалит и разобьет в кровь противника под аплодисменты выигравших.

Бой быков мне пришлось видеть в Мадриде, а потом в Мексике и Перу. Трафарет этих боев выдержан почти без изменений веками и поддерживается в странах Латинской Америки. Отбирается особая порода быков, обычно черных, очень сильных, с хорошо развитой мускулатурой, напоминающих дикого тура. Порода эта отличается от обычного рогатого скота, разводимого в Испании. Вся процедура боя быков

обставлена очень торжественно, с выходом вначале на арену под звуки марша всех участвующих — тореадоров, пикадоров, матадоров, в пестрых национальных костюмах, задрапированных плащами. В момент выпуска тура на арену, окруженную забором, матадор втыкает в шею быку крючок с острой иглой на конце и с привязанным к нему пучком лент, что раздражает быка, причиняя ему острую боль. Затем на сцену появляются пикадоры на лошадях с завязанными глазами, держась опасно около забора. Пикадоры вооружены острыми пиками, которыми также только раздражают быков.

Самыми жалкими во всей этой процедуре являются пикадоры, выезжающие на тощих лошадях, которым в большинстве суждено быть заколотыми быками и назначение которых — ослабить силы быка перед боем с тореадором.

Убитых быками лошадей, а нередко и пострадавших серьезно пикадоров уносят со сцены. После этого появляются чулосы, с бандерильями — палками, оканчивающимися острыми крючками, как удочки, и обмотанными лентами.

Чулосы ловко втыкают в шею быка бандерильи. Наконец, на арене появляются тореадоры в традиционных золоченых костюмах, в огненно-красных плащах, с прической в виде косички и со шпагой в руках. Дело кончается убийством быка ловким ударом шпаги в голову. Обычно за сеанс проходит 5—6 быков с разными тореадорами. Огромный мадридский стадион (торос) вмещает более 30 тысяч зрителей. Каждый город имеет также свои торосы.

Еженедельное убийство по всей стране на боях быков нескольких сот лошадей, естественно, истребило хорошую породу; остались только жалкие клячи. В хозяйстве Испании вместо лошадей широко используются мулы.

Сельское хозяйство Испании

Из 50,5 млн. га территории Испании под земледелием занято около 20,5 млн. Из них около 5 млн. отводится под пар. Таким образом, общая ежегодная пло-

щадь культур, включая сады и огороды, определяется в 15,5 млн. га, т.е. равняется $\frac{1}{9}$ возделываемой площади в нашей стране. В то время как в СССР под земледелие в настоящее время используется, включая пар, не более 9 проц. суши, в Испании под культуры, включая пар, используется до 40 проц. суши. 1,5 млн. га в Испании занято орошаемым земледелием. Орошаемые земли сосредоточены главным образом в Мурсии, Валенсии, Гранаде и Арагоне.

По естественно-историческим условиям Испания представляет собою страну разительных контрастов. Флора Испании чрезвычайно разнообразна, определяясь числом около 6 тыс. видов, из которых 25 проц. эндемичных, т.е. свойственных только Испании видов. По подсчету Рикли, более 50 проц. видов дикой флоры являются общими для Андалузии и Французской Африки; даже малоизрезанная южная береговая полоса Испании напоминает Африку. Особенно напоминают Африку по ландшафту значительные заросли ковыля — альфы, гармалы и дикой карликовой пальмы. Земледелие здесь в значительной мере поливное. Даже африканская финиковая пальма прекрасно себя чувствует в южной Испании и плодоносит.

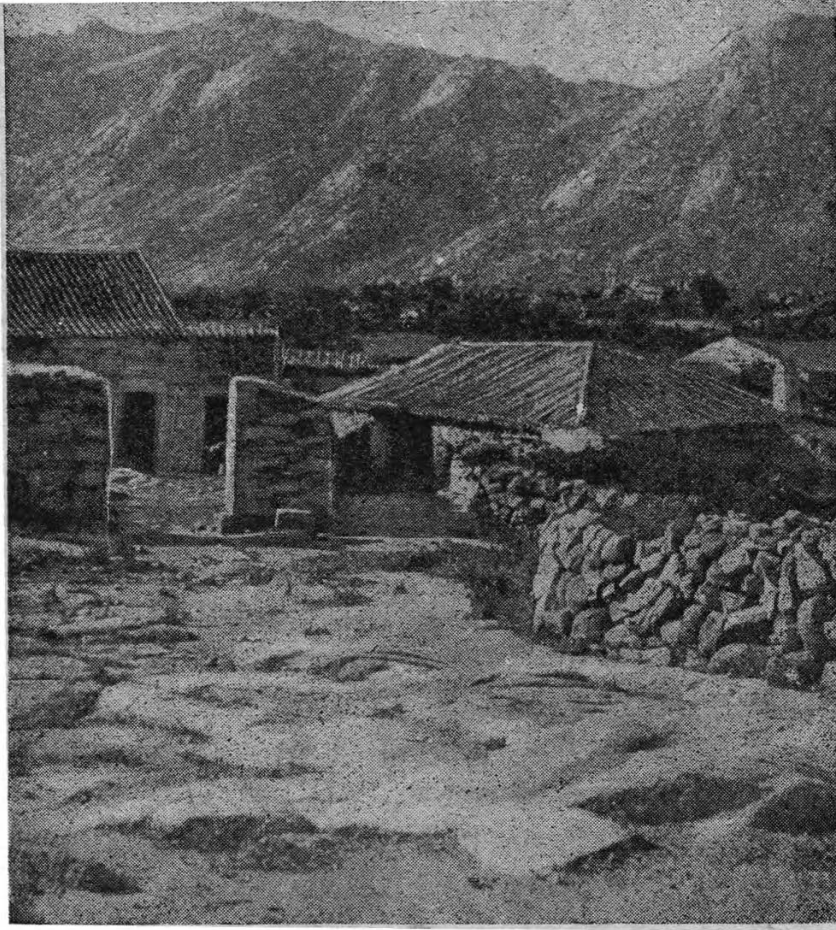
Центральная Испания, занятая Старой и Новой Кастилией, разделяемыми Сиерра да Гвадаррамой, характеризуется также сравнительно засушливым климатом, особенно по направлению к северу к Вальядолиду. Центральные районы преимущественно используются для возделывания хлебов, в то время как южная Андалузия и северо-восток, т.е. Каталония, являются средоточием интенсивных культур — садов, виноградников, оливковых и апельсиновых рощ, интенсивной овощной и рисовой культуры.

Север, ограниченный Кантабрийскими горами и Пиренеями, в отличие от всей внутренней и южной Испании отличается большим количеством осадков. Это — преимущественно область животноводства и пастбищных угодий. Здесь сосредоточена широкая культура каштана.

Характерным для всей Испании, как и для всего Средиземноморья, является

исключительная роль плодовых деревьев, под которыми занята огромная площадь — около 4 млн. га. Многие районы восточной и южной Испании представляют собой как бы сплошной сад; более 2 млн. га в Испании занято под маслиновыми рощами, 1,5 млн. — под виноградниками и около 400 тыс.

вое место в Европе. В южных районах, около Гранады, созревает финиковая пальма, сахарный тростник, бананы, лимоны, прекрасно идут многие субтропические декоративные растения, как перувианское перечное дерево, южноамериканская бугенвиллия, эвкалипты, египетский хлопчатник. В центральной



Деревня в горах Сьерра да Гвадаррамы.

га — под различными плодовыми. Другими словами, почти 30 проц. всей культурной площади Испании занято плодовыми культурами. Под хлебными злаками и зерновыми бобовыми занято около 8 млн. га, из которых более половины приходится на пшеницу.

По разнообразию состава культур Испании должна быть поставлена на пер-

Испании возделываются оригинальные, неизвестные в других странах мира, кормовые культуры, одноцветковые чечевицы и так называемая французская чечевица. На севере возделываются оригинальные песчаные овсы, кормовое растение улекс, оригинальный вид пшеницы — настоящая полба.

По нашим подсчетам, более сотни

различных растений, не считая декоративных, возделываются в Испании в широкой культуре.

Так же, как и в других странах Средиземноморья, помимо исключительного



Романский плуг в деревнях в горах Сиерра да Гвадаррамы (к северу от Мадрида).

значения плодоводства, большую роль в севообороте Испании играют бобовые культуры. Не менее 1 млн. га занято под зерновыми бобовыми, как конские бобы, нут, кормовая чечевица,

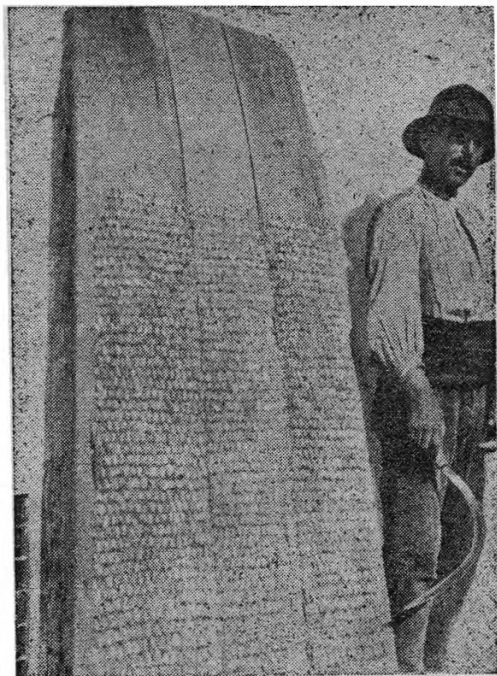
Южную Испанию можно назвать страной садов. Огромные площади заняты под миндалем, инжиром, гранатами, персиками. По производству апельсинов в Европе Испания стоит на первом месте. Площадь под апельсиновыми рощами превышает 60 тыс. га.

Широкое развитие ирригации в Испании исторически связывается с приходом мавров и арабов, использовавших в первую очередь, тающие снега Сиерра-Невады.

Засушливый климат большей части Испании определяет невысокие средние урожаи, значительно уступающие дру-

гим странам Западной Европы. Средний урожай пшеницы равнялся за последние годы 8—9 центнерам с га. Таковы же приблизительно урожаи ячменя и ржи. Урожай кукурузы не превышает в среднем 11 центнеров с га. Урожай на поливных землях в среднем в два раза выше. Характерным для Испании, как континентальной страны, являются значительные колебания урожая по отдельным годам. Недороды, обуславливаемые засухами, весьма обычны в Испании и имеют особенно серьезное значение в жизни населения страны, определяемого в настоящее время в 25 млн. человек.

При условии орошения и благоприятного климата в южных и восточных районах земледельческая культура здесь является одной из наиболее интенсив-



Квевка. Молотважные доски с вбитыми крестовинами.

ных в мире. Урожай риса в районе Валенсии достигает в среднем 65 центнеров с га, являясь мировым рекордом. Урожай знаменитого валенсийского лука достигает здесь также рекордной высоты—

до 4—5 тыс. пудов с гектара, при среднем довольно обычном урожае в 2 тыс. пудов с гектара.

Испания до недавних лет была преимущественно аграрной страной. В на-



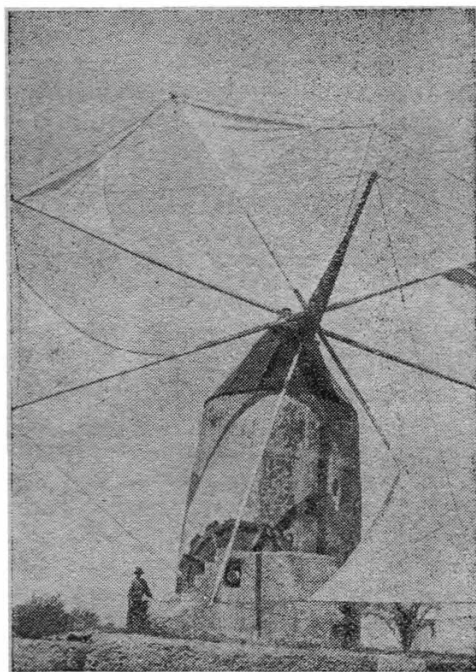
Обмолот хлеба цепами в северной Галисии.

циональном доходе сельское хозяйство в Испании занимает первое место. Более половины населения связано с сельским хозяйством.

В распределении земель до демократической революции сохранялись архаические формы, господство латифундий. 65 проц. возделываемой земельной площади еще по данным 1934 г. находилась в руках помещиков. Значительной территорией владела католическая церковь. Характерным для Испании является множество карликовых хозяйств наряду с крупными владениями. В Старой Кастилии имеются тысячи земельных участков размером менее 0,1 га. Общее число хозяйств в стране определяется в 6,5 млн., из коих, по данным статистических обследований, около 5 млн. имели не более 1 га, т.-е. относятся к бедняцким хозяйствам. Эти величины яв-

ляются особенно показательными, учитывая низкий средний урожай. Кроме того, в стране имеется от 2 до 2,5 млн. сельскохозяйственных рабочих. Такое большое количество сельскохозяйственной бедноты объясняется феодальными пережитками. До сих пор имеются такие крупные помещики, как герцог Альба, граф Романьос, которым принадлежат десятки тысяч га. Исключительная поляризация, контрасты в распределении земель — основной факт в понимании судеб современной Испании, в росте революционного движения.

Технический уровень испанского сельского хозяйства в общем невысок, о чем свидетельствует весьма ограниченное применение сельскохозяйственных машин. До сих пор основной фонд земледелия характеризуется примитивами, в лучшем случае, римских времен. Как



Ветряные мельницы в Ла-Манче, на родине Дон-Кихота.

правило, пашут романским плугом, бороздильником, рылящим почву, но необорачивающим орудием; обмолот производят каменным катком или деревянными досками с вбитыми камнями, ино-

гда при помощи цепов и даже самым примитивным прогоном скота по разложенным снопам. До сих пор в центральной Испании можно видеть ветряные мельницы такими, какими они были во

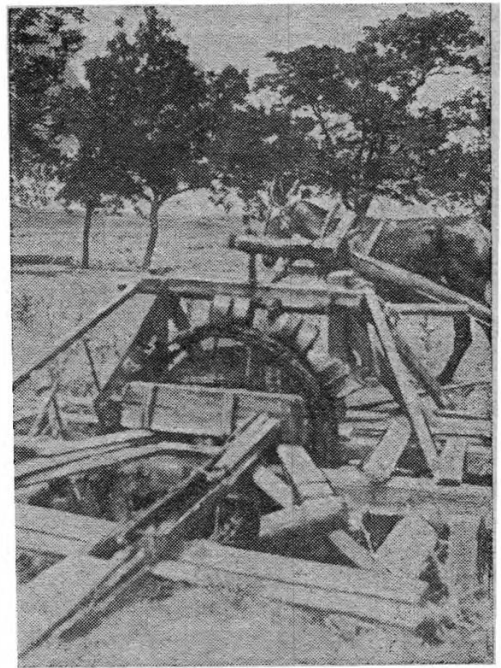


Сиерра да Гвардаррама. Крестьянки, направляющиеся с молоком в город.

времена Сервантеса. Низкая техника испанского сельского хозяйства объясняется прежде всего неликвидированными еще феодальными пережитками, господством латифундий помещиков. Хотя крепостное право было отменено еще в XIV веке, пережитки феодализма сказываются до сих пор в неравномерном распределении земли, в формах землепользования и, главным образом, в господстве аренды. $\frac{2}{3}$ возделываемых крестьянами земель обременены в той или иной мере повинностями в пользу помещиков. Почти половина испанских крестьян является арендаторами, при этом в Испании очень распространена так называемая суб-аренда, т.-е. переаренда земель, доходящая иногда до пятикратности. Благодаря аренде использование земли идет очень экстенсивно. Никто

не заинтересован во вложении средств и большого труда в землю. Чересполосица и огораживание крупных латифундий сохранялись до недавнего времени в полной силе. По официальным данным, состояние деревни в Испании чрезвычайно низкое. Проникновение капитала в сельское хозяйство в последнее десятилетие еще больше усилило процесс дифференциации испанского крестьянства. До мирового экономического кризиса, развернувшегося в особенности в последние годы, ежегодно наблюдалась большая эмиграция населения в Латинскую Америку.

Эти факты крайне существенны для понимания хода современных событий, группировки сил и удельного веса народного фронта. Мы не ошибемся, вероятно, если скажем, что ни в одной европейской стране за последние годы:



Алканте. Оросительный колодец.

не обозначались так резко классовые противоречия в сельском хозяйстве, как в Испании.

При изучении Испании приходится учитывать сложные исторические на-

слоения в этой стране, смену влияния различных культур, народов. Ни одна европейская страна не подвергалась таким частым изменениям, как Испания. Нигде так часто не сменялись цивилизации, как в Испании. Менялись столицы: вместо Эльче, во времена римлян, столицей становится Мерида, во времена вестготов — Толедо; столица арабов — Кордова, столица мавров — Гранада и, наконец, — Мадрид.

В архитектуре старых городов, как Толедо, можно проследить наслоение разнообразных стилей: романского, готического, ренессанс, барокко; с юга начиная с VIII века пришла сильная волна мавританского влияния.

Разнообразие климата, почв, в связи с горным рельефом, влияние различных цивилизаций, разнообразие народностей, заселяющих Пиренейский полуостров, — все это, естественно, отображается на составе растительных культур, на земледелии. Сюда с незапамятных времен привозились семена и растения из различных средиземноморских стран и юго-западной Азии. С открытием Америки сюда хлынула волна американской интродукции: мексиканские кактусы, юкки, агавы, авокадо, различные плодовые Центральной Америки, фасоль, картофель и в особенности кукуруза. Древность культур и интенсивность орошаемого земледелия обусловили исключительное внимание к подбору сортов.

Нашей задачей было прежде всего исследование состава растительных культур, сопоставление их с культурами и сортами других стран. Сопоставление Испании с другими странами Европы, Африки и Азии позволило отчетливо выяснить влияние миграций и позастраиваний и в то же время наличие самостоятельной культуры. В этом отношении Пиренейский полуостров представляет собой одну из интереснейших частей Европы.

Перейдем к последовательному ознакомлению с отдельными крупными областями Испании. Начнем путешествие по Испании.

Центральная Испания

Уже под Мадридом горы поднимаются на большую высоту. Начинается типичная гарига — полупустынная местность с низкой полукустарниковой растительностью, среди которой встречаются редкие кусты крупного песчаного ковыля. По склонам здесь можно видеть типичную маккию — низкие разветвленные колючие кустарники.

Из Мадрида мы начали поездку по центральной Испании. Суровый климат приподнятой центральной Испании мало пригоден для интенсивной культуры, для садоводства и виноградарства. Это преимущественно область культуры хлебных злаков, зерновых бобовых. Сюда входят провинции Мадрид, Толедо, Квенка, Кьюдад Реаль, Альбачете, Качерс к югу от Сиерра да Гвадаррамы и провинции к северо-западу от Гвадаррамы: Саламанка, Цамора, Вальядолид, Валенсия, Бургос и Леон. Старая Кастилия сохранила до сих пор, несмотря на свое центральное положение, множество реликтов прошлого. Ряд полевых культур внутренней Испании является присущим только Испании, очевидно выведенным в самой Испании из состава диких растений. Таковыми, в особенности, являются кормовые зерновые бобовые — одноцветковая и французская чечевица. Обработка полей здесь, как впрочем и по всей Испании, а также и по всему Средиземноморью, производится старым романским плугом.

Поиски реликтов привели нас в Ла-Манчу — на родину Дон-Кихота. Ла-Манча представляет ровную монотонную местность, с бедной флорой. Изредка попадаются одиночные маслины. К своему удивлению, подъезжая к деревням, мы увидели лес ветряных мельниц, подобных тем, с которыми некогда воевал почтенный рыцарь. Они до сих пор представляют характерный ландшафт Ла-Манчи. Более того, здесь до сих пор сохранилась реликтовая культура примитивной пшеницы — однозернянки, когда-то, во времена древней Трои, широко распространенной пшеницы, ныне повсюду вымершей, кроме Испании. Около Квенки, в 60 км. от Ла-Манчи,

под однозернянкой занято 13 тыс. га. Она идет на корм лошадям, свиньям, мулам; хорошо растет на плохих почвах; после однозернянки всегда идет пар. В

вицы; под одной из них — одноцветковой — в Испании занято до 200 тыс. га.

Коренастые избы с маленькими окнами с железными решетками вряд ли из-



Провинция Валенсия. Заросль дикой карликовой пальмы.

деревнях около Квенки и Ла-Манчи до сих пор широко используется плетение изделий из трав. Помимо культуры пшеницы, ячменя, здесь широко возделываются испанские эндемы: кормовые чече-

менились со времен Дон-Кихота. Узкие, обложенные камнем улицы существуют столетия. Домашняя утварь: конические сосуды для оливкового масла, вина, маслин — отображает тысячелетнюю куль-

туру. Она мало чем отличается от миносской культуры на острове Крите, синхроничной древнему Египту.

Чем более мы изучали Испанию, тем более она представлялась нам замечательным историческим музеем, где можно еще проследить различные этапы развития земледельческой культуры, искусства. Каждая провинция Испании,

чающийся от старого испанского кастильского языка, хотя и имеющий общие с ним латинские корни. Столица Каталонии Барселона — самый крупный город Испании, с портом, сильно развитой промышленностью и торговлей. Барселону сравнивают с английским Манчестером, а Каталонию с Ланкастером. Это типичный крупный европейский го-



Валенсия. Уборка лука.

каждый город несет черты оригинальности.

Восточная Испания

Из Мадрида мы направились в прибрежный город Аликанте, откуда начали поездки в Мурсию и в Валенсию. Из Валенсии на автомобиле мы отправились через Альмерию и Малагу в Гранаду.

В отличие от однообразных полей центральной Испании побережье от Валенсии до Малаги представляет собой сплошные рощи маслин, миндаля, виноградников, чередующихся с интенсивно возделываемыми огородами, обширными полями земляного ореха, картофеля.

Северо-восток Испании занят Каталонией, заселенной особым народом, имеющим свой язык, значительно отли-

род; в нем мало чувствуется старая Испания. Он тесно связан торговлей со всеми странами Средиземноморья.

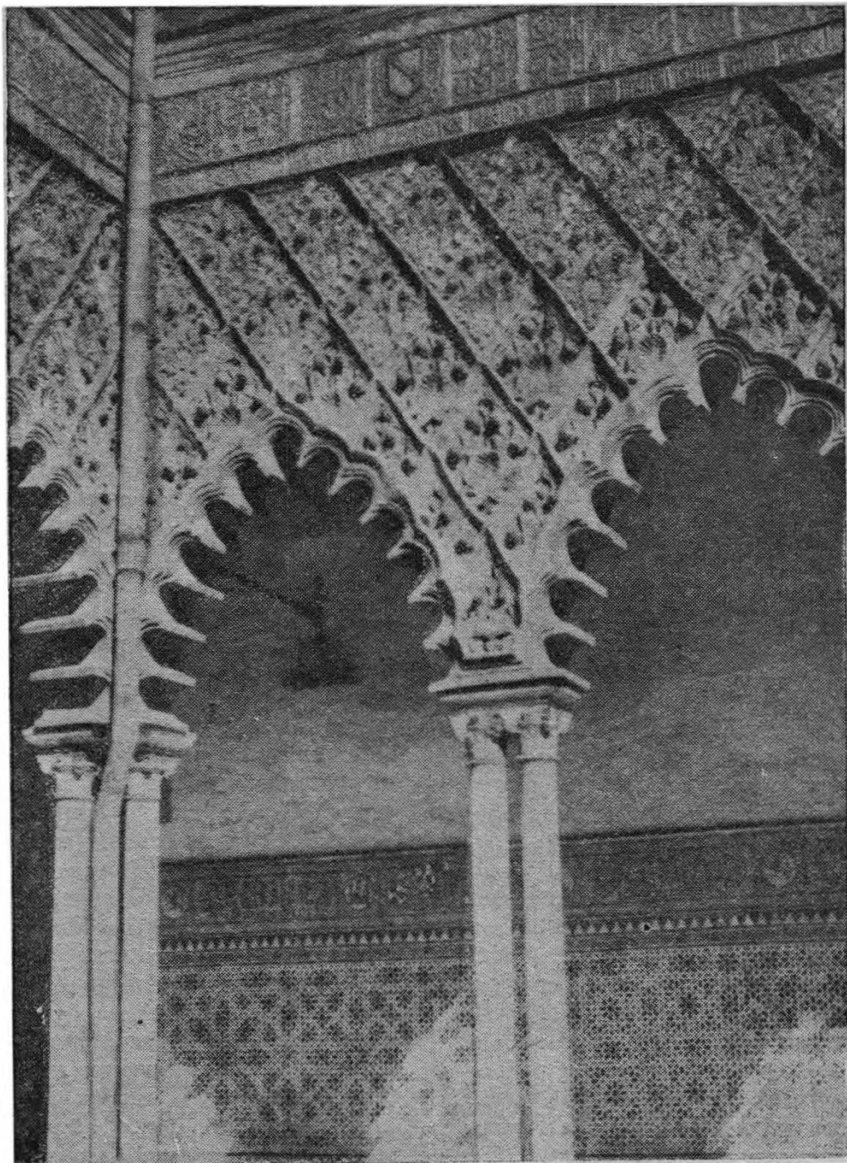
Уже столетия идет борьба за автономию Каталонии. До последнего времени в старых домах Каталонии можно было видеть столы с прикованными на цепях ножами, — памятники времен Филиппа V, который, подавляя восстания каталонцев, в своей мести дошел до того, что издал приказ о полном обезоружении каталонцев, включительно до приковывания кухонных ножей к столам, как символа рабства.

По языку, литературе, темпераменту Каталония значительно отличается от других провинций.

Каталония — страна садов; огромные массивы заняты под виноградниками. Сильно развито овощное хозяйство.

Наиболее замечательным по интенсивной агрикультуре на востоке является район Валенсии, с теплым климатом и достаточным количеством оросительных

вильным распределением осадков. Почва районов Валенсии глинистая; для улучшения ее физических свойств привозят песок с моря. Поражает идеальная раз-



Дворец Альказар. Севилья.

вод. Земледельческая культура в Валенсии стоит чрезвычайно высоко, являясь рекордной на всем земном шаре по тщательному уходу за полями и садами. Климат здесь мягкий, ровный, с пра-

делка земли. Здесь сосредоточена культура риса, возделываемого исключительно при помощи пересадки. Посадка производится по шнуру. Для повышения урожайности обычно практикуется под-

кормка риса внесением минеральных удобрений (в особенности сернокислого аммония и суперфосфата). Урожай риса в Валенсии в 2 раза выше, чем в Японии, и в 6—7 раз превышает Индию. Знаменитый валенсийский лук нередко доходит в весе до килограмма в одной луковице и дает баснословный урожай. Под него вносится большое количество удобрений. Лук занимает в Испании около 29 тыс. га, из которых $\frac{1}{3}$ приходится на Валенсию. Валенсийский крупный лук золотистой окраски прекрасно сохраняется и экспортируется в Англию, в США, Аргентину и скандинавские страны. Испания производит наибольшее количество апельсинов в Европе, и, повидимому, на ближайшее время ее роль в этом отношении должна будет расти. Сбор апельсинов приурочен, главным образом, к февралю. Орошаются апельсиновые рощи при помощи арабских колодцев — «норий». Известный сорт испанских апельсинов «Валенсия» расходуется по всей Европе, половина апельсиновых рощ (более 30 тыс. га) приходится на Валенсию. Из 15 млн. ящиков апельсинов, экспортируемых из Испании, 12 млн. приходится на Валенсию. Вся Валенсия представляет цветущий сад; почти все культуры могут возделываться здесь с успехом. Большие площади заняты под миндаль, рожковое дерево, инжир, яблони и персики.

Разнообразие культур здесь изумительное, превосходящее в этом отношении все остальные районы. В большом количестве здесь можно видеть редкую для других стран культуру египетской чуфы, дающей вкусные мелкие клубни, используемые для приготовления любимого напитка испанцев — арчады. В горах много дрока. Это — наиболее богатый земледельческий край в Испании.

Андалузия

Из Валенсии на автомобиле мы правились вдоль береговой полосы к Гранаде, останавливаясь в Мурсии, Альмерии, Карфагене и Мадере. Дорога идет мимо обширных виноградников, апельсиновых и оливковых рощ и садов.

В Андалузии более резко, чем где-либо, сказывается влияние арабской и мавританской культур. Гранада, Севилья и Кордова — главные города Андалузии — являются средоточием арабского искусства. Начиная с VIII века Андалузия становится центром арабской культуры. До сих пор это сказывается в стиле построек в городах, в плане садов, в составе агрикультур, в широком распространении ирригации. Несмотря на истребление католической церковью остатков мусульманской культуры, многое еще сохранилось, особенно в Кордове и Гранаде.

Вот Гранада, расположившаяся у подножия Сиерра-Невады. В главной своей части Сиерра-Невада покрыта постоянными снегами. Вершины ее доходят до 3 500 м. высоты. Дворец Альгамбра был начат постройкой в 1232 г.; постройка его продолжалась в течение столетия. Одновременно был заложен сад Генералиф. Дворец Альгамбра и сад Генералиф особенно сохранили мавританский стиль. Альгамбра и Генералиф питаются водами Сиерра-Невады: чем жарче день, тем сильнее тают снега на вершинах, тем больше воды в бассейнах. Генералиф — в переводе с арабского: архитектурный сад — летняя резиденция мавританских королей. Канал, окаймленный белым мрамором, снабжает водой весь сад, с причудливо подстриженными миртами и кипарисами. Внутри миртовых бордюров красуются стройные финиковые пальмы, по краям рассажены апельсины и кипарисы. В сад ведет аллея темных кипарисов.

Выстроенная на высоком холме Альгамбра господствует над городом. Дворец Альгамбра представляет собой лабиринт из зал, двориков, башен. Из окон открывается чудная панорама. Пестрые мозаичные полы покрыты разноцветными кафелями. Геометрическая орнаментика купола и сводов напоминает медовые соты или кружево; ячейки ульев на потолках то синего, то желтого, то красного, то зеленого, то черного цвета. Всюду поразительные лепные украшения с арабскими надписями — тента каменной резьбы. Гранада справедливо сравнивается с Дамаском по рас-

положению у подножия гор и по избытку воды. Окрестности ее покрыты цветущим дроком.

Другим ярким образцом мавританского искусства является сохранившаяся в Кордове знаменитая мечеть, постройка которой была начата еще в VIII веке. Она состоит из огромного числа колонн из разного камня — яшмы, мрамора

мечеть была, повидимому, еще лучше — ее изуродовали фанатические католики, пытавшиеся превратить ее в католический храм. После изгнания мусульман были уничтожены 8 рядов колонн и внутри построена католическая церковь в виде латинского креста.

Кордова когда-то была центром арабской науки — медицины, математики,



Сады Альказара. Арабский стиль.

ра, малахита различной окраски; розовая колонна прячется за желтой, голубая за зеленой; каждая из колонн несет легкую ажурную арку, над которой поднимается вторая арка. Эти двойные арки висят каменными подковами в воздухе: 19 аллей из разноцветных колонн идут вглубь мечети. В лесу колонн кордовской мечети как бы теряется ощущение границ пространства. Когда-то эта

астрономии, ботаники. Здесь в XII веке Абу Захария писал свою знаменитую книгу по земледелию, которая, по счастью, уцелела от ауто-да-фе, устроенного из знаменитой кордовской библиотеки кардиналом Хименесом. В этой замечательной книге XII века, переведенной на французский и испанский языки, рассказывается об устройстве садов в Андалузии, об использовании **диких**

растений для декоративных целей. При первом эмире Абу-эр-Рахаме агенты посылались в Сирию, Дамаск, Багдад, Туркестан и Индию за сбором редких

Из городов особенно интересна Севилья. Платановый бульвар тянется вдоль медленно текущего Гвадалквивира. То-и-дело попадаются темные кипа-



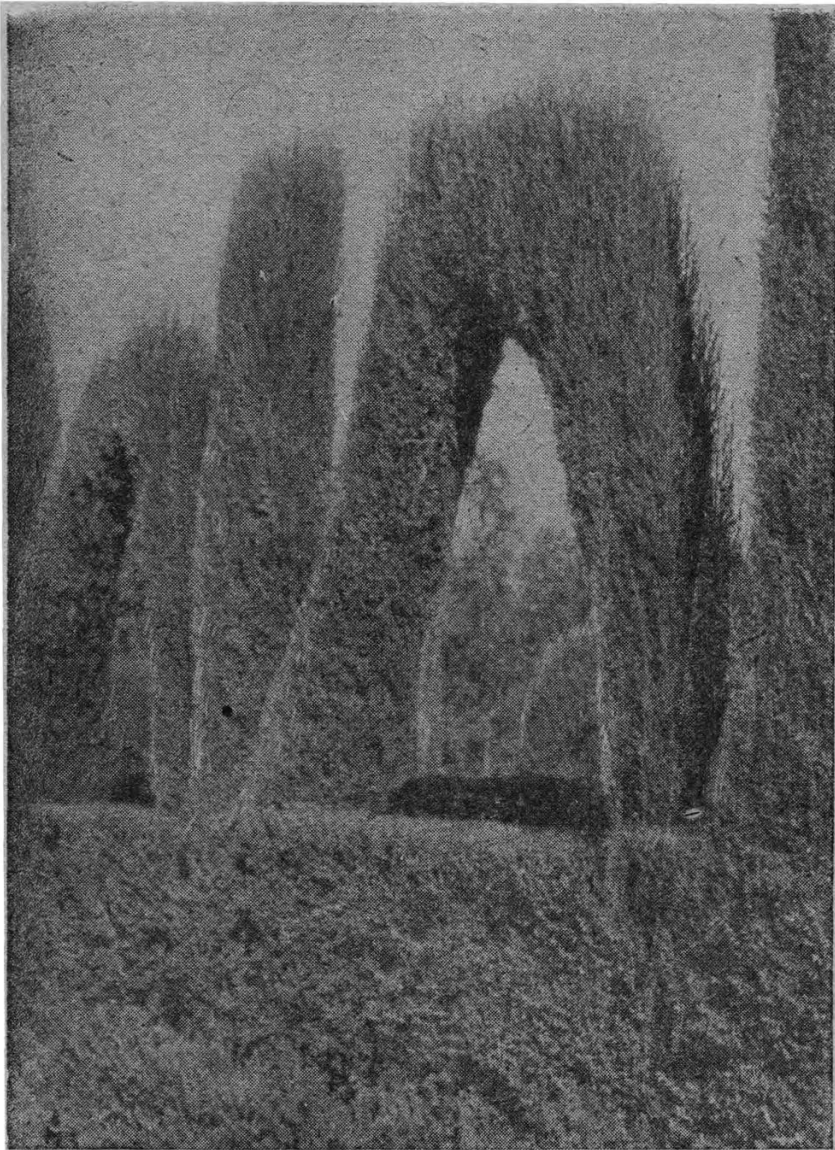
Финиковые пальмы в Гранаде.

экзотических декоративных деревьев и цветов. В это время в Испанию были ввезены финиковая пальма и гранат, причем последний стал эмблемой Гранады.

рисы, гигантские юкки. Сады Севильи и ее цитадели — Альказара — переделывались несколько раз, но в общем сохранили мавританскую разбивку и полны прекрасных растений, благодаря обилию

воды. План мавританских садов, в общем, монотонен и состоит из квадратных боскетов, охваченных широкими стриженными шпалерами, за которыми воз-

с формами растительности. Характерными для Севильи, Кордовы и, в особенности, Гранады являются так называемые «кармены», или сочетания домов



Сады Алькавара. Арабский стиль.

вышаются стройные пальмы. Строители мавританских садов и дворцов главное внимание обращали на детали. Характерным для мавританского стиля является умение сочетать формы построек

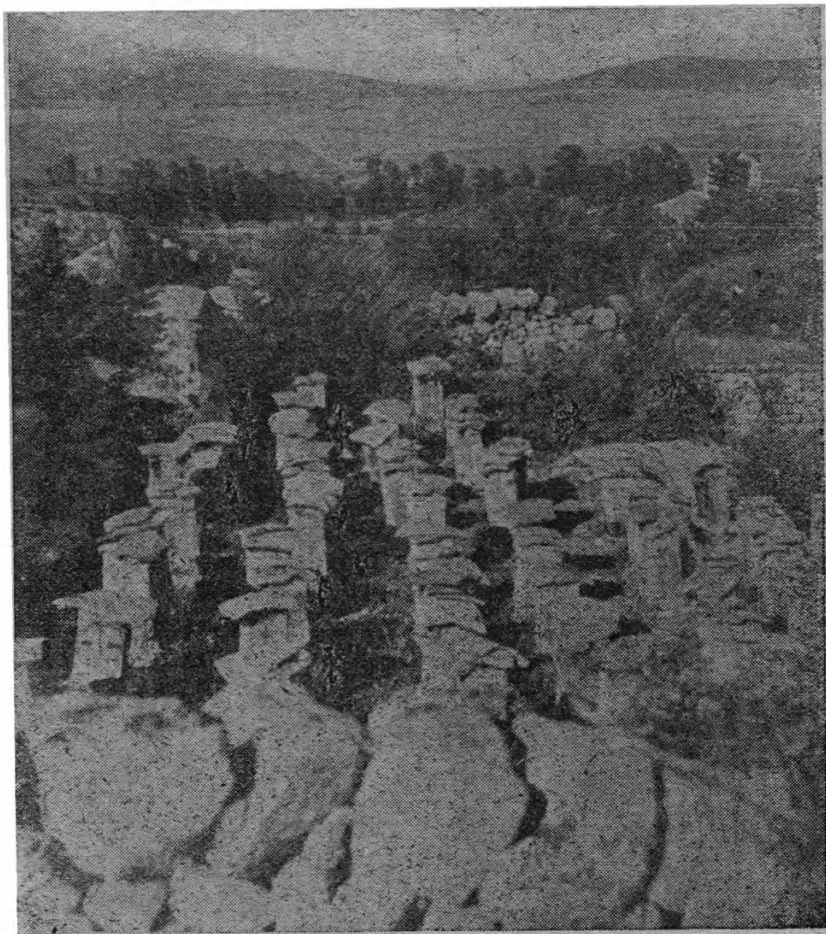
с садами. Садик — неотъемлемая часть дома — это продолжение дома. До сих пор характерной чертой андалузских городов являются крытые черепицей дома, обязательно с двориком, с фонтанами

и цветами. Древняя часть городов всегда отличается узкими улицами, маленькими дверцами в воротах. Дома белые с плоскими крышами, балконами.

Особенность арабских построек — пренебрежение к наружной отделке и средоточие всей роскоши убранства внутри;

наоборот, арабские постройки легки, хрупки и не надолго построены.

Готический собор Севильи представляет собой замечательную картинную галерею. Здесь хранятся исключительной ценности географические материалы, карты, сочинения, относящиеся к



Пасека в горах Сьерра да Гвадаррама. Ульи покрыты корой пробкового дуба.

это особенно видно в Кордове. У арабских архитекторов была цель придать постройке характер легкости, напоминающей о кочевом шатре пустынь, — отсюда сравнительная непрочность и недолговечность арабских построек. Развалины Греции и Рима подвергались разрушениям и расхищениям и, несмотря на это, все же существуют и до сих пор;

открытию Колумба, к завоеванию Мексики и Перу, к походам Магеллана, Пизарро и Кортеса. В соборе же хранится знаменитая библиотека Колумба, там же находится его саркофаг, несомый 4 королями. С Севильей связаны сложные перипетии жизни Колумба: здесь в 1493 г. торжественно встречали и осыпали почестями великого мореплавателя,

здесь же в 1498 г. он стоял перед королевой Изабеллой и королем Фердинандом, закованный в кандалы. Севилья — родина Мурильо.

Андалузия отличается мягким субтропическим климатом — здесь созревают финики, ландшафт в значительной мере составляют сады, рощи апельсинов, миндаля, инжира; улицы городов обсажены пальмами, олеандрами.

По составу культур прибрежная Андалузия представляет собой типичное средиземноморское побережье. Здесь с успехом произрастают эвкалипты, банан, сахарный тростник, авокадо, а в наиболее теплых местах — даже кофейное дерево. Множество прекрасных декоративных растений заимствовано из субтропических и тропических стран всего мира. Ближе к горам возделываются характерные урожайные средиземноморские твердые пшеницы, созревающие в мае, а по склонам гор среди низкого кустарника из вечнозеленого дуба постоянно попадают заросли средиземноморской карликовой пальмы. Значительные площади заняты виноградниками.

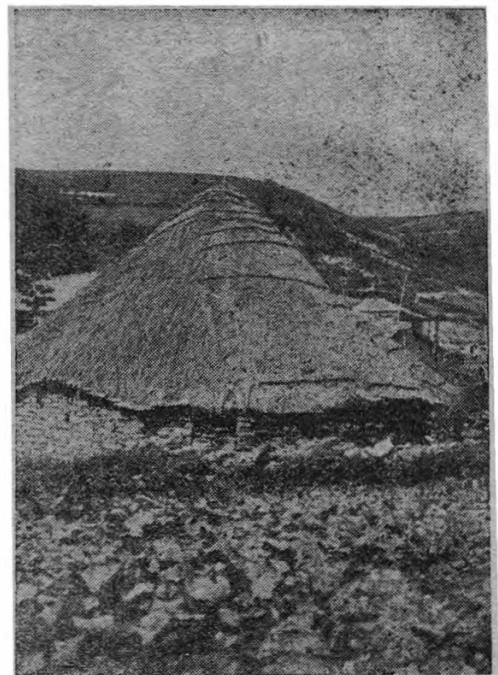
Из Мадрида в Португалию

Вернувшись из Севильи в Мадрид, мы поехали на несколько дней в Португалию. От Мадрида до Лиссабона всего 16 часов езды поездом — около 700 км. Путь сначала пересекает пустыню, холмистые пространства с оливковыми рощами, с большими посевами хлебных злаков. Хозяйства мелкие; по межам в большом количестве синие васильки. По мере приближения к Португалии все чаще начинают попадаться лесные массивы пробкового дуба, особенно по склонам западной части Сьерра-Морены. В Эстремадуре можно видеть, как с пробкового дуба снимают толстые слои коры — пробки; пчелиные ульи на больших пасеках, встречающихся по дороге, покрыты крышками из коры пробкового дуба. Общая площадь дикого пробкового дуба в Испании достигает 255 тыс. га, уступая место только Алжиру. Вывоз пробки составляет крупную статью дохода (до 30 млн. пезет ежегодно). Главный массив пробкового дуба сосре-

доточен около границы с Португалией, другой — около Барселоны. Отдельные рощи встречаются около Малаги, Севильи.

Направляясь на север Испании — в Галисию, мы остановились на несколько дней в Вальядолиде — этой главной хлебной житнице Испании. Вальядолид исторически связан с апогеем инквизиции, с именами короля Филиппа II и свирепого инквизитора Торквемадо. За 16 лет Торквемадо сжег на кострах более 8 тыс. еретиков во славу католической церкви. Много лучших людей Испании погибло за это время. В Вальядолиде умер Колумб. Город до сих пор носит следы старого времени: узкие улицы, нетронутые храмы, площади, где совершались казни.

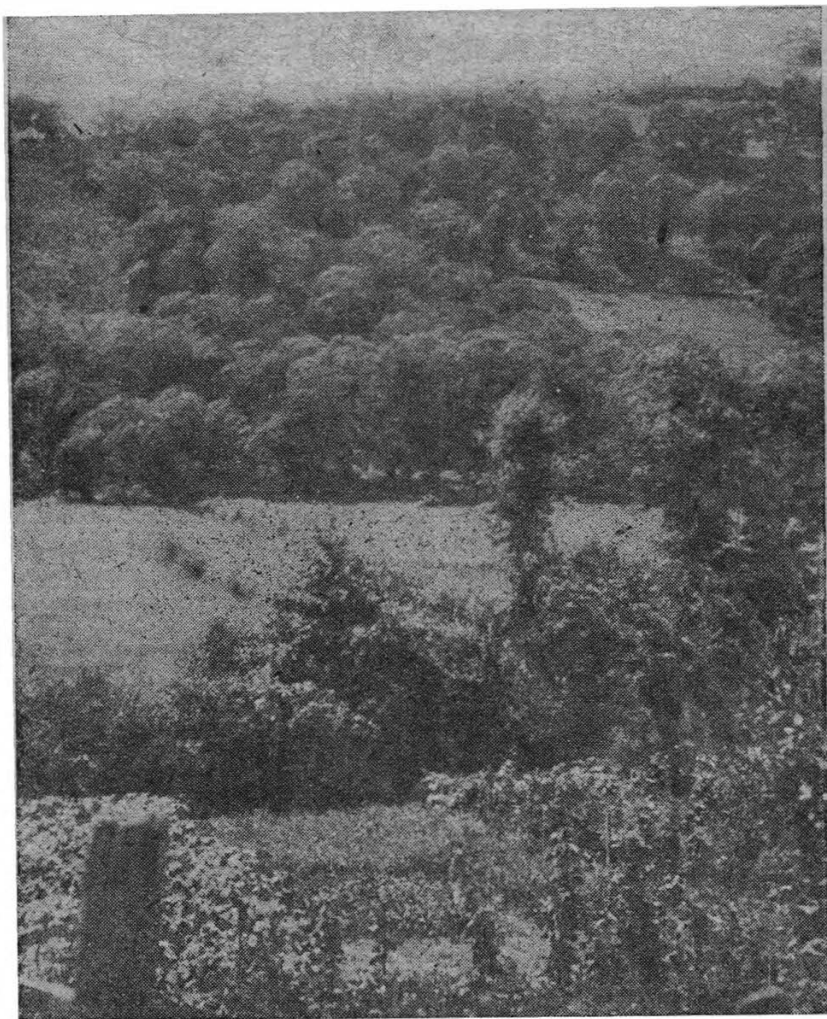
Около города находится одна из лучших в Испании опытных зерновых станций. Сухой климат, недостаточное количество осадков, их неравномерное распределение заставили опытную станцию сосредоточить все внимание на разработке основ сухого земледелия, на селекцию засухоустойчивых сортов, на при-



В горах Галисии. Тип деревень (северо-западная Испания).

менении широкорядных посевов. Главный массив пшеничной культуры в Испании сосредоточен около Вальядолида. По ландшафту это наиболее скучный,

ральных районов Испании Галисия встречает путешественника яркой зеленью лугов, пастбищ, огромными стадами овец. Характерными для Галисии



Каштановые деревья в горах Галисии (северо-западная Испания).

монотонный район Испании, с огромными полупустынными пространствами.

Галисия

Минуя перевал в 1 200 м., мы попадаем с юга в Луго — центр провинции Галисии. Все изменилось: после серого и желтого фона полупустынных цент-

являются большие каштановые рощи, под которыми здесь заняты десятки тысяч га. Каштан — преобладающее дерево галисийских лесов. Он встречается здесь как в диком виде, так и в культуре. Плоды его в большом количестве поедают люди и животные.

Здесь все своеобразно и отлично от внутренней и южной Испании. В огромном количестве, как грубое колючее кор-

мовое растение, возделывается полукустарник-бобовое — улекс — с желтыми цветками, ветки которого, разбиваемые деревянными молотками, служат ценным

кормом для рогатого скота. Богатая древесная и луговая растительность характеризует ландшафт. Наряду с каштаном здесь часто можно видеть грецкий орех. По-



Каштановые деревья в горах Галисии (северо-западная Испания).

кормом для рогатого скота. Периодически заросли улекса сжигаются для удобрения полей, радикально улучшая плодородие почвы.

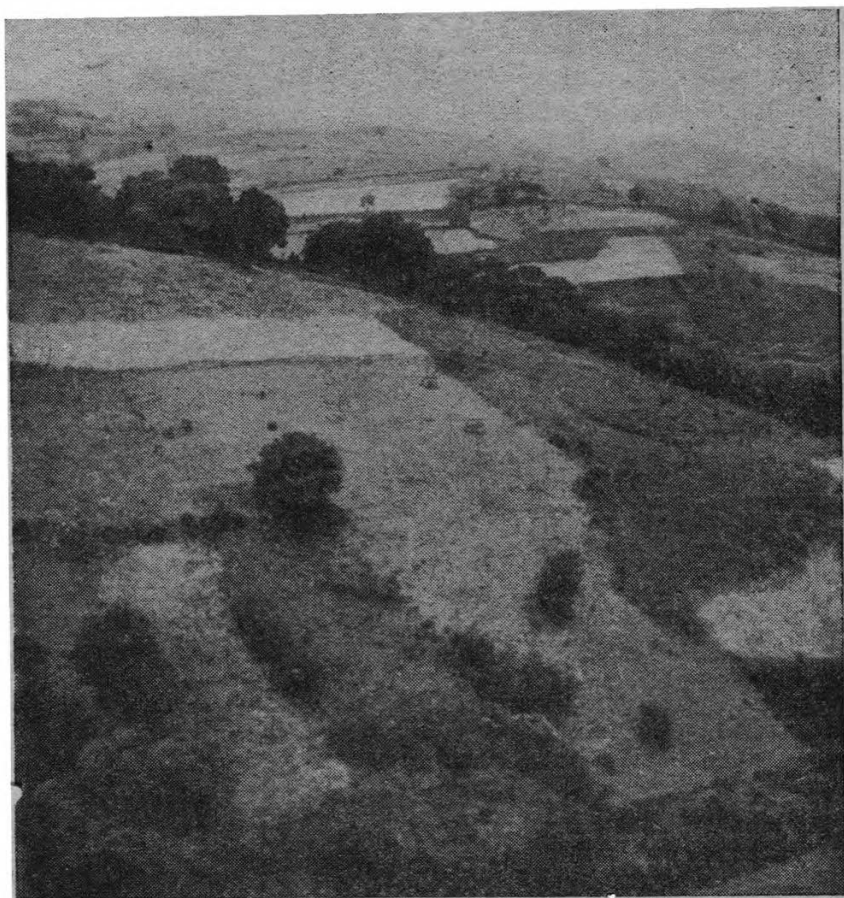
Галисия — самая дождливая провин-

ция Испании. Богатая древесная и луговая растительность характеризует ландшафт. Наряду с каштаном здесь часто можно видеть грецкий орех. По-

левые культуры совершенно иные, чем в остальной части Испании. Это — ржаное царство: население ест черный хлеб, ржаная солома широко используется на корм для скота и на покрытие изб.

Характерной мировой эндемой Галисии является своеобразный песчаный овес, широко возделываемый на неглубоких, легких и кислых почвах. Нам удалось здесь и в соседней северо-западной Португалии с полной отчетливостью выяснить связь этой культуры с дикими, генетически близкими ему,

В большом количестве встречаются здесь по поднятым дерннам заросли дикого льна, генетически наиболее близкого к нашему культурному льну. Здесь мы встретили в культуре оригинальную многолетнюю листовую капусту. В отличие от южной и внутренней Испании сорта зерновых бобовых — чины, че-



Поля в горной Галисии; здесь возделывается песчаный овес.

овсами. Нет никакого сомнения в том, что весь генезис этого вида овса и близких к нему проходил на территории северо-западной части Пиренеев. Засоряя другие культуры и, в частности, пшеницу, этот овес постепенно вытеснял более требовательную к почве пшеницу и выходил в самостоятельную культуру. Здесь обнаружены два вида песчаного овса в большом сортовом разнообразии, не известные в других странах.

чевицы, нута и гороха — явно азиатского происхождения, занесенные, вероятно, в очень отдаленные времена из Закавказья или из юго-западной Азии. Они представляют резкий контраст с оригинальными крупносеменными формами южной Испании. Начинает попадаться культура льна на волокно, не известная в центральной и южной Испании; много картофеля, ячменя.

Постройки каменные с соломенными крышами; население в деревнях ходит в деревянной обуви; земледельческие орудия примитивны — романский плуг-бороздильник; хлеб обмолачивают цепами; убирают серпами; постоянно можно видеть женщин, собирающих по дорогам помет животных. Как и во всей Испании, здесь много голубятен: голубиный помет идет на удобрение. Наряду с соломенными крышами здесь часто можно видеть крыши из темного сланца, что особенно характерно для Галисии. В большом количестве возделывается кукуруза. Дороги хорошие. Чувствуется старая, установившаяся примитивная, в то же время оригинальная, культура. В основном здесь господствует животноводство, молочное хозяйство. Обилие дубовых лесов издавна сделало район Луго особенно пригодным для свиноводства. В лесах здесь до сих пор водятся дикие кабаны. В целом Галисия не производит достаточно хлеба, импортирует его извне.

Галисия представляет собой особую географическую индивидуальность как по ландшафту, составу культур, развитию животноводства, так и по языку.

Астурия

Если Андалузия является наиболее колоритной частью Испании, отличающейся богатством субтропической растительности и значительными остатками мавританского искусства, то по оригинальности культуры и ее исторической значимости с ней может соперничать малоизвестная Астурия. Нас привело в Астурию изучение истории мирового земледелия, попытка восстановить исторические звенья процесса развития европейской земледельческой культуры. Астурия — почти нетронутый угол Европы: люди, постройки, культура — все здесь особенное. Господствующим типом построек являются так называемые палафиты — здания, построенные на деревянных или каменных сваях, обязательно отделенных от собственно постройки каменным зонтиком. Это делается для предохранения от сырости и мышей. Палафитический тип построек

обычен не только для хранилищ зерна, но также и для жилых домов. Палафитические постройки встречаются во многих старых странах; их можно видеть в Закавказье, Ленкорани, в Западной Грузии, в Абхазии, на Формозе и Малайских островах. В Астурии они представляют собой основной тип строений.

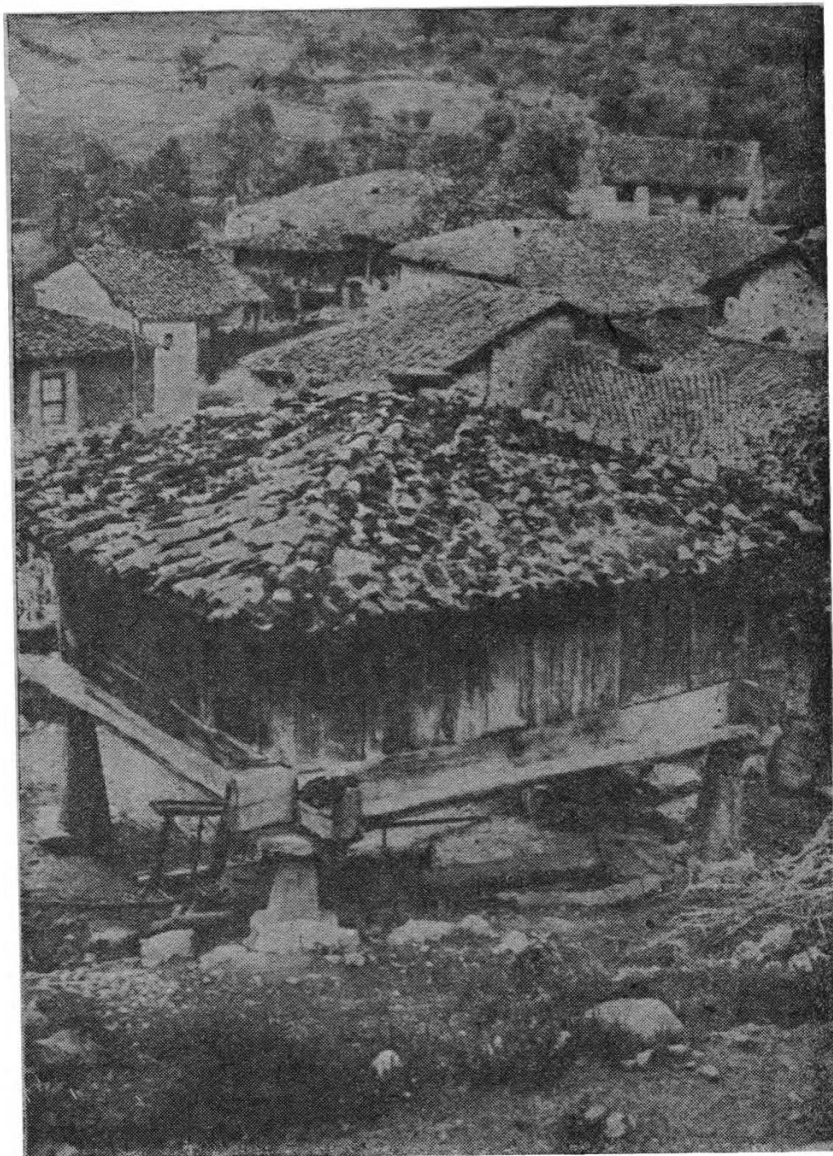
Из всей Испании только в Астурии сохранилась культура настоящей полбы — особенной, пленчатой пшеницы, происхождение которой до сих пор является неразгаданной загадкой. В то время как мировой очаг мягких пшениц примыкает к Закавказью и Передней Азии, в пределах Баварии, Тироля и в Астурии уже много столетий, а вероятно, и тысячелетий, обособилась особая ветвь, генетически наиболее близкая к мягким пшеницам, в то же время совершенно оригинальная, трудно обмолачиваемая, свойственная горным районам. При этом астурийская полба иная, чем тирольская и баварская: не озимая, как там, а исключительно яровая. Здесь преимущественно сосредоточены остистые формы полбы.

Мы попали в Астурию как раз во время уборки полб. К нашему изумлению, оказалось, что эта культура убирается не серпом, не косой, а при помощи деревянных палочек, которыми обмолачивают колосья, и бросают их в корзину. Во всех наших многочисленных путешествиях в 60 странах нам ни разу не приходилось видеть такого способа уборки, и только впоследствии с подобным способом мы встретились в горной Западной Грузии, в местечке Лечгум, где обнаружена недавно замечательная эндемичная группа пшениц, в том числе особый вид, наиболее близких генетически к настоящей полбе.

Таким образом, агрономически и ботанически удалось установить поразительную связь северной Испании с Грузией. При этом самый объект и самая агротехника настолько специфичны и неповторяемы, что вряд ли могут быть сомнения в глубоком значении этой связи. Я вспоминаю, с каким волнением слушал академик Н. Я. Марр наш рассказ об этом. Для него этот факт являлся лучшим доказательством пра-

вильности яфетической теории, по которой народы северной Испании по языку генетически связаны в одну общую семью с древними средиземноморскими

демы Галисии и северо-западной Португалии. Вместо ржи здесь возделывается полба, иногда с примесью также своеобразной ботанической эндемы —



Астурия. Вид типичных горных деревень.

и современными кавказскими народами.

Состав всех культур Астурии оригинальный. Здесь совершенно нет ржи, широко распространенной в соседней Галисии, здесь нет песчаного овса — эн-

двузернянки. Земледельческая культура Астурии носит следы примитивов и, в то же время, интенсивной культуры. Часто встречаются хорошо разработанные террасы. Обмолот полбы произво-



Астурия. Палафрутические амбары.

дится на особых жерновах. Упряжь волов и коров своеобразна. На головах коров надеты своеобразные меховые шляпы, каких нам не приходилось видеть нигде, кроме Астурии. Хлеб с полей перевозится на санях.

Из достопримечательностей Астурии надо отметить так называемую Сикстинскую капеллу каменного века, это — знаменитая пещера первобытного человека около Сантандера с превосходными красочными художественными изображениями жизни первобытных людей начала каменного века.

Вот перед нами знаменитая Альтамирская пещера. Ползком нужно войти в нее. В настоящее время она освещена электрическими лампами снизу. На низком потолке, не позволяющем подняться, изображена красками, почти в натуральную величину, охота на диких животных, которые давно уже не существуют в Европе, — бизонов, диких лошадей и оленей. Изображение сделано с большой импрессией. Чтобы предохранить эти изображения от сырости, первобытный обитатель пещеры приго-

товлял краски на растопленном жире и, лежа в пещере, рисовал на потолке сцены охоты на диких животных и отдельные виды животных.

Альтамирская пещера прекрасно изучена немецким археологом Обермейером. Ее называют Сикстинской капеллой четвертичного периода. Здесь же, в эту пещеру, снесены раковины моллюсков, собиравшихся, очевидно, на берегу моря первобытным охотником и употреблявшихся им в пищу. Рисунки сохранились поразительно. Отдельные камеры этой огромной пещеры, в которой могли бы поместиться до 500 чел., покрыты сталактитами; сверху стекают воды, но, благодаря прочности красок, рисунки сохранились многие тысячелетия. Это — самые документальные следы искусства древних людей, относимые к древнему палеолиту. Возраст пещеры Обермейер определяет по меньшей мере в 15 тысяч лет. Во всяком случае перед нами самые древние следы высокой культуры палеолитического человека. Такими ху-



Астурия. Уборка пшеницы при помощи деревянных палочек. Колосья собираются между деревянными палочками и обламываются. Сбор колосьев в корзины.



Астурия. Уборка пшеницы при помощи деревянных палочек. Колосья собираются между деревянными палочками и обрезаются серпом. Сбор колосьев в корзины.

дожественными изображениями, не меньшей сохранности, полны пещеры Астурии и близких к ним французских Пиренеев.

Около Альтамирской пещеры в большом количестве произрастают дикие плодовые деревья — яблони, малина, груши. Открытые пространства покрыты диким льном, который может использоваться на веревки. Можно восстановить с полной ясностью быт первобытных людей Астурии — охоту на диких животных, сбор моллюсков, рыболовство, сборы диких плодов и ягод, использование диких растений.

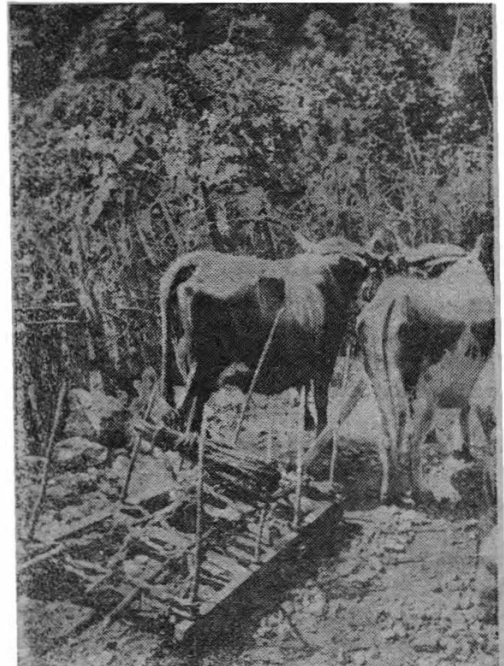
Вот еще замечательное по выразительности изображение первобытным художником сбора меда диких пчел, найденное в одной пещере. По веревочной лестнице, очевидно, сделанной из местной карликовой пальмы, в изобилии произрастающей к югу от Кантабрийских гор и Пиренеев, взбирается человек на утес; другой дикарь держит лестницу; в руках взбирающегося чело-

века сосуд для меда и факел, которым он отгоняет рой пчел. Такие же сцены сбора дикого меда, изображенные в палеолитической пещере, можно видеть до сих пор в горных районах Испании.

Астурия, с ее примитивами, с ее запечатлевшимися историческими этапами эволюции земледелия и искусства является уникалом в Европе и, несомненно, заслуживает самого большого внимания исследователей.

Баскония—страна басков

Большим вниманием, чем Астурия, давно уже пользуется соседняя с ней Баскония. Басков считают последними представителями иберов, которые ранее занимали весь полуостров. Откуда пришли баски, были ли они автохтонны для Европы, — сказать трудно. Еще у Страбона имеется указание, что в древние времена Закавказье называлось Иберией, и некоторые факты и соображения заставляют предполагать возможность прихода закавказских народностей на Иберийский полуостров и за-



Астурия. Перевозка сжатого хлеба на санях

нятие ими наиболее близких по климату к Закавказью отрогов Пиренеев и Кантабрийских гор. В языке басков акад. Марр нашел яфетические корни. Во всяком случае язык басков в настоящее время совершенно отличается от испанского и обособляет басков от других народностей Испании. Баскский язык в свою очередь разделяется на ряд диалектов. Ряд исследователей связывает баскский язык с хамито-семитической группой. Другие, как акад. Марр, думают, что язык этот принадлежит к широкой группе средиземноморских языков, к которым также относится язык этрусков и кавказских народов¹). Предполагают, что в далеком доисторическом прошлом вся Испания говорила на языке басков. В быте басков, несмотря на их близость к Франции, на широкое общение и железные дороги, еще можно проследить старые обычаи. На кладбищах характерны своеобразные памятники — стеллы.

Ландшафт Басконии такой же, как и Галисии, — изобилует зелеными лугами, кустарниками, лесами. В большом количестве здесь встречаются дуб, каштан, сосна. Деревни разбросаны по небольшим долинам, обособленным друг от друга.

В составе полевых культур нам удалось найти также много своеобразного. Это царство двузернянок, своеобразных овсов, не встречаемых в других странах. Земледелие в горных районах расположено в маленьких долинах. Во всяком случае восточная Испания резко отличается от северо-западной части Галисии. Здесь нет песчаных овсов, нет ржи, столь обычной в Галисии. Пшеницы чрезвычайно разнообразны; нередко так называемые английские пшеницы. Здесь сеют много кормовых трав — люцерны, красного клевера. В горах много дикого ореха — лещины, много малины. Около Памплоны мы наблюдали редкое явление массовой естественной гибридизации мягкой пшеницы с диким злаком эгилопс. Здесь нет настоящих полб.

¹) А. С в а н и д з е. К вопросу о хетах и их родстве с грузинскими племенами. «Известия», 11 февраля 1937 г. (№ 37).

Не могу не вспомнить один характерный пример высокой культуры басков. Приехав в Памплону в начале августа, я имел целью собрать возможно больше образцов эндемичных культурных растений. Местный агроном был болен — у него была сломана нога, и он с трудом мог передвигаться. Мы проехали несколько десятков километров в экипаже, собрав небольшой материал. Чтобы собрать большой материал, — заявил мне агроном, — нужно пробыть несколько недель и верхом пересечь в разных направлениях страну басков. Деревушки здесь обособлены и сборы чрезвычайно трудны. Агроном обещал мне собрать большой материал и прислать его в Ленинград. Вернувшись в Ленинград, к своему изумлению, я нашел огромный ящик с образцами пшеницы полбы, собранными самым тщательным образом со всей Басконии этим агрономом, с точными этикетками, с указанием высот, с детальной картой, показывающей, где производились сборы. Нужно было потратить немало дней для того, чтобы выполнить обещание. Не могу забыть и той огромной помощи, которую мне оказывал мой друг, испанский ботаник проф. Креспи, с которым мы познакомились в Мадриде и с которым мы по ночам упаковывали десятки ящиков с семенами и колосьями для отправки в Ленинград.

Из Памплоны мы направились в Сан-Себастьян — портовый город с прекрасным пляжем. Наше путешествие было кончено; мы направились в южную Францию.

Итоги агрономических исследований

Несколько слов об итогах наших агрономических исследований. Испания оказалась исключительно интересной страной для понимания развития европейского земледелия. Здесь удалось установить с несомненностью наличие ряда эндемичных культур, определенно свойственных Пиренейскому полуострову: культуру песчаного овса, особые виды чечевицы, настоящей полбы, кормового растения улекса, каштана. При

этом некоторые культуры в своем процессе прошли этап сорных растений, вытеснивших другие, более древние культуры. Это в особенности наглядно можно видеть на примере овсов. Здесь можно проследить до настоящего времени различные этапы земледелия, начиная с примитивной обработки полей, уборки и молотбы. Подавляющее большинство основных культур, как показывает сравнительное изучение Передней Азии и других стран, заимствовано Испанией. Эти заимствования начались тысячелетия тому назад. Здесь можно проследить влияние римской, сирийской, египетской и арабской культур. Испания впитала в себя всю средиземноморскую агрокультуру, частично переработав ее и создав свои новые сорта. О том, что сортовой материал здесь в основном является занесенным, свидетельствует его выборочный характер и отсутствие полных систем видов. Большое значение имеют здесь, как и во всем Средиземноморье, плодовые деревья, маслина, виноград. Интенсивная культура восточной и южной Испании способствовала лекции замечательных сортов, многие из которых являются шедеврами мировой селекции. Мы уже указывали на крупный лук Валенсии, крупносеменные сорта зерновых бобовых, в особенности нута, бобов, чины, а также маслины, заслуживающих исключительного внимания советской селекции. Древность страны, разнообразие культур и условий обуславливает исключительное богатство сортами. Ассортименты плодовых южной Испании заслуживают внимания для использования в наших советских сухих субтропиках.

В то же время в горных районах центральной Испании можно видеть влияние культуры юго-западной Азии или Закавказья. Здесь неожиданно можно встретить чечевицу, чину, нут, не отличимые от закавказских и иранских сортов, какие мы встречаем также в горных районах Кабилии в Алжире. Северная Испания, Астурия, Галисия и страна басков отображают явное влияние оригинальной эндемичной дикой флоры северных районов Пиренейского полуострова.

Опыт старого испанского земледелия представляет большой интерес для нашего советского земледелия. В особенности ценными являются зерновые бобовые, разнообразный ассортимент пшениц, замечательные по крупности сорта овошей, устойчивые к болезням овсы, ценный ассортимент плодовых культур. Состав растительных культур и сортов и специфическая агротехника позволяют сделать весьма тщательный анализ истории культуры, проследить влияние миграций, условий среды, оригинальной дикой флоры, роли человека.



Великие события происходят в Испании. За ними напряженно следит весь мир. История этой замечательной страны выявляет изумительные достижения человеческого гения. Мир обязан Испании величайшими географическими открытиями. В области искусства Испания занимает одно из первых мест. Уже в Альтамирской пещере сияет гений человечества. Непревзойденное искусство арабов и мавров сохранилось в величайших памятниках Андалузии. Такие образцы литературы, как «Дон-Кихот», не имеют себе равных. В области земледелия, как мы уже видели, Валенсия достигла мировых рекордов.

В то же время история Испании полна самых мрачных страниц, величайших преступлений господствующих классов, королей, католической церкви. Ради золота и серебра истреблены величайшие древние цивилизации в Перу и Мексике. Величайшие преступления творит на наших глазах фашизм.

Освобождение испанских народов — дело всего человечества.

Я вспоминаю огромный интерес, с которым слушали профессора испанской школы рассказ о Советской стране и науке 9 лет тому назад. Несколько десятков преподавателей Леонского лицея собрались вечером, чтобы послушать рассказ советского профессора; в самом разгаре рассказа явился жандармский офицер, и на этом прервался рассказ... Ныне наша связь еще более тесна. Народы Испании еще внимательнее следят за тем, как Советская страна строит социалистическую культуру.

События, происходящие в Испании, затрагивают в особенности Латинскую Америку, мир, говорящий на испанском языке. Нет никаких сомнений в том, что все лучшее и прогрессивное на стороне борющейся демократической республиканской Испании. Испанские события затрагивают весь земной шар; в них, как в фокусе, сосредоточена борьба двух миров.

Мы горячо желаем побед народам Испании, создавшим великие образцы культуры и искусства и способным в будущем совершить еще более великие дела.

Победа народного фронта над фашизмом освободит гений народов Испании и даст миру новые величайшие ценности.

Салют Испании демократической и республиканской!

Литература и искусство

1. О Пушкине. 2. ИВ. РАХИЛЛО.— Встречи с Николаем Островским. 3. Н. ЛЮБОВИЧ.— „Повести Белкина“ как полемический этап в развитии пушкинской прозы. 4. Ш. С. Ас-ланишвили. — Об этапах развития грузинской музыки.

1. О ПУШКИНЕ



Бывают выстрелы, эхо которых не замолкает в течение целого столетия. Они случались и впоследствии, но первый такой, особо памятный день был 27 января 1837 года. — Зимние сумерки густятся на Черной Речке. Нащурив глаз, Дантес целит в самое честное и огненное сердце чужой ему страны. Сыплется снег с ветки, Пушкин падает лицом вниз. Выстрел убийцы неточен; это стоит его жертве тяжких двудневных мук. Рука подлеца дрожит, и наши народы не раз имели печальную возможность удостовериться, что всегда кто-то третий, спрятанный за углом, направляет эту руку. О, если бы народ знал наперед дни своего траура,—с какой громовой силой он сумел бы предотвратить их наступление!

Ничто не ускользнет от суда людского; теперь мы знаем в точности лицо и имя этого третьего, истинного режиссера трагедии на Черной Речке. Было бы слишком мягко сказать, что Россия не уберегла своего гения... — Гигант, веселый и страстный человек, которого не довелось повесить вместе с пятью другими в кронверке Петропавловской крепости, ныне благополучно застрелен. Его высокая творческая речь замолкает на полуслове; факел, грозивший пожаром в сознании коронованного стражника, притоптан сапогом. Слава богу, опять в империи порядок и тишина. А народ, что толпится на Мойке у дома номер семь, зипунами и лохмотьями пугая петербургских парижан, знал и тогда: из жизни уходит его родной сын, труженик и великий поэт, который в рабские дни пел его свободу и далеко вперед провидел рассвет над своей родиной.

Пушкин принадлежит не только русским; он внятен всем народам нашей страны. Он—как могучая спокойная река; за немногие годы его жизни как много успело отразиться в ней! Бесчисленным количеством устьев она вливается в древ-

нее море человеческой культуры. Правдивой и величавой ясности исполнен этот гений. Никто не сумел затмить его умной славы. Он первый посмел сделать свое искусство просто народным вопреки всему строю тогдашней жизни, и оттого его неувядающее наследство выдержало самую трудную проверку — испытание столетием. Как далеко от нас его пора и как близок нам он сам, милый нашему сердцу Пушкин!

Младое незнакомое племя будущего благоговейно обнажает головы сегодня, когда траурная тень этого человека проходит по нашей, уже незнаваемой, стране.

2. ВСТРЕЧИ С НИКОЛАЕМ ОСТРОВСКИМ

Ив. Рахилло

Ранней весной позапрошлого года в библиотеку нашего авиационного гарнизона прибыло несколько экземпляров романа «Как закалялась сталь». Шли дожди, серые поля набухали сыростью, гарнизон стоял на отшибе, и большинство его обитателей особенно налегало на книги. К новому роману сначала подошли с некоторым недоверием — простая обложка и, особенно, техническое название не привлекали. Но в короткий срок роман стал самым популярным произведением среди населения гарнизона. Библиотекарь не успевал записывать желающих на очередь.

По успеху среди читателей роман мог сравниться лишь с «Поднятой целиной» Шолохова, с «Цусимой» Новикова-Прибоя и «Петром I» А. Толстого. Книга сама без всяких рекомендаций завоевала себе заслуженную славу.

Через три недели библиотека устроила по этой книге диспут с полным разбором ее содержания и формы. Выступающие командиры, летчики, политработники, техники и мотористы, их жены и сестры в один голос отмечали ее необычайную простоту и жизненную правдивость. Каждому из выступавших хотелось сказать о том, что автор что-то взял и из его биографии. Книга была сильна своей партийностью, беззаветной преданностью автора коммунизму. Она правдиво излагала детство и юность целого поколения, того поколения, которое встретило революцию в возрасте пятнадцати лет...

Никто не знал автора.

... Недалеко от центра Сочи мы сворачиваем в тихую провинциальную улицу, улица называется Ореховой. Густая южная зелень: каштаны, пирамидальные тополи, декоративные листья бананов. Вот и заборчик, и калитка со щекотдой. У заборчика новый телеграфный столб, от него к дому провод; видно, проведен специально. Мы входим в сад. И вот из-за деревьев молодой и взволнованный голос:

— Хлопцы, сюда!

— Он ждет вас в саду, — встречает нас женщина.

Мы поворачиваем от крыльца. Под густым каштаном, на кровати, лежит Николай. Он лежит на спине, глаза раскрыты, он с улыбкой прислушивается к нашим шагам. Его высокий, умный лоб тронут легким загаром, голубые тени широких листьев играют на одеяле. Веселый, улыбчивый, жизнерадостный человек! Он сразу сбивает наше смущение.

— Здорово, Иван! Присаживайтесь-ка ближе, чтобы я лучше мог вас ощущать... Так-так. Ну, Рахилло я знаю давно, еще по съездам комсомола. Ну, а остальные...

— А остальных я тебе сейчас нарисую...

Так непринужденно начинается наш разговор. Через несколько минут мы совершенно забываем, что Николай — больной, прикованный к постели, потерявший зрение человек. Это — ощущение

ние от его удивительной жизнерадостности, частой улыбки, торопливости в разговоре, любознательности и какой-то внутренней силы и убежденности. Он не говорит: «Мне прочитали», он говорит: «Вчера я читал газету», или «Весной я видел Голодного», «Завтра я увижу редактора». «Читал», «видел», «увижу»... Лексикон здорового человека, тесно общающегося с окружающей действительностью. Николай в курсе политических и литературных дел. Несмотря на глубокое понимание психологии людей, оттенков настроений и чувств, он прост и по-военному прямолинеен в своих определениях.

Мы застали Николая в «отпуске». Недавно на его квартире состоялось заседание сочинского городского комитета партии. Коммунист и писатель Островский отчитывался в своей работе.

Николай родился на Украине. Отца он почти не помнит. Вместо отца — старший брат Дмитрий, слесарь железнодорожных мастерских. Мать и брат уходили на работу. Николая воспитывала улица.

Основная черта его характера — пылкость и любознательность. Учась в церковно-приходской школе, он всегда огоршал священника такими вопросами, что у того не находилось ответов. Началась борьба: неравная борьба попа и мальчика. Николая выгнали из школы. Школой рабочего подростка оказалась суровая действительность: он поступает работать на станцию. Здесь впервые Николай начинает увлекаться книгами, покоряемый романтическими образами Гарибальди и Овода.

И вот — Октябрь. На тихой станции — революция. Юноша садится на коня. Он в корпусе Котовского. Он в коннице Буденного:

Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях
И «Яблочко»-песню
Держали в зубах...

Польский фронт. Ранения. Как не хотелось молодому бойцу валяться по лазаретам! Не успевала заживать очередная рана, он снова бросается в гущу

борьбы. В девятнадцатом году Николай вступает в комсомол. После фронта — железнодорожные мастерские. В суровую зиму огромный город остается без дров. Возникает необходимость построить для подвоза дров узкоколейку, на ударную работу брошены лучшие люди партии и комсомола, и первый из них — Николай Островский.

Надорванное фронтами здоровье не выдерживает, и он валится с ног. Друзья уже считают его мертвым. Но нет, он будет, он должен жить!

По выздоровлении его бросают на самые ответственные участки работы: ЧК, секретарь райкома комсомола, член окружкома. Николай вступает в партию. И тут его настигает неотвратимая тяжелая болезнь. Медицина бессильна. Слепой, прикованный к постели, но не разбитый, большевик Николай меняет оружие борьбы и берется за художественную литературу. В тягчайших условиях рождается его роман «Как закалялась сталь»...

Бюро горкома выносит решение, где наряду с оценкой работы писателя ему предлагается разгрузить себя от работы и освободиться на месяц.

И вот мы застали его в конце «отпуска». Он рад. Он нетерпеливо забрасывает нас вопросами. Он ревниво интересуется мнением писателей о его книге: нет ли тут скидки на болезнь? Нет, книга прекрасна...

— По-хорошему хороша!

— Я хочу, я даже обязан прожить еще три года, чтобы дать нашему юношеству еще одну-две книги... Врачи не учли материала, из которого сделан большевик. Вот почему я так много работаю, много читаю и учусь. Я буду работать до последнего удара сердца. Для меня качество второй моей книги — дело чести. Я буду работать настойчиво и любовно, вкладывая в нее все, что дали мне пятнадцать лет моей коммунистической жизни.

Как легко с ним разговаривать! Он понимает тончайшие твои мысли, недосказанности, полунамеки...

Тени деревьев уже потянулись через улицу, он просит перенести его в комнату. Поднимаем койку и бережно несем



Фото И. Н. Павлова

его по аллее: он щурится, улыбаясь солнцу. Я спрашиваю:

— Ты помнишь цвета: светлый, темный, синий, голубой?.. Ты видишь солнце?..

— Да, да, — жизнерадостно подтверждает он, — я ощущаю, я почти вижу его!..

Мы интересуемся чисто профессиональными деталями труда.

— Я диктую. Но вот бывает — проснешься ночью, и в голове какая-нибудь важная мысль, образ, сравнение. Хочется записать — не можешь. Попросить кого — никого нет, спят. И уснуть боишься, чтоб не выпустить, не забыть мысли. Так и терзаешься до рассвета. А теперь мне аппарат привезли. Диктофон. Проснулся, вздумал что, нажал кнопку, высказался на пластинку — и спи себе спокойно!..

А вообще есть у меня одно сокровенное желание — я хочу перебраться в Москву. Там я сумею каждый день общаться с людьми: с писателями, учеными, партийными работниками. Пойми, как трудно работать одному!.. Правда, за последние дни я не могу пожаловаться на отсутствие гостей, однако в Москве жизнь более интенсивная...

Нам пора уходить. Мы прощаемся, берем свежие главы его нового романа, чтобы прочитать и оценить их.

— Только по-настоящему, — требует Николай, — по-большевистски. Молодому писателю лесть вредна. Я должен расти. Помогайте моему росту...

Пожимаем его руку и с сожалением оставляем комнату. Мы молча шагаем по улице, покоренные мужеством этого человека, нашего сверстника и товарища по профессии.



Пригласительный билет.

«Горком ВКП(б) и горком ВЛКСМ созывают в 7 час. 30 минут вечера собрание партийного и комсомольского актива.

Приглашаются рабселькоры, члены редколлегий и местные литературные силы.

1. Доклад о литературе.

2. Выступят члены союза советских писателей гг. Луговской, Огнев, Н. Островский и Рахилло».

На квартиру Островского проводится специальный провод. В комнате устанавливается микрофон — его выступление будет передаваться по радио.

И вот вечер. Темные облака опускаются на город. Летний театр доотказа набит публикой: все ждут выступления Островского.

На дворе дождь, звонкие капли бьют по железной крыше театра. Долетают тяжелые удары волн. В этот хор стихий врывается усиленный рупором взволнованный голос большевика и писателя Николая Островского. Притихший зал потрясен. Оратор торопится, боится упустить какую-нибудь важную мысль, сто раз обдуманную и взвешенную в тишине. Он говорит о том, как воевал на фронтах, он говорит о самом главном — о новом поколении молодежи.

— Им необходимо рассказать о прошлом, показать всю правду, чтобы в последних боях с фашизмом ни у одного из них не дрогнула рука, чтобы они лучше знали, за что надо биться!..

Над крышей грохочет гром, дождь сильнее бьет по железу, хлопотливо шумят листья мокрых деревьев. Его гневные слова приобретают какое-то особенное значение и смысл.

— За столько лет я впервые имею возможность так тесно общаться с аудиторией. Я заверяю, что до последнего вздоха...

Он обрывает свою речь, от волнения он не может больше говорить...



Только-что прибыл самолет с авиапочтой. Чкалов просматривает газеты.

— В Москве выпал снег!

Снег не воспринимается никак: мы сидим без рубашек; нежнейшая полоса серебристого моря, как занавеска, пересекает окно комнаты. Снизу с теннисной ракеткой в руках поднимается по тропинке Байдуков. Со второго этажа резво сбегает Беляков, — несмотря на жару и располагающую к безделью приро-

ду, он усидчиво трудится над обработкой материалов по перелету АНТ-25.

Тут же по телефону договорились о встрече с Николаем. Правда, во дворе ожидают два кинооператора, а на веранде скульптор Цаплин возится с глиной, заботливо освобождая ее от мокрых тряпок, но сейчас некогда.

Машина вырывается из ворот, теплый ветер ударяет в лицо, вдоль светлого солнечного шоссе, как мальчишки, летят стремглав худые черноморские тополи. Новая дача Островского расположена на высоком месте, недалеко от центра. Николай встречает героев с дружеским нетерпением. Возникший разговор вяжется главным образом вокруг полетов и литературы. Герои выражают свое восхищение книгой «Как закалялась сталь».

Островский рассказывает о том, как он случайно не стал летчиком.

— Это было самым сокровенным моим желанием. Что может быть благородней профессии летчика?! И я уже прошел приемную комиссию, уже стоял на пороге школы, да чортов глазник подвел! Обнаружил, что я одним глазом плохо вижу. Уж как я ни старался, и цифры, и буквы запоминал, — нет, не вышло!.. Чортовски обидно было...

В комнате устанавливали проекционный аппарат и развешивали белое полотно экрана. Вместе с гостями Островский «смотрит» кинофильм «Цирк». Собственно, обо всем происходящем на экране ему передают на словах. Картина окончена, Николай прощается со своими новыми приятелями.

— Вот вам рукопись романа «Рожденные бурей»!..

— Ну-ну, мы хотя и не, критики, но до отъезда прочтем обязательно и постараемся дать свой отзыв...

В комнату вносят газеты.

— Почта прибыла!

Николай живо интересуется:

— Что там в Испании?

«Самолеты противника бомбардировали окраину города, где ютится беднота

и мелкие ремесленники. Сбито два бомбардировщика мятежников. Спасшийся на парашюте пилот, немецкий офицер, захвачен в плен».

Николай нервно перебирает своими тонкими пальцами по краю одеяла. Чкалов, нахмурив брови, задумчиво смотрит на синий горизонт.



Он пел, озирая
Родные края:
— Гренада, Гренада,
Гренада моя!..

И вот наша последняя встреча. Он лежит в гробу. Каждые пять минут мне приходится разводить новый караул. То-и-дело вспыхивают солнечные, ослепляющие прожектора. В почетном карауле М. И. Ульянова, Косарев, Эйдеман, сестра, брат Николая. Николай, похудевший, лежит в зимнем саду, среди хризантем. Венки. Одинокий голос скрипки. Он любил скрипку, он был тонкий и чуткий слушатель.

Юный скрипач, Ньюма Литинский, живший в одной квартире с Островским, рассказывает:

— Сколько радости мне доставляло, когда меня звали к Николаю Алексеевичу. Без лишних слов забирал я скорей скрипку и бегом мчался по коридору... Больше всего ему нравилась бодрая, живая музыка. Чаще всего он просил сыграть «Вечное движение» Новачека...

У изголовья мать Николая, Ольга Осиповна, — молча смотрит она на сына. В самые тяжелые времена болезни она не оставляла его ни на минуту.

Мимо гроба бесконечно проходят его читатели — комсомольцы, пионеры, старики, девушки, дети, моряки, летчики, ученые, артисты, партизаны — герои его повестей. Они пришли отдать долг любимому писателю.

Прощай, Коля, мужественный большевик и сверстник, лучший из нашего поколения!..

3. „ПОВЕСТИ БЕЛКИНА“ КАК ПОЛЕМИЧЕСКИЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ПУШКИНСКОЙ ПРОЗЫ

Н. Любович

I

Вопрос о переходе Пушкина к прозе и об особенностях пушкинского прозаического стиля остается до сих пор одним из спорных и маловыясненных вопросов, хотя критической и исследовательской литературы, представляющей самые различные точки зрения на этот вопрос, накопилось уже немало. Разнообразие точек зрения при ближайшем рассмотрении может быть, в общем, сведено к двум направлениям. Одно объясняет факт перехода Пушкина к прозе литературно-технологическими, так сказать, мотивами. Так, Б. Эйхенбаум¹⁾ видит в пушкинской прозе своего рода «контраст к стиху», достигнутому под пером Пушкина предельной грани совершенства. Пушкин-де сознавал, что стихотворная техника дальше развиваться не может, и перешел на прозу, перенеся в нее особенности и принципы своей стиховой манеры, обусловившей своеобразие пушкинского прозаического стиля (краткость, точность, предельная простота выражения). Ю. Тынянов²⁾ также видит условия перехода Пушкина к прозе в стиховой работе поэта, в его черновых планах и программах с их предельно сжатыми, лаконичными предложениями. В обоих случаях налицо тенденция представить пушкинскую прозу, ее становление как чисто-технологический, формальный процесс.

Для другого направления характерно стремление представить прозу Пушкина как факт активного или пассивного приспособления «шестисотлетнего дворянина» к изменившимся общественным отношениям, к «спросу» на литературном рынке и т. п. Наиболее четко сформулировал эту точку зрения В. Переверзев

зев¹⁾, утверждающий, что обращение Пушкина к прозе было не столько фактом его личного, индивидуального развития, сколько результатом развития общественно-литературного. Пушкин, — утверждает Переверзев, — «не обратился к прозе, а был обращен к ней успехами прозаической литературы, выдвинутой ростом мелкопоместной, мещанской культуры».

Переверзев говорит о приспособлении Пушкина к литературному спросу, о том, что поэт хотел «вырвать орудие прозы из рук мелкотравчатого культуртрегера и использовать его для себя и своего класса». Другие исследователи видят в прозе Пушкина результат его «смирения» перед лицом исторического процесса. Тяга Пушкина к реальному изображению «низкой» действительности объясняется желанием обрести новые устои омещанивающимся шестисотлетним дворянством (Д. Благой²⁾). Проза Пушкина рассматривается, как «выражение психологии дендизма в период ее упадка и разложения» (С. Леушева³⁾), как идеализация среднепоместного и мелкопоместного дворянства — «сословия, в котором единственно сохранились следы независимости и чести, идеально представленные в эпоху феодализма» (Л. Мышковская⁴⁾), как воплощение морализма, вытекающего из «отрицания революционной идеи, из убеждения, что путем нравственного перевоспитания народа можно спасти свой класс» (Б. Вальбе⁵⁾), и т. п.

При всем различии приведенных точек зрения они обладают одним решаю-

¹⁾ В. Переверзев. Пушкин в борьбе с русским плутовским романом. «Временник Пушкинской комиссии», т. I, 1936 г.

²⁾ Д. Благой. Социология творчества Пушкина.

³⁾ С. Леушева. Проза Пушкина и социальная среда. «Родной язык в школе». 1927 г. №№ 5—6.

⁴⁾ Л. Мышковская. Литературные проблемы пушкинской поры. 1934 г.

⁵⁾ Б. Вальбе. Повести Белкина. «Литературная учеба». 1936 г., № 6.

¹⁾ Б. Эйхенбаум. Проблемы поэтики Пушкина, Сб. «Сквозь литературу». «Прибой», 1927 г.

²⁾ Ю. Тынянов. Пушкин. Сб. «Арханглы и новаторы».

щим сходством: полным игнорированием исторической ценности пушкинской прозы, существа пушкинского реализма. У нас уже имеется довольно прочная традиция рассматривать прозу Пушкина в плане его «смирения», «примирения с действительностью» и т. п., традиция, восходящая еще к Ап. Григорьеву, но выступающая теперь уже в «социологическом» оформлении. Вопрос о пушкинском реализме, о степени правдивого изображения им действительности сводится к рассмотрению позиции Пушкина как представителя деградирующего и «смиряющегося» шестисотлетнего дворянина и этим в большинстве случаев исчерпывается.

Таким образом, проза Пушкина, знаменующая собою важнейший этап в развитии пушкинского реализма, остается на и м е н е е изученной только потому, что относится к тому периоду жизни и творчества писателя, когда он, по многочисленным свидетельским показаниям литературоведов и критиков, всячески «смирался» и «примирался». Навероятно, но факт!

Между тем анализ реалистического метода великого национального писателя приобретает в настоящий момент особое значение в свете тех проблем, которые стоят сейчас перед советской литературой, в частности перед прозой: в свете борьбы с формалистскими вывертами, за простоту, ясность, точность и правдивость художественного изображения. У Пушкина, в свое время немало боровшегося с кудреватой изысканностью и «игрой» словом типа А. Бестужева (Марлинского) и оставившего в «Капитанской дочке» шедевр реалистической прозы, можно, и должно, многому поучиться.

II

Пушкин не сразу нашел свой стиль, вопреки утверждению Н. Лернера о том, что «прозаический стиль Пушкина отличается чрезвычайным постоянством и установился почти сразу». В действительности проза Пушкина, прежде чем она вполне откристаллизовалась, найдя свое законченное выражение в «Капи-

танской дочке», прошла известную «подготовительную» ступень, — полемики, отталкивания от различных направлений современной Пушкину и предшествующей прозы. В этом плане особое значение приобретает пушкинская пародия, в которой реалистические элементы стиля Пушкина вводятся пока как средство «снижения» ходульных «романических» мотивов. Таким подготовительным этапом пушкинской прозы явился цикл «Повести Белкина», написанный «болдинской осенью» 1830 г. В нем, как в капле воды, отражены критическое отношение Пушкина к современному ему прозаическим жанрам и борьба его за реалистическое изображение действительности. «Повести Белкина» представляют собою пародии на ходячие мотивы и сюжеты русской и переводной прозы первой трети XIX в. Именно в пародийно-иронической переоценке этих тем, в своеобразной литературной полемике при помощи художественных образов заключается сущность этого цикла повестей. Уже при самом поверхностном чтении их бросается в глаза обилие определений «романический», «романическая», освещающих в ироническом плане мысли и поступки героев: «Самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной романической надеждою увидеть тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца»; «или ты питаешь к ним ненависть, как романическая героиня?»; «романическая мысль жениться на крестьянке и жить своим трудом пришла ему в голову»; «она (мысль о побеге и тайном венчании. — Н. Л.) весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны»; «Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде сего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою, и который казался мне героем таинственной какой-то повести» и т. д.

Подобные сравнения, сопоставления и высказывания литературно-полемического характера, обыгрывание различных деталей «романической» литературы разбросаны по всем, без исключения, повестям. Все это создает вполне опреде-

ленный тон «Повестей Белкина», тон, который с полным правом можно назвать литературно-полемиическим.

Указаний на пародийность многих из «Повестей Белкина» немало в критической литературе. Но эти указания оторваны от рассмотрения борьбы Пушкина за реализм, от освоения им принципов правдивого изображения «низкой» действительности и зачастую носят характер чисто-формалистический. Таковы, например, соображения В. Виноградова в статье о стиле Пушкина¹⁾, соображения Б. Эйхенбаума и др. Часто исследователи ограничиваются простым сопоставлением тем и мотивов пародируемого произведения и пушкинской повести и неопределенными замечаниями о «заимствовании», «использовании», «влиянии» и т. п. В. Боцяновский²⁾ один из первых увидел в «Повестях Белкина» орудие, при помощи которого Пушкин, «как бы резвяся и играя», в корне подрывал и расчищал современную ему литературу, возвращенную нашим отечественным классицизмом и романтизмом, но, ограничившись указанием на «срывание масок» с модных романов и их читателей, Боцяновский не показал, что же Пушкин противопоставлял «разоблачаемой» литературе. И. Виноградов³⁾ правильно указал, что шутовство и пародийность есть тот покров, под которым совершается освоение «низкой действительности» и происходит процесс становления пушкинского реализма. К сожалению, это единственно правильное утверждение осталось в области общих положений, так как почти не раскрывается на конкретном материале.

Вместе с тем анализ «Повестей Белкина» в плане их литературно-полемиической направленности еще раз опровергает утверждение, имеющее изрядную давность, согласно которому все эти повести — выражение кроткого и «смирненного» мировоззрения Белкина —

Пушкина, противостоящего злоупотреблениям критическими способностями человечества. Эта старая версия, высказанная в свое время Ап. Григорьевым, нашедшая дальнейшее развитие в трудах Н. Лернера, Л. Поливанова, Д. Овсяннико-Куликовского и др. и опровергнутая еще Н. Черняевым, указавшим, что приурочение повестей к личности Белкина имело место значительно позже их написания, могла бы быть уже давно забыта¹⁾. Однако ряд современных исследователей подчас занимается своеобразным воскрешением упомянутой старой версии, на якобы «социологической», а на самом деле переверзианской основе. Под «смирнение» подводится социальная база: шестисотлетнее дворянство и его упадок. С. Леушева, например, почти дословно повторяет Ап. Григорьева, утверждая, что основная линия «Повестей Белкина» — это «гибель личности демоническою и торжеством людей простых, искренних и чистых». При этом стационарный зритель зачисляется в разряд... демонических личностей, персонализирующих элементы протеста гибнущего дворянства, а в образе гробовщика усматривается мироощущение верхов дворянства, возвышающегося на миг до осознания своей оторванности от общего исторического процесса, но в конце концов примиряющегося с действительностью.

¹⁾ В нашем распоряжении имеется еще одно доказательство того, что «Повести» не были задуманы как записки одного лица — Белкина. В конце рукописи «Гробовщика» (рукоп. отд. Б-ки им. Ленина, тетрадь 2379) Пушкин набросал перечень заглавий тех повестей, которые он собирался писать вслед за этой, первой по написанию из «Повестей Белкина». В нем значатся:

Гробовщик,
Барышня-крестьянка,
Ст[ационарный] зритель,
Самоубийца,
Записки покойно[го Белкина] (?).

Последнее заглавие, будучи недописанным, зачеркнуто густой волнистой чертой, затрудняющей его прочтение. Этот факт свидетельствует, нам кажется, о том, что личность «покойного Белкина» мыслилась Пушкиным совершенно автономно и равноправно в ряду других повестей, а отнюдь не представлялась центром, объединяющим эти повести, и лишь впоследствии была использована им как литературный прием в духе Вальтер-Скотта.

¹⁾ «Литературное наследство», № 16—18.

²⁾ В. Боцяновский. К характеристике работы Пушкина над новым романом «Sertum bibliologicum» в честь проф. А. П. Маленна. П. 1922 г.

³⁾ И. Виноградов. Путь Пушкина к реализму. «Литературное наследство», № 16—18.

Подобная постановка вопроса исключает всякое изучение объективно-познавательной ценности повестей, исключает всякий сколько-нибудь серьезный анализ пушкинского реализма. О каком же реальном отображении действительности может идти речь, когда каждый образ, каждое описание, оказывается, всего-навсе персонифицирует какую-либо черту одного и того же «социального характера», то-бишь самого автора. Мы потому и решаемся остановиться именно на «Повестях Белкина», что вокруг них, более, чем вокруг какого-либо иного произведения Пушкина, группируются «исследования», явно мешающие изучить подлинный характер пушкинского реализма и засоряющие головы читателей новыми «социологическими» вариантами концепции Ап. Григорьева.

«Неоригинальность» сюжетных моментов «Повестей Белкина» отмечалась неоднократно как в современной Пушкину, так и в последующей критике. При жизни Пушкина в повестях увидели «несколько анекдотов, из коих некоторые давно известны»¹⁾. В наше время В. Данилов²⁾ утверждает, что «Повести Пушкина нисколько не выделяются из современной им беллетристики по неверности своих сюжетов», и делает отсюда заключение, что они, «как и журнальные повести 30-х гг., выросли на почве литературных вкусов помещичьей усадьбы». М. Лопатто³⁾ в свою очередь отмечает: «Сюжет повести для Пушкина представлял наибольшую трудность, и в этом он соприкасается с «лишенным воображения» Белкиным...» В основе подобных утверждений лежит непонимание того, что Пушкин в «Повестях Белкина» явно пародирует ходячие сюжетные схемы современной ему прозы. Тонкость пародии осталась незамеченной при жизни Пушкина, но уже давно пришло время вскрыть ее вместо того, чтобы говорить о «недо-

статке воображения» великого русского писателя.

III

Стрелы литературной пародии и полемики Пушкина направлены против различных образцов «изящной» прозы первой трети XIX века. Повести Карамзина, несмотря на некоторые робкие попытки их критики, все же оставались в этот период каноном «благородной», «светской» прозы; самые недостатки их объявлялись не подлежащими критике. Сентиментализм, литературная условность образов и описаний, отсутствие правдивого изображения «низкой» действительности, идиллическая пасторальность мотивов — наиболее характерные черты карамзинской прозы — подвергались скрытому обстрелу со стороны Пушкина.

«Метель» иногда буквально из строки в строку пародирует «Наталью, боярскую дочь» Н. Карамзина. Повесть эта двупланна. С одной стороны — мир переживаний Марьи Гавриловны и Владимира. В этом плане последовательно используются фабульные моменты и вся фразеология карамзинской повести. С другой — реальное изображение действительной жизни уездной барышни, подчеркивающее разрыв между миром «романическим» и действительностью. Оба эти плана тесно переплетаются. Выспренние и сентиментально-трогательные моменты повести Карамзина получают неожиданно комическое освещение, «снижаются».

Тема неравной и потому недозволенной родителями любви, увоза и тайного венчания варьировалась в русских и переводных повестях и романах и после карамзинской повести; журнальная и альманашная литература 20-х и начала 30-х гг. дает тому немало примеров. В развертывании этой темы выработались и укрепились определенные «стандартные» приемы, фабульные и лексические. Но русские повести на эту тему по большей части восходят именно к «Наталье, боярской дочери» (см. напр., «Латник» А. Бестужева), отдельные моменты которой превратились в своеобразные штампы: буря или метель во

¹⁾ «Северная пчела». 1831 г., № 288.

²⁾ В. Данилов. Классовая обусловленность «Повестей Белкина». «Родной язык в школе». 1927 г., № 3.

³⁾ М. Лопатто. Опыт введения в теорию прозы. Изд. Омфалос. Одесса. 1919 г.

время увоза; героиню ждет тройка за садом; венчанье в бедной деревенской церкви, где героев отчески встречает старый священник; во время венчания в церковь врываются порывы ветра, колеблющие пламя свечей; увоз кончается идиллическим примирением беглецов с родными (иногда, как у Бестужева, конец — трагический). Пушкин использует эти штампы, но при этом имеет в виду в первую очередь именно повесть Карамзина, против которой и направлено острое пародии.

Уже с первых строк «Метели» он обыгрывает неоднократно и настойчиво повторяющееся у Карамзина выражение «броситься к ногам родителей»: «Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее... венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей», Марья Гавриловна пишет, что «блаженной минутой жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших родителей». Дело в том, что Карамзин пользуется этим выражением на протяжении всей повести и явно злоупотребляет им, так что оно звучит почти назойливо. Вот разговор героев: «Милый друг, для чего нам не броситься к ногам его» (отца. — *Н. Л.*). «...Мы бросимся к ногам его, но через некоторое время. Теперь он не может согласиться на брак наш». Далее Наталья беседует с няней: «Он сказал, что мы скоро бросимся к ногам батюшкиным»... Алексей утешает Наталью: «он (бог. — *Н. Л.*) пошлет нам случай упасть к ногам твоего родителя», и т. д. Используя эту фразу в переписке своих героев, Пушкин имел в виду, конечно, не только чисто-стилистический эффект; он имел также в виду определенный сюжетный шаблон русских романов и повестей. В соответствии со своим замыслом он заставляет Марью Гавриловну и Владимира говорить языком повести Карамзина, сюжет которой они воспроизводят в обстановке уездной России второго десятилетия XIX века.

Дальнейшие подробности увоза вначале последовательно совпадают с по-

вестью Карамзина. Дело там и здесь происходит зимою; героиню ночью ждут сани; перед отъездом пишутся письма к родным героини, с той разницей, что у Карамзина, за неграмотностью героини (автор соблюдает «верность эпохе»), пишет ее жених; содержание писем совпадает: у Пушкина Марья Гавриловна «извиняла свой поступок неодолимою силою страсти», а у Карамзина Алексей пишет отцу Натальи: «Прости нас. Любовь всего сильнее», и Наталья прибавляет: «Напиши... что я невольна сама в себе». Идиллическая концовка «Натальи, боярской дочери» фигурирует у Пушкина в качестве предполагаемого его героями окончания их романа. У Карамзина: «Молодой человек хотел броситься перед ним (отцом Натальи. — *Н. Л.*) на колени. Но старец прижал его к своему сердцу вместе с милой дочерью». У Пушкина Владимир умолял Марью Гавриловну «венчаться тайно, скрываться, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников и скажут им непременно: дети! придите в наши объятия». Иронические «конечно» и «непременно» подчеркивают шаблонность подобного конца, типичность его для «романической» литературы.

Этой шаблонности противопоставляется реальная действительность, и моменты соприкосновения «романического» ряда с действительной жизнью являются наиболее существенными при рассмотрении особенностей пушкинской повести-пародии. В обеих повестях герои попадают в деревянную, слабо освещенную церковь, где встречает их старый священник. У Карамзина во время увоза и венчания слышится «шум бури», у Пушкина дело происходит во время метели. При внешнем совпадении фабульных моментов реальное содержание и стилистическое оформление этих эпизодов прямо противоположны. Карамзин в сентиментально-приподнятом тоне повествует о встрече любовников со старым священником: «Там встретил их старый священник, согбенный бременем лет, и дрожащим голосом сказал им: «Я долго ждал вас, любезные дети». По

совершении обряда он торжественно произносит напутственное слово, выдержанное в стиле карамзинского красноречия: «Именем великого бога, которого нам проповедует и мрак ночи, и шум бури (в сие мгновение страшно зашумел ветер)... грядите с миром». А вот как, подчеркнуто прозаически описывает свое венчание Бурмин в «Метели»: «Старый священник подошел ко мне с вопросом: «прикажете начинать?», и далее: «Священник торопился... нас обвенчали». Торжественной приподнятости «романического» венчания при шуме бури, трогательной проповеди священника в карамзинской повести у Пушкина противостоит короткая реальная сценка с деловым «прикажете начинать?» торопящегося священника (с которым, кстати сказать, Владимир «насилу уговорился»).

Любопытно в этом плане сравнить и другой момент: описание состояния родителей после тайного венчания дочери. Пушкин использует аналогичный карамзинскому стилистический оборот при переходе от описания переживаний любовников к изображению родителей. У Карамзина: «Но мы предупредим сего посланного и посмотрим, что-то делается в царственном граде». У Пушкина: «Но возвратимся к добрым ненарадovским помещикам и посмотрим, что-то у них делается». В «Наталье, боярской дочери» вслед за приведенной фразой трогательно и пространно описывается горе отца Натальи, проливающего слезы над оставленным письмом. Пушкин же вслед за своей вопросительной фразой ставит лаконичное: «А ничего», и затем дает живую, реальную сценку утренней встречи родителей с дочерью, случайно обвенчанной с каким-то повесой и мирно возвратившейся домой: «Что твоя голова, Маша? — Спросил Гаврила Гаврилович. — Лучше, папенька, — отвечала Маша. — Ты верно, Маша, вчерась угорела, — сказала Прасковья Петровна. — Может быть, маменька, — отвечала Маша». Простонародная речь патриархальных помещиков и вся «прозаичность» этой сценки получают особый оттенок при сопоставлении с сентиментально-напыщенным

монологом отца Натальи у Карамзина. Реальная жизнь чужда пасторально-худольным «романическим» комбинациям, их сентиментальной выпренности и трагичности, она гораздо проще, многогранней, мудрее и веселее, — вот стержневая мысль этой и других «Повестей Белкина», полных жизнерадостности и оптимизма. И Пушкин широко пользуется пародийностью для внедрения элементов бытового реализма. Спешащий на тайное венчание Владимир, сбившийся с пути и плачущий от отчаяния, стучится к крестьянину, который встречает его хладнокровным «что те надо?». Происходит краткий, но замечательно правдиво написанный диалог, прекрасно передающий различие речи Владимира и крестьянина и сталкивающий «романического» героя лицом к лицу с «презренной прозой», в том числе и с тем обстоятельством, что у крестьян этой деревни нет лошадей («Как у нас лошади!..»). Черновая рукопись¹⁾ повести показывает, что Пушкин тщательно обрабатывал этот диалог, стараясь сделать его как можно лаконичнее и выразительнее. Абсолютно неверным представляется утверждение Л. Гросмана²⁾, согласно которому основной стержень повестей Пушкина — занимательная фабула, а «элементы бытовой живописи присутствуют в прозе Пушкина лишь случайно, в целях явно служебных». Говорить так — значит совсем не видеть основ пушкинского реализма.

Любопытно выяснить источники центрального сюжетного момента «Метели» — венчания с незнакомкой и последующей встречи с ней. У М. Погодина есть повесть, написанная им совместно с А. Вельтманом — «Дочь матроса»³⁾. В ней повествуется о том, как пьяный офицер попал случайно в церковь, где происходило венчанье матросской дочери; ждали жениха (который, оказывается, запил), невеста была «ни жива, ни мертва»; офицер становится под венец, а на другой день бежит от жены, и лишь

¹⁾ Тетрадь № 2379 в рукописном отд. Всесоюзной б-ки им. Ленина.

²⁾ Л. Гросман. Этюды о Пушкине.

³⁾ Альманах «На новый год». М. 1850 г.

после многих лет судьба сталкивает их, и они вновь соединяются.

М. Погодин свидетельствует, что в основе его повести лежало «истинное происшествие, случившееся в 80-х гг. в какой-то черноморской гавани» и рассказанное ему М. А. Окуловым. Об «истинности» события, положенного в основу «Метели», вскользь упоминает рецензент «Повестей Белкина» в Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду»¹⁾, ссылаясь на осведомленных в этом отношении людей.

Исследователи скрытой «мудрости» Пушкина, пытавшиеся навязать поэту мистические настроения там, где их у него никогда не было, видели в эпизоде с венчанием намерение Пушкина изобразить тайную власть «судьбы», толкающей Бурмина на его поступок. М. Гершензон²⁾ утверждал, что в «Метели» Пушкин «изобразил жизнь-метель не только как властную над человеком стихию, но как стихию умную, мудрейшую самого человека... Кто не догадывается об этом символическом замысле рассказа, должен признать сюжет «Метели» пустым и неправдоподобным анекдотом, какой было бы странно видеть в творчестве Пушкина в эту эпоху». Но, повидимому, именно анекдот, очень реальный, основанный на истинном происшествии, был использован здесь Пушкиным. «Непонятная, непросительная ветреность» Бурмина станет весьма понятной, если принять во внимание, что он был в то время «ужасным повесою» и мог совершить свой поступок, злоупотребив спиртным на последней станции, тем более, что, едва отъехав от церкви, он уснул. В своем объяснении с Марией Гавриловной он, конечно, должен был обойти это, далеко не «романичное» обстоятельство и набросить на событие дымку какой-то таинственности («Непонятное беспокойство овладело мною», «казалось, кто-то меня так и толкал»). Судя по тому, что сообщает М. Погодин о работе его и Вельтмана над повестью «Дочь матроса», можно

заключить, что Пушкин ближе к вышеупомянутому анекдоту, чем Вельтман — Погодин. Дело в том, что Вельтман, очевидно, желая сделать более «правдоподобным» поступок офицера и мотивировать его более «благородным» образом, присочинил ему невесту, которая, как показалось офицеру, изменила ему; отсюда — отчаяние и пьянство, и, в результате, венчание с матросской дочерью. У Пушкина повеса-офицер остается таковым, и никаких «романических» мотивов для его озорства не потребовалось.

Таким образом, пародируя Карамзина, Пушкин прибегнул к весьма реальному событию, «низкий» характер которого особенно бросается в глаза в сравнении с сентиментально-идиллическим карамзинским стилем. Так происходит «снижение» и комическая переоценка «романической» сюжетной схемы.

IV.

В «Барышне-крестьянке» своеобразно переплетаются пародии на две «романические» темы: любви дворянина к крестьянке или какой-либо иной представительнице «низкого» сословия, с одной стороны, и любви представителей враждующих родов — с другой. Первая тема имела два варианта: любовь к настоящей крестьянке и ее гибель или, наоборот, счастливое замужество и любовь к мнимой крестьянке, которая оказывается переодетой дворянкой, решившей испытать истинность любви своего поклонника или жениха. Трагический вариант нашел свое классическое выражение в «Бедной Лизе» Карамзина. В 20-х гг. в русской журнальной литературе были и переводные повести на эту тему; укажем на повесть Цшоке «Флоретта, или первая любовь Генриха IV»¹⁾, соответствующую «Бедной Лизе», или на «Миниатюрный портрет» Авг. Лафонтена²⁾ — с идиллическим окончанием. Другой вариант, с переодеванием, представлен целым рядом переводных повестей в журналах и альманахах

¹⁾ Лит. прибавления к «Русскому инвалиду». 1831 г. № 93.

²⁾ М. Гершензон. Мудрость Пушкина. М. 1919 г.

¹⁾ «Московский телеграф». 1827 г.

²⁾ «Вестник Европы». 1826 г., №№ 14, 15, 16.

20-х гг. «Урок любви», повесть г-жи Монтолье¹⁾, не раз сближалась с повестью Пушкина²⁾.

В. Виноградов³⁾ подчеркнул традиционность мотива «барышни-крестьянки» для литературы конца XVIII, начала XIX вв. и привел в качестве примеров роман «Дочь деревенского священника»⁴⁾ и указанную выше повесть Авг. Лафонтена. Список этот может быть расширен, если привлечь повести, в которых героиня переодевалась не только крестьянкой, но вообще какой-либо бедной девушкой, а также повести, где переодевался «он», а не «она». А таких повестей немало разбросано по журналам 20-х гг.: «Биондина», повесть неизвестного автора⁵⁾, «Катальная гора»⁶⁾, и «Бабушка» Клаурена, «Баккалавр Саламанский» В. Ирвинга⁷⁾, наконец, «Путешествие на Этно» Ван-дер-Вельде⁸⁾. Последняя повесть интересна в том отношении, что в ней подчеркивается традиционность мотива переодевания для романов того времени. Мать героини, обращаясь к ее жениху, переодевшемуся сперва крестьянином, а потом монахом, требует от него объяснения: «Сир, объяснитесь, ... однако ж я читала довольно романов и в состоянии сама отвечать на ваш вопрос: вы хотели инкогнито видеть и узнать свою невесту; мера несколько поиздержанная, пора бы ей в отставку».

Отличительная особенность повестей о «барышнях-крестьянках» или настоящих крестьянках — сентиментальность и пасторальность: мнимая или настоящая крестьянка обыкновенно пленяет своего поклонника пляской во время какого-либо сельского праздника, на зеленом лугу, среди цветов и «веселых детей природы» («Урок любви», «Миниатюрный портрет»).

¹⁾ «Вестник Европы», 1820 г., №№ 9—11.

²⁾ М. Сперанский. «Барышня-крестьянка» и «Урок любви» г-жи Монтолье. Сб. Харьковского ист.-фил. о-ва, т. XIX, 1910 г.

³⁾ В. Виноградов. Стиль Пушкина. «Литературное наследство», № 16.

⁴⁾ В кн. «Вечера на святках». М. 1883 г.

⁵⁾ «Сын отечества», 1829 г.

⁶⁾ «Московский телеграф». 1825 г., № 9.

⁷⁾ «Вестник Европы» 1828 г., январь и февраль.

⁸⁾ «Сын отечества». 1829 г.

Вот портрет крестьянки, возбудившей любовь молодого графа («Миниатюрный портрет»): «Прекрасные черные волосы ее, цветами переплетенные, небрежными кудрями ложились на плечах алебастровых... Роскошные перси до половины скрывались под цветами. Тонкий и ровный стан ее обхвачен был белым шелковым корсетом, — одним словом, Юлия казалась нимфою и нарядом своим, и красотою». Речь этой «поселянки» почти не отличается от языка самого графа. А язык мнимой крестьянки тем более не содержит никаких элементов простонародной речи. Метаморфоза ее обыкновенно ограничивается нарядом «дочери природы», довольно изысканным, как мы видели.

Пушкинская пародия имеет главным объектом сентиментальность и приторную пасторальность подобного рода повестей. Сущность ее не только в пародировании самой традиционной темы, отмеченном, например, В. Виноградовым и другими исследователями. Пушкин, пользуясь этой темой, стремится показать истинную, а не «романическую» простоту «сельских нравов» и широко употребляет народный разговорный язык. Барышня-крестьянка Пушкина куда проще, чем якобы настоящая крестьянка в изображении того же Авг. Лафонтена; не «сельская нимфа» в шелковом корсете с цветами на «алебастровых плечах», а черноглазая, бойкая смуглянка в сарафане из синей китайки и рубашки из толстого полотна, украшенной медными пуговками, в лаптях, — такова барышня-крестьянка Пушкина. Она в совершенстве владеет простонародным языком и в разговоре с Алексеем употребляет далеко не «романические» выражения, вроде: «не на дуру напал», «отец мой, Василий кузнец, прибьет меня до смерти», «вот-те святая пятница» и т. п. Самое имя ее (Акулина) мало подходит к «сельской нимфе» в стиле Авг. Лафонтена.

Вместо пасторального обрамления в виде цветущих долин, зеленых лужков и прочих принадлежностей карамзинского сентиментализма Пушкин дает реальный фон жизни сельских хозяев, рисуя в лице Берестова и Муромцова два

вполне определенных социально-экономических типа. А рассказ Насти об именинах жены повара представляет прекрасную картину реальных, а не «романических» сельских нравов. Эта картина выигрывает в своей реальности еще более, поскольку события передаются устами дворовой девушки, которую, естественно, интересуют не «бархатные лужки», а место ее за именинным столом и «бешеный» нрав молодого барина, бегающего с девушками в горелки. Любопытно, что именно в этом рассказе разоблачается мнимая «разочарованность» Алексея Берестова, весь его мрачный арсенал, почерпнутый из «унылой» поэзии и прозы французских романтиков и их русских собратий («говорил им об утраченных радостях, об увядшей своей юности...»). Подчеркивается надуманность и фальшь атрибутов «романической» поэзии, и им противопоставляется реальная действительность, в которой молодой Берестов оказывается не бледным, разочарованным юношей, а румяным красавцем, любящим довольно бесцеремонно поволочиться за дворовыми девушками. Достоинство удивления, что Б. Вальбе увидел здесь только «морализм», «вытекающий из отрицания революционной идеи» дворянином, видящим спасение своего класса в рациональном сельском хозяйствовании.

Другой объект пародии, как мы упоминали уже, — тема любви представителей враждебных родов. В «романической» литературе 20-х гг. она занимала немалое место. (См. «Один день перед Грандисоном», повесть Тромлица¹⁾ и др.). Но повесть Пушкина имеет в виду определенное произведение — «Ламермурскую невесту» Вальтер-Скотта, писателя, имевшего в 20-е гг. громадный успех у русской публики. Пушкин высоко ценил Вальтер-Скотта за умение реально воспроизвести жизнь различных исторических эпох, не прибегая к манерности и ходульности при изображении исторических лиц, свойственной, например, французским романтикам типа Альфреда де-Виньи и др. Однако и в его творчестве он усматривал слабые стороны, выражающиеся в романтиче-

ской натянутости, в стремлении «поразить воображение» мрачными эффектами и др. На совпадение целого ряда сюжетных моментов во «Барышни-крестьянки» и «Ламермурской невесты» указывалось Д. Якубовичем¹⁾. Однако автор ограничился главным образом указаниями на совпадения, не рассмотрев принципиального различия этих моментов при их внешнем сходстве, различия, позволяющего говорить о сознательном пародировании Пушкиным английского романиста.

Тема «Ламермурской невесты» — любовь, осложненная родовой ненавистью и приведшая к трагической гибели героев, — трактуется у Пушкина в комическом плане, причем соответствующие моменты вальтерскоттовской повести «снижаются», а трагизм положения снимается указанием на его несерьезность. У Вальтер-Скотта родовая ненависть существует между представителями разных политических партий — тори и виги; один из вигов присвоил родовое имя лордов Равенсвудов, последний потомок которых любит дочь своего врага. У Пушкина враждующие семьи — представители различных форм хозяйствования: один — аристократ-англоман, что в первой четверти XIX века было зачастую синонимом либерализма («англомания составляет ныне отличительный признак или смешную сторону либерализма» — писал «Вестник Европы» в 1826 г.²⁾; другой — тип консервативного расчетливого помещика, не чуждого промышленных затей (суконная фабрика), но сторонника чисто русских форм хозяйствования. Пушкин показывает, что их вражда, несмотря на различие во взглядах, не имеет крепкой базы и оба они могут извлечь выгоды из взаимной дружбы³⁾. Отсюда — ко-

¹⁾ Д. Якубович. Реминисценции из Вальтер-Скотта в «Повестях Белкина». «Пушкин и его современники», вып. XXXVII.

²⁾ «Вестник Европы». 1826 г., № 3.

³⁾ Позднее, в «Дубровском», Пушкин еще раз воспользуется сюжетной схемой «Ламермурской невесты», но уже не в пародийном плане. Он подчеркнет как-раз моменты социальной вражды обеих сторон и свяжет ее с борьбой разоряющегося мелкопоместного дворянства и крупного барства, связанного с придворными сферами.

¹⁾ «Галатей». 1829 г., № 4.

мичность их долгой вражды и торжественного «примирения». Именно в описании последнего Пушкин использует сцены «Ламермурской невесты» и, в первую очередь, сцену охоты, как справедливо указывает Д. Якубович. В обеих повестях несчастье с лошадью во время охоты ведет к приглашению под враждебный кров одного из противников и к примирению враждующих. Но причины, вызвавшие несчастье, абсолютно различны и описаны в совершенно различных стилях. У Вальтер-Скотта — это грозная буря, изображенная в мрачно-романтических тонах: «В эту минуту черная туча, подымавшаяся из-за башни и мало-помалу покрывшая мрачною мглою землю и море, разразилась отдаленными ударами грома и молнии, осветивши багровым заревом Волчью Скалу и разъяренные морские волны. Лошадь молодой женщины стала выказывать какой-то страх и беспокойство, и Равенсвуд, как человек и джентльмен, не мог в подобную минуту оставить ее на попечение слабого старика и слуги». У Пушкина этой мрачно-трогательной картине соответствует эпизод с неожиданно выскочившим зайцем, испугавшим «кущую кобылку» Муромцева. Заключительная ироническая фраза подчеркивает пародийность замысла Пушкина: «Таким образом, вражда старинная и глубоко укоренившаяся готова была прекратиться от пугливости кущей кобылки». Реплика Муромского в разговоре с Лизой по поводу приглашения Берестовых на обед опять-таки выдает замысел автора: «Давно ли ты питаешь наследственную ненависть, как романтическая героиня?». Вспомним сцену из «Ламермурской невесты», когда молодой Равенсвуд, вынужденный пригласить врага под свой кров, борется между чувством гостеприимства и наследственной ненавистью: «Ни нежное чувство к Люси..., ни сознание долга гостеприимства не могли совершенно побороть те страсти, которые невольно закипали в молодом человеке при виде злейшего врага его отца...». Этой сцене у Пушкина соответствует мирное собеседование стариков, вспоминающих старые анекдоты. Таким образом, исполь-

зуется тот же, что и в «Метели», пародический прием: «снижение» сюжетных моментов пародируемого произведения, их принципиально иное содержание при внешнем, иногда буквальном, совпадении. Романтические атрибуты заменяются при этом реалистическим изображением русской действительности и комически переоцениваются. В связи с этим находится и неоднократное обыгрывание понятия «замок» применительно к русскому помещицкому имению (то же и в «Метели»). И совершенно напрасно Д. Благой усматривает здесь некую биографическую проекцию Пушкина: «Его положение владельца родово-вой вотчины, владельца душ подсказывает ему ряд невольных аналогий с этими «рыцарскими временами». Нет сомнения, что «феодалная» терминология носит здесь у Пушкина исключительно литературно-пародийный характер. Если мы взглянем на русскую и переводную литературу 20-х и начала 30-х гг., то убедимся, что местом «романических» происшествий обыкновенно является замок (повести А. Бестужева: «Замок Эйзен», «Замок Нейгаузен», «Замок Венден» и т. д.).

V

Литературной полемикой с Вальтер-Скоттом проникнуто изображение пушкинского гробовщика в одноименной повести. На зависимость «Гробовщика» от «Ламермурской невесты» справедливо указал Д. Якубович. Но мы не можем согласиться с его утверждением, что эпизод с гробовщиком — «один из реалистических шедевров Вальтер-Скотта — представляет несомненно фактические черты сходства с концепцией и основным тоном пушкинской новеллы» и что принцип «сильнее поразить наше воображение», от которого Пушкин отмежевывается в этой повести, на самом деле остался у него (гробовщик — свадьба, пирушка). Нам кажется, что образ вальтерскоттовского гробовщика менее всего может быть назван «реалистическим шедевром», ибо он целиком подчинен конечному моменту «Ламермурской невесты»: свадьбе — смерти.

С этой целью автор наделяет его двойной профессией: скрипача на свадьбах и могильщика. Вспомним разговор его с Равенсвудом, имеющий тайный смысл; могильщик в этом разговоре обнаруживает таинственную проницательность («под вашими нахмуренными бровями что-то светится, одинаково предвещающее смерть и свадьбу»). Налицо игра понятиями: свадьба — смерть, нагнетающая настроение предчувствия гибели. Пушкин справедливо увидел в этом стремление «сей противоположностью сильнее поразить наше воображение», создать соответствующий замыслу произведения мрачный эффект, используя при этом своеобразие профессии могильщика, отмеченное еще Шекспиром. Пушкин противопоставляет вальтерскоттовской свою повесть. Своеобразие ее заключается в том, что противоречивые моменты бытия гробовщика теряют у него всю свою трагичность и вместо отвлеченно-надуманной получают реальную трактовку. Профессия гробовщика подчеркнута включается в ряд других профессий, и основные законы, господствующие над ними, распространяются и на нее. Работа за плату на заказчика роднит гробовщика с сапожником, булочником и т. п. представителями ремесленного труда. Пушкин заранее отказывается от надуманно-эффектных приемов, «из уважения к истине» («ибо наша повесть не вымышленная» — черновой вариант); он обращается непосредственно к реальному изображению действительности.

Реалистические сцены «Гробовщика» — повести о городском мещанстве — во многом напоминают повесть А. Погорельского «Лафертовская маковница», на что справедливо указал В. Виноградов. Дело не только и не столько в буквальном совпадении некоторых моментов (например, переезд на новую квартиру, расстановка мебели, самочувствие на новосельи), сколько в общем реалистическом тоне описания жизни «мелких людей». Повесть А. Погорельского Пушкин цитирует в «Гробовщике», таким образом, не случайно.

Говоря о характере пушкинского ре-

ализма, нужно отметить, что он исключает подробное натуралистическое описание различных деталей (лица, обстановки, одежды). Пушкин, неоднократно высказывавшийся против «близорукой мелочности французских романистов», в настоящей повести противопоставляет им свой метод. Замечая, что он отступает «от обычая, принятого нынешними романистами», Пушкин строго отбирает деталь с точки зрения ее характерности и выразительности.

VI

Образ Сильвио в «Выстреле» обычно рассматривается как исключение на фоне «смирненных» образов остальных повестей. Он-де последний отблеск «байронических» мотивов в творчестве Пушкина, в нем одном из всех героев «Повестей Белкина» воплощены черты «демонической» личности, — так казалось Ап. Григорьеву и др. Н. Черняев один высказал иной взгляд, гораздо более верный в основе, хотя и облеченный сентиментальной фразеологией и сопровождающийся рядом неверных положений. Он увидел в Сильвио решительный протест против дуэлянтства, бреттерства. Ошибка Черняева в том, что он воспринял этот протест в плане чисто бытовом, тогда как фигура Сильвио имеет черты несомненной литературной полемики. Эпиграф из произведения А. Бестужева-Марлинского далеко не случаен. Дело не только в том, что в нем даны основные сюжетные моменты пушкинской повести, как на это указывает В. Виноградов. В творчестве Марлинского наиболее полно воплощен культ честного рубака и бреттера, не задумывающегося ни на минуту перед тем, чтобы выхватить пистолет и самому подставить лоб под пулю. Повести его буквально кишат подобными характерами и положениями. «Вечер на бивуаке», откуда взят эпиграф к «Выстрелу», не является исключением. Для Марлинского характерна идеализация дуэлянта, признание его поведения правилом и образцом для храброго и честного офицера. Герои его постоянно и по разным поводам вызывают друг друга и стреляются, демон-

стрируя умение легко подвергнуть свою жизнь игре случайности. Противоположное отношение квалифицируется как трусость и жестоко разоблачается. В повести «Фрегат Надежда» герой, видя явное нежелание вызванного им на дуэль офицера подвергать свою жизнь опасности, раздражается гневной филиппикой по его адресу: «Не можешь себе вообразить, — пишет он своему другу, — какое глубокое презрение почувствовал я». Желая «проучить» своего противника, он играет с ним, как кошка с мышью: «Я два раза поднимал пистолет и два раза опускал его поправить кремь, наслаждаясь между тем страком хвастуна; наконец, мне стало жаль его, или, прямо сказать, он стал мне так презрителен, что я подумал: для таких ли душ изобретал порох Бертольд Шварц, а Ленане тратил свое искусство, — отворотился и выстрелил в воздух».

В повести того же автора «Испытание» два друга, решившие стреляться, прекращают поединок по настоянию любимых ими женщин, но при этом крайне озабочены тем, чтобы соблюсти «честь мундира»: «Господа секунданты! — вопрошают они, — скажите по совести, не имеем ли мы в чем-нибудь укорять себя, как благородные люди и офицеры?». Примеры могут быть умножены. Повесть Пушкина разоблачает тип такого, беспечно играющего жизнью, «храбреца» в лице графа Б***. Беспечно поедающий черешни под дулом пистолета, граф через несколько лет, обретя семейное счастье, совершает нечестный поступок с целью спасти свою жизнь, — соглашается на пережебежку. Сильвио подчеркивает важность для него именно этого момента: «Я доволен: я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно... Предаю тебя твоей совести». Такая обличительная концовка не вяжется, конечно, с образом Сильвио как мрачного и злобно-мечтающего отнять жизнь у своего противника. Но ведь подобный образ создан не Пушкиным, а обоими рассказчиками, от лица которых ведется повество-

вание. Один из них — скромный офицер, склонный видеть в Сильвио «романического» героя, — сравнивает его с тигром, говорит о его мрачности, сверкающих глазах и т. п. Другой — сам «пострадавший», граф Б***, — естественно, награждает своего противника определением «ужасный».

Разоблачение светского повесы, легко шутящего жизнью, — центральный момент «Выстрела». Это становится особенно очевидным при сравнении пушкинской повести с «Вечером на бивуаке», откуда заимствован основной фабульный момент («за ним остался еще мой выстрел»). У Марлинского на первом плане любовная мотивация дуэли: подполковник, влюбленный в княжну, возмущен «нескромными выражениями» по ее адресу некоего капитана, вызывает его, тот стреляет первый и ранит героя, который по выздоровлении обнаруживает роман между княжной и — его противником. Отсюда его решение стреляться вторично: «Бешенство и месть, как молния, запалили кровь мою. Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним остался еще мой выстрел), чтобы коварная не могла торжествовать с ним». Героем Марлинского руководит исключительно чувство мести: «Знаете ли вы, друзья, что такое жажда крови и мести? Мне беспрестанно мечтались: гром пистолетов, огонь, кровь, трупы». Мотивация поступка Сильвио у Пушкина — иная, и в этом ключ к характеристике образа, к уяснению смысла повести. Сильвио и граф Б*** противостоят друг другу, как представители различных социальных групп. Хотя повесть дает скудные сведения о самом Сильвио, но из всего текста видно, что он — человек среднего достатка, принадлежащий к разряду служилого дворянства (о чем говорит его спартанский образ жизни в отставке). Граф Б*** — «молодой человек блестящей знатной фамилии», «блистательный счастливец», «вечный любимец счастья», у него «громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились». Антагонизм между ними возникает на почве завоевания популярности, успеха. На

этом поприще все шансы на стороне графа. Но и в момент дуэли Сильвио просается в глаза то же неравенство между ними: граф абсолютно не дорожит своей жизнью, так же, как и деньгами, и эта беспечность бесит его противника. Цель Сильвио отныне — прочить блистательного повесу, заставить его почувствовать ценность жизни; и он достигает ее, когда граф Б*** при виде Сильвио, приехавшего «разрядить пистолет», чувствует, что волосы у него встали дыбом, а затем поступает нечестно, соглашаясь на пережеребьевку и стреляя в Сильвио первым. Сильвио отомщен — ему более ничего не нужно. Не жажда крови привела его на этот поединок, — и в этом его отличие от героя Марлинского, — а желание унижить «блистательного счастливец», развенчать образ, идеализированный названным писателем. И тот факт, что Сильвио погибает, сражаясь за независимость Греции, нам кажется, далеко не случаен, так как находится в соответствии с его антиаристократической тенденцией.

Таким образом, разоблачая традиционный идеализированный образ храброго дуэлянта, столь излюбленный у Марлинского, Пушкин использует вполне реальный момент социальной жизни — антагонистические отношения различных прослоек офицерства. На литературно-полемический смысл повести указывает любопытное признание рассказчика — армейского офицера: «Имея от природы романтическое воображение, я всех сильнее прежде сего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкой и который казался мне героем таинственной какой-то повести»; ранее он упоминает, что причиной молчаливости Сильвио товарищи его считали какую-нибудь «жертву его ужасного искусства». Так создается в воображении рассказчика образ модной повести — дуэлянта в блестящем ореоле. Но в реальной действительности происходит полный крах подобного «романизма» в лице графа Б***.

Остается удивляться тому, что этот крах, это разоблачение остались совсем незамеченными рядом исследователей,

усмотревших в графе торжество пушкинского идеала бездумной, беспечной природы (Искоз, Леушева), противостоящего Сильвио, как воплощению одной идеи. Еще удивительнее, что Л. Мышковская и в Сильвио, и в графе равно видит идеализацию мужества и бесстрашия «рыцарей духа», соответствия которым Пушкин-де искал в феодальном мире.

VII

Повесть «Станционный смотритель» обыкновенно очень резко отделяли и отделяют от других «Повестей Белкина», рассматривая ее как прямую предшественницу будущей «натуральной школы» и принципиально отличая ее от «легких», с элементами пародийности, повестей, как «Барышня-крестьянка» и др. Такая постановка вопроса кажется нам одной-сторонней и неверной. Она основана, с одной стороны, на недооценке реалистической силы всех «Повестей Белкина», в которых шутовство и пародийность являются как бы ширмой для реалистического изображения «низкой» действительности, и, с другой, на недоучете элементов пародии в самой повести «Станционный смотритель».

Специфика «Повестей Белкина», как мы уже говорили выше, состоит как раз в том, что утверждение реалистического метода изображения действительности совершается путем пародирования и полемики с наиболее характерными образцами модных повестей. Но эта пародийность и полемичность в различных повестях присутствует далеко не в одинаковой степени. В одних она, так сказать, дает тон произведению, в других ослаблена, причем реалистическое содержание их выступает более выпукло, более обнаженно. К их числу и относится «Станционный смотритель».

В. Виноградов отметил любопытную деталь в этой повести: сравнение плачущего Вырина с Терентьичем из баллады И. Дмитриева «Карикатура». В этой балладе в комических тонах изображено возвращение отставного вахмистра в опустелый дом, из которого исчезла его жена, увезенная кем-то в

город; слуга Терентьич повествует господину об этом несчастье. В. Виноградов отмечает, что «вся сюжетно-смысловая атмосфера «Карикатуры» наполнена соответствиями, символически приближающимися к семантике «Станционного зрителя», но не делает, однако, всех выводов из своего наблюдения. А ведь указанное сравнение, внося в повествование комический элемент, «снижает» трагичность рассказа зрителя. При том же вслед за приведенным сравнением Пушкин делает любопытное замечание: «Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжении своего повествования». Но дело, конечно, не в отдельных комических моментах. Дело в том, что в повести пародируется традиционный довольно избитый сюжет. М. Гершензон выдвинул идею, согласно которой «Станционный зритель» — своеобразная пародия притчи о блудном сыне. Основанная на описании лубочных картинок в комнате зрителя, теория эта опровергается уже тем, что указанное описание целиком взято Пушкиным из начатой им ранее повести о прапорщике Черниговского полка и лишь слегка переделано. Но в рассуждениях М. Гершензона есть рациональное зерно: он указывает, что гибель Вырина была обусловлена в значительной степени его житейскими представлениями, согласно которым дочь его должна была неминуемо погибнуть, не вернувшись под отчий кров, тогда как в действительности произошло иначе: «станционного зрителя сгубила ходячая мораль... ее тирания, — вот мысль, выраженная Пушкиным в «Станционном зрителе». Соображения М. Гершензона были бы ближе к правде, если бы он, оставя в покое притчу о блудном сыне, обратился к литературным фактам — к тем повестям, в которых так или иначе варьировалась тема, использованная в «Станционном зрителе», — тема «Бедной Лизы». Именно традиционный сентиментально-трагический конец «дочери природы», полюбившей дворянина, пародируется здесь Пушкиным. Он совершенно по-новому подходит к теме «Бедной Ли-

зы». Трагически гибнет не Дуня, а ее отец, мышление которого идет в русле «романического» стандартного хода событий. Отсюда и несколько комическое освещение горя зрителя, о чем мы говорили выше. Сентиментально-трагическим моментам модных повестей Пушкин неизменно противопоставляет подчеркнуто-прозаическое, реалистическое изображение. Вспомним, например, заключительную сценку «Станционного зрителя», когда рассказчик узнает о смерти Вырина из разговора с «толстой бабой» — женой пивовара: «От чего же он умер?» спросил я пивоварову жену. — «Спился, батюшка» — отвечала она. «А где его похоронили?» — «За околицей, подле покойной хозяйки его». — «Нельзя ли довести меня до могилы?» «Почему нельзя. Эй, Ванька, полно тебе с кошкой возиться. Проводи барина на кладбище, да покажи ему зрителю могилу». И оборванный, рыжий, кривой мальчишка провожает его на кладбище — «голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененное ни единым деревцом». Это описание кладбища невольно хочется сравнить со слащавыми описаниями сельских кладбищ в сентиментальных повестях, где обыкновенно ветвистые явы и вечнозеленые кусты украшают могилу погибшей невинности (см., например, повесть Ирвинга Вашингтона «Царица мая», в которой сельская красавица, полюбив молодого офицера, но отвергнув его предложение уехать с ним, зачахла с тоски). На этом фоне пушкинская скупая и «прозаическая» картина получает особую реалистическую выразительность.

В «Станционном зрителе» Пушкин дает глубоко правдивую картину быта «низшего сословия». Черты комичности не заглушают трогательности горя Вырина: «Как бы то ни было, но они (слезы. — Н. Л.) живо меня тронули». Любопытно, что Леушева, следуя переверзевскому методу, конечно, увидела в Вырине все того же «родовитого дворянина» Пушкина — «протестанта, негодующего против чужого вторжения в свою жизнь и борющегося за свою индивидуальность». Так далеко заходит

слепота исследователей, развивающих теорию «заколдованного круга образов».

Резюмируем: в «Повестях Белкина» Пушкин использует традиционные «романические» темы, но переоценивает их и в той или иной степени пародирует. При этом острое пушкинской пародии направлено не столько против шаблонности и стандартности этих тем и мотивов, сколько против фальшивого, нереального изображения действительности, вкладываемого в традиционные сюжетные схемы. Пушкин не только «разбачает» ходульность и фальшь «романического» изображения, но утверждает реалистический метод, метод правдивого изображения «низкой» действительности, широко пользуясь живым разговорным языком, в том числе языком «простонародным». Основные приемы пародий можно свести к следующим: 1) подражание какому-либо шаблонному сюжету в последовательности фабульных моментов, но с принципиально иным их содержанием: надуманности, «романичности» противостоит трезвый реализм, сентиментальной условной фразеологии — живой разговорный язык с подчеркиванием простонародных элементов речи; 2) следование пародируемо-

му сюжету лишь до известного момента, за которым наступает принципиально иное течение событий, опрокидывающее и аннулирующее стандартный «романический» ход действия, при этом трагизм литературного сюжета снимается и освещается в комическом плане; 3) употребление штампованной «романической» фразеологии и ее ироническое «комментирование».

Если «Барышня-крестьянка» и «Метель» могут быть названы в целом пародическими произведениями, то такие повести, как «Выстрел» и в особенности «Гробовщик», носят характер скорее литературно-полемический, чем пародийный. В «Гробовщике» на первом месте не игра пародируемыми сюжетными схемами, а широкое утверждение нового, реалистического метода на материале «низкой» действительности, в полемике и с французскими реакционными романиками, и с Вальтер-Скоттом, и с Жуковским. Еще в большей степени это относится к «Станционному зрителю».

Так, в полемике с «романическими» канонами, в борьбе с условным, фальшивым методом изображения действительности кристаллизовался пушкинский стиль прозы.

4. ОБ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ГРУЗИНСКОЙ МУЗЫКИ

Док. Ш.-С. Асланишвили

Декада грузинского музыкального искусства в Москве продемонстрировала братское единение народов нашей великой страны. Она ознакомила советскую общественность с национальной оперой и народными песнями Грузии.

Свежесть и непосредственность грузинской оперы обусловлена тесным общением композиторов с народным творчеством. Музыкальный фольклор всегда являлся для них родным языком.



Грузинская музыкальная культура стала развиваться сравнительно недавно, и лишь за последние два десятилетия, когда Октябрьская революция раз-

вязала творческие возможности народов СССР, наполнив их новым содержанием, музыкальная культура Грузии достигла таких успехов, что вопрос о создании истории грузинской музыки встает как неотложная задача музыковедения.

Одним из важнейших участков музыкальной культуры Грузии является народное музыкальное творчество. Для научного мира и для композиторов музыкальный фольклор Грузии представляет богатейший источник как по разнообразию, так и по художественной ценности. В музыкальном фольклоре Грузии можно найти наряду с самыми примитивными одноголосными песнями пшавов и хевсуров (Вост. Грузия)

сложнейшие трехголосные хоры Грузии (Зап. Грузия) с богатой полифонической тканью.

Разнообразие социально - бытового уклада, климатических и трудовых условий наложило свой отпечаток на народное музыкальное творчество.

Кроме того, Грузия, сталкиваясь издревле с самыми разнообразными культурами, восприняла музыку различных народов, специфически преломив ее в своем творчестве. Музыкальный фольклор Грузии, расположенной на стыке Европы и Азии, представляет собой интереснейший случай скрещивания различных культур.

Некоторые районы Грузии, как, например, Сванетия, являются живым музеем, хранящим следы древнейших форм музицирования. Так, один из вариантов сванской песни «Квирия» — этого хора-гимна — записан мною в исполнении певцов, среди которых первым голосом был 113-летний старик Джаба Твиляни. Гимн «Квирия» исполнялся в древности на фаллических праздниках.

Музыка проникла во все извилины социальной жизни Грузии. Все, что связано с повседневной жизнью, крупнейшими событиями, все человеческие переживания — труд, борьба, веселье, любовь, свадьба, смерть, болезни, — все нашло свое отражение в музыкальном фольклоре Грузии. Всякий вид труда сопровождается соответствующей песней, которая является то заклинанием (остаток языческой эпохи), то помогает ритмическим движениям в работе. Походные песни воодушевляют, ведут к борьбе; плясовые зажигают, будят веселье, соответствуют плавным движениям хороводов. Замечательны «двух-этажные» пляски гурийцев, аджарцев и сванов, когда часть певцов — обычно четыре-пять человек — становится на плечи нижнего хоровода. Очаровательны в своей нежности лирические любовные мегрельские песни под чонгури (лютня). Песня же, которая поется во время похорон, «Зари», потрясает выраженным в ней стихийным страхом перед смертью. До сих пор бытует песня «Батонебо», которую поют под аккомпанемент чонгури или чанги (маленькая арфа) при болезнях — кори, оспе и др. Особенно интересна среди полевых рабочих песен гурийская «Надури». «Надури» поется исключительно во время работы и имеет самые разнообразные формы — от самой простой до сложнейшей циклической. Самая сложная циклическая форма «Надури» поется во время полевых работ с кукурузой. Она поется двумя группами работников, которые располагаются в разных концах поля. Повидимому, здесь идет соревнование в работе и песне между этими двумя группами. Когда же обе группы приближаются друг к другу, то песня объединяется.

В основе своей грузинский фольклор отличается вокальным многоголосием. Самым распространенным видом музицирования в народе является хоровое пение (трехголосное, большей частью двух-хорное).

Широкая, медленная, глубокая по музыкальному содержанию карталино-кахетинская песня сильно отличается от подвижной, ритмически сложной, беспокойной и богатой орнаментикой гурийской песни.

Своеобразный гортанный фальцет гурийского высокого голоса очень напоминает тирольский Yodeln.

За последние годы народ создал революционные песни-хоры, где воспеваются Ленин и Сталин, колхозная счастливая жизнь и победы советского строя.

Советская власть, всемерно способствуя развитию национальных культур народов СССР, поставила на должную высоту изучение и использование музыкального фольклора.

Непосредственным практическим шагом в деле бережного и любовного отношения к народному творчеству и культивирования его является учреждение в Тбилиси двух этнографических хоров (один — Зап. Грузии и один — Вост. Грузии) и ансамблей гурийских чонгуристов с певцами. Кроме того, созданы хоры и ансамбли в других городах и колхозах Грузии.

Все эти музыкальные коллективы широко субсидируются правительством и

находятся в общении с научными и общественными музыкальными организациями.

Руководителем этнографического хора Западной Грузии является К. Пачкория, ученик народного певца Дз. Лолуа.

Репертуар этого хора содержит лучшие народные песни Гурии, Мегрелии, Сванетии и Абхазии. Сочные голоса, специфическая интонация народных певцов и общий характер исполнения способствуют выявлению наиболее сильных сторон народного творчества.

Руководителю хора Восточной Грузии, старому работнику и организатору многих хоровых единиц, Сандро Кавсадзе, грузинская общественность обязана многим. Он помнит много замечательных своеобразных песен ущелья Арагвы, Горийского района и Алазанской долины.

Песни «Мравал жамиер», «Бери кади вар» и «Чакруло», ставшие в грузинском музыкальном фольклоре классическими, в исполнении хора С. Кавсадзе сохраняют всю свою ценность и величие. На этих карталино-кахетинских песнях выросло творчество одного из замечательных композиторов старого поколения — Н. Сулханишвили.

Богатое яркими образами, сочными мелодиями и своеобразной гармонией, народное творчество служило неисчерпаемым источником для композиторов всех поколений.

Для развития и формирования музыки отдельных композиторов нужны были только соответствующие социально-бытовые условия. В древней Грузии эти условия создавались церковью в период распространения ее влияния через монастыри и академии.

Редчайший памятник музыкальной культуры всего мира — сборник песнопений (литургия) монаха Микел Модрекили, записанный грузинскими невмами в X веке, свидетельствует о высоком уровне развития музыки в древней Грузии. В дальнейшем, по сообщениям проф. И. Джавахишвили, остались отдельные документы, подтверждающие существование светских композиторов и теоретиков. Проф. И. Джавахишвили совершенно прав, утверждая, что писать

по истории музыки Грузии можно только после опубликования древнейших рукописей. Периода влияния ирано-арабской музыки мы коснемся в дальнейшем в связи с вопросом о грузинском усадебном романсе.

Присоединение Грузии к России положило начало новой полосе в истории грузинской музыки. Более положительное влияние музыкальной культуры России, послужившей основанием современной академической музыки, начинается с 70-х годов прошлого века. В этот период в Россию едет группа молодых людей для получения музыкального образования. Молодые люди из дворянской и мелкобуржуазной среды ехали в Московский и Петербургский университеты и одновременно учились и в консерватории. Их еще нельзя назвать профессиональными музыкантами. Они пока только будили общественную мысль, обращаясь к народной песне. Одним из самых передовых активных общественников в этом деле был Харлампий Саванели.

Волну движения за грузинскую национальную музыку поддерживали и писатели, и общественные деятели, как Илья Чавчавадзе, Цхведадзе и др.

Х. Саванели, Мачавариани и др. задалась целью распространения богатой народной песни. Мачавариани даже удалось издать сборник народных песен. Но их главная задача была организация хора. Х. Саванели в 1874 году устраивает первый концерт, в программу которого входили грузинские народные песни. День первого концерта был днем основания музыкальных классов.

Постепенно люди, заинтересованные в развитии грузинской музыкальной культуры, объединились в группы, и в Грузии организовалось несколько народных хоров.

Эти хоры, концертируя во многих местностях Грузии, будили интерес к народной музыке, а главное — сохраняли песню.

Один из руководителей хора, чех И. И. Ратиль, как европеец, наложил на свой репертуар и стиль исполнительства определенный отпечаток европеизма. Он первый внес в грузинскую песню

чуждые грузинской народной музыке тонкие, доминантовые, звучания. С этим явлением приходится бороться и сейчас, так как до сих пор еще живы традиции исполнения, а подчас и сам репертуар хора И. И. Ратилы. Но в то же время нужно признать заслугой Ратилы тот факт, что через его хор в Грузию впервые проникли хоровые произведения европейских композиторов. Кроме того, сохранилась (теперь библиографическая редкость) записанная Ратилем кахетинская песня «Алило» — грузинская колыбелька.

Но эти руководители не ограничивались одной организацией хоров. Они сами собирали народные песни и давали стимул к изданию их. Так, А. Бенашвили, учившийся в Италии, артист Тбилисской оперы И. Каргаретели, педагог З. Чхиквадзе издадут ряд сборников народных песен. В сборник З. Чхиквадзе входят сванские песни, записанные М. Баланчивадзе.

Наряду с этим издаются в записи артиста Ф. Коридзе и священника Карбелашвили церковные песни карталино-кахетинского распева.

Вскоре появляются первые произведения композиторов.

В 1888 г. появляются первые грузинские романсы М. Баланчивадзе «Шен гетрпи марад» («Ты передо мною»), «Нана» (колыбельная), «Одесац гичкер» («Смотрю я на тебя»). М. Баланчивадзе мы можем считать первым грузинским композитором, но он еще не профессионал, и в его первых произведениях еще не выявлены особенности грузинской песни. В гармонии, ритме и мелодиях этих романсов сильно чувствуется влияние итальянской оперной музыки. Это были первые робкие шаги в его композиторской деятельности, послужившие толчком для других музыкантов-композиторов. Но дальше дилетантских произведений они не пошли. Так, И. Каргаретели пишет ряд романсов, может быть, и приятных на слух, но весьма примитивных. Таковы: лирический романс с мягкими итальянизированными интонациями «Арагво» («Арагван»), ритмический острый «Мшвениерта хелмципав» («О, красавица»), носящий

танцевальный характер, с интонациями, взятыми из песен старого Тбилиси, и т. д. Его интимные, простые интонации возникли не на почве профессиональных концертов с «посторонней публикой». В них чувствуется тесный круг слушателей, может быть, где-нибудь в усадьбе или в тихой городской мелкобуржуазной семье, где приятно послушать «родные напевы» под аккомпанемент гитары.

Совершенно обособленно стоит композитор с яркой индивидуальностью — Н. Сулханишвили (род. в 1872 г.). Ни материальные условия, ни окружающая среда не давали этому замечательному таланту возможности совершенствоваться. Большую часть своей жизни Сулханишвили провел в провинциальных городах Кахетии, всегда вращаясь в самой гуще народа. Его инструмент — хор, его язык — только народная песня, его образы — отражение духовной жизни народа. Исключительно эмоциональный, глубокий по мысли, аскетический, строгий в музыкальных выражениях, воспринимающий радость жизни во всей ее полноте, со здоровой крестьянской психикой, Сулханишвили дал нам неповторимые музыкальные образы. Немногочисленные опусы, оставленные Сулханишвили, говорят об огромном таланте. Его гимн для смешанного четырехголосного хора, «Гмерто-гмерто» — на текст из «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели — по глубине мысли, простоте выражений, по величию поступи, совершенству формы — замечательное произведение грузинской музыкальной культуры.

Мужественно-лиричный хор «Гутнური», призывающий к борьбе, бодрый хор «Маш гамарджвеба» («Победа») и другие его произведения могут служить наряду с народным музыкальным творчеством материалом, на котором должны воспитываться молодые композиторы. Он творил стихийно, даже не всегда фиксируя свои произведения нотами. Поэтому некоторые его хоры остались только в устной передаче. Лица, близкие Сулханишвили, утверждают, что он писал оперу «Патара кахи» («Маленький кахетинец») по одноименной поэме Акакия Церетели. Но, к сожалению, сле-

дов этого труда мы не знаем. До нас дошла только одна ария «Дайгвианес» (сопровождение утеряно), которую поет вся Грузия, особенно Восточная.

Если еще сохранились до нас некоторые его произведения, то этим мы обязаны только общественным деятелям, которые поддерживали этого исключительно талантливого художника. К числу их относится главным образом народный артист Д. И. Аракишвили.

Только в наши дни, при ленинско-сталинской национальной политике и бережном отношении к талантам, смог бы развернуться Н. Сулханишвили в полной мере.

В более благоприятных условиях развивался талант группы молодых музыкантов, прочно вошедших впоследствии в историю грузинской музыки. Это были М. Баланчивадзе, З. Палиашвили и Д. Аракишвили. Все трое получили музыкальное образование в России.

Первым из них поехал в Петербургскую консерваторию народный артист М. А. Баланчивадзе (род. в 1861 г.). У него зародилась мысль написать грузинскую оперу. Сюжетом для оперы он избрал поэму Акакия Церетели «Тамар цбieri»¹⁾ («Коварная Тамар»). Хронологически это была первая попытка создать грузинскую национальную оперу.

Совершенно естественно, что в эпоху романтических течений в литературе и драматическом театре, в эпоху, когда настоящее Грузии было беспросветно, когда многими еще не была четко осознана перспектива национального возрождения, — композиторы брались за сюжеты, уводящие вглубь истории.

Все первые оперные композиторы обращались к героическому прошлому. Сюжеты берутся или из грузинской истории («Дареджан цбieri»), или из сказочного мира народного эпоса («Абесалом и Этери» З. Палиашвили), или же из мира легенд («Сказание о Шота Руставели» Д. Аракишвили).

Воодушевленный идеями национального романтизма, Баланчивадзе вначале задумал одноактную оперу. После долгих трудов Баланчивадзе в 1897 г. уда-

лось поставить свою оперу в Петербурге.

В «Дареджан цбieri», как и в предыдущих опусах, Баланчивадзе использует грузинскую народную песню, но всегда с некоторым налетом городского романа.

Впоследствии он перерабатывает ее в четырехактную оперу. Первая постановка состоялась в 1925 году. Опера обогатилась рядом интересных номеров, построенных на народном материале. Таковы: имеретинская песня шута, блещущая свежестью и юмором, ария Гоча, гимн, выдержанный в строгих интонациях, удобный в вокальном отношении и богатый гармонически, и нежная колыбельная Цари в сопровождении женского хора. Эти арии стали популярными и вошли в концертный репертуар.

Другой крупной величиной этой эпохи является народный артист ССРГ проф. Д. И. Аракишвили.

Еще будучи студентом, Д. Аракишвили предпринимает ряд научных экспедиций для записи народных песен. Им собрано огромное количество материала. Весь разработанный материал был издан вместе с его статьями о народном музыкальном творчестве музыкально-этнографической комиссией при Московском университете (изданы в 1906, 1908, 1914—1916 гг.). Ни один исследователь грузинского музыкального фольклора не пройдет мимо его трудов, ибо в них собрано много научно-ценных и необходимых сведений.

Народная песня была его стихией, но она интересовала его не только как научного работника. С первых же опусов композитор говорит на родном языке. Романтик и лирик по своей природе, Д. Аракишвили широко использует лирику музыки различных уголков Грузии. Одно из наиболее крупных творений Аракишвили — опера «Сказание о Шота Руставели».

Начатая на студенческой скамье, опера впоследствии была дополнена и 5 февраля 1921 года была поставлена на сцене Тифлисской оперы. Сюжетом для оперы послужила сванская народная легенда о личной жизни великого поэта, философа и гуманиста XII в. — Шота Руставели.

¹⁾ Опера первоначально называлась «Тамар цбieri», впоследствии — «Дареджан цбieri».

Впоследствии Д. Аракишвили переработал свою оперу, сделав ее четырех-актной.

В 1921—1926 гг. композитор пишет новую лирико-комическую оперу на сюжет из сказок «Тысяча и одна ночь» (первая постановка была в 1927 г.).

К более поздним опусам относятся первая симфония в пяти частях и одночастное произведение, написанное по случаю XVII парт'езда.

Во всех этих произведениях, как и в его операх, творчество композитора выражается в том же романсном стиле. Интимность, камерность, «картинки настроения» — всюду любимые персонажи произведений Д. Аракишвили.

Подлинное лицо свое композитор выявил в романсном и песенном жанре.

Тот вид романса и песни, который бытует сегодня у нас, не является случайным явлением или насильственным насаждением извне.

К той же плеяде блестящего старшего поколения относится народный артист ССРГ З. П. Палиашвили.

Будучи специалистом по полифонии, в особенности вокальной (до-баховской), композитор и гениальный педагог С. И. Танеев развивал в юном Палиашвили чувство стиля, имеющего много общего с техникой грузинской народной песни. Об этом свидетельствуют как дальнейшее самостоятельное творчество Палиашвили, так и все его многочисленные ученические работы, хранящиеся в Тбилисской гос. консерватории.

Непосредственно по окончании Московской консерватории З. Палиашвили предпринимает несколько поездок в различные уголки Грузии с целью записи посредством фонографа грузинской народной песни. В этих поездках, в непосредственном общении с народными певцами и при последующем изучении записанных песен, З. Палиашвили впитывал все богатство народного творчества и обогащался как творец-музыкант. Так постепенно оформлялся будущий художник.

И вот тут-то теоретические знания, полученные у С. И. Танеева, находят свое оправдание и применение в живой народной музыке.

После этих поездок начинается работа над собранным материалом. Помимо изданных расшифрованных фонографических записей народных песен, появляются обработки народных песен в виде четырехголосных смешанных хоров: «8 народных хоров», в отдельном сборнике; ряд отдельных хоров; литургия, переложенная для пятиголосного смешанного хора, старинные городские грузинские романсы, повидимому, слышанные им от своего отца, и т. д. В это же время начинается его педагогическая работа в б. грузинской гимназии, где З. Палиашвили вел уроки в отдельных классах, а также организовал большой хор и оркестр из учащихся гимназии. Работу с хором З. Палиашвили превратил в арену пропаганды народного творчества. В дореволюционной Грузии, когда работа над национальной музыкой велась почти-что только в подпольи, З. Палиашвили вел активную деятельность в таких рассадниках грузинской музыки, как грузинская гимназия, где современная молодежь имела возможность знакомиться со всем, что было в грузинской музыке, и «Филармоническое об-во», в котором З. Палиашвили был одним из основателей, директором и педагогом по теоретическим предметам.

Его имя стоит наравне с такими дорогими именами грузинских деятелей конца XIX и начала XX вв., как Важа Пшавела, И. Чавчавадзе, Вано Мачебели, Васо Абашидзе и др.

Создатель изумительной художественной ценности, классически совершенной национальной оперы «Абесалом и Этери», художник, давший совершенно новый для Грузии жанр, совершал огромное историческое для грузинской культуры дело почти один.

В грузинской музыкальной культуре З. Палиашвили сыграл ту же роль, что Вебер в Германии, Люлли во Франции и Глинка в России. Но условия творческой работы этих последних и Палиашвили различны: и в России, и во Франции, и в Германии музыкальное наследство, опыт предшествующих композиторов, формы музицирования ко времени создания национальной оперы

были в достаточной степени подготовлены. В Грузии же мы видим совершенно иную картину ко времени создания «Абесалом и Этери». В прошлом творческое наследие было очень бедно, и Палиашвили приходилось начинать почти-что на пустом месте. Безусловно, у З. Палиашвили были весьма существенные предпосылки: первое — это народная песня, но не надо забывать, что народная песня была все же мало разработана и изучена; второе — мощная, бьющая из-под толщи «официального надзора» общественная волна национального возрождения.

Официальные же музыкальные круги: опера, муз. училище ИРМО и отдельные их представители были совершенно глухи к весьма важной идее создания национальной музыки и в частности национальной оперы.

З. Палиашвили руководили только огромная внутренняя сила и талант.

Оперу «Абесалом и Этери» З. Палиашвили писал в течение пяти лет, с 1912 по 1917 г. Мысль о ней подал ему П. Мирианашвили, будущий либреттист оперы, воссоздавший отдельные фрагменты грузинского сказания об Абесаломе и Этери. Народное сказание об Этериани, по исследованиям группы научных работников Института языка и мышления¹⁾, — один из многочисленных вариантов «Тристана и Изольды» в мировой народной литературе. В грузинском варианте все внимание уделено несчастной любви социально неравных царевича Абесаломе и бедной крестьянской сироты Этери. Именно это любовное страдание взяла З. Палиашвили за основу музыкальной выразительности всей оперы. Но страдания Абесаломе далеки от той чувственности и психологической подчеркнутости, которые мы слышим в «мистерии душ» «Тристане и Изольде» Р. Вагнера. От оперы З. Палиашвили — этой подлинной «Abesalom Passion» — исходит аромат нравственно-го благородства, высокой этики и правдивости человеческих страданий.

¹⁾ «Тристан и Изольда» — коллективный труд сектора семантики мифа и фольклора под ред. акад. Н. Я. Марра.

Излишне искать в опере развития действия; она приближается скорее всего к оратории. Вся фабула вскрывается в четырех главных моментах. Каждый из моментов разворачивается, как ритуал. Особенно это касается второго действия: свадьба — пир, ритуал, возвеличивающий продолжение рода, и третьего: Requiem (в грузинском музыкальном фольклоре «Зари») — угнетающее, давящее горе и душевные муки Абесаломе, потерявшего Этери. По принципу драматургического развития и эмоциональной насыщенности это действие равно трагедии И. Стравинского (опера «Царь Эдип»).

Даже те немногие места, которые несколько снижают общую ценность оперы, не умаляют достоинств ее и позволяют считать «Абесаломе» классической оперой.

Музыкальный язык «Абесаломе и Этери» весь построен на фольклоре Грузии. По всей опере разлита поэзия карталино-кахетинской и сванской песни.

В неисчерпаемых богатствах народной песни З. Палиашвили нашел искренние, правдивые в своей строгости и простоте интонации для раскрытия сложных и поэтических образов своих героев. Палиашвили настолько слился с народной песней, что трудно уловить, где находится грань между чисто народным и его личным творчеством.

Те немногочисленные песни, которые целиком вошли в оперу в виде цитат из народной музыкальной поэзии, естественно, вытекают из общей концепции произведения.

Так, например, грандиозный, язычески-строгий застольный хор второго акта или начало дуэта Абесаломе и Мурмана в четвертом акте, огромные цитаты из фольклора не звучат упреком, так как эти цитаты мастерски вплетены в общую ткань оперы и без всякого «гурманства» переданы средствами солистов смешанного хора и симфонического оркестра.

Стиль оркестровки оперы, компактный и массивный, видимо, обусловлен отчасти влиянием органа и отчасти характером звучания карталино-кахетинских и сванских песен, в которых в про-

тивовес гурийско-мегрельским полифоническим хорам все голоса звучат монолитно. Строгость, простота и отсутствие детализации оркестра также вытекают из общей концепции всей оперы, где все имеет свое четко очерченное лицо и в то же время все отдельные элементы спаяны общим замыслом.

В обрисовке действующих лиц З. Палиашвили достигает изумительных результатов. Из трех главных героев оперы, совершенно различных по характеру, менее всего удался композитору образ Этери. Печальная сирота в первом действии, Этери мало изменяется в продолжение всей оперы, несмотря на огромные перемены в ее судьбе, благодаря борьбе Абесаломы и Мурмана за обладание ею. Образ Абесаломы очерчен более тонко и тщательно. Уже в первом же ариозе мы ясно видим юного, пылкого рыцаря Абесаломы. Но по мере развития трагедии музыкальные средства изображения Абесаломы меняются вместе с перерождением внутреннего мира героя.

Во втором действии Абесалом, как и все герои оперы, приобретает совершенно второстепенное значение, уступая место хору.

Но в третьем действии, кульминационной точке всей оперы, образ Абесаломы потрясает своим трагизмом. Одиноким, покоровшимся ударам судьбы и беспомощным перед требованием народа — отказаться от Этери — Абесалом обрисован З. Палиашвили с совершенно исключительной силой выразительности. Его клич: «Кто хочет мою Этери?» — и дошедший до максимума напряжения вопль народа звучат просто гениально. Здесь З. Палиашвили достиг апогея образности и выразительного звучания, равных трагическим местам «*Matheus Passion*» и ораториям Генделя. В каждой интонации, в каждом нюансе в продолжение всего произведения композитор не может скрыть нежной любви и тревоги за душевные переживания любящего и страдающего героя. Все это достигнуто максимально простыми средствами. Весь третий акт построен на одном экономно развивающемся материале.

Мастерство композитора доходит до того, что для сохранения единого образа композитор заставляет Абесалому повторить свой первый речитатив в большом ансамбле солистов и хора. А главная партия хора в момент кульминации обрастает модифицированной темой любви. Лирическая тема любви в остальных местах, создающая впечатление обреченности и покорности судьбе, здесь приобретает трагический характер.

Третий герой оперы, визирь Мурман, является полной противоположностью Абесалому. Мужественный, волевой, решительный, действенный и активный характер Мурмана находит вполне соответствующее отражение в музыке: Мурман всегда вступает на решительных интонациях и на четком ритме.

Мужественность и эмоциональная насыщенность глубокого любовного гимна первого действия, вскрывающего самые сокровенные уголки внутреннего мира, клятва в конце того же действия и решительный тон фразы: «Я хочу Этери» — в третьем действии, когда весь народ стоит в замешательстве, — каждый момент дает облик цельного, волевого человека.

Только единственный раз в четвертом действии, когда Абесалом посылает его за живой водой, Мурман теряет почву под ногами. Он видит свою гибель. В этот важный момент З. Палиашвили дает совершенно новую интонацию. Фраза: «Теперь я знаю...» — дышит отчаянием гибнущего человека. Мурман представляет олицетворение зла. Он вносит разлад в душу юного царевича, причиняет невероятные мучения ему и Этери. Композитор наделяет Мурмана отрицательными качествами не для того, чтобы вызвать отвращение в слушателе, а для того, чтобы он проникся любовью к Абесалому.

Одним из главных действующих лиц оперы З. Палиашвили является хор — народ. И в драматургическом, и чисто музыкальном отношении хор — одно из центральных мест оперы.

Если в первых двух картинах (1-е действие) хору уделена второстепенная роль (хор охотников), то уже во втором

акте всю торжественность, всю пышность и праздничность создают вместе с оркестром хор и ансамбль солистов. Герои оперы здесь теряют свою первенствующую роль. В третьем акте хоры и ансамбли противопоставляются Абесалому. Хор, начиная заглушенными причитаниями «вай, вай» («горе, горе»), переходит постепенно в вопль наэлектризованного ужасом народа. Страну постигло ужасное бедствие¹⁾: жена любимого царевича, Этери, больна. Она будет спасена только в том случае, если царевич отпустит ее на волю.

В этом акте-диалоге между хором и Абесаломом обе стороны совершенно равноценны. Да и вообще во всем произведении силы распределяются с такой пропорциональностью, что ни одно действующее лицо, будь то отдельный герой, хор или ансамбль, не заслоняют друг друга.

Внутренняя архитектура произведения, постепенное и равномерное распределение музыкальных и драматургических средств, взятых всегда в больших (но не гиперболических) масштабах, ставит З. Палиашвили на одно место с крупными мастерами оперы.

Следующей крупной работой З. Палиашвили была трехактная опера «Даиси». Либретто этой оперы было составлено известным грузинским драматическим артистом и драматургом В. Гуния.

И здесь, как в «Абесаломе и Этери», темой является история несчастной любви. Но при общности темы эти оперы совершенно различны по внутренней концепции и глубине замысла. Если в «Абесаломе» в основе несчастной любви лежала идея борьбы жизни и света, то в «Даиси» эта же тема взята на фоне чисто личных, бытовых условий.

Юную герсину в отсутствие возлюбленного помолвили с нежеланным ей человеком. Но это не вызывает душевного конфликта и больших трагических переживаний. Несчастливая любовь сни-

жена в «Даиси» до личных переживаний героев, приведших к поединку между соперниками. Результаты печальные, но не трагичные.

В «Даиси» композитор предстал в новом свете. По сравнению с «Абесаломом» здесь снижена глубина замысла. Вместо монолитности «Абесаломы» здесь композитор детализует отдельные места. В «Даиси» законченность отдельных номеров и их техническая сложность и детальная отделка как бы разбивают оперу на отдельные части.

Это не цельное музыкальное произведение, а ряд мастерски исполненных отрывков, также мастерски соединенных одним сюжетом. Все произведение построено с установкой на развитие формы отдельных элементов: увертюры, ансамбли солистов, хоры, танцы. Увертюра к первому действию — одна из ярких страниц грузинской музыкальной литературы. Нарастая постепенно, с исключительной экономностью — от лирического, почти пасторального характера — импровизационного наигрывания английского рожка, к середине увертюры вырастает в мощное звучание всего оркестра с выделяющимися медными инструментами. Дойдя до кульминации, увертюра начинает также постепенно иссякать и к концу приходит к исходному звучанию английского рожка.

Эта строгость «математического расчета», максимальная уравновешенность, оркестровая звучность и мягкая лирика наполняют увертюру бесконечной поэзией печали. Эта увертюра — образ умирающего Малхаза, погибшего на поединке с соперником Киазо. Здесь удачно сочетались грузинская мелодия с немецким принципом разворачивания формы. Гораздо более трудную задачу поставил перед собой З. Палиашвили во втором ариозо Малхаза (так называемая выходная ария). Ариозо построено на полудекламационных, полупесенных фразах. С первой же ноты ариозо разворачивается как клубок золотых ниток. Кажется, что каждая новая фраза дает новое ощущение. Подобный принцип разворачивания формы

¹⁾ По вавилонскому варианту этой легенды с исчезновением Иштар (Этери. — Ш. А.) в преисподней (болезнь. — Ш. А.) начинается на земле общее бесплодие («Тристан и Изольда», под ред. Н. Я. Марра).

совершенно противоположен классической форме немецкой музыки, где мысль всегда разворачивается в перспективности, в беге времени, в контрастах. (Это то, от чего Глинка всегда желал освободиться). Ариозо Малхаза по своей архитектонике, интонациям, по характеру ритмической пластичности — кровь от крови, плоть от плоти народной грузинской песни. В опере разбросаны замечательные по своей художественной ценности арии. Укажу на проникнутую мрачностью байронизма (на слова поэта Н. Бараташвили) арию Киазо во втором акте: «Исчезни, демон злой»¹⁾. Ария эта — типичный осколок с усадебных романсов середины и конца XIX в., которые распевались в княжеской и дворянской среде под аккомпанемент персидского гари.

Две арии герсини Маро — «Яркая звезда» и плач над трупом Малхаза — представляют полную противоположность в стилистическом отношении. Первая из них, совершенно изумительная по мелодическим оборотам и пластичности ритма, представляет протяжный женственный напев того же порядка, что и ария Киазо «Исчезни, демон злой». Только характер здесь иной. Это нежная печаль девушки, покорно ожидающей своей «счастливой звезды».

Плач Маро (с хором) — песня старого Тбилиси, с характерными интонациями и скорбной монотонностью ирано-арабской музыки. Эти песни старого Тбилиси были сложены народными певцами-ашугами и в условиях столицы феодальной Грузии приобрели специфические черты.

Новый колорит, новую струю вносит лекури (лезгинка) в первом акте. Искристый, солнечный, по-моцартовски четкий и прозрачный, нежный танец совершенно изумляет своей юностью и весельем. Массовые же танцы с народными песнями второго акта во время церковного праздника дают очень колоритную бытовую картину. Народный праздник с танцами, пением, прибаутками, состязанием в шайри (своеобразный турнир двух импровизаторов часту-

шек) Палиашвили дал в сочных краях, предоставив огромные возможности развернуться как певцам и танцорам, так и изобретательности режиссера.

Хор в «Даиси» играет противоположную роль по сравнению с «Абесаломом». Здесь хор введен композитором только как декоративная, пейзажная единица, каждый хор в отдельности — яркое пятно на общей картине. Музыкальный материал для хоров Палиашвили взял из самых различных уголков Грузии.

Здесь встречается и гурийский хор: «Али-Паша изменил нам» и сванское «Вой диво» и карталино-кахетинская походная. И наряду с этим мы имеем мощный хорал финала второго акта, где чувствуется отпечаток органа и католического хорала. Только один простой перечень отдельных номеров оперы удивляет своей пестротой и стилистическим разнообразием. Ретивым фольклористам, видящим в каждой национальной музыке только фольклорный материал, подобная «пестрота» покажется недопустимой. Но такие композиторы, как З. Палиашвили, своим талантом, своими творениями показывают, что самый разнообразный музыкальный фольклор можно использовать в одном музыкальном единстве. «Даиси» слугит лучшим доказательством этого.

Режиссер, народный артист А. Р. Цуцунава, художник С. Вирсаладзе и заслуженный деятель искусств дирижер Е. Микеладзе оформили оперу «Даиси» в Тбилисском театре оперы и балета, выявили всю поэзию этой подлинно народной оперы. Музыка, красочность общего звучания и реализм всего спектакля ставят ее в ряды лучших опер Тбилисского театра оперы и балета.

Последним большим произведением композитора была четырехактная опера «Латавра», из которой несколько арий вошли в репертуар певцов: величественный гимн Латавры и ария.

Значение личности З. Палиашвили в истории грузинской музыки сейчас только изучается советской музыкальной общественностью.

Художник, создавший монументальную, глубокую по замыслу националь-

¹⁾ По переводу оперы А. П. Нейман.

ную оперу, должен найти в будущем своего исследователя.

На следующее же поколение композиторов влияние З. Палиашвили огромно; для них классический язык Палиашвили, его умение сделать грузинский фольклор доступным для всех и этическая ценность художника стали критерием.

З. Палиашвили — это целая эпоха в развитии грузинской музыки.

Любование прошлым или, в лучшем случае, пассивное недовольство грузинской интеллигенции ныне потеряло реальную почву. Реальность, «косязаемость» сегодняшнего дня и перспективность будущего стали господствующим общественным настроением. На смену дореволюционного слушателя оперы и концертов пришел новый слушатель с «крепкой» психикой. Естественно, пришел и новый музыкант, может быть, еще не до конца отвечающий новому слушателю, но чутьем угадывающий его вкус. Этим новым музыкантом был В. Долидзе (род. 1890, умер 1932), со своей комической оперой «Кето и Котэ». Композитор-самоучка, не получивший никакого музыкального образования, только в силу своего таланта повернул историю грузинской оперы. Он был не композитор вообще, а именно театральный композитор. Он исключительно отчетливо чувствовал сцену и ее законы. У него был особый дар удачно выбрать сценический сюжет, обработать его драматургически, музыкально оформить применительно к оперной сцене.

Сюжетом для своей первой оперы Долидзе удачно выбрал классическую грузинскую комедию «Ханума» Цагарели. «Ханума» — прямой отклик грузинского театра 70—80-х годов на комедию Бомарше.

Реализм этой комедии, повидимому, захватил Долидзе. Как же воплощает эту реальную историю композитор в музыке? Прежде всего надо было выбрать музыкальный материал для оперы.

И здесь Долидзе, «не мудрствуя лукаво», обратился к живому остатку старого Тбилиси. Он пошел на Авлабар¹⁾,

где еще сохранились музыкальные интонации мокалака¹⁾, и там собрал весь материал.

Попевки кутил старого Тбилиси, песни кинто (баяти), городские шарманочные песни и тому подобный музыкальный материал лег в основу оперы «Ханума», но наряду с изумительной композиторской хваткой, наряду с умением распределить музыкальный материал сообразно драматургическим требованиям, подать музыку свежо, просто и даже остроумно, он проявлял на первый взгляд отсутствие вкуса. Но это кажущееся явление. Долидзе выбирал материал, который сможет способствовать выявлению драматургического замысла. Он совсем не боялся банальных, обыденных приемов и оборотов. Его интересовали не оригинальность и новизна материала, а ее театральная выразительность, что некоторым может показаться «неудачным». Что же касается речитативов, которые занимают в опере значительное место, то они представляют прямое подражание россиниевским речитативам и грешат главным образом тем, что в них ударения выглядят вопреки всем законам грузинской речи. Но особенность таланта Долидзе заключается именно в том, что у него звучат даже самые неудачные места.

Бытовые, жанровые сцены в опере в высшей степени красочны и реальны. Сцена танцев на свадьбе, построенная на банальной мазурке, полна юмора, веселья и остроумия.

Куплеты двух кинто, помощников Ханума (Барбаре) — живая картина, выхваченная из жизни. В целях исправления недостатков этой талантливой оперы Тбилисским оперным театром было поручено композитору Г. Киладзе внести поправки и дописать четвертый акт — кутеж в ортачальских садах (окраина города, где мокалак любил кутить).

В данное время опера идет в исправленном виде.

Кроме «Кето и Котэ», Долидзе оставил еще две оперы: героическую «Лейла» и революционную «Цисана», но эти оперы слабее первой. Самое талант-

¹⁾ Район старого Тбилиси.

¹⁾ Мокалак — житель старого Тбилиси.

ливое, что оставил Долидзе, это все же «Кето и Котэ».

Октябрьская революция выдвинула целый ряд композиторов второго поколения. Все они оформились как художники при советском строе.

Эти композиторы прошли вместе с музыкантами СССР все этапы исканий: от огульного отрицания всего наследия музыкальной культуры Грузии до его критического освоения и дифференциации понятия «наследие». Октябрьская революция застала музыкантов второго поколения или студентами консерватории, или же только начинающими музыкальное образование.

Это были талантливые молодые музыканты, ставшие впоследствии передовыми композиторами Грузии. Имена орденосца И. Туския, Г. Киладзе, Ш. Тактакишвили, В. Гокиели хорошо известны не только широкой массе Грузии, но приобрели популярность и за пределами ее.

Для них было ясно: идеологические установки композиторов старшего поколения — национальный романтизм, как продукт определенной социальной структуры, — отошел в область истории.

Постановление ЦК партии от 23-го апреля 1932 года (ликвидация РАПМ'а и его филиалов) внесло свежую струю. Лозунг о высоких требованиях, предъявляемых к идейному качеству и технике творчества, был принят с энтузиазмом. Молодым музыкантам предоставлялось широкое поле деятельности. Партия и правительство, ставящие молодежь в самые благоприятные для работы условия, ждали от нее произведений, отвечающих требованиям нашей эпохи.

Грузия является страной, в которой пение вошло во все поры жизни. В поле во время работы, при отдыхе, в деревне, на улице — в Грузии поют повсюду. Пение — самая естественная потребность грузина. В деревнях нередко можно услышать хор детей, поющих многоголосную полифоническую песню со сложным криманчули.

Эта национальная особенность грузин способствовала тому, что в Грузии в

первую очередь начала культивироваться вокальная музыка.

Первые опыты композиторов составляли романсы, хоры и оперы, в которых выявлению содержания произведения немало содействовал словесный текст сюжета. Инструментальная музыка была в самом зачаточном состоянии. Со временем, когда музыкальное мышление стало сложнее, композиторы для выражения своих идей начинают оперировать более сложным, чем вокальным, — инструментальным языком.

Таким образом, первой отличительной чертой молодого поколения музыкантов является преобладание в их творчестве инструментальной музыки. Так появляются первые небольшие пьесы для симфонического оркестра Г. Киладзе и Ш. Тактакишвили и одночастный квартет И. Туския.

И Киладзе, и Туския органически связаны с народной песней. Ее они знают непосредственно от народа. Одночастный квартет заслуженного деятеля искусств — орденосца И. Туския построен на мегрельской песне «Чела» — аробная.

С первых же шагов своих композиторской деятельности И. Туския проявил себя как лирик. Мягкая, певучая, несколько мечтательная песня «Чела» переработана им в квартет. Народная песня использована не как цитата. Она «преодолена» непосредственностью чувства и знанием квартетного звучания.

Одновременно с Туския выступает и Г. Киладзе с небольшими симфоническими произведениями. Его трехчастная сюита, представляющая разработку народных песен, сразу же обнаружила в композиторе природное оркестровое чутье. Лирическая первая часть колыбельной «Мзе шиано», шуточная, полная непосредственного юмора 2-я часть и жизнерадостная, мужественная походная гурийская песня «Эйда» третьей части написаны с неподдельной, юной откровенностью без единой мрачной тени.

В другом его произведении «Лилэ» использован сванский гимн солнцу. Величие, торжественность народной песни гимна «Лилэ» сквозит в смелой, красочной оркестровке, в строгом изложении

темы и в подлинно народных гармониях.

Киладзе первыми же опусами проявляет себя бодрым, полнокровным и жизнеутверждающим реалистом.

Замечательна массовая песня «Железная армия» орденоносца-композитора И. Туския.

Помимо массовых, появляется целый ряд сольных песен. Особенно ценный и обильный материал дает Ш. Машвелидзе, один из активных членов ВАПМ^а Грузии. К числу этих песен нужно отнести «Тушис калеви» («Тушинки»), «Орвела», «Метис симгера» (комсомольский марш) и самое ценное в этом цикле, являющееся завершением работы в области песни, «Гаха Циклаури».

В этот промежуток времени И. Туския пишет, кроме «Железной армии», целый ряд вокальных и инструментальных произведений, из них самыми крупными являются: опера «1905 год» и «Скрипичная соната». Опера «1905 г.» писалась коллективно несколькими композиторами, оканчивающими Ленинградскую консерваторию. Туския написал весь первый акт. Эта опера — хроника событий 1905 года — была для Туския первой и вполне удавшейся попыткой отражения в музыке событий революционной эпохи.

В творчестве композиторов второго поколения (да и следующего за ним молодняка) период, последовавший после постановления ЦК, был самым интенсивным как по количеству опусов, так и по качеству созданных произведений. Это был период «раннего возрождения», которое достигло большого развития после статьи в «Правде» от 26 января 1936 г., разоблачающей неправильно понятые установки постановления от 23 апреля и вытекающее отсюда вредное антисоветское течение — формализм в музыке. Постановление от 23 апреля указывало на необходимость овладения композиторами высокой композиторской техникой, которая требуется для воплощения в музыкальных образах глубоких и сложных идей социалистической действительности. Вместе с тем постанов-

ление предусматривало широкое использование наследия прошлого в свете марксистско-ленинско-сталинских установок.

Для Грузии указанные установки вместе с знаменитой формулой «национальная по форме и социалистическая по содержанию» имели колоссальное культурное значение. Композиторам вменяется в обязанность овладеть высоким мастерством классиков. Изучается творчество композиторов первого поколения (З. Палиашвили, Д. Аракишвили, М. Баланчивадзе и другие).

И, наконец, композиторы могут черпать образы в развивающейся гигантскими шагами жизни всего Советского Союза, из прошлого народов Союза.

Композиторы, пишущие до этого времени произведения мелких форм — романсы, песни, камерные ансамбли, — теперь создают монументальные формы с глубокими идеями.

Ш. Тактакишвили от «интимных бесед» переходит к рассказам о массах. Его два крупных фундаментальных произведения — большая симфоническая поэма «1905 год» и «Шествие» (для симфонического оркестра), посвященное XVII партсъезду, свидетельствуют о коренном сдвиге в творчестве композитора. «1905 год» — поэма в трех частях, имеет определенную программу (текст Феликса Кона), которая рисует три основных этапа эпохи 1905 года.

1-я часть — общий упадок жизненных сил общества в связи с русско-японской войной. В подчеркнuto ослабленных интонациях и расплывчатых «безвольных» гармониях изображена картина настроения общества того времени.

2-я часть — мобилизация революционных сил. Здесь композитор показал быстрый рост нового класса — рабочей массы. Постепенно, преодолевая огромные трудности, пробивается сквозь крепкую стену бюстителей царской России свежая рабочая сила. Вначале появляются только отдельные отрывки рабочих песен 1905 года и, постепенно побеждая противоположный музыкаль-

ный материал, превращается в мощную, сильную песню демонстрантов-рабочих.

Внутренне образ рабочих песен, оркестровые и конструктивные приемы создают динамическую и мощную картину «генеральной репетиции» Октября.

3-я часть рисует разгул черносотенной реакции. Конец поэмы использован композитором как искра, которая разгорелась в революционный пожар Октября.

В другом произведении, «Шествие», композитор дал в спокойных, величавых и строгих тонах картину побед и достижений на фронте индустрии.

Укажем тут же на последние его крупные произведения: «Грузинские народные песни» для симфонического оркестра и лирический, мягкий по колориту «Концерт» для виолончели в 4 частях.

Совершенно обновляется творчество и композитора В. Гокиели. Егоopus обогащаются рядом крупных произведений. «Лхини» для симфонического оркестра в 1-й части свидетельствует о продолжающемся росте мастерства и использовании новых образов жизнерадостного, здорового веселья. Очень интересны и чисто формальные моменты: использование ладов и, главное, использование грузинского народного творчества. И в этом, и в другом произведении сюита в 4 частях (без перерыва) Гокиели преодолевает фольклор. Этот факт в истории его творчества очень знаменателен. Лирическая карталино-кахетинская песня «Урмули» (аробная) и плясовая песня «Цангала», легшие в основу музыкального языка сюиты, разработаны без отклонений от народного стиля. Первая и финальная части в маршеобразном ритме создают картину жизни крестьянина, втянутого в активную работу переустройства своего быта. Гокиели в течение нескольких лет ведет большую работу в Тбилисском орденоносном им. Шота Руставели театре, музыкально оформляя пьесы. Ему принадлежит музыка к драмам «Анзор» — орденоносца С. Шаншиашвили и «Intiranos» («Разбойники») Шиллера и другим пьесам. Успеху

спектаклей «Анзор» и «Разбойники» в значительной степени способствовала музыка Гокиели, всегда оправданная как в музыкальном, так и в драматическом отношении.

Грузинскими композиторами была осознана важность лозунга «За простоту и правдивость», и, действительно, мы видим, что появляется целый ряд мелких и крупных произведений, сложных по замыслу, но простых и доступных широким массам. Так, Киладзе пишет большую, монументальную симфонию в 4 частях. Симфония имеет определенную программу. Первая часть — герой в борьбе, вторая — память погибшего героя, третья и четвертая (без перерыва) — народный праздник, который заканчивается шествием миллионов освобожденного человечества, поющего песню (хор) о Сталине, как символе освобождения человечества. Симфония частично окончена (первая и вторая часть), частично еще дорабатывается.

Взяв за основу трудную и сложную программу, Киладзе соответственно строит и музыкальный материал. В первой части мысль-идея вскрывается путем накопления огромной энергии и переключения ее диалектическим скачком в новый этап развития. Вторая часть — огромный патетический оркестровый речитатив. Это речь оратора перед огромной толпой о гибели героя. Он призывает к борьбе и к победе. Здесь Киладзе нашел замечательно убеждающие, остро врезающиеся в сознание интонации, придав им строгую форму и скульптурную пластичность. На подобном же принципе цельности и монолитности частей, сцементированных живой творческой мыслью, построены и остальные части симфонии.

К этому же периоду относятся последниеopus Туския. Его музыка к комедии С. Клдашвили «Осенние дворяне» построена исключительно на народных песнях, ярко рисует разнообразные бытовые моменты.

Он же по заказу ГАБТ СССР пишет героическую оперу «Арсен» по одноименной драме орденоносца С. Шаншиашвили. Одновременно Туския успеш-

но работает в кино — «Дарико», «Золотая долина».

Отметим последние произведения Гокиели и Баланчивадзе. Гокиели пишет балет по поэме Шота Руставели «Витязь в барсовой шкуре» (либреттист Волков).

Он же закончил ряд красочных номеров, построенных на фольклоре: «Восход солнца» — сванская песня, «Лиле», большой массовый танец и т. д. Этот балет говорит о росте таланта Гокиели.

Баланчивадзе (сын) закончил балет на сюжет из жизни грузин-горцев. Время действия XVIII век.

Для грузинской академической музыки, имеющей давность только нескольких десятков лет, такое разнообразие жанров, большое количество и высокое качество произведений, и общий широкий рост творческих сил являются ог-

ромным культурным достижением.

Грузинская музыка отражает быстрый подъем жизненного тонуса на всех фронтах социалистического строительства.

Последние опусы ряда грузинских композиторов посвящены великому творцу новой счастливой жизни трудящихся, вождю народов СССР и мирового пролетариата — Сталину:

«Песня о Сталине» Туския (текст С. Чиковани) для хора, «Песня о Сталине» для хора — Р. Габичвадзе (текст Г. Леонидзе), «Песня о Сталине» Г. Кокеладзе, финал симфонии Киладзе, «Песня о Сталине» и большое «Посвящение вождю» группы грузинских композиторов (А. Баланчивадзе, В. Гокиели, Ш. Мшвелидзе, Г. Киладзе, И. Туския). Текст взят из «Письма Сталину», написанного группой грузинских пролетарских писателей.

Редакция: А. И. Безыменский,
Ф. В. Гладков.
В. В. Григоренко.
И. М. Гронский.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».

Отв. редактор И. М. Гронский.



П. П. Соколов-Скаля. Гибель начдива. Правая часть триптиха «Щорс». 1936 г.



П. П. Соколов-Скаля. Товарищ Щорс на украинско-германском митинге на ст. Унеча в 1918 г. Левая часть триптиха «Щорс». 1936 г.

